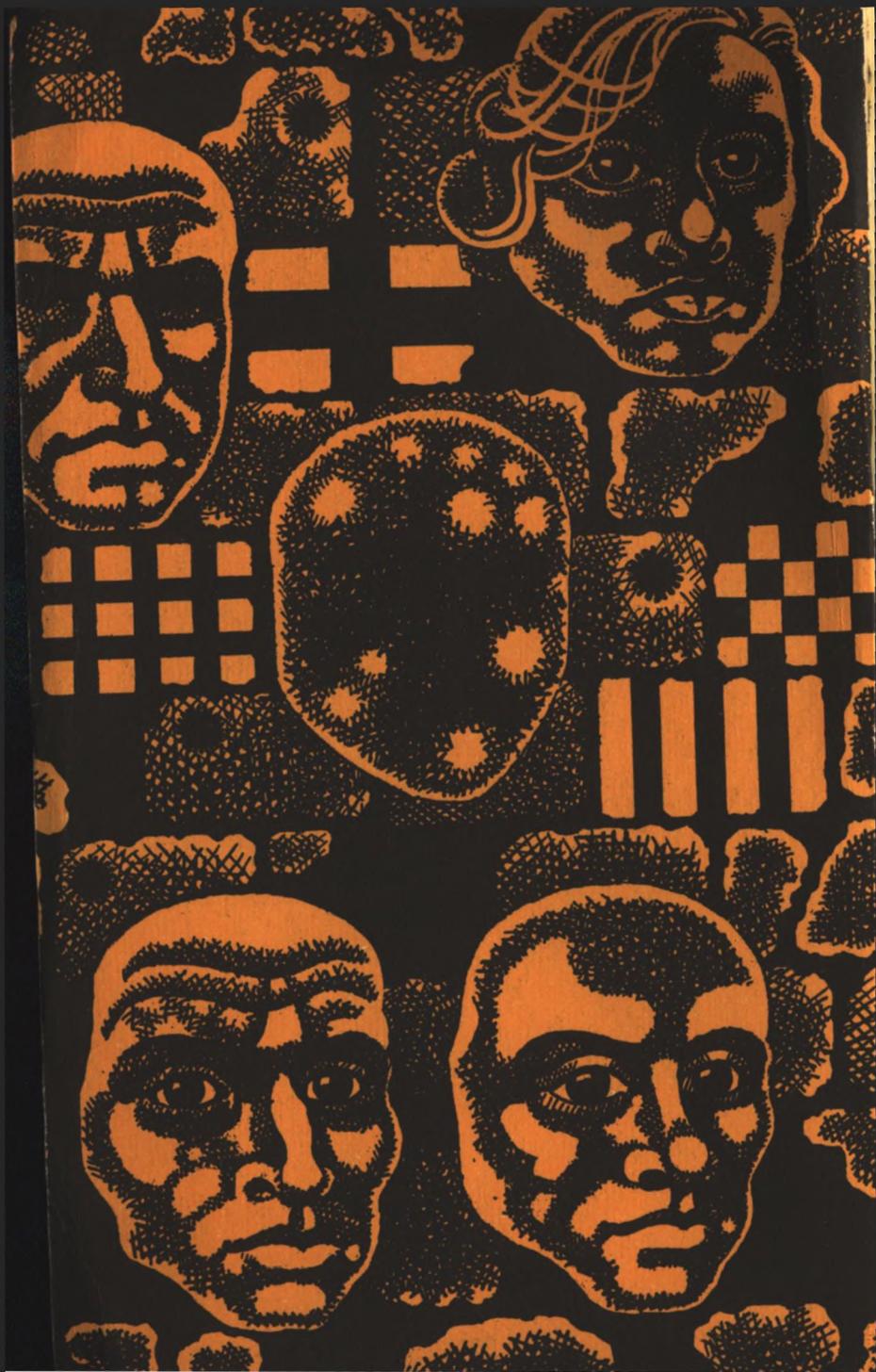


Феликс Светов

Тюрьма





**ФЕЛИКС
СВЕТОВ**

+

Тюрьма

РОМАН

**БИБЛИОТЕКА
АЛЬМАНАХА „ВЕСЫ“
МОСКВА 1992**



С
Т
З
Р
«
Д
Г
Г
а
«
не
(«
да
на
ва

Феликс Григорьевич Светов родился в 1927 году, в Москве; в 1951 г. закончил Московский университет, филолог. В 1952—54 гг. работал журналистом-газетчиком на острове Сахалине. В 50—60-е годы в московских журналах и газетах было опубликовано более сотни его статей и рецензий (главным образом в «Новом мире» у Твардовского), четыре книги (литературная критика). Написанная в 1968—72 гг. книга «Опыт биографии», в которой Светов как бы подвел итоги своей жизни и литературной судьбы, стала переломной в его творчестве. Теперь Светов печатается только в самиздате и за границей. Один за другим появляются его религиозные романы: «Офелия», 1973, «Отверзи ми двери» («Кровь»), 1975, «Мытарь и фарисей», 1977, «Дети Иова», 1980, «Последний день», 1984, а так же статьи, посвященные проблемам жизни Церкви и религиозной культуры. В 1978 г. изд-во ИМКА-ПРЕСС (Париж) опубликовало роман «Отверзи ми двери» а в 1985 году — «Опыт биографии» (премия им. В. Даля).

В 1980 году Ф. Светов был исключен из СП СССР за «антисоветскую, антиобщественную, клеветническую деятельность», в январе 1985 г. арестован и после года тюрьмы («Матросская тишина») приговорен по ст. 190-1 к пяти годам ссылки. Освобожден в июне 1987 года.

Роман «Тюрьма» (1987—89) — первая книга Ф. Светова, написанная после освобождения и первый роман, опубликованный им в России.



Ф. Г. Светов. Тюрьма. Роман. Литературно-художественное агентство «ТОЗА». Библиотека альманаха «Весы», 1992, стр. 448.

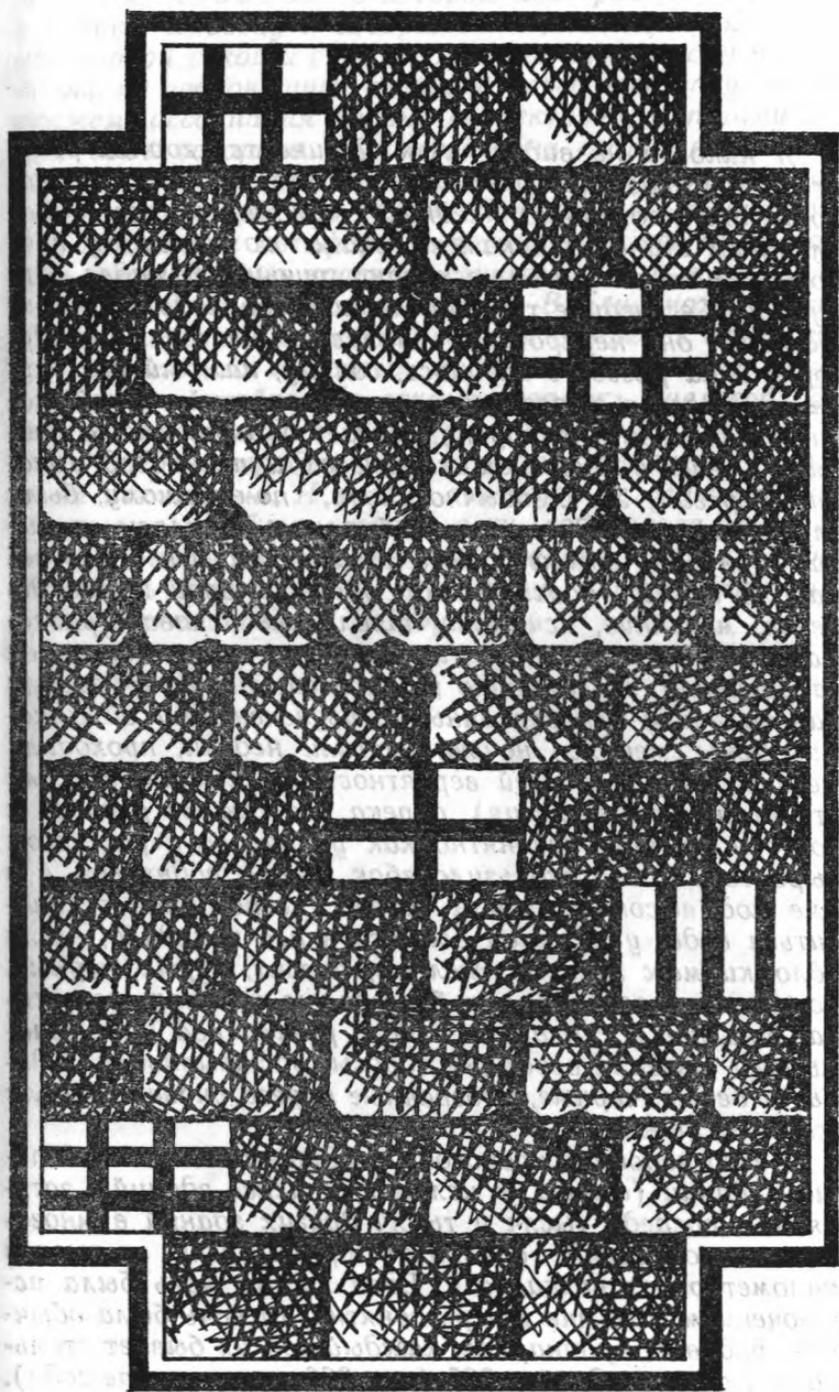
Художник **Игорь Куклес**

Фото **Игоря Пальмина**

ISBN 5-85164-001-4

С 4702010202—001 без объявл.
С47(03)—92

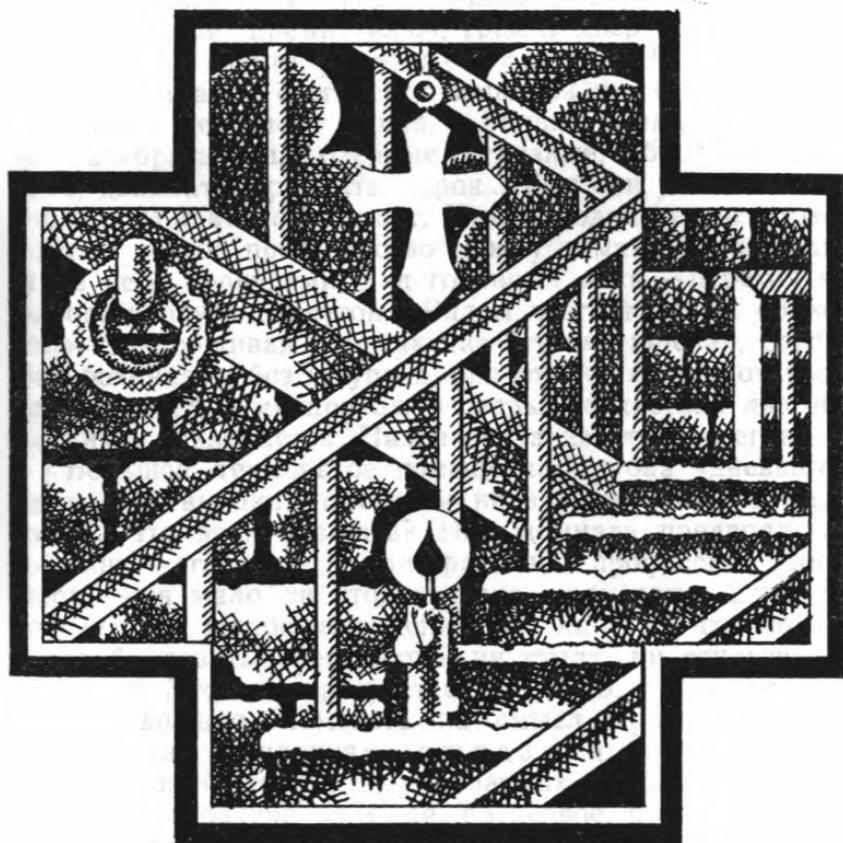
© — СВЕТОВ Феликс Григорьевич, 1992



Я никогда не видел, как начинается горная река, кто-то рассказывал мне: скала потеет, где-то высоко-высоко подтаивает ледник, чем ниже, тем более влажным становится камень, скала сочится, у подножья, меж валунами, вскипают ручьи... Я видел горную реку в середине течения: черная, серая, голубая, бирюзовая она неукротимо рвалась к востоку в междугорье и на рассвете казалось, солнцу, каждый раз случайно, удается вырваться и оно, на всякий случай, начинает скользить в сторону, убегает от реки, спеша подняться, еще в сверкающих брызгах и пене. Под высоким берегом, где я обычно сидел, по-видимому, была глубокая яма, вода вскипала, бурлила, пенилась, открывая в глубине вымытые до блеска камни, и все, что попадало в нее — доски, палки, бревна, порой целые деревья, мелькнув, исчезали, появлялись снова — разломанные, разлохмаченные, их швыряло в сторону, снова закручивало, заглатывало и, наконец, они выпрыгивали далеко внизу исковерканными, изувеченными обломками. День сменялся ночью, улетали недели, проходили месяцы, годы (по всей вероятности, мелькали, улетали столетия и тысячелетия), а река все так же рвалась к востоку, солнцу, непонятно как удавалось с рассветом вырваться и оно скользило вбок, спеша подняться, а в яме под высоким бугром ревела, неспособная остановиться вода, уничтожая все, что в нее попадало, несла обломки меж зеленых, желтых, рыжих, бурых, черных, пепельных, совсем белых берегов, не утихала, не останавливалась и скованная льдом, ревела под ним, взламывала, двигала огромные торосы, расшвыривала льдины, и белые, черные, прозрачные берега снова зеленели желтели, рыжели...

Нечто подобное происходило однажды ночью в большом здании (верней, в целом комплексе зданий), затерянном среди тысяч и тысяч других зданий в многомиллионном городе, далеко от горной реки, за тысячами километров от всяких гор. Едва ли эта ночь была исключением, как мне теперь понятно, та ночь была обычная, рядовая, ординарная, каждый год их бывает столько же, сколько дней — 365 (или 366 раз в четыре года).

Впрочем, подобие, о котором идет речь, приходящее в голову человеку с воображением, сидящему на бугре над горной рекой и с неким мистическим ужасом наблюдающему грохочущую, ревущую перед ним воду, такая, скажем, ассоциация вполне субъективна, а потому может быть оспорена, ибо неспособна стать неким абсолютным, или, чтоб точней, единственным ключом к разгадке волнующей нас тайны. Как всякая ассоциация, или как всякая метафора. А потому я на ней не настаиваю, слишком она красива, слишком много в ней воли, ветра, воздуха,—красоты Божьей. Вполне может статься, что повозившись с «замком», я откажусь от надежды открыть его «ключом», подобранном вполне, как я понимаю, случайно. Но открыть «замок» мне необходимо, жизненно важно. Я поищу один, другой ключ, а нет—тогда попробую лом, не зря говорится: против лома нет приема. И тогда откажусь от случайно найденного подобия: горной реки, водоворота, воронки, ревущей воды, разламывающей в щепки доски и бревна. Откажусь безо всякого сожаления. Перечеркну или отрежу ножницами. И забуду о нем.



Скрежетнув еще раз тормозами и громыхнув обледенелым железным ящиком, встряхнув его так, что все содержимое ёкает, как одна огромная селезенка, машина вползает в шлюз; мотор продолжает работать, но ему не заглушить грохот задвинувшихся ворот. Впереди раздается новый скрежет: подвывая, раздвигаются, уползают в стены вторые ворота, железный ящик снова встряхивает, ёкает огромная селезенка, там что-то с шумом валится, падает друг на друга, машина выкатывается из шлюза и через несколько десятков метров останавливается. Гремит ключ, гремит дверь, гремит еще один замок, гремит решетка — «Выходи!» В клубах морозного пара на снег перед машиной вываливается содержимое железного ящика, в ранних зимних сумерках не разобрать лиц: бледные, грязные, обросшие — десять, двадцать, тридцать, сорок... Как они уместились в ящике? Машина отъезжает. Кучка людей на снегу озирается: тесное пространство между темными, уходящими в небо корпусами, над головами арка — переход из одного корпуса в другой... Рядом лязгает дверь: «Заходи!» Придерживая сползающие штаны, шлепая, загребая ботинками без шнурков, они втягиваются в открывшийся перед ними проход, в дверь. Сейчас она лязгнет за ними, захлопнется. Надолго? За кем-то навсегда.

Большое, темноватое помещение, трубка «дневного» света под высоким потолком не в состоянии его осветить... Что это? Комната? Нет, комната предполагает хозяина — его вкус, пристрастия, профессию, личность — да мало ли что, комната — это дом. Едва ли это вообще жилое помещение, нет ничего, что можно было бы назвать «мебелью» — ни стола, ни стульев, ни кроватей. Это и не присутственное место, в котором хоть что-то должно намекать на смысл присутствия. Некий «зал ожидания» — ожидания чего?.. Метров, пожалуй, тридцать, квадратных, потолок высокий, а потому кубатура большая, но первое, что ощущаешь, переступив порог — духота, сырость, грязный пар, табачный дым, густой смрад... Может быть, потому яркий свет под высоким потолком и не способен пробиться, осветить помещение? Загаженный, хлюпающий бе-

тонный пол, вдоль стен узкие железные лавки, против двери, под потолком два «окна» — метра в полтора шириной и полметра высоты, они забраны толстой решеткой, а снаружи, за стеклом загорожены чем-то еще; в темноте, сгустившейся во дворе, в котором тебе больше никогда не бывать, в темноте уже не разберешь — что там, но у тебя будет время понять и это. Слева от двери, в углу — сооружение, некий знак цивилизации, примета века, единственная здесь черта «домашности», но глаз на нем не отдохнет, и ты в первое мгновение в ужасе отвернешься: загаженный до безобразия ватерклозет, вода, не переставая, бурлит, он забит, лужа растекается, растаптывается — вот откуда грязь, хлюпающая под ногами... (Впрочем, способен ли ты сразу, одним взглядом окинуть, но главное — понять «помещение»? Кто-то, наверно, способен, а кто-то едва ли.) А ног множество: ботинки без шнурков с вываливающимися «язычками», сваливающиеся, шаркающие туфли, уверенные в себе (кажущиеся таковыми рядом с разоренными туфлями и ботинками) сапоги — они топчутся, шаркают, шлепают, сначала выбирают место посуше, осторожничают, потом привыкают, уже не замечают куда вступить — да и нет в этом смысла...

Пожалуй, надо было начать не... «Помещение» забито людьми. Не забито — переполнено, пятьдесят-шестьдесят человек — много это или мало для тридцати квадратных метров с узкими железными лавками — половина стоит, топчется, потом начинают перемещаться. А железная дверь то и дело открывается — с лязгом и с лязгом захлопывается, входит кто-то еще — один, двое, трое, сразу пятеро. Останавливается, топчется, озирается, приглядывается, потом ботинки без шнурков, сваливающиеся с ног туфли, сапоги начинают ступать, шлепать, шаркать, уже не осторожничая. Вот о чем речь: что их занимает раньше — тех, за кем с лязгом захлопывается еще одна (которая уже по счету?) железная дверь — странность, скажем, «помещения», в котором они оказались, или скопление людей, находящихся в том же положении? Важно это — что раньше?

Гул стоит в помещении. Как может быть иначе, если пятьдесят-шестьдесят человек собраны вместе — да что б там впереди у них ни было! — как в предбаннике, в приемной «присутствия», в зале ожидания — да что б там ни ожидалось!.. «Закурим, отец? — Закурим!» И вот ты уже сидишь кто-то подвинулся, кто-то встал

пойти... Словно бы посветлело — или пригляделся? Кто-то привалился головой к стене, глаза закрыты; чей-то воспаленный взгляд прикован к лязгающей двери, встречает каждого, кто входит; кто-то рядом спрашивает, спрашивает соседа — о чем не разобрать, а тот на полслове встает и отходит; двое фланируют, ловко обходя бессмысленно топчущихся: один в распахнутом пальто, шляпа в руке на отлете, лицо мятое, заросшее, прихрамывает, возит ботинками без шнурков под сползающими штанами, второй — в телогрейке, в кирзачах, заглядывает ему в лицо, суетится, быстро-быстро говорит, горохом сыплет, а «шляпа» смеется — раскатисто: «Да быть того не может!» И все движется, говорит, курит, приглядывается, озирается... Живет! Неужто живет — такой странной, еще непостижимой, уродливой — потусторонней? — может, и потусторонней, во всяком случае, ни на что не похожей, но жизнью!

Может и верно, посветлело, едва ли, пригляделся — дым гуще, смрад тяжелее, дверь лязгает и кто-то еще, а за ним еще... «Здоров, земляк! Вон где встретились, или ты меня тут поджидал? — Погоди, не помню... Ишь какой, а Пресню летом, 142-ю — забыл? — Конаковский! — Он самый, из Конакова. — Гляди, живой! Что ж ты опять залетел? — Я-то ладно, а ты, земляк, чего тут — или служишь?» И кто-то еще, и еще... И все гомонит, шлепает, топчется, перемещается...

— Ты где жил, браток?.. — кто-то в углу.

Жил! — вот оно сказалось словцо, искомое, все объясняющая глагольная форма.

— Плюсквамперфектум... — бормочет очкарик.

— Чего? — Ты чего говоришь? Я спрашиваю, где жил, в каком, мол, районе...

Нет, не светлеет, показалось, ты опустился ниже, тьма гуще — вон как темно за решеткой, за загороженным чем-то снаружи окном, наверно, и двора того уже нет, все равно тебе его больше не видать. Жил, думаешь ты, жил, а теперь — что это?.. «Сборка» — прошелестело не слышанное никогда слово, прошелестело и... Но ты снова и снова вылавливаешь его в общем гуле, вслушиваешься в него, поворачиваешь так и эдак, пробуешь на вкус, и оно начинает обретать смысл, сначала внешний, ничего не говорящий, не объясняющий — нелепое название, технический термин, неспособный ничего сказать тому, кто услышит его со стороны, как название, определение, технический термин... Да и тому,

кто попал на сборку — сразу ли поймет, распознает, прочувствует вкус, запах, цвет, пока оно еще просочится внутрь и ты сможешь его разглядеть с разных сторон, ощутить, проникнуться неисчерпаемой емкостью слова... Сборка. И не пытайся вбить в формулу, подобрать сравнение, кому-то рассказать: «Привели, понимаешь, на сборку...—Куда?...» То-то и оно — куда? Но ты услышал, вырвал из общего гула, выхватил и впустил внутрь — оно само проникло, забралось, торчит гвоздем, стало твоим, вошло внутрь, пустило корни — и уже не вырвать, только с мясом, с нутром, если вывернут наизнанку... Нет, не сразу, потом поймешь. Но и когда дозреешь, не объяснишь, не суметь.

Гудит сборка, будто и не ночь, будто так и надо, будто ты и родился для того, чтоб узнать о ней не со стороны, чтоб не удивленно-недоверчиво пожать плечами, о ней услышав, чтоб она стала своей, твоей, чтоб ты понял, что мог и всю жизнь прожить до смертного часа, а ничего о жизни, не понять, кабы не сподобилось попасть на сборку. Но ты все равно не объяснишь, не сможешь, и никто тебя со стороны не поймет, не услышит.

2

Сколько же прошло времени... — думает он. Времени? Нет его, кончилось время с тех самых пор, как за ним лязгнула первая дверь. Пусть так, другое, чему в нем нет еще названия, проходит и он вдруг замечает — что-то меняется в общем постоянном движении, перемещении, шаркании, а казалось, всегда будет только так, какие могут быть тут... Дверь лязгает очередной раз, в общий гул врывается... Что? Будто ручей прорезает толпу... Сколько в ней — восемьдесят, сто человек? — думает он. Снова лязгает дверь, новый ручей течет, исчезает... И снова, и опять... Он вылавливает в общем гуле знакомое имя, его поднимает — поднимает, он не шевельнулся, не понял, его уже... Поднимает, и вместе с прорезавшим толпу ручьем, выносит...

Гулкий, темный коридор, переходы, один поворот, второй, сколько-то ступеней вниз, сколько-то вверх — и он в новом помещении.

На сей раз закуток метров в пять: яркая лампа, битком — человек пятнадцать; на пороге распахнутой двери куда-то некто в белом халате — врач? Глаза

за очками холодно-спокойные, устало-внимательные, их не забыть... Неужто видит каждого? — думает он.

— Он тут уже лет тридцать, мне кореш рассказывал, через него миллионы прокатились...

Умывальник, горячая вода, так бы и не отпустил рук...

— Следующий!..

По двое в распахнутую дверь.

— Что там?

— Пальцы к а т а т ь, не видишь!

Все он уже видит: лист, а на нем его знак, обозначение, паспорт в новой жизни, новое имя. А белый халат за древним деревянным ящиком, накрылся черным фартуком:

— Анфас! Профиль!..

Дорого бы заплатил за это изображение, такого у него никогда не было — так ведь и ничего такого никогда не было... А что было, что у него было, пытается он вспомнить и не успеваает...

Опять темный, гулкий коридор, переходы, повороты, вниз, вверх, лязгает дверь — и он снова там же, в смраде, табачном дыму, посреди шаркающих, перемещающихся, хлюпающих на бетонном полу... Его место занято — да нет у него своего места! И его уже нет — только обозначение, нетопырьи следы на белом листе, а где-то на пластинке — чужое лицо под новым его знаком.

Светлеет? Темнеет? Не все ли равно! Его уже нет — понятно? Был, был когда-то Георгий Владимирович Тихомиров, Жора, Жорик, Жоринька, мальчик с пухлыми розовыми щечками, юноша с пробивающимися усиками, студент с жадными глазами, подающий надежды аспирант, преуспевающий доцент, муж, отец, любовник, собутыльник, болельщик, меломан, шутник, всеобщий любимец... Где он, откуда он его знает, где они познакомились... И его снова выносит за дверь: гулкий коридор, поворот, переход, вверх, вниз, опять... Нет, другие повороты, другие переходы...

— Хрен запомнишь...

— За-помнишь!

Теперь человек двадцать пять, присмотрелись — свои! Шутки, разговоры, да в жизнь никогда б... Рядом шаркает, прихрамывает «шляпа», земляк из Конакова, очкарик-плюсквамперфектум... И шагают повеселей — застоялись!

— Куда нас?

— Медосмотр, вроде...

Вон как, хоть что-то нормальное, человеческое, из той, прежней жизни — может, была?.. Погоди, никогда теперь не торопись, забудь о своих нормах-представлениях...

Еще одно помещение, закрыли; темно, вплотную, шагу не ступишь, не отодвинуться, дыши вместе; в пальто, в шапках, а холодно...

— Рядом дверь во двор, дует, мы возле входа...

Не «выхода» — входа! Откуда-то пробивается свет... Еще одна дверь — из-под нее. Рядом с дверью — скамейка-не скамейка, прилавок, а больше ничего. Покурить бы... И будто подслушали, из коридора:

— Здесь — не курить!

— Холодно, командир!

— Счас печку затоплю, дай дров наколоть...

Шутник.

Долго стоим? Да ведь нет времени. Стоим и все. Открывается: яркий свет, белый халат, женщина — женщина!

— Раздевайтесь, по одному, не задерживать.

— Как раздеваться?

— Тебе показать? Догола.

И свет ушел, темень.

— Да мы тут сдохнем! Холод!

— А ты попрыгай... Прекратить базар! — из коридора.

У двери уже раздеваются, белеют тела, вещи на прилавках, шлепают босые ноги... Раздеваться здесь, с нами?..

— Предбанник, мать вашу...

Опять свет, кто-то, сверкнув голой спиной, скрылся за дверью.

— Давай, мужики, одна живем, попаримся...

Снова блеснул свет:

— Следующий!

— Ну что там, показал?

— Показал, у нас просто...

— Понравился?

— Им все сгодится...

Этот что-то долго..

— Ты чего там, земляк, иль не отпускала — угодил?

— Такой угодишь, я б ее...

— Давай, давай, следующий...

И вот он входит в спящий после темени свет. Кабинет врача: письменный стол, весы, офтальмологическая таблица... Шагает к столу по бетонному полу; женщина в белом халате поднимает голову:

— Стань у двери.

Он поворачивается, у двери резиновый коврик. Она глядит на него... На него? Так на него еще никогда не смотрели. Ярко намазанный рот, модная стрижка, смазливая... Но глаза — глаза!

Она берет ручку:

— Фамилия...

Открывается другая дверь, из коридора. Высокий, в меховой куртке, в лохматой шапке, очки в золотой оправе, румяный с мороза, холеный... На кого-то похож... Садится возле стола, сбоку, расстегнул куртку, шапку не снимает, ногу на ногу.

— Жарко тут у тебя.

— Околеешь.

Он переминается на резиновом коврике: две пары — тех же глаз!

— Слушай! — высокий поворачивается к ней грузным телом. — Ты представляешь, вчера вечером купил... кроссовки!

— Да ты что! — роняет, ручка катится по столу. — Где?

— Рядом. Иду, народ возле универсама... Да рядом, где столовая — знаешь?

— Ну!

— И народа немного, на час, не больше. Встал, а денег мало, на две пары, думаю, хватит...

— Что ж ты мне...

— Где б я тебя нашел, не уйдешь, народу мало, а простоял три часа: занимают, уходят, в драку...

Жжет пятки, примерзают к резине, за спиной нарастает гул из предбанника...

— Подхожу к кассе и тут...

И тут он не выдерживает:

— Может, я вам мешаю, — говорит он со своего коврика, — я лучше там обожду, когда освободитесь...

Две пары глаз уставились на него... Не на него, в упор они его не видят, и юмор его впустую, ушел, впитался в резиновый коврик — тебя нет, до сих пор не понял? Не забывай об этом, вот что в глазах, что уда-

рило, а разгадать не смог, да где ему понять!

Они уже не глядят на него:

— Подхожу к кассе, лезу в карман — трех рублей не хватает!

— Ой! И что ж ты?..

Дальше он не слышит, в нем выгорает последнее, что оставалось, что делало его тем, кем он когда-то был, но значит, еще мало встряхивало в железном ящике, мало проторчал на сборке, не понял, когда катали пальцы, «анфас-профиль», мало раздеть, поставить босым на резиновом коврик под спящим светом... Когда поймет как они на него смотрят... Тогда, может, достаточно будет, чтоб выжечь, что еще бурлит под покрытой мурашками кожей... Может быть, достаточно — но кто знает?

— Фамилия, Статья, На что жалуешься, Повернись, Нагнись, Раздвинь... Следующий!

Что-то, чему нет еще в нем названия — мохнатое, темное, чему отдали его в полную власть — плотнит, прессует время или то, что он называл временем, его уже закрутило, он успевает с какой-то непостижимой теплотой взглянуть на милую сердцу сборку, вдохнуть, ставший привычным, смрад — ко всему человек привыкает, думает он, а он уже целую вечность здесь прожил! — только успел затянуться сигаретой, а его снова выносит и тащит по коридору, переходам — сколько их, не знает, не успел счесть, да он и считать разучился — и в шкаф, иначе не назвать, не шевельнешься, ни рукой, ни ногой, стиснуло, прижало к стене, к открытому окну, форточке, а там за столом — свежая, в ямочках, розовая мордашка, глазки, реснички, бровки...

— Не тяни, вон вас сколько — что на тебе?

— Где на...

— Что надето, спрашиваю — не поймешь?

— Шапка чер... Да, черная, кроличья, — говорит он, спотыкаясь, — куртка синяя с подстежкой, свитер, шерстяной, серый, брюки серые, рубашка клетчатая, подштанники...

— Какие подштанники — деревня. Кальсоны, что ли?

— Кальсоны...

— Еще что? Есть еще что?

— Ботинки зимние, трусы, носки две пары...

— Трусы, носки мне не надо, у меня свои есть.

— Сигареты...

— Сигареты, продукты — не надо. Следующий!..

— Халтура,— шепчут рядом,— у меня чай — проне-
сем!

— А говорили шмон...

— Нормально, халтура! Им возиться неохота, ночь
кончается...

Весело на сборке, победа, смеется сборка, потеша-
ется, курит...

— Сейчас бы баня — и до места!..

— Слышь, браток, у тебя, говоришь, чай, дай по-
жевать?

— Пожужем!.. Ишь дура, моргает, так я тебе отдам,
суке...

Никто уже не сидит, возбуждены — курят, галдят —
уже все вместе... Как у них просто, думает он, им
весело, хорошо: чай, сигареты — что им еще надо?
А мне, думает он, что надо мне?.. Этого не может быть,
думает он, этого нет на самом деле, я болен и мне снит-
ся, сейчас проснусь, открою глаза: «Что с тобой, Жо-
рик?» — спросит она... Она?..

— Нормально! Перетопчемся!..

Лязгает, распахивается дверь.

— С вещами, на коридор!!

Половина, человек пятьдесят, а сзади уже гремит
дверь — остальных закрыли.

— Куда?

— В баню, малый, куда еще, не робей, погреемся —
нормально!

Коридор, вниз, вниз, поворот, еще один, еще — в на-
стежь распахнутую дверь...

Яркий свет, перегородка, широкий прилавок — длин-
ный стол, у стены проход в другую половину... Человек
десять встречают: веселые, ражие...

— А ну быстрее! Не тянуть! Все скидавай — догола!
Из карманов — на стол! Из сумок — на стол! Быстрее,
быстрее!.. Ты что глядишь — обмер? Оставишь в карма-
нах — запомнишь!.. Очки снимай — не слыхал, а то объ-
ясню! Живо, живо!..

Шмон. Генеральный шмон!

— Быстрее! Ботинки, носки — выворачивай! Карма-
ны — выворачивай! На стол! На стол! А ну!..

Свалка, давка, ничего не понять...

— Ты что — прятать? Я тебе сейчас спрячу, сука! Ру-
ки, руки — покажь! Выворачивай карман! А это что?..

Быстрой!.. Разделся — переходи!.. Присядь, присядь, сука... Открой рот!..

Один за другим, голые, босые, по бетонному полу — перетекаем за перегородку... В распахнувшиеся над прилавком форточки летят штаны, шапки, трусы, рубашки, разломанные сигареты, ботинки, куртки, сухари, кальсоны...

— Разбирай барахло! Живо! Одевайсь! Быстрой!.. Ты что, тварь, спрятать вздумал, обмануть! Чья сумка? Зачем чай рассыпал — перехитрить? Еще раз замечу — я тебя запомнил! — сгною в карцере, ясно?.. Одевайсь! Живо! Быстрой, быстрой!..

3

Странное ощущение было таким странным, что я ему не поверил, вздрогнул и оглянулся. Это мне едва ли помогло, другого я, само собой, не увидел, да и надо ли было оглядываться — ничего я не упустил: «отстойник» — называлась наша новая хата. Поменьше сборки, а та же мерзость, вонь, сортира не видать, нет его — значит, не долго, но и людей поменьше, половину увели, выдернули, а я не успел, дверь закрыли, прошляпил, сидят где-то рядом в таком же отстойнике, отмокают после шмона, и у нас тишина, проглотили языки, а из тех никого больше не увижу, жалко не поговорил с интеллигентом, а сидели рядом, чем-то он мне показался: ужас глядел в нем — а может, болен? — он его сначала иронией сбивал, ужас, к себе иронией, вот что ценно, это я отметил, разглядел, тем он, пожалуй, удержится, если удержится... Что-то с ним произошло после медосмотра, я и это заметил, он там застрял, дольше всех его держали, тогда он и поплыл. И этот хромой, в шляпе тоже выскочил раньше — зверюга, таких не видал...

Мысль летела, а я хотел ее остановить. Вот что я понял: важно — остановить, а она ускользала, ни на чем не мог задержаться... Но странность ощущения была в другом: я видел себя как бы со стороны — вот он я, а вот... И мне порой любопытно было наблюдать за собой — ну как ты себя тут окажешь? Всю их игру я сразу разгадал, расчет прост — да не было тут никакого расчета! То есть он, может быть, и был когда-то, давным-давно, а теперь всего лишь присутствовал в дикой канцелярщине, рутине, как нечто побочное, едва ли умышленное. Тут дьявол действовал, для своих целей

пользовался простым, домашним средством, приемом, хотя цели у них, выходит, общие — а как же иначе! Я и это, как мне показалось, усек, понял, а потому легче было — наблюдай себе со стороны, коль ухитрился и на себя со... Как еще обработать такое количество, а ведь ежедневно, из года в год, каждый вечер у них такое начинается и длится всю ночь, а может, и завтрашний день захватит, а что удобней, что проще — собрать вместе восемьдесят-сто человек и катать их всю ночь, а там... Ну что будет там я не очень себе представлял, хотя и наслушался — ох, чего-чего я уже не услышал! И это, кстати, продумано, берется в расчет, и если не в их расчеты, в его входит несомненно. С трех сторон идет обработка, сразу: формалистика — никак без нее нельзя! — заполняется карточка: пальцы, врач, вещи, шмон... Ломают тебя, корезат, перемальвают в суточной мясорубке — вот и второе дело, побочное. Но ведь ты не один — вон нас сколько, и все трутся друг о друга, пугают один другого — опытом или полным отсутствием оного, надеждами или полнейшей безнадегой — сколько мне уже порассказывали, я такого за всю жизнь не слышал. А сколько соображений!.. Вот к финалу я и буду готов, да разве «финал» — начало, все только начнется!..

Я на себя смотрел, и себе удивлялся: страха не было, ужаса — не было, порой... смешно становилось. А потому, когда тот «интеллигент» побелел — когда пальцы ему катали — эх, думаю, гордость в тебе выгорает, хотя бы скорей, а то сваришься! А после медосмотра... Что же с ним там случилось? И людей он боялся, сразу заметно, брезгливость была в нем — за что залетел, кто такой, что за статья?.. А не хитрю ли я с собой, подумал я, может я в себе прячу, что так легко в других углядел? От себя прячу, знаю себя, стоит мне туда скользнуть...

— Слышь, — толкает меня в бок, он уже давно бубнит, бубнит, а я перестал слушать, хватит, наслушался...

— Слышь, — говорит настырный, — ты, гляжу, простой мужик, здесь таких харчат. Они возле твоих сигарет пасутся, понял? Хватишься, а нету, пока-пока ларек подойдет, да и деньги, бывает, по полгода не дождешься, хотя и рядом, а этих шакалов не увидишь, все, счас по хатам...

Я лезу в карман и тащу две сигареты — себе и ему. Он берет, глядит на меня, глаза мутные, в себя глядит,

как и я, не один я такой.

— А ты что тут оказался? — спрашиваю, чтоб отвязался: сейчас встанет и отойдет.

Глядит на меня, мнет сигарету в пальцах — не видит.

— Да разве в том дело, — говорит, — ништяк, трояк схлопочу, больше не потянет, я и так с потягом, пусть до звонка. Мне, понимаешь, обидно, что они меня счас зарыли! Кабы месяца три мои, а дали бы полгода... Да я б сам — берите, чирик оттяну, да не было б чирика с такими... У меня, понимаешь, тысяч сто, считай, из кармана хапнули...

— Это как понять? — мне даже интересно стало.

— А вот так, — говорит. — Ты был когда в Таллине?

— Был.

— Был-был, где ты там был! У них сухой закон — понял? Берешь двадцать бутылок, у меня чемодан — аккуратно двадцать залазят, впритык, в мертвую, не брякнут, на поезд — и пошел!

— Погоди, — говорю, — нет там сухого, это у финнов, они в Ленинград ездят...

— Да ладно тебе — финны! Не финны — Таллин! Ты когда там был?

— Когда... — вспоминаю я, — года два тому, но я б слышал.

— Два года! а то счас, понял! Утром вылазишь из поезда, а на площади — таксеры, им сразу толкаешь, не мелочись, зачем зря в городе светиться — весь товар по полтора червонца, сечешь? Червонец с бутылки! Через два часа поезд — и ты дома, а на другой день... Да хоть через день, три раза в неделю, два куска в месяц, за три — шесть, а за полгода?!

— А ты там был? — спрашиваю.

— Да был-не был, знаю! Прихожу брать отпуск, месяц законный, у меня еще отгулы, а там увольняйте — зачем мне, я и без вас прокручусь, далее везде, верно? А секретарши нет в приемной, а на столе шапка — ондатра, в сумку ее... Да пошутить я хотел со стервой, у меня с ней свои дела, а тут этот наш выходит, а я ему давно поперек того самого, а у меня ходка по малолетке — им только дай, псам! Да я б отсидел, пойми меня, мне три месяца, я б к деньгам вышел...

Ну что я ему скажу, если у него нелады с арифметикой — его б в третий заезд взяли, когда б в первой прошляпили, куда ему, если он с шапкой сразу влип — че-

му его на малолетке учили! — и с чемоданом сюда, тогда бы крепко сел, пусть благодарит «стерву», что он-датуре подсунула!.. Дети, думаю я, кто ж они такие?..

Обрываю его на полслове, встаю пройтись. Тихо в отстойнике, шмон сбил спесь, поскучнели.

— Слышь, покурим?..

Лезу в сумку за сигаретами:

— У тебя, вроде, свои были?

— Были, были, у меня все было, они с меня образок материн сняли — зачем им, а мне мать — понял?

Как не понять, и я сползаю. Что-то держало меня, не давало скользнуть, знал — нельзя, еще днем, в воронок запихивали, сказал себе: «Ни за что!» — держался, не позволял, а тут...

Они пришли утром, в полвосьмого, нас двое было в квартире — я и зять, муж сестренки, она на десять лет помладше, как дочь, я и считал ее вместо дочери, так вышло, остались вдвоем, она еще в школу не ходила, а этот Митя, как с неба свалился. «Я тебе говорила, Вадька, такого приведу, он тебе братом будет...» Ты приведешь, думал я, повидал ее дружков-подружек, один другого краше: лохматые, горластые, а в душе пусто, два пишут — три замечают, а этот, ну правда свалился: все мое у него, а все его — мое, а ни ему, ни мне ничего такого не надо. У меня в ту пору смутно было и на душе, и... То есть хорошо, все только начиналось, поздно начинать под сорок, ну а коли так — не начинать, что ли? Я радикально начал, так мне казалось: все перечеркнул, со всем распростился, переехал к сестренке, начал писать... Тогда и дошло до меня — поздно; переехать просто, забыть где-то там барахло — и говорить нечего, да и работу, дело, все, о чем мечталось, друзей-приятелей... Потому и легко было, что ничего нет, пусто, но уже много прожил, чужое прожил, а оно так со своим срослось-перепуталось, а ума-навыка разобрать где то, где это — всегда ли хватало? Я и сбивался, одно за другое принимал... Но — придешь утром, рано-ранешенько в церковь, пустой еще, холодный храм, вдохнешь грудью ни на что не похожий запах, гулко шаги отдаются, прилепишь свечечку — и не заметишь, тепло станет, не оборачиваешься, спиной чувствуешь — не один тут! И вот уже: «Благослови, владыко! — Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и...» Хорошо? Не знаю, что-то было не то, не так, не туда, я ни

от чего не отказался, только приобрел, разве я хоть с чем-то расстался? Я стал богаче, вон у меня сколько — и то все мое, все, что у вас, а еще о чем вы и не знаете, никогда не слышали: ни на что не похожий запах, гулкий камень, свечечка, тепло, которое чувствуешь спиной, «Благословен Бог наш...» Откуда вам, а мне — откуда? Меня сбивало, мучало, что мне и там и там — хорошо, друзья — старые, новые, книги, о которых и слыхом раньше не слыхивал — и все это мне, для меня, но разве хоть что-то я отдал, я только брал, брал... Я захлебнулся... И там, и там было мне плохо: те же проблемы, а я их не способен решить, та же моя беда, а я ничего не могу — зачем тогда запах, свечечка, зачем тепло, если мне от того... Разве я другим выходил тем утром из церкви — таким же... Друзья, если старые, я среди них, как петух индийский — да ничего они не видят, не поймут! Все видят, меня видят. А если новые: благостность, умильность — убогость, думал я... Как мне это было связать, соединить, вычистить, не перепутать, впустить в себя — разве я мог в той моей жизни... Дня не хватало, ночи было мало, да разве я в лесу жил, в скиту, разве для того наш город предназначен — а для чего? Не знаю, за других — не могу, за миллионы — не возьмусь, а плотность вокруг я ощутил, а там гуляло, свистело, подбрасывало, ловило — да зачем меня ловить, подбрасывать... Мне иногда казалось, меня и не искушали, а каждый раз доказывали, что я ни на что не способен, нет у меня ни силы, ни воли — ничего во мне нет! И я шел мимо, мимо... Мимо своей вины, мимо своей беды... «Что ж это — просто игра?» — думал я.

И я сползаю дальше, глубже... Вот она главная моя беда, ужас, от которого прячусь, потому знаю... Такой щемящий счастливый сон — как обещание, как надежда, но и как предупреждение, расплата, возмездие... Кому возмездие? Мне, думаю я, кому, как не мне, разве не за что?.. Я просыпаюсь в слезах, оттого, что мне говорит кто-то, чей голос знаком, но я его не узнаю: «Она умерла!» Я просыпаюсь, знаю, что опоздал, ее хоронят, а я все еще сплю, хотя светло, поздно, и я выбегаю из дому, бегу по улице, а она чужая, я ее не узнаю, хотя знаю здесь каждый дом. Улица широкая, как шоссе, таких нет в Москве, а дома мне известны — скучные, безликие, один к одному. Людей мало, они шарахаются от меня, а я бегу, натыкаюсь на редких прохожих, спросить некого, слезы мешают видеть, но я не могу, не могу

опоздать! И где-то далеко-далеко — вижу процессию... Похоронную процессию! Как в замедленном кино, она проплывает через перекресток и исчезает... Но я видел — вот она! Я добегаю до перекрестка — такое же пустое шоссе, убогие дома, редкие прохожие... Процессия проплывает в следующем перекрестке. Я бегу дальше, главное не потерять их из виду, спросить не у кого... И так раз за разом: я знаю, куда бежать, но догнать не могу. Я плачу, размазываю слезы, очки запотели, я бегу, бегу... И вот оно — кладбище, успел! Все серо, нет цвета, редкие серые деревья, снег с серыми проталинами, кучка серых людей... Гроб закрыт, но меня ждут — меня ждут! Я подле гроба, все расступаются, я поднимаю крышку — она! «Господи, — говорю я, — этого не может быть!» И вижу: щеки у нее не белые, розовеют, веки у нее дрогнули, она открывает глаза — сонные, круглые, как у детей. Я наклоняюсь, она смотрит на меня удивленно, смущенно, я вынимаю ее из гроба, беру на руки, она — запеленутый младенец с яркими, проясняющимися с каждым мгновением глазами. «Прости, я заснула», — говорит она... «Она жива! — кричу я. — Видите, она жива!» «Ой, — говорит она, — как неловко, столько людей, а я заснула...» Я поднимаю ее на вытянутых руках, над нами голубое, бледное небо и она улыбается ему... И тут я просыпаюсь, уже по-настоящему, просыпаюсь в слезах... Что это было, думаю я, как раз накануне того, что сейчас происходит — обещание, надежда, расплата, предупреждение, возмездие?

Не знаю, что, но потому что мне этот сон был показан, до меня дошло сразу, как только услышал его крик из коридора: «Вадим, шмон!» Я только воду пустил, ополоснуться, мы накануне отвезли сестренку в роддом, крепко сидели с Митей, спирт был, и так нам хорошо сиделось, будто знали, тот вечер последний, о самом важном решали, как могли — как бы я пожалел, кабы не было у меня того вечера!..

Выскочил в коридор, а он уперся в дверь, ноги скользят: «Помоги!» — хрипит. Я помог, закрыли. И сразу звонки... «Ты что?» — говорю, ничего не понять. «Да я открыл, спросонья, а они там...» «Открывайте!» — женский голос. «Кто такие?» — спрашиваю. — «Прокуратура». Вон оно что! «Голый я, — говорю, — дайте штаны надеть, тем более, женщина... Звонки, звонки!» «Немедленно открывайте!» — Ломайте дверь, — говорю, — а мы пока штаны наденем...» Тогда я и подумал: вот

что мне нужно, чтоб чужого не осталось, чтоб ничего не осталось — а как бы я сам с этим справился, кабы с детства, с юности, а то в сорок лет, когда все окостенело! «Божья милость», — говорю Мите. А он глядит на меня, глаза у него большие-большие, ясные, а в них... Жалко ему меня. «Ты чистый лев», — говорю ему, а он никак не отдышится, их шестеро на площадке, столпились, мешали друг другу, никак не ждали отпору... Так ведь и мы их не ждали.

И я уже не могу остановиться... Разве я о том, что было, разве его глаза я сейчас вижу: себя я увидел со стороны, и так это странно — сощ, в котором не только не убежишь — ногой не двинуть. Я спокоен, четок, даже усмешлив, меня Митя держит на поверхности, мне надо его оставить, сохранить для сестренки, а во мне уже гуляет страх, не тот приснившийся ужас — надежда ли, возмездие, а скользкий, липкий страх, что углядел давеча в соседе, побелевшем интеллигенте, растопырившем пальцы в черной краске, как в кошмарном сне из комикса. Рога, копыта, хвосты, глумливые ухмылки, мерзкие хари — спортивные, подтянутые, хорошенькие, в костюмчиках, белые рубашки, при галстуках, черная грязная прядь прикрывает плешь, гнилые зубы, тошнотворный запах чужого, чуждого, липкие пальцы на книгах, бумагах, письмах, фотографиях, и — женщина с застывшим, постно-распутным лицом, в потном, светлом джерси, деловито-сучающая, с брезгливым равнодушием в рыбьих глазах. И час, и два, и четыре, и шесть, и белые рубахи сереют от пыли — сколько ее скопилось на антресолях, в старых матрасах, в забытых, заплесневелых пакетах в буфете... А телефон звонит: первый раз — звонко, радостно, второй — капризно, потом настойчиво, потом с раздражением, с удивлением, с недоумением, с непониманием, тревогой, страхом, потом — с отчаянием, криком... «У вас дети есть? — спрашиваю ее. — Дайте снять трубку, у него жена рожает». — «Надо было раньше думать». И я прекращаю сраженья за каждую книгу — не раскрытую, зачитанную, за каждую страницу — набросанную, не выправленную, завершенную, за каждое письмо, в котором выцветший почерк дороже слов — лезу на антресоли, ныряю в буфет, двигаю столы — скорей, скорей, хватит!

Мешки набиты: «Подпишите протокол. — Ничего я подписывать не буду. — Поехали!»... «Я давно придумал»

мал,— еще больше стали у Мити глаза, он расстегивает рубашку, снимает крест на суровом шнурке,— поменяемся?» Но и я давно придумал: у меня старый рублевый крестик на алюминиевой толстой цепочке, звенья мягкие, дернешь — распадаются. «Ты что,— гляжу ему в глаза,— у тебя золотой, все равно снимут». — «Пусть так,— говорит,— мы должны поменяться». Гляжу ему в глаза: не обманула, привела брата; шнурок крепкий — не порвешь, значит, и это нужно, чтоб врезался в шею, чтоб с кровью, чтоб...

— Да садись, настоишься, тебя сидеть привезли — садись!

С этим я в воронке оказался — как же! — и еще раньше, когда...

— Покурим?

— Покурим.

— Чего они тебя в кепезухе в одиночку засунули — особо опасный?

— Хрен их знает.

— А мы базарим: давай его сюда, чего он один хату занял! Сколько тебя продержали?

— Неделю.

— Вон как давят...

— Слушай, я тебя мог где-то видеть — личность знакомая?

— Само собой, меня те не видали, кто на трамвае за три копейки, а ты, небось на тачке?

— Бывало.

— А я в пятом парке, за баранкой, может возил. Ты не по книжной части?

— Вроде того.

— Тогда тебе Лёху в кенты — книголюб, за чистую любовь к книге страдает — верно, Лёха?

И этого я с воронка помню — длинный, светлые волосы падают на лоб, румянец, как у девушки, глаза большие, ясные: Митя, думаю, только лет на десять помладше.

— Это как же — за книги?

— Говорю, любитель! У бабки-соседки книг много, она не читает, глаза слабые. Этот артист решил установить справедливость, выждал, когда бабка по надобности в лавочку — и в форточку... Как ты такой длинный пролез — или салом намазался?

— Ладно тебе... — у Лёхи даже уши полыхают.

— Книголюб! А у бабки денежки, кольца-серьги — старорежимная бабка, а Лёха?

— Я не смотрел, — Лёха злится. — Покурим?

— Да вон, возьми у человека.

— Кури, кури, Лёха, — говорю я.

— Какие ж ты книги выбрал, Лёха? — он не отстаёт.

— Хорошие. Гоголь, Достоевский, — смотрит на меня, улыбка все отдашь. — У меня рюкзак маленький, если всего Достоевского — тома большие, старые, другие бы не влезли...

— Во какой! Ты б сообразил — коммерция! — комплект дороже, кому нужны разрозненные? Или ты брал, какие не читал?.. И представляешь, тем же манером в форточку — и по улице, а навстречу участковый: что, мол, тащишь, — книги, куда — в магазин, сдавать, где взял, а он говорит — у бабки!..

Лёха поднимается и отходит.

— Ему б титьку сосать, — говорит он, и я вспоминаю:

— Слушай, тебе говорили, на кого ты похож?

— За смену чего не услышишь.

— Крючков — чистый Крючков!

— Артист, что ли?.. Его б сюда, того артиста.

— А ты тоже книголюб?

— Я-то? Я, парень, крепко сел. Сто вторую шьют, а я хочу на сто восьмую перейти...

Вон оно что! Гляжу на него, молчу — ай да «Крючков»!

— У меня третья ходка, первая — малолетка, вторая — только права получил — наезд, унюхали, а тут... Давай еще сигарету...

Курим.

— Квартиру получил, однокомнатную, в парке — порядок, пять лет кручу баранку. Надоело одному, сам понимаешь, башли, летят, привел бабу... Да нормальная баба, все, как говорится, при ней, зарегистрировались, прописал. А у нее до меня мужик. Был и ладно, у кого чего было, тоже намыкалась — лимита. Я предупредил: если что — убью. В поликлинике, медсестрой, а там главврач — старый пес, лет пятьдесят, не знаю чего у них, может, она боялась — уволит. У меня смена ночная, а тут выхожу, напарник разбил машину, у нас полчка, посидели с ребятами, иду домой, тортик прихватил, она у меня сладенькое любит. Открываю дверь — сидят! Коньяк, то-другое и постель разобрана. Они

мне, видишь, прямое вешают, с умыслом, а на что он мне, я ей обещал. Он зеленый стал... Да не глядел я на него! Выпьем, говорит, разгонную, и мимо фужера льет на стол... Если б он смолчал, я б его пальцем не тронул — не надо мне! — а тут затрясло...

— Понятно,— говорю.

— Как не понятно! Я ж не знал, что у него сердце, еще что, я его раз ударил по шее, ребром, правда. Ногой добавил... Да он живой был, я видел, слышал — захрипел. Еще три часа жил — она свидетель, я-то сразу ушел. От сердца умер. А теперь десять лет — мои, а вернусь — куда? Она десять раз замуж ходит в моей-то хате. А ты говоришь, Крючков...

— Тебе адвокат нужен хороший, тут психология,— говорю я.

— Это я сам знаю, но хорошему надо деньги хорошие, а где у меня? Теперь другое, я на черную пойду, понял? На строгац, лесоповал — не вытянуть, у меня одна надежда — туберкулез косить, был когда-то, я потому соскочил с малолетки. Врачу задолбил, теперь флюорографию пройти и... Вот и курю, не вынимаю — может, треснет чего надо... Ты говоришь, неделю сидел, а я четыре дня, хватило, все-все надумал...

Вот и мне подарили неделю на то ж самое, они для своего — сразу задавить, а Он для Своего — подумать кто я и зачем все...

«Раздевайся, — пожилой мент, в усах, — ремень, шнурки вынимай... Ишь снарядился, или знал, что у нас не баня?.. А это что — снимай!» Вот она первая сдача, первая, она и другие потянет — нельззя! «Не я надевал, не мне снимать», — и шей чувствую митин шнурок. Он внимательно глядит на меня, спокойный мужик, мы вдвоем. «Тогда очки». Снимаю очки. И он мне через голову, аккуратненько, не задел даже. «Распишись: часы, крест желтого металла... Что у тебя еще? — Двадцать пять рублей. — Ну, если сказал, запишем...» Вон как, а надо б знать, пронес бы — мой, на шмоне отобрали б — и в карточку, два с половиной ларька — знать бы! «Сигареты, спички оставь, смотри, чтоб чисто, не сорить...»

Просторная моя первая хата. Узкое пространство возле двери и сплошные нары, вытертые до блеска, отлакированные — сколько тут перележало! Свет тусклый, не почитать — а что читать и очки не отдал. На ощупь. На стенах корявая «шуба» — набросали известку, совре-

менный интерьер! Под потолком забитое окно, холодно, и первое что делаю — сооружаю крест из спичек, втискиваю в «шубу» у изголовья, пристраиваю. Ночь уже, помолиться — и спать! «Господи, благодарю Тебя, я один — один!» И Он накрывает меня, и Она со мной — Мать Божия, и такая тихая ночь опускается, такое умиление и благодать...

За всю жизнь не было такой недели, только Господь Бог и я, и вся жизнь передо мной, год за годом, и нет случайностей, как стройно все завязывалось, каждая встреча тянула следующую, всякое слово и всякий шаг отыгрывались, и в какое ничто тянули возможности, от которых что-то, но спасало...

День третий — прокурор, обвинение, набор знакомых нелепостей: «Подпишите»... Да я и думать забыл о прокуроре, в первый час все решил! «Ничего я подписывать не стану. — Ваше право, теперь свободны, хотите говорить, хотите — врете, хотите — молчите, но будет хуже. — Это я и без вас знаю. — Кто ж научил? — Вы и учили всю мою жизнь, не забыть, потому и свободен, верно говорите, а как вы станете ходить с моим обвинением в портфеле, в душе, жизнь у каждого одна...» Не вижу без очков, но какой-то он тихий, не навязчивый — или мне и тут повезло? «У вас племянник родился два дня назад. — В тот самый день? — Не знаю, мне сообщили. — Спасибо, — говорю, — за это спасибо! Вы б сразу сказали, начали б с этого, я б все подписал! — Сейчас подпишите. — Сейчас не стану, завязал, когда-то вернусь, верно? Мне в глаза племяннику глядеть, да ведь и он мне в глаза посмотрит. — Ваше дело».

И еще четыре дня — один, один! Как хорошо, Господи, благодарю Тебя, Господи, благодарю за все... А за дверь — крики, бабий визг, топот... «Ты что меня руками трогаешь? Ты знаешь я кто?.. — Счас и ты узнаешь. — Руку, руку ломаешь!..» Сопенье, возня, хруст, с грохотом валится за стеной, гремит дверь... «Большевики не сдаются!.. Это есть наш последний, и...» Час, другой, голос тише, слабей... «Развяжи, сука!.. Руки испортишь, мне работать!.. Ноги, ноги свело!.. Ма-ма!.. «А за другой стеной весь день базар, хохот, разговоры, крики: «Курить, командир!..»

Наконец — «Выходи!» За столом конвой — двое в тулупах. Мороз! И нас двое — еще один мятый. «А что у него с рукой, откуда повязка?» — «Не знаю», — говорит мент. «Дома порезал», — говорит мятый. «Справка, —

говорит конвой. — Нет?» Встают — здоровые, в тулупах: «Без справки — не повезем». Ушли. И нас обратно, по хатам. Еще один день — мой! И снова — «Выходи!» Из соседней камеры — толпа. «Очки отдайте! — И так хорош. — Без очков — не поеду! — Да отдай ему...» Без очков было лучше, теперь все вижу: с ними ехать? Обросшие, корявые, грязные, из котла... Да ведь и я такой же — за неделю! Воронок вплотную к дверям, только вдохнул мороза со снежком, а там уже сидят, набили, двинулись — и по всему городу, по судам, по райотделам, и решетку не отодвинуть, а все набивают, набивают... «Есть закурить? — Есть...» На чьи-то колени, на мои еще кто-то... «Пожевать не найдешь, с утра в суде...» — молодой, голова бритая, спокойный, один сидит, вольно, никто не претендует. — «Картошка вареная. — Картошка! Где ж ты ее сварил? — Из дома. — Не откажусь». И еще один тянет грязную лапу. «Все», — говорю... Сдавили, валимся туда-тюда. «Ты не из прокуратуры — очки?» — глаза злые, за картошку надулся, что не дал. «Пошел ты на...» — говорю. Тихо в воронке; только встряхивает. Бритая голова глядит на меня, молчит. Потом берет за полу куртки: «Ты, мужик, видать, впервой, запомни и не забывай: здесь такое не полагается, попадешь в непонятное». Запомню. Не забуду...

— ...это первое, понял? Сперва осмотрись, торопиться нам теперь — куда? Это я тебе, Лёха, а то у вас, у книголюбов, спешка, а там так влипнешь, не отмоешься. Это тебе не участковый. Ни к кому первый не лезь, в их дела не встревай, будет место — сами дадут, не проси, а нет — матрас на пол, сиди тихонько, приглядывайся — сечешь? Чай предложат или что — нет, мол, мотор барахлит — понял? Им только зацепить! Загонят под шконку — слух по всей тюрьме, хоть и не было ничего, не оправдаешься. А если особо настырный — бей первый, не жди, они это понимают, да у тебя другого хода нету...

Такая тоска у Лёхи в глазах, а Крючков давит и давит.

— А ты, — это мне, — уши не развешивай, лапшегоны, ни одному слову не верь, здесь никто правды не скажет, слушай, а сам про себя мотай — он выкупится. Не сегодня, завтра выкупится, на вранье поймал — куда он денется? И учти, запомни: в каждой хате — кумовской, это точно, хорошо, один, а на общаке их

полно, да и на спецу, они один другого жрут — кумовские, им обязательно спровадить лишнего — он и на него стучит, а тут вся игра, а у тебя точно свой будет, я тебя вижу, понял, мне говорить не надо — кто ты такой видать!..

Открылась дверь — еще одного втолкнули: здоровый, длинный, с мешком, ни на кого не глядит, а сразу усмотрел место, сел, мешок кинул в ноги.

— Птица, — говорит Крючков. — Слышь, земляк, покурим?

— Свои кури, — длинный и не посмотрел на него.

Молчим. Слил Крючков, подходит к двери — ногой!

— Чего надо? — из коридора.

— Давай в баню, командир, заждались!

— Я тебя сейчас попарю!..

Ты ж сам говорил — не спеши, куда лезешь?.. Никого не надо слушать, никому нельзя верить, и себе — нельзя...

А вокруг нового — шакалы, слух напряжен, все напряжено, ловлю сквозь гул:

— Какая ходка?

— Шестая.

— У-у... Долго гулял?

— Неделю.

— Статья?

— Сто сорок шестая...

— Это что? — спрашиваю Крючкова.

— Разбой. Говорю — птица, а тут мелюзга: чердачники, за карман, бакланы, добрый вечер, да этот наш книголюб...

Глубокая ночь, а сна нет, или отоспался за неделю? Что тут сон, а что явь; дым, вонь — явь или сон? Разбой, карман, добрый вечер, сухой закон, комплект Достоевского, главврач льет коньяк мимо фужера — неужто явь, а где-то там племянник чмокает губами, Митя — возле сестренки или бродит тут за стеной... Нельзя, говорю я себе, ни за что нельзя, все мое только здесь, сон ли явь — теперь мое, там ничего нет и не было, потому что никогда больше не будет. Никогда. И все-таки, сон: все вижу и ничего не могу понять, все слышу — и ни на что не...

Дверь распахивается, зашевелились, хлынули, а я ни рукой, ни ногой, а это чья рука берет мою сумку, кто надевает шапку, куртку?.. Коридор, Лёха рядом, Крючкова не видать...

— Плотней, не растягивайся!

Коридор, длинный коридор, гремит — и будто стоим на месте, нет идем: уклон, уклон, черные глухие двери — мимо, мимо, резкий поворот — назад, что ли? — те же двери, тот же коридор, под ногами захлюпало, узко, ступени, еще ниже и сразу — вверх... Впереди встали.

— Под-тянись!

Столпились, дышат как запаренные...

— Пошел, пошел!..

«Господи!..» — слышу я свой хриплый голос. А мы идем все быстрее, почти бежим, все тот же бесконечный коридор, те же черные глухие двери, под ногами хлюпает, холодный сырой пар... Расплывается перед глазами, очки запотели, а сквозь них — веселые, бритые, холеные лица, нарядные женщины, звонкий смех, беззаботность, уверенность, равнодушие, видимость дела... А здесь меня не было, все эти дни, ночи, годы — не было, а каждый день, каждый вечер, каждую ночь...

— Лёха, ты где?!

— Тут я...

— Давай вместе, не отставай! А Крючков где?

— Впереди...

«Господи, как хорошо, что я здесь, что я с ними, а не там, где был всю свою постыдную жизнь...» И мы почти бежим по нескончаемому коридору, мимо черных дверей, и я слышу, ощущаю, вот-вот пойму... Счастливый сон поднимает меня, я только шевелю ногами... «Благодарю Тебя, Господи, я знаю, это Ты распорядился мной, привел сюда, вырвал — навсегда! — из той, теперь знаю, чужой, чуждой жизни, дал мне коснуться Любви, которая и есть Ты!..» А вокруг, рядом, впереди, сзади, с надсадом, хрипом бегут — корявые, заросшие, грязные, и я с ними вместе:

— Лёха! Ты где?

4

— Приплыли! Теперь спать!..

Спать?.. Которое это по счету — седьмое?.. Верно, седьмое помещение, и опять другое, экая у них фантазия, каждое следующее — другое, думает он. Длинное помещение, у одной стены — от окна до двери, высокие, выше роста, в два яруса, черные металлические нары — шконки: полосы в два-три пальца шириной, толстые, в руку, стояки; между нарами и второй стеной — неширокий проход, у самой двери, как входись, обязательно об

него зацепишься, такой же запакощенный унитаз, окно низкое, стекло за решеткой разбито — холод.

— Да как мы тут спать будем — сдохнем!..

Разве они сдохнут! Уже попрыгали наверх, расстелили куртки, пальто, торчат сапоги, ботинки... Экая выживаемость, думает он.

Внизу, у окна — никого. Он проходит, ложится, поднял воротник, шапку поглубже, сумку под голову, закрывает глаза — и все покатило, замелькало: воронок, коридоры, унитаз, белые халаты, летят ботинки, куртки, шапки, кальсоны, сигареты — «Быстреей!..» Он открывает глаза... Нет, лежать так я не смогу, думает он: холодно, жестко на железе и сердце болит, печет, давит, а валидол остался на бетонном полу, растоптали, не собирать же было... Спасибо меня не затоптали, думает он. Затопчут, не торопись... Как они смеют — так со мной?

От окна метнулась серая, быстрая тень — кошка?..

— Глянь, крыса!..

— Тю!

— Га!

— Давай ее, гони!

— Вот она!..

— Держи!.. Сапогом ее!..

— Цыц, не тронь — нельзя! В тюрьме крысу — нельзя!

— А що нельзя?

— Примета...

Он садится на край шконки. Никто спать не собирается: сидят, курят, и наверху подобрали ноги — не улежишь: железо, дует из окна, изо рта пар... Что же ты наделала, дура!.. — думает он. — О чем думала, чем, как ты могла, сволочь, почему не откусила себе язык — кому сказала!.. Она, она, думает он, как он мог забыть — кому доверился? Что доверил — все только так и живут!.. Шлюха, думает он, просто шлюха, а он рассоплился, разомлел — ночи, рестораны, ветер в опущенном стекле на загородном шоссе... Сладко было? — думает он, — вот и сейчас ей сладко, или у них там почище? Ее б сюда, думает он, на железо, к крысам... И с какой-то мстительной радостью видит ее в неверном лунном свете: лицо бледное, зеленоватое, волосы, глаза, губы — черные, зеленовато посверкивают зубы, они оба под высоким берегом, по пояс в теплой, как парное молоко, папахивающей гнильцей воде, черные тени от повисших

над ними ив хлещут их черные лица, воду, она закидывает голову, влажные черные волосы закрывают лицо, поднявшуюся грудь, втянутый живот, в узкой руке черная, квадратная бутылка — пьет из горла: «Держи, Жоринька!.. Как живем — а? Ой, упаду — лови!» Как тебе теперь, суке, думает он, о чем ты сейчас вспоминаешь — не о том ли самом?.. Что тебя дернуло, резали, что ли, жарили, всех дел, что муж поймал, неужто первый раз — зачем ты меня-то, за что! Жоринька!..»

Сапоги пролетают мимо лица, едва успел отвернуть...

— Не задел? Тесно в нашем некурящем купе...

Ишь, вежливый... И он начинает вылавливать слова в общем гуле:

— ...хорошо, до бани, после бани тут караул...

— Тебе хорошо — больше двух лет не возьмешь, а мне?..

— Сразу место занимай — понял? Текучка, освободилось место — твое, ближе к окну, не как здесь, там дышать нечем, а возле окна какой-никакой воздух. А еще научу: подойдешь к стене, под окном, под решкой, губами, зубами — в стену, по ней воздух — вниз, свежий, чистый, холодный — лови, отдышишься и пошел!

— Да ладно тебе, воздух — мне б согреться, тепла...

— Нагреют!..

— Сразу себя поставь, не спрашивай, не проси, дашь спуску — задавят, мелочами, придирками или — велосипед, а то еще...

— Велосипед — это чего?

— Высунешь ночью ногу, в пальцы натолкают бумагу — и подожгут.

— Так это ж сгоришь?

— Сгореть — не сгоришь, а всем развлечение...

— Пересидим, месяца три, недолго, а там суд и...

— Ты что, малый — три месяца! Тебя за три месяца, хорошо если раза два к следователю дернут, тут годами сидят!

— Так не по закону?

— Закона захотел — в тюрьме! Я два года назад был, один четыре отсидел, он и сейчас, говорят, здесь припухает, сколько — шесть выходит? И все суда нет!

— Болтают, так не бывает.

— Не бывает, а есть. Генеральный директор из Монины, мануфактурщики, их тут человек двадцать, еще в Бутырках, один помер — за шесть-то лет, один ослеп, а

главный — директор, ты что — вся тюрьма его знает, вертухаи по имени-отчеству...

— Не сиди на железе, геморрой насидишь... — это мне.

А я на мягком насидел. Верно, лучше походить, на ходу не слышно — да хотя бы замолчали!.. Темно за разбитым окном — неужто все та же ночь? Год не вытянуть — а полгода, а три месяца?.. Одна надежда, что времени нет... Одному не вытянуть, думает он, на кого-то опереться, хоть с кем-то... Этот, вроде, попримичней, бывалый, может с ним?.. Если, верно, с ним, со «шляпой?» Еще «очкарик» был, был да сплыл, с ним бы поближе... Этому тоже, видно, одному тяжело, трется возле, не решается, скромный, а шустрых тут много... Рожа, конечно, жуткая, думает он, но разве в том дело, накушался красотой в лунном свете — или мало? Голова лысая, как бильярдный шар, глаза острые, не ухватить, в сторону — или нос мешает, загнулся сизым, угреватым крюком, цепляет щетину над верхней губой... Не приведи встретиться на узкой дорожке — неужто бывает уже? — а что-то в нем располагает, из одного профсоюза — все не один...

— Гонись? — спрашивает «шляпа».

— Что — гоню? — не понимает он.

— Расстраиваешься, сразу видать. А чего расстраиваться, жизнь, она в полосочку, сегодня здесь, а завтра... Ты, к примеру, знаешь, где я вчера был?

Он пожимает плечами.

— А где ты был мне известно — не понял? Соображать надо...

Чего привязался, сволочь, думает он.

— Где ты был, каждому дураку понятно, — не отстаёт «шляпа», — в кепезухе, а я — в большом зале.

— В каком зале? — попался он.

— То-то — в каком. А по виду, как говорится, интеллигент. Консерватория имени Модеста Чайковского! Эту самую давали... Доцент?

— Доцент, — механически откликается он.

— Вижу, что доцент. В медицинском?

— Нет, не в медицинском.

— И статья твоя мне известна — сто семьдесят третья, так?

— Так, — он отвечает уже обреченно.

— Все вижу насквозь и глубже. И игра твоя понятная — от восьми до зеленки. Объяснили в кепезухе?..

Плохая у тебя игра, а ты все равно не гони, не будь логом... Сумку не выставляй, раскурочат, охнуть не успеешь, я тут побывал, я везде побывал, знаю, народ, сам видишь, отпетый, так что держись за карман. Деньги есть?

Он глядит на «шляпу» с ужасом.

— Да откуда у тебя, у такого мышонка. Дай-ка мне ручку, записать, а то забуду, адвокату кой-чего задолбить. Он у меня тертый. Могу тебе устроить, башли берет большие — твоя баба найдет?..

Он, как замороженный, протягивает ручку.

— Импорт. Такую ручку надо чистыми руками, верно? У тебя мыло душистое, унюхал — давай, вместе с ручкой возверну в лучшем виде. У меня, как в банке...

Ручка сверкнула у него в рукаве — и исчезла.

— Ну-ка, молодые люди, дайте пройти инвалиду, фронтовику — на водные процедуры пробираюсь...

Какое-то время он стоит с вытаращенными глазами... Погиб, думает он, все, теперь... С шипеньем выходит из него пар-не пар... Запахло кислым...

— Поберегись-ка, парень, зашибу! — еще один прыгает сверху.

Он возвращается на прежнее место, садится на край шконки, у окна, здесь никого нет, дует, холодно, дрожащими пальцами вытаскивает сигарету... Откуда-то хлеб... Откинулась в двери, врезанная в нее, дверца — кормушка, оттуда буханку за буханкой, как дрова складывают на шконке...

— Разбирай, мужики, по пол булке!

Рядом с ним, он его давно приметил, самый грязный здесь — от липких волос до заляпанных рваных ботинок, берет буханку черными пальцами — и об колено:

— Держи.

Взял, держит. В кормушку передают миски — алюминиевые... Горячая, скорей на шконку. А ложки? Нет ложек. Хлебают из мисок, по-собачьи, лакают. Соленая, мутная жижа, рыбы кости... Завтрак?.. Быть того не может! Пожую хлеб, думает он. Сырой, липкий — глина. И хлеб не могу, думает он. Пить! Кран возле унитаза, все пьют... Да ведь та же вода, один водопровод в городе! Нет, не могу, думает он...

— Чай!..

Миски ополаскивают под краном, выливают в унитаз, забили рыбьими костями — и в кормушку, а там

наливают чай — в те же миски! Пьют. Нет, я и чай — не могу, думает он.

На полу огрызки, хлеб... Вот откуда крысы — примета! Примета чего?.. — думает он.

Дверь опять лязгает, снова движение...

— Что там?

— Флюорография!

— Это зачем?

— Зачем-зачем, кому повезет — туберкулез, белый хлеб, молоко, другая зона...

Хорошо, не пил, не ел — из тех же мисок!

Коридор, поворот, сразу — спасибо, рядом. Пожилая, усталая:

— До пояса, становись, руки отведи...

Что она там увидит — или снимок?.. Обрати...

— Теперь все?

— Все! Баня — и пошел!

Он уже не гонит... «Конец», — бормочет он.

— Выходи! С вещами!

И пошли считать повороты, ступени, переходы...

— Стой! К стене, мордой к стене!!

Из-за поворота — толпа: с большими мешками, красные, распаренные — из бани!.. Да это ж наши, те, что с нами на сборке, кто остался, не успел выскочить... Вон очкарик, зажал матрас под мышкой, рваный, торчит вата, в другой руке сумка с сигаретами, блестят глаза под очками, веселые — лучатся!.. Уже рядом...

— Плюсквамперфектум... — бормочет он.

— Держись, интеллигент, не поддавайся!..

— А ну мордой к стене — кому сказано!

Он поворачивается, а за спиной грохот шагов — и стихло.

— Пошел! Пошел!..

Они, выходит, раньше, обогнали нас... — отмечает он, не понимая зачем...

— Все, все снимай — в прожарку! Барахло — в прожарку! Сигареты, продукты — с собой!

Вешалки на колесах, с себя — на крюки — и в дверь. Старые бани: цветные изразцы, простор, лепной потолок...

— Кому стричь — заходи! — Еще одна дверь — парикмахерская!

Голые, волосатые, в наколках — да тут живопись...

— Держи ножницы — ну!

Тот же, он и без штанов самый грязный, отгрыз те-

ми же ножницами когти на копытах. Нет, мне не надо, мне уже ничего не надо!

— Расписывайся!..

Белый халат, бумаги на лавке: матрас — подпись, подушка — подпись, матрасовка — подпись, наволочка — подпись, полотенце — подпись, кружка — подпись, ложка под...

— Давай, давай — в баню! Бери мыло...

Обмылки на лавке. По одному в черную дверь...

— Вода холодная, командир! Давай горячую!..

Дверь сзади загрела, закрыли; холодно, сыро...

— Давай горячую!

Пустили горячую — пар, ничего не видно, льет сверху — душ! Много сосков, а не подойдешь, нас в три раза больше. Кипяток. Пар гуще, обжигает, разрисованные тела, как тени в преисподней, гвалт, крики... Там лучше было, под ивами, в лунном свете, — мелькает у него, — похоже?..

Что-то мне лихо... — думает он, голова плывет, дурно, где тут окно, надо подойти к стене, губами, зубами, воздух из окна — вниз... Нет окна. Тогда на пол... Ложусь или падаю?.. — думает он. На полу прохладней, можно вытянуть ноги... Кто-то наступил..

— Эй! Командир!

Долбят дверь...

— Тут один сомлел!.. Открывай! Помрет!..

Долбят, долбят дверь... Вода и он чувствует, всплывает... Несут, что ли?.. — успевает подумать он. И удивляется: какой яркий свет...

— Вроде, крикнул... — слышит он.

И свет ушел.

5

Пожалуй, это первая, реальная странность, все было до сего вполне обычно, рутинно, как у всех, а тут... Что тут? Вот и следует разгадать раньше, чем оно сыграт, а им надо, чтоб сыграло раньше, чем я соображу. А может, мнительность, как в анекдоте про зайца, который думал, что вся охота против него? И мнительность, несомненно, берется в расчет... Кем берется — ими или им? Они вместе... Попробую логику, хотя логики может не быть... Я был все время в толпе, со всеми, а сейчас выдернули, отделили — зачем? Что

было после отстойника? Добили ночь в этой жуткой камере, никто не спал; флюорография, завтрак — «могила», сказал Крючков, а мне понравилась, люблю уху, хоть и такую — горячая и пахнет рыбой: «могила», потому как одни кости. Нет, не Крючков сказал, Крючков не вернулся после флюорографии, значит удалось, закосил — белый хлеб, молоко. Ну и ладно, мне с ним стало тяжело, очень активен, а я не мог не глядеть на его руку, ребром которой он... Будет уходить, протянет, надо пожать... Исчез навсегда.

Значит, завтрак и баня. И баня была хорошей, согрелся после ночи на железе, правда, трудновато без очков, ничего не видать в пару, пекло — чистый ад; хорошо, Лёха помог, водил за руку, как слепца — эх, Лёха, Лёха! — где он теперь?.. Да, еще тот интеллигент, когда вели из бани — они навстречу, что с ним стало! Белый, глаза запали — что он пробурчал? «Плюсквам... А! Мое слово — запомнил! Может, вытянет?.. И вот после бани...

Решетка поперек коридора, подогнали вплотную, сопят, запарились — с мешками, матрасами... И тут меня вытаскивают — меня и еще двух, остальных в какую-то дверь. Лёха, милый Лёха! как он пролез через решетку...

— У него моя шапка осталась... — говорит вертухаю.

— Давай быстрее!

А он шепчет:

— Парочку сигарет, сунут в обшак, чтоб сразу не просить, Крючков сказал — нельзя, особенно сразу...

— Конечно, милый, — достаю пачку, одна неразломанная.

— Всю мне? — смотрит большими глазами.

— Тебе, тебе, Митя.

— Я не Митя, Лёша...

— Бери, бери, не пропадай.

— Счастливы вам...

Полез за решетку и вместе с толпой исчез. Навсегда.

И вот мы втроем, в боксе. Ондатра-сухой закон и длинный — Разбой. Почему нас троих? Тусклая лампочка, скамья — кое-как уселись, матрасы, мешки на коленях.

— Выходит, нас вместе, — говорю.

Разбой поворачивается, в глазах тоска. Если уж у него тоска!.. Впрочем, как не понять — только неделю погулял!

— Тебе со мной никак — у меня шестая ходка, особняк.

Поворачиваюсь к Ондатре:

— А у тебя вторая?

Кивает, молчит... Вон оно что! К ним приравняли...

— У меня такая статья,— говорю,— могут и на особняк.

Разбой блеснул глазами, скривил губы с брезгливостью:

— Какая там у тебя статья, не мели...

Сидим, курим. Полчаса, час?.. Душно в боксе и пить охота — после «могилы», после бани. Господи, думаю, что ж я все о них, о нем, разве они, он хоть что-то решают, разве и он не всего лишь инструмент в руке Того, Кем все это движется и мы живы, и разве хоть что-то может со мной произойти без воли Того, Кто... Господи, прости, помоги моему неверию!..

Дверь открывается...

— Выходи!

Коренастый, рыжий — старшина. Рядом дверь — и лестница: светлая, чистая, как в доходном доме; сетка между пролетами, каменные ступени — стертые! Рыжий впереди, бренчит ключами по железным перилам — Вергилий!

Второй этаж, третий... Открывает ключом дверь, кивает Ондатре, пропускает вперед, оборачивается к нам:

— Чтоб тихо, молчать!

Ушел.

— Тебя как зовут? — спрашиваю Разбоя.

— Володя.

— Ты меня поддержи, Володя, если что...

— Да я ж тебе говорю, тебя никогда со мной...

— Я что сказал?..— Рыжий на площадке.— Еще замечу!..

Ползем по лестнице, крутая, тяжело с матрасом, после бани, ночи...

Четвертый этаж.

— Давай,— Разбою.

Не глянул на меня — напряжен, собран — как в прорубь.

Стою один на площадке. Эх, думаю, вот она — странность... Выходит Рыжий.

— Еще выше? — спрашиваю.

— Я тебе вот что скажу, запомни,— глаза у него

бешеные, а зрачки прыгают, вздрагивают, что-то у него в глазах...— Ты тут первый день...

— Второй,— говорю.

— Второй, а я двадцать лет, понял?

Молчу.

— Если хочешь хорошо жить — со мной хорошо, понял?

— Как не понять.

— Давай вверх!

Лестница уже, круче, один пролет, второй...

Пятый этаж. Открывает ключом дверь, поворачивается:

— Ты в Бога веруешь?

— А ты как догадался?

— Я тут много об чем догадываюсь. Моли своего Бога — понял? Не ошибись. Сразу не ошибись...

Мы в коридоре: широкий, длинный и — далеко, в конце — решетка поперек, дверь открыта, люди...

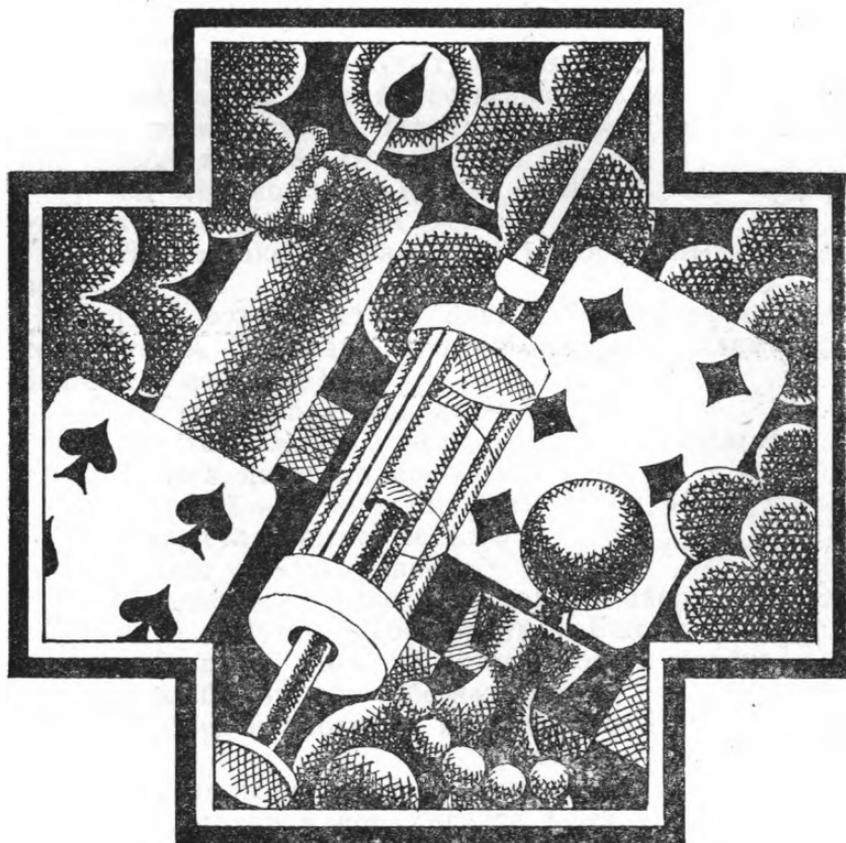
— Давай вперед.

Шагаю мимо черных глухих дверей, тишина — нежилой этаж?.. Оборачиваюсь спросить Вергилия — он кивает:

— Вперед, вперед...

И я подхожу к решетке.

Глава вторая
НА СПЕЦУ



Так бывает только во сне: слова складываются во фразы, слова знакомые, фразы построены — а смысла не уловить; голоса чужие, а с чем-то связаны, с чем не понять; ничего не понятно, а интересно, хочется досмотреть, дослушать, просыпаться не хочется... Ему тепло, он лежит на мягком, плывет... Всплывает! Он осторожно шевелит рукой, она неловко подвернулась, затекла... И тут ему становится страшно — он голый! От ужаса он открывает глаза: белая в потеках стена... Он скашивает глаза: простыня, он укрыт с головой, только лицо перед стеной свободно...

— ...второго разговора не будет,— слышит он,— ты меня понял?

— Как врачи скажут, гражданин майор,— слышит он другой голос, слова растягивает, с усмешкой.— Я человек подневольный, пятнадцать уколов осталось, на две недели, тяжелый случай.

— Ты мне мозги не пачкай,— слышит он.— Завтра этап на Пресню, там тебя уколют.

— Не по закону, гражданин майор, больного человека...

— Повторять не стану. Завтра этап, документы на тебя готовы. Тридцать градусов на дворе, зима еще полгода — не забыл?

— Это где ж так — еще полгода?

— Где тебя ждут. Хочешь остаться на полгода, до тепла? Ларек, передачи, свидания...

— Личняк? — он явно смеется.

Гремит стул — кто-то встал?..

— Я тебе устрою личняк?

— Человек не дерево, гражданин майор, а тут молоко, мясо... Шутка. Договорились. Еще б две недели уколы, больше не надо, не потяну, хотя и молоко.

— Я разберусь, кто тебе назначил.

— Рентген посмотрите, я, может, до Пресни не доеду.

— А меня не колышет, куда ты доедешь.

— Гражданин майор, давайте через месяц опять на больничку?

— Через месяц я на тебя погляжу.

— Гражданин майор, можно хотя через день? Уколы — и сразу в хату. Какой я работник, от боли не соображаю.

— Наглец ты, Бедарев. Я разберусь, чем тебя мажут.

— Шутка, гражданин майор. В какую хату?

— В двести шестидесятую. Спец. Сейчас там... Увидишь. Если помешает, уберем. Этого приведут сразу. Успеешь оглядеться?

— Не велика премудрость.

— Вот смотри... Запомнишь?

— Где, не разберу?

— Тут читай.

— Понял.

— Дня через три пойдешь на вызов. Или тебя учить?

— Грамотный.

— Тогда у меня все.

— Еще бы часа два, один укол, попрощаться с... персоналом.

— Ты эти шутки брось. Старшина!

Слышно отворяется дверь.

— Этого с вещами в двести шестидесятую. И сразу на сборку, заберешь другого... Вот его дело. Сам заберешь.

— Тоже в двести шестидесятую? — новый голос, позвонче.

— Не понял? Старый кадр и тебя учить?

Гремят стулья, все встали.

— Мою просьбу не забудьте, гражданин майор, больному поблажка.

— Смотри у меня, если что, разговора не будет.

Гремят сапоги, шаркают туфли, дверь...

— Боюсь, Ольга Васильевна рассердится... — да он несомненно смеется! — Беда с бабами, верно, старшина!

— Что? Что ты сказал?!

— Шутка, гражданин майор, баба тоже человек, а человек — не дерево...

Он уже все вспомнил. Вот я где, думает он.

Снова стучит дверь, быстрые, легкие шаги.

— Николай Николаевич? Вы что здесь? — голос грудной, с хрипотцей, и запахло — духи! — Непорядок, товарищ майор, тут тяжелый больной.

— Мне сказали, покойник... Ты назначила уколы Бедареву?

Не отвечает, легкие шаги рядом, теплая мягкая рука на запястье, духи плывут над ним.

— Николай Николаевич, я должна вызвать врача.

— Так он живой? Что ж они мне!..

Только бы не открыть глаз,— думает он.

Дверь отлетает.

— Ну что, крикнул? — веселый, с мороза.

— Кома,— грудной, прокуреный.

Дверь туда-сюда, шаги, много шагов. Шепот, шепот — над ним:

— Это ты — ты забрал Бедарева? — руку не отпускает, мягкая, горячая.— Ты, ты...

— Я его тебе оставил, замолкни. Ты еще объяснишь про уколы.

— Это ты, ты, я тебе...

— Где тут покойник? — деловой, знает зачем пришел.

Сдирают простыню.

— Да он жив!

Его переворачивают на спину и он открывает глаза. Но мгновением прежде, чем они у него открылись, слышит все тот же свистящий шепот сквозь густой, терпкий запах духов:

— Я тебе этого никогда не прощу... товарищ майор!

2

Еще дверь за мной не грохнула, я только переступил порог, а уже понял — чудо! Меня оглушила тишина, до того все гремело... Во мне, что ль, гремело? Не знаю, гремело с первого шага, как только лягнула за мной первая дверь, и когда было тихо, все равно, грохот, а тут — тишина, светло, чисто, блестит вымытая цветная плитка на полу, свет из двух окон сквозь толстую решетку, затянутую снаружи ржавыми ресничками-жалюзи, перебивает «дневной» свет потрескивающих под потолком трубок, вдоль стен двухэтажные железные шпонки, между ними длинный стол — отскобленные белые доски. Четверо глядят на меня со шконок вниз, наверху — никого.

— Здорово, мужики,— говорю,— куда это я попал?

— Куда надо,— высокий, сидит на шконке поближе к окну, светлые легкие волосы падают на лоб, свежий шрам через щеку.

Сбрасываю ботинки, без шнурков сами слетают, шлепаю по чистому, мешок, матрас кинул у двери.

— Чего разулся,— говорит высокий,— тут такое не положено — или мусульманин?

— Так чисто! — говорю.

— Обуйся!

Эх, вспоминаю, рассказывали, читал, полотенце кидает у порога, ноги вытереть, а я... Прокол! От радости, что все не так, как ждал — прокололся... Плыву, обо всем, что помнил — забыл!

— Хорошо у вас как, ребята!

— Нравится? Откуда такой? — высокий ухмыляется.— С воли? Чего ж тебе там, хуже было?

— Какая воля,— я даже обиделся,— в КПЗ неделю.

— Все равно, с воли.

Шагаю по камере.

— Есть свободные шконки? — да они почти все — свободны!

— Чего? — высокий.— Не торопись, раздевайся.

Стаскиваю куртку, на вешалку у стены. Сажусь напротив высокого, сумку с сигаретами на стол. На нем шахматы, домино, карта-самоделка, разграфленная цветными шариками, фишки...

— Да у вас тут дом отдыха!

— Санаторий ВЦСПС,— усмехается высокий.

Шконки двойные, между ними проход, залезешь, как в пещеру, низко, не разогнуться; у изголовья полочка-самоделка: сигареты рассыпью, коробка с табаком, спички, над полочкой цветная картинка из «Огонька» или «Экрана» — девицы на мотоцикле в купальниках.

— Как в каюте,— говорю.

— А ты бывал — в каюте?

— Пришлось.

— У тебя что за статья? — рядом с высоким у окна чернявый, волосы до плеч, лежит в матрасовке, голый рукой подпер голову.

— Вы мою статью не знаете. Никто не знает.

— Мы все знаем,— говорит высокий.

— Сто девяноста-прим,— говорю.

— Недоносительство? — говорит чернявый.

— Говорю, не знаете.

— Сто девяностая?.. Соппротивление властям,— опять чернявый.

— Промашка,— говорю.

С другой стороны под стол лезет лохматый, толстогубый, глазастый — мальчишка!

— Давай, Коля, УК — поглядим...

— У вас и УК есть? — удивляюсь я.

— У нас все есть, — встречает высокий.

Чернявый листает затрепанную книжку, толстогубый висит над ним.

— Ух ты! — вскрикивает толстогубый.

— Так ты диссидент, что ли? — чернявый поднимает голову от УК. — «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй»... Сахарова знаешь?

— Ну вот, — говорю, — пошли вопросы.

— Кого привели — чудеса!.. Мы с тобой кореша, считай подельники!.. — чернявый вылезает из матрасовки, он в купальных трусах с рыбкой на боку.

— На трусах у Коли рыбка, — говорит высокий, — а в трусах у Коли пипка...

— Ладно тебе, Боря, — отмахивается чернявый, — дело нешуточное.

— Спутать рыбку с пипкой, было бы ошибкой...

Господи помилуй — где я? Я ничего не могу понять.

— А как тебя зовут, дружок? — чернявый садится на шконке, вытаскивает сигарету из коробки. — Смотри как встретились — тебя за что?

— Француженку шаракнул, — говорит высокий, — или американку. Не нашему брату он эти — измышления, короче, слухи?

— Правда, — говорит чернявый, — за бабу?

— За бабу у нас половой террорист Гриша, — через стол глядит на меня еще один: здоровый, плечи, как у борца, в майке с картинкой, черные брови сошлись на переносице.

— Какая баба, — говорит высокий, — он бабы не нюхал. Чем баба пахнет, сосунок, — молочком?

— Чего пристал, — говорит толстогубый, — не тебя спрашивал?

— Чего?.. Меня спрашивать? У вас такие порядки в хате, в другой бы — головой в парашу и весь разговор...

— Ладно, Боря, — говорит чернявый, — дай с человеком познакомиться... Николай, — протягивает руку.

— Вадим, — говорю.

— Борис, — говорит высокий, — а этот щенок, поло-

вой террорист — Гриша, а вон Андрияха — угадай, кто по национальности?

Я пожимаю плечами.

— Фамилия — Менакер, — говорит Боря.

— Наверно, еврей, — говорю я.

— Слышь, что товарищ интеллигент утверждает?

А ты нам мозги пачкаешь, как любит говорить один начальник....

— Это начальников колышет, — говорит Андрияха, — а тебе зачем?

— Для порядка, — говорит Боря, — я только пришел, хочу знать кто у вас чем дышит.

— Так и ты первый день? — спрашиваю.

— Первые полгода, где я тут только не был.

— Он из карцера, — говорит Гриша, — видишь как ему нарисовали.

— За что тебя? — спрашиваю.

— Другой раз, время будет. Ты за что влетел — не из-за бабы же?

— Написал кое-что, — говорю, — о жизни.

— Так ты писатель? — у Гриши горят глаза.

— Признали, — говорю.

— Ну и что? — говорит чернявый. — Я может, тоже писатель, но меня... Погоди, меня за то же самое!

— Композитор, — кивает высокий, — оперу пишет.

— За такие слова Борис...

— Шутка, — говорит высокий, — вы тут все скучные, как девки в санатории ВЦСПС.

— Погоди, — говорит чернявый. — Ну написал, а дальше что?

— На западе напечатали, и еще кой-чего.

— Я говорил, американка! — смеется высокий. — Шерше ля фам.

— Так тебя за валюту? — Андрияха явно доволен.

— Все, мужики, — говорю, — я еще до следователя не доплыл, а вы мне такой разговор. У нас будет время, так, что ли, Боря?

— Пожалуй, — говорит Боря, — если я тут не заскучаю.

— Ты, правда, полгода? — спрашиваю.

— Я до лета присох, — говорит Боря. — Как-нибудь расскажу, запомнишь, продашь своей американке — башли пополам.

— Стоп, — говорю, — у вас, гляжу, и УПК, а там четко написано, сроки у следствия жесткие.

— Забудь,— говорит Боря,— тут тюрьма, а эта книжонка для дошколят, сранья мозги пачкать. Ты, рыбка, сколько сидишь?

— Одиннадцать месяцев,— говорит Коля,— скоро юбилей. У меня особый случай. ГБ, чуть не каждую неделю из Лефортова шастают.

— А чего к себе не заберут, охота им ездить?

— Теснота у них,— говорит Боря,— а тут сам видишь, простор.

— Так вас четверо?

— Трое гуляют,— встрял Гриша.— А вы член Союза писателей?

— Еще и прогулка! А я забыл, что полагается? Жить можно! — меня распирает.— Чего вы не пошли?

— От кислорода конидохнут,— говорит Коля.— Тут майор приходил, по режиму, кричал, как резаный, а я не пошел.

— Зачем еврею свежий воздух, так Андрюха? — говорит Боря.

— Сегодня не пошел, первый раз за четыре месяца,— говорит Андрюха.— Простыл. Прогулка — первое дело, если хочешь вытянуть.

— Так куда я попал? — спрашиваю.— Просветите, мужики.

— Ты на спецу,— говорит Боря.— Спец — три этажа, есть спецовские камеры внизу, где больничка. На спец пихают, у кого статья посолидней, если поделники, и еще кой-кого. Изоляция, короче. На общаке не удержать, ярмарка. Шестьдесят человек в хате, каждый день вызова, адвокаты, на суд, коней гоняют — большая утечка. А тут... Тут своя химия, у кого мозги крутятся.

Гляжу на камеру, вдыхаю тишину, светло, тепло, чисто...

— В такой тюрьме жить можно,— говорю.

— Ты тюрьмы не видел, браток,— говорит Боря,— наглядисься.

— Могут перевести?

— Здесь все могут.

— А ты давно, в этой камере? — спрашиваю чернявого.

— Два месяца. Хорошая хата, спокойная. Скучно, правда. Теперь повеселей будет, верно, Боря? — чернявый встает, захватил полотенце.— Пойду рожу сполоснуть, сегодня завтрак проспал.

— Кто-то тут у нас повеселится...— Боря помрачнел, ложится на шконку, вытянул ноги — и в петлю, кусок тряпки привязан к двум стоякам, качается.

И верно, как в каюте!

С грохотом распахивается дверь, вваливаются трое: один постарше, в ярком свитере, в тренировочных брюках, в кроссовках; двое в телогрейках; румяные, веселые.

— Пять километров пробежал, личный рекорд! — кричит спортсмен.

— Холодно? — спрашивает Андрюха.

— Нормально, — говорит одна телогрейка: длинный, нескладный, красные кулаки торчат из коротких рукавов. — Но мне того не надо. Больше не пойду, до суда хватит.

Третий молчит, раздевается: голова бритая, лицо круглое, чистое.

— Наглотались кислородом, охломоны? — спрашивает чернявый, он растирается полотенцем. — Подкосели? Давай, Вася, в покер...

Что-то не вяжется одно с другим, и с тем, что ждал, и с тем, что должно быть — не пойму, куда я все-таки попал?

Спортсмен садится рядом, стаскивает свитер... Ага, его место.

— Не помешал? — спрашиваю.

— Новый пассажир? — осведомляется спортсмен.

— Вроде того, — говорю, — если у вас пароход.

— У нас Ноев ковчег, советский, — говорит Боря, — семеро одних нечистых, а пары никому нет.

Вон ты какой, думаю:

— А кто за Ноя?

— Поглядим, — говорит Боря, — разберемся.

— Разбирайтесь, — говорит спортсмен, — а я еще денек побегаю и на волю. Вас опять семеро.

— Как на волю?

— У меня суд через день, хватит, насиделся.

— Неужто отсюда уходят? — я потрясен.

— Уходить-то уходят, — говорит Боря, — только куда.

— Не каркай, — спортсмен встает. — Пойду сало резать...

— Он у нас начпрод, — говорит Гриша, он все время крутится рядом, — а Боря теперь начкур. Давай сюда сигареты.

Даю ему сумку, потрошит, раскладывает на полочке...

И тут ржавый грохот врывается в камеру, я даже глаза закрыл от неожиданности — радио!

— Не нравится? — Боря глядит на меня.— Сейчас я его придавлю.

— Да мы пробовали,— говорит Гриша,— не залежь. В шесть утра врубают и до десяти вечера...

— Одна попробовала, тебе интересно, чего у нее получилось? — Боря встает, в руке что-то блеснуло, забирается на рукомоиник, тянется к сетке над дверью. А там ревет, булькает, трещит...

Оглядываю камеру: верхние шконки закрыты газетами, лежат книги, коробки-самodelки, тряпки; между окнами висит шкаф, сейчас открыт, там полки: хлеб, кружки, миски; под шкафом календарь с рисованной картинкой — голая баба под елкой; возле умывальника сортир, кусок матрасовки на завязках прикрывает вход — уют! За столом играют в покер, чернявый бросает кости, прыгает, кричит; бритая голова играет молча, улыбается, спокойный. Зимовка, думаю, так бывает на зимовках, читал в книжках тридцатых годов, и ребята такие...

Радио грохочет, ревет — и смолкло. Все повернулись к двери.

— А ты, глупенькая, плакала,— говорит Боря.

Радио снова взревело, он что-то крутит сквозь сетку, теперь слышен диктор, разборчиво, убавляет, прибавляет звук...

— Высший пилотаж!..— кричит спортсмен от шкафа.

Боря спрыгивает с умывальника, пролезает на свое место.

— Как они тут жили фраера, смотреть противно,— он закуривает.— Ты вот что, два дня переспешь у параша, другого места нет, на верх не лезь, а этот уйдет — будем рядом.

— Нормально,— говорю.

— Я тут наведу порядок...

— Слушай,— говорю,— он, правда, уйдет на волю?

— Едва ли. Но всякое бывает.

— Как думаешь, можно с ним передать... письмо?

Боря вытаскивает ноги из петли, садится, глядит на меня.

— Ты что? С ним двух слов не сказал... Тебе надо передать?

Чернявый влезает к нам.

— Темная лошадка,— говорит он,— не торопись, передадим.

— А я думал, у вас братство? — я несколько ошарашен.

— Ты в тюрьме,— говорит Боря,— никому нельзя верить.

— У меня есть канал,— говорит чернявый.— Если три дня назад, я в ООН отправил письмо.

— Куда? — спрашиваю.

— А что мне терять? Я уже отправлял Генеральному, в ПВС — все письма у следователя.

— Хороший у тебя канал,— говорит Боря.

— Так они и пересылают сюда, суки! Ты думаешь, здесь перехватывают? Не должны, канал верный.

— Чего я думаю, про то я думаю,— говорит Боря.

— Будешь играть?! — кричит Вася.— Или слинял?

Чернявый возвращается к столу:

— Сейчас я тебя заделаю, молокосос...

— Одно слово... композитор,— тихо говорит Боря,— больно шустрый. Ишь локаторы, услышал.

Радио бубнит, не слушаю, чернявый прыгает, гогочет. Андрюха говорит о чем-то с длинным малым, спортсмен у шкафа в конце стола режет сало, хлеб, чем не понять, поблескивает сталь, что-то втолковывает Грише... Для меня многовато, не переварить.

— Ложись,— говорит Боря,— отдохай. Сколько проторчал на сборке?

Ложусь, вытягиваю ноги только тут доходит — еле живой.

— Сутки прокрутился,— говорю,— веселый аттракцион сборки.

— Один у вас крикнул,— говорит Боря,— слышал базар, когда сюда тащили.

— Нет, такого у нас не было.

— Так не одна ж сборка, или вас не разводили?

— Развели, перед шмоном.

— Там можно крикнуть, особенно без привычки или нервишки сдадут.

— А ты не первый раз? — спрашиваю.

— Третий. Нагляделся. У меня шкура дубленая.

— За что сейчас?

— Расскажу, погоди. У меня пересуд, следствие. Сейчас начнут таскать через два дня на третий. Тогда и обделаем с письмом.

— Сила! — плыву от изумления.
— На каждую хитрую эту самую есть этот самый.
— Надо ж как повезло, — говорю, — и хата хорошая, и ты рядом.

— Кому везет — везет...

Гремит кормушка, откинулась.

— Бери ложку, бери хлеб! — румяная, веселая рожка скалит зубы.

— Очистить зубок! — кричит спортсмен.

— Давай, давай шленки! — кричит из кормушки.

Шестеро выстраиваются у двери, спортсмен бежит со стопкой мисок. Я сажусь на шконке.

— Лежи, — говорит Боря, — без нас хватит.

В кормушку передают миски, из рук в руки — на стол.

— У нас пополнение, — говорит спортсмен, — давай еще...

Швыряет миски — хлоп, кормушка закрылась.

— Три закосил! — говорит спортсмен. — Он считать не умеет, теперь еще второе...

И вот мы сидим за столом — дубком, каждый спиной к своей шконке. Я на краю, возле сортира. Нарезанный крупными ломтями хлеб посреди стола. Гриша рядом, подвигает два куска сала.

— Вы что, ребята, — говорю, — у меня пусто! Будет передача...

— Ешь, — говорит чернявый, Коля, он на первом месте, у окна, рядом Боря, — будет-не будет, у нас пока на столе.

Я и не подумал — перекрестился. Беру ложку, выдали на сборке — держало с обломанным черенком. Поднимаю голову: тихо за столом, все смотрят на меня.

— Вон как, — говорит Боря, — я гляжу, вроде, светлей стало, и чем-то потянуло другим, не нашим...

Едим. Щи горячие, капуста, картошка... Хлеб тот же — глина.

— А мне подарок! — кричит Гриша. — Глядите, мясо! Вытаскивает в ложке кусок волокна.

— Сегодня на сборке один крякнул, — говорит Боря. — Шустро управились: сварили и по котлам.

Н-да, юмор, думаю.

Быстрее, быстрее летит время: уже за окном темно, съели кашу — пшеничную, покидали туда по куску сахара; каждый вымыл под краном свою шленку; Андрюха намертво прикрутил к моей ложке обломанную зубную

щетку — удобно, лежит головой к столу, читает; длинный, Петька, завернулся с головой одеялом, спит; чернявый с Васей кидают кости. Сижу на Бориной шконке, спортсмен, зовут его Миша, вытянулся на своей, у него в ногах Гриша, лупит глаза.

— Так ты писатель, — говорит спортсмен, — прочитал, чего в библиотеках нету? Мы тут базарим: кто революцию сделал?

— Кто? — пожимаю плечами.

— Будто не знаешь! Еврей. Мы их тут благодарим с утра до утра. Каганович — кто? А Свердлов, Каменев-Зиновьев, Пельше...

— Зато теперь хорошо, — говорю, — Брежнев, Черненко...

— Я не про теперь, про то, с чего начали, а мы хлебаем.

— Слушай, Миша, — говорю, — меня посадили, что я, вроде, не то написал, а ты хочешь, чтоб я балаболит на эти темы?

— А при чем тут? — он поджимает ноги, курит. — Где поговорить, как не в тюрьме? И Ленин в тюрьме разговаривал...

— Не мели, сосед, — говорит Боря, — нам не надо, еврей-не еврей, мы тут все зэки.

— А кто еврей — один Менакер, и тот под сомнением?

— Смени пластинку, — говорит Боря, — сказано тебе.

— Круто взял, — говорит спортсмен, — не сорвался бы.

— Когда я сорвусь, — говорит Боря, ноги по-прежнему качаются в петле, — тебя ветром сдует, в кормушку пролетишь.

— Все, мужики, — кричит чернявый от стола, — брэк!

Верно, у него локаторы. Спортсмен поднимается, пролезает мимо меня, обошел стол, садится к Андрею.

— В море его б окунули разок-другой, сразу бы затих, — говорит Боря. — Ничего, он и тут утихнет.

— Так ты моряк? Не зря я говорю — каюта!

— Был моряк, а теперь сам видишь.

— На каком флоте?

— На сухогрузах ходил, стармехом.

— Далеко ходил?

— А по всему свету. Танкерá, вино возили. Большой каботаж.

— И в Америке был? — спрашивает Гриша.

— Земля круглая,— говорит Боря,— чего-чего не было. Это я когда второй раз залетел. Первый-то по контрабанде, и не судили — вчистую вышел до суда, а все равно считается — ходка. В Крестах полгода. Отдали — по пять сорок за день.

— Мне бы,— говорит Гриша,— я четыре месяца.

— Чего тебе платить, много получал?

— А говоришь, пять сорок.

— Ты ж студент, если не врешь, какие деньги... Да и зачем тебе — намажут зеленкой лоб и вся получка. И что тебя держат четыре месяца, кормят, я бы сам шлепнул без денег.

Гриша молчит, курит.

— Так вот,— продолжает Боря.— Привозят на зону, на Урал. Зима, наколодился в клетках — Киров, Пермь, и в барак. Ночь, они уже спать легли... Откуда, кто, базар. Из Питера, мол, моряк, то-се. С верхних нар сваливается, не видно в темноте. Ты, говорит, был на Кубе, мореход? Был. Помнишь, говорит, как мы уделали американов в Гаване, на ихнем празднике? Вадька! — кричу. Кент мой, ходил у нас штурманом на сухогрузе. Эх, мы тогда отделали американов, пряжками дрались.

— Какие пряжки у торговых моряков,— подает голос Вася от стола,— это у нас на военном пряжки.

— Медные,— говорит Боря.— Земля круглая, сказал мне тогда Вадька. Мы с ним три года отбухали, пока он не ушел по сроку...

Он говорит, говорит, Гриша в него вцепился, не отстает: порты, тропики, драки, женщины, а меня смаривает, больше суток не спал, а тут после бани, после щей, каши, после всего, что узнал, услышал: надо ж как повезло — хорошая хата, какой парень, другом будет... Японка на тихоокеанском берегу, а он ее раздевает, не может снять купальник: «У нее современные липучки, а я русский медведь, не понимаю, кручу ее, пыхчу, а она смеется, смеется...»

— Да он спит,— слышу Гришу.

— Ты б потерпел,— говорит Боря,— ужин, подогрев...

— Я без ужина,— говорю,— мне поспать...

— Тогда ложись,— говорит Боря.— Раскатай ему матрас, Гриша, рядом с тобой, не лучшее место, а все место.

Ложусь на левый бок, спиной к сортиру, и накрыться не успеваю, проваливаюсь.

Просыпаюсь оттого, что меня дергают за ногу.

— Вы его тут не придавили?

— Вы б не придавили,— слышу Борю,— кто в тюрьме будит?

— Молчать! Адвокаты...

Сажусь на шконке. Дверь распахнута, надо мной старшина — здоровый, мордатый; в дверях маячит офицер, вроде, старлей...

— Живой,— говорит старшина.— Вставать надо к проверке, чтоб больше этого не было... Все нормально, мужики? Восемь человек...— он чиркает в бумаге.

И дверь грохнула.

— Тебе ужин оставили, писатель,— говорит Гриша,— рубай.

— Нет, ребята, спасибо, я дальше спать.

— Здесь не говорят спасибо, за спасибо...— Петька длинный.

— Оставь его,— это Боря.

— Смотри, кум приходил,— говорит Андрюха,— старший лейтенант. Точно кум, он к нам на общак ходил.

— Такого раньше не было,— говорит чернявый,— к чему бы...

— Поговорил бы, Вадим, с рабочим классом,— перебивает Боря,— хватит спать.

— Простите, мужики,— говорю,— в голове карусель...

Встаю, отцепляю завязки у входа в сортир...

— Телевизор открыт!— кричит Петька,— не видишь?!

— Он не знает,— голос Гриши,— скажите ему...

Поворачиваюсь. Все глядят на меня, шкаф между окнами раскрыт, на столе миски с кашей.

— В тюрьме порядок,— говорит Андрюха,— когда кто ест или открыт телевизор, на дольняк нельзя. На общаке пришьют за это, а там не сразу увидишь кто ест.

Выбираюсь из сортира.

— Ладно вам,— говорит Боря,— законники.

Радио едва слышно, голоса сливаются в общий гул, четверо за столом играют, гремят костями, кричат... Не могу отключиться.

— Не спишь?..— Гриша рядом, приладил петлю к стоякам на своей шпонке, качает ногами.

— Надо бы и мне в мореходку, а у меня диспансер с детства.

— Какой диспансер?

— Псих. А какой я псих? И для суда буду здоров.

— У тебя экспертиза должна быть.

— Была. Тридцать пять дней на Серпах; сосиски, манная каша, каждую неделю передачи... Это у них и есть экспертиза. «Во время совершения преступления был вменяем». И опять сюда.

— Какая у тебя статья?

— Плохая моя статья. Сто семнадцатая.

— А что за «зеленка»,— спрашиваю,— чем он тебя пугает?

— У них легенда: когда расстреливают, лоб мажут зеленкой — номер пишут, чтоб мертвяков не путать.

— Почему расстрел? Вас что, много было?

— Их было много,— говорит Гриша,— а я один. Малолетки.

Закрываю глаза. Лежим бок о бок.

— Вмазал, вмазал!.. — кричит чернявый.

— Я не боюсь,— говорит Гриша,— и этих подначек... Я люблю ходить по городу. Ты где жил?

— Ты в Бога веруешь? — спрашиваю.

— Нет,— говорит,— я в себя верю. Не боюсь, что б они со мной ни сделали. Я... глупо попался. Я их у лифта ждал: идут из школы, в фартучках. И в лифте. А тут... Тут ее мать в окно увидела, ждала. Я тогда девчонку не тронул. А на Петровке испугался, рассказал и чего не было. Тянуло что-то. Восемь картинок. А зачем рассказал? Один бы раз, других они не знали — ничего б не было!

— Ты не понимаешь, что ты делал? — у меня нет слов.

— Понимаю, а что теперь толку? Головой об стену? Пусть за меня решают.

— Они решат,— говорю,— а если б ты в Бога поверил, если б захотел узнать, кто тебя на это толкал, Кто остановил и Кто спасет, если вывернешь себя наизнанку, заплатишь кровавыми слезами...

— Брось, Вадим,— говорит Гриша и качает ногами в петле,— я не хочу слабость показать, затопчут. Ты лучше про свои книжки расскажи — про что писал?

— Ничего я тебе не буду рассказывать.

— Верно. Тут не просто в этой хате. Я из Серпов вышел — не пойму, кто на кого стучит? Борис сильный человек, ему я завидую...

Распахивается дверь, вталкивают старика. Дверь не успевает закрыться, он снял шапку, телогрейку, кинул мешок с матрасом на пол, подходит к столу.

— Здорово, урки!

— Хорошо, мне на волю,— говорит спортсмен,— богадельня...

— Отсюда на волю только крысы уходят,— говорит старик.— Уйдешь, место освободишь, а я пока на пол.

Он раскатывает матрас против меня, под волчком.

— Откуда, дед? — спрашивает чернявый.

— Курите много,— говорит старик,— а я человек больной, два инфаркта имею, мне воздух нужен.

— Тут вагон для курящих,— говорит чернявый,— какая ходка?

— Не знаю,— говорит старик,— я только деньги считаю. Сосчитай мои ходки, если грамотный. Сижу с сорок пятого, последний раз рекорд поставил — полтора года погулял, а залетел, как фраер.

— Так у тебя, дед, юбилей? — кричит Петька.— Сорок лет победы, твой праздник, тебе орден повесят!

— Я тебе не дед, щенок,— говорит старик,— меня зовут Зиновий Львович,—он уже сидит на шконке, смотрит игру.— Надо ж, как залетел! Живу я, братцы, в Москве. Ну как живу, родился в Москве, а сорок лет отсутствую, причины уважительные — верно? Сестра у меня, Фанечка, между прочим, заведующая в магазине «Молоко» на Малой Дмитровке. Имею подружку, проживает в Медведкове, всегда ждет.

— Сколько годочков? — спрашивает спортсмен.

— Со школы не разлей вода, лет на пять помладше, а... как швейная машинка, не чета вашим пишущкам. Прописался я последний раз в Алексине, Калужская область, и дня не ночевал, некогда, заплатил хозяйке — и нет меня. Я в поездках, по два куска привожу в Москву через месяц-полтора — и к Фанечке, на Пречистенку. Как она у вас называется — Пречистенка?

— Кропоткинская,— говорит Гриша.

— Верно, грамотный. Иду, понимаете, как фраер,— шляпа, клифт, котлы, задумался, те самые считаю, каких у вас сроду не было. А он свистит, пес, а мне не

до него, сальдо-бульдо не сходитя. Не там улицу перешел у бывшего Храма Христа Спасителя — большое преступление, а он — паспорт требует. Так я тебе показал, псу, там много нарисовано, а он прилип. Да возьми ты штраф, говорю псу, а он на мою личность глаза вылупил. У них розыск объявлен уже полгода. И что думаете? Зинка-червонец, судья в районе, всем без разбора до звонка вешает, у нее зло, девчонку изнасиловали... Я ей говорю, что ж ты, сука, делаешь, у меня три инфаркта, я трех месяцев не проживу. А мы, говорит, гуманисты, мы вам, Зиновий Львович жизнь продлеваем, даем три года, живите на здоровье.

— Так два года дают за чердак? — встречает Петька.

— Давали. У меня надзор, три — к юбилею победы.

Голова у него лысая, блестит, зарос до глаз седой щетиной, уши торчат как у волка, острые, поросли серой шерстью, наверно у Ламброзо описан, а лицо... коммивояжер.

— Чем же ты промышлял, Львович, — спрашивает чернявый, — из каждой поездки по два куска — большой специалист?

— Лохов на мою жизнь хватит, — говорит старик. — Покупаю мягкий вагон в курьерском, люблю, чтоб спокойно и не курили. Сижу, поглядываю, могу в картишки, хотя рисковано, руки видно, лучше поговорить, а я везде побывал, все видел, могу о чем хочешь...

— Побывал! Сорок лет известно где... — говорит Андруха.

— Скажи, где я не был — и Сибирь, и Дальний Восток, и Средняя Азия, а уж Россия-матушка...

— Что ты видел — из столыпина, из зоны!

— Побольше твоего, щенок, хотя ты на мотоцикле... Едем, разговариваем, чайком балуемся. Гляжу. Человека сразу видно и чего у него в чемодане смотреть не обязательно. Ушли в ресторан, спят, поезд к станции, расписание в кармане, часы на руке. Беру чемодан, какой приглядел — и в тамбур, все ключи с собой, открываю двери, выкидываю чемодан под заметным деревом, а на станции выхожу, пирожков захотелось, горячих. И по шпалам, а лучше по насыпи...

— Да, дед, — говорит Боря, — ты, как теперь говорят, ретро, тебя в музее выставить, большие деньги дадут.

— А я не возражаю, договоримся. У меня четыре

инфаркта, чтоб тихо и не курили. А в музее за сигарету — три рубля. Точно мне. Поверх...

Хочу спать, в глазах песок, а не могу. Я уже не понимаю, кто из них что говорит, кто отвечает, путаюсь — явь ли сон, как вчера на сборке, я не могу понять — зачем я здесь, где я...

— Тихо! — вроде, чернявый, Коля. — Алла Борисовна! Вруби, Боря, сделай милость для общества...

— Писатель спит, — говорит Гриша.

— Его пушкой не поднять, видали, корпусной старался, чуть ногу ему не оторвал.

— Наглotalся, у него таблетки...

Кто это про таблетки? Не пойму...

«Паромщик...» — заныла Пугачева.

— У нас тут сидел один, спал с Пугачихой.

— В каждой хате такие, пройдишь по тюрьме...

— Во — баба!..

— Как же ты, дед, если тебя осудили, попал на спец, в следственную камеру?

— У меня пять инфарктов — куда? Не в осужденку, там не продохнешь, я им не дался.

— В больничку.

— Там не держат, последний инфаркт три года назад.

— За что ж ты первый раз залетел — сорок лет назад?

— Замочил одного на Сивцевом Вражке, днем, как счас помню. Кишки выпустил, псу, старый, а нас, сопливых, вложил.

— Сколько дали?

— Малолетка был, не много...

— Миш, а вдруг, правда, на волю через день?

— Погуляем, если бывшая теща-жидовка чего не придумает.

— А чего ей думать?

— Не знаю чего. Удумает. Переспал с собственной женой! Пять лет в разводе. Да она мне даром не нужна, жидовка!

— У меня второй срок был лагерный. Двух замочил. Пристали — еврей да жид. Я терпел, терпел, взял стамеску, в сапожном цеху работали... Ко мне в карцер приходит опер, капитан у нас был, тащит бутылку водки. Пей, говорит, Зиновий, последняя твоя бутылка. А я ему говорю, возьми, капитан, у меня деньги, знаешь где, тащи коньяк, за меня еврейский Бог хлопочет. Что

думаешь? Добиваю коньяк в карцере, еще бутылку тащит. Верно, говорит, схимичил тебе твой Бог, их живыми довезли, когда вытащили из вертолета, оба крикнули. А раз не прямое — ушел из-под вышки. Шесть лет добавили...

— В порту, в Дакаре сидит на базаре баба, ничего на ней нету, черная, и ее прямо там, при народе... Но это дорого, а если в ларьке, дешевле кружки пива...

— Ты бы мне, дед, продиктовал феню, у меня тетрадка, пять листов записал, мало...

— Тебе, щенок, в комсомол вступать, там своя феня.

— Не, дед, я не пойду на волю, хочу как ты, повиждать...

— На химию везли, после зоны, трое суток в пульмане, столыпина не хватило, без пересылок, набили, как сельдей... Видал, как скот возят?.. Во-во. Выгрузили в Котласе, дальше пароходом, построили, конвой, собаки, стоим, качаемся. А тут мент подходит, ему конвой наши дела, он их в сумку. Конвой кричит: «Кругом!» Повернулись, стоим. Пять минут стоим, десять... Мент ходит вокруг, вы что, говорит, чумовые?.. Обернулись — никого, ни конвоя, ни собак. Десять минут на воле, а шагнуть боимся! Мент каждому по червонцу, не напивайтесь, говорит, берите билеты, ждите меня на пристани... Эх, думаю, пристань порт, родная моряцкая жизнь!.. Мы его так напоили, мента, на руках тащили на пароход...

Котлас, Дакар, японское побережье, Сивцев Вражек, девочки с ранцами, в фартучках, с бантами в легких волосах, голая черная баба на африканском базаре... Рядом бубнят едва слышно:

— Его, Боря, надо убрать, он кумовской, голову тебе даю...

— Ты за него не бойся, сам уйдет, а не уйдет, бедный будет. Я тебе, рыбка... Ты недельку поживи и рви когти из хаты, я твою игру понял.

— Ты что, Боря?

— Я один раз говорю...

— Видишь зарик, щенок? Что на нем?

— Ну три.

— А здесь — что?

— Пять.

— Смотри — три?

— Три.

— А тут?..

— Так вот ты чем зарабатываешь, дед! Зачем тебе чемоданы?

— Я много чем могу заработать...

— Еще, еще покажь, дед!..

— Я ему в бане написал, на общаке: если ты меня, гад, вложишь... А что думаешь, почему меня на спец — вложил!

— Ты его на суде придави.

— До суда встретимся, гад буду, не спрячется — тюрьма движется, я в отстойнике написал на стене: «Петров кум, сука!»..

— Иду от Таганки — вниз, к бульвару, смотрю — Высоцкий!

— Заткнись — Высоцкий! Ну что ты балаболишь, губошлеп! Эх, на воле я тебя не встретил, своими бы руками задавил — и ничего б не было, за таких, как ты, только благодарность.

— Недолго осталось — намажут зеленкой и в штабеля...

Откуда-то сверху, густо, как в мегафон:

— Один, четыре, два! Один, четыре, два!..

Еле слышно, издалека:

— Один четыре два слушает!

— Я два шесть ноль! Позови Ваню!

— Один четыре два, Ваня слушает.

— Здорово, Вань, это Петька!

— Здорово, Петь.

— Как дела, Вань?

— Нормально. А у тебя?

— И у меня нормально.

— Тогда расход...

Что ж это, Господи, научи меня... Мне повезло, по-счастливилось, хорошая хата, этот мореход поддержит, поможет, я не один — это хорошо?.. «Различайте духов, от Бога ли они...» — вспоминаю я. Кто они — эти духи, бесы, мысленные демоны, что они хотят от меня, ищут, но у меня ничего нет, все забрали... Все? Все, кроме... Что же это? Искушения? Что они значат, сколько их было сегодня, начиная с той минуты, как вошел в камеру, ощутил тишину, покой, тепло... И передо мной внезапно возникает рыжий старшина, там на лестнице, Вергилий. Что он хотел сказать, предупреждал — зачем?.. Глаза бешеные, а в них вздрагивает, прыгает — что?.. «Моли своего Бога... Смотри не ошибись, сразу — не ошибись...» Зачем?

Больница — особое место в тюрьме. Всегда так было, сколько порассказывали, понаписали, не зря называют ласково — больничка. А те же камеры: железная дверь, кормушка, шконка, решетка на окнах... Те же, а не такие. Стены без «шубы», покрашены светлой масляной краской, белый потолок, простыни — ветхие, изодранные, а чистые, одну меняют после бани. И речничек нет на окнах, сквозь которые, если не отогнуть, и неба не углядишь. А чем ты ее отогнешь, разве старая, проржавела... А тут намордник — железный лист сантиметрах в двадцати от окна, и если глянуть вбок, увидишь: двор между корпусами, деревья; громыхнул шлюз, от ворот въезжают машины: под вечер воронки везут на сборку новых пассажиров — до глубокой ночи, утром — с шести до девяти, развозят по судам, на этапы; днем гремят грузовики — везут на кухню картошку, капусту; прошелестит «волга», «жигуль» — начальство пожаловало. Три раза на день баландеры тянут на тележках котлы — плещут щи, вышлепывает каша — видать какая; офицеры идут в столовую; в субботу вечером женщин из хозобслужбы водят в кино, они собираются под окнами, ждут «воспитателей», пересмеиваются, поглядывают вверх, знают — вся больничка прилипла к окнам — живые бабы! «Здравствуйте, девочки воровки! — кричат из окон. — Хотя бы чего показали!» — «Я тебе покажу — ослепнешь! — кричат снизу. — Решку прошибешь, если осталось чем!..» — «Верно!» — кричат сверху. — Воровка никогда не будет прачкой!..»

Женщины — особая материя в тюрьме, а на больничке — сестры, венерическое отделение, мамочки... Глянешь из процедурной в окно, пока сестра готовит шприц: в прогулочных двориках мамочки толкают коляски, сидят на лавочках, запеленутый младенец на руке, курят, жмурятся на окна... Месяц-полтора погуляла с младенцем и на этап, увидит ли его когда?.. Что-то удивительное в женском голосе, смехе, в подведенных глазах, а если посчастливится подробней... И кажется из камеры, сбоку через намордник, в открывшуюся кормушку — какие-то они светлые, веселые, силы в них, что ли, больше?

И прогулка на больничке положена два часа, хотя и не соблюдают, а есть право базарить, требовать — отдай мон два часа! И гуляют не на постылой крыше,

где ничего, кроме неба в клеточку сквозь ржавую сетку да обрыдшей высоченной трубы, гарь забивает глотку, подыши-ка на крыше... Больничка гуляет внизу, над стенами двориков с одной стороны обшарпанные корпуса — спец, за ним общак со слепыми, затянутыми ржавыми ресничками окнами, а с другой — деревья, психушка, не вольное здание, а все вольней, и покрашена в яркий зеленый цвет, и окна там посветлей, блестят стекла, решетку едва видно — весело глядят окна без ресничек, без намордников...

Но главное на больничке — пища. Вроде, и голода нет в тюрьме, какой голод, если хлеб остается, не упрямишься с глиной, да и зачем — передача из дома каждый месяц, а повезет, хата маленькая, у всех передачи, ларек... Нет голода. А попадешь на больничку, сразу поймешь, что потихоньку доходишь, доплываешь. Поставят в первый день на весы — мать моя, мамочка, куда ж твой вес делся? То-то штаны сваливались, через день пуговицы перешивал, свитер болтается, как с чужого дяди. А на больничке, каждое утро к пайке — белый хлеб по четверть батона, пол кружки молока, а девки из хозобслужки наливают полную, масла кусочек, граммов двадцать пять, кружка компота, не сладкий, а сахар свой, добавляй по вкусу, каша — и забыл в камере, что бывает такая! — манная, рис, лапша, и накладывают с верхом. Но главное, мясо. Каждый день перед обедом гремит кормушка и является миска с мясом, по числу зэков, куски в пол-ломтя хлеба — день свинина, день говядина. Редко, кто дождетя обеда — мясо на хлеб, посолил погуще, а если луковица есть! Кто посолидней, не замечают миски с мясом — а дух идет по всей камере! — ждут обеда, и в горячие щи: шлеп мясо. И каши не надо, сыт. Простое дело, кусок мяса, едва ли в нем граммов сто, пятьдесят, не больше, а через месяц, если продержишься на больничке, встанешь на весы — три килограмма набрал, и ходишь веселей, и ноги-руки на месте.

Одна тягость на больничке, потому многие не хотят, хотя надо бы — курить нельзя. Как ведут из отстойника, обязательно разденут догола, перевероят все захоронки — а все равно проносят, у каждого свои секреты... «Принес курить?» — первый вопрос в больничной камере. И сразу к окну, подымить.

Много возможностей добыть курево на больничке: из соседней камеры ночью подгонят «коня», поделатся;

прогулочный вертухай распахнет дверь, холод, неохота ему гулять: «Ну что, мужики, гулять или курить?» — «А сколько дашь?» — «Три сигареты на всех». — «Давай, больным людям кислород вредный...» Или заведут в прогулочный дворик после малолеток, у них хорошо с куревом, папа-мама подгоняют, весь дворик заплеван окурками — собирай да суши на батарее, кури, радуйся. А бывает — у кого-то амурсы с сестричкой, тогда вся хата с куревом, ждуть-не дождутся, когда у него процедуры.

И главный страх — выкинут с больнички, отправят обратно, неделю-другую разнежишься, нахлебаешься молока с мясом, снял напряжение, спишь, читаешь книжки и такой чернотой вспоминается камера, хоть и спец, а если общак... От того и мясо, другой раз не прожуешь, еще день, еще два — все равно отправят, сколько можно косить, да хотя бы ты был больным — кого это колышет: «Тюрьма не санаторий...» Что говорить, больничка — это больничка, еще бы телевизор, говорят ээки, весь бы срок с места не двинулся!

408 — лучшая камера на больничке: одноэтажные шконки, не камера, а — палата. Это потом разглядишь решетки на окнах, намордники, кормушку, сортир... Потом, не сразу, а сначала, как втолкнут — где это я? Светло, просторно, а глаз уже привык к двухэтажной тесноте; большая камера, два окна, а всего шесть шконок, седьмая — кровать с шишечками... И народ солидный, тяжелые статьи, да она и задумана, эта камера для тяжелых — не статей, больных! Но едва ли главврач решает в больнице кого куда, предложить — предложит, выскажет медицинские соображения, может и положить, скажем, ночью, в экстренных случаях, когда нет поблизости начальства, до утра, а там все в руках у кума, за ним последнее слово. Тяжелый он больной, косит или просто ему надо поменять место по каким-то таинственным кумовским соображениям — тут высшая математика, и не пытайся хоть что-то понять в тюремных перемещениях... Бывает, конечно, забиты камеры на больничке, а с одного, другого корпуса, со сборки, с осужденки ведут и ведут, размякли фельдшера-лепилы, позабыли где служат, или деваться некуда, болен человек, как бы не крякнул, а с лепилы спросят, не очень строго, но — зачем? Вот и определяют в 408 кого ни попадя, всех подряд, кладут на пол, под кро-

вать с шишечками. Не надолго, день-два и всех раскидают — и опять простор, чистота, отдохновение...

Пятеро лежат на шконках, шестой курит у окна.

— Ты бы, Гена, воздержался,— говорит старик, седая щетина, дышит с трудом,— сели на голодный паек, опухнем без курева.

— Я свои курю,— говорит Гена, здоровый лоб, под коротким серым халатом голые голенастые ноги.— А ты, Михалыч, и с куревом опух, тебе самая пора воздерживаться.

— Вон какой,— говорит старик,— то все было общим, когда было, а теперь, когда нету, у тебя свои оказались?

— Теперь за меня держитесь,— говорит Гена,— всех обеспечу.

— Что-то тебя не слышно было, тихий-тихий, а теперь, выходит, осмелел? — не отстает старик.

— Теперь по-моему будет,— говорит Гена.— Покури, осталось...

Старик жадно затягивается.

— Загадка,— говорит третий, он читал толстую растрепанную книжку, снимает очки, обращается ко всем,— на чем погорел наш морячок? Какие у общества имеются мнения?

— Не моряк он, никакой нет загадки, парашник, много болтал, складно, заслушаешься. Не надо ушами хлопать, не будет загадок,— старик докурил до пальцев, натягивает халат без пуговиц.— И мяса не везут...

— Сегодня будет тебе мясо,— говорит от окна Гена,— как повели на уколы, слышал, один крякнул на сборке.

— Пока еще разделают,— встревает еще один, лежит поверх одеяла в тренировочных брюках «адидаас», глядит в потолок.— Сегодня едва ли попал в котлы, не успел.

— Кто попал?..— маленький, лопоухий, встряхивает седым хохолком.— Куда?

— Погоди, Ося, и до тебя дойдет черед,— говорит адидаас,— толкнем, не опоздаешь.

— Стоп, балаболы,— говорит читатель растрепанной книжки, он опускает ноги со шконки, они у него, как бревна, красные, как у рака, в длинных синих носках,— ни одной темы не способны дотянуть. Неужто не разгадаем ихнюю хитрость — ну-ка, пораскинем мозгами?

Ему лечения оставалось две недели — курс уколов. Вы, как, Дмитрий Иванович, насчет этого?

Дмитрий Иванович тоже у окна, он белый, ссохшийся, рядом с ним шконка завалена папками, бумагами, он полулежит, оперся локтем о подушку, пишет в амбарной книге, очки на веревочке.

— Интрига,— говорит он,— не иначе у Ольги Васильевны любовное огорчение. Вот вам начало, Андрей Николаич, размышляйте.

— Это уже кое-что,— говорит читатель, Андрей Николаевич,— будем придерживаться гипотезы Дмитрия Ивановича. Красиво, ничего не скажешь, но неужто и на Ольгу Васильевну нашлась управа?

— Кто главней всех в тюрьме? — спрашивает адидас.

— Известно кто,— говорит Гена,— Петерс.

— Голубые глазки,— говорит адидас,— начальник тюрьмы, как Господь Бог — кто его видел? Он такой ерундой не занимается. Майор, главный кум, вот где искать, если охота докопаться.

— Гроссмейстерский ход,— говорит Андрей Николаевич.— Что скажете, Дмитрий Иванович? Вы у нас старожил, абориген здешних лесов — на чем держится власть Ольги Васильевны?

— На том, что кум ее тянет,— говорит Гена,— и на малолетке знают.

— Верно, голубые глазки,— говорит адидас.— Что должен сделать майор, чтоб пресечь и восстановить свое мужское достоинство? Убрать обнаглевшего зэка. Что проще, он осужден — на этап его и пошел.

— Так его не на этап,— говорит Гена,— я слышал, рыжий старшина сказал, как уводил — на корпус.

— Вот она интрига! — подхватывает Андрей Николаевич.— Конечно, нам не узнать, какой ход выбрал майор, но с Ольгой Васильевной должны разобраться, не зря каждый из нас ей на процедурах задницу подставляет... Он его не мог отправить на этап, Ольга Васильевна назначила лечение, удар по ней, майор бы не решился, себе дороже, ему с ней... А вот обратно в камеру — на общак, на спец...

— Только на осужденку,— говорит Дмитрий Иванович,— как его отправить на корпус — он осужден? Вот где разгадка, Андрей Николаевич, причем не Ольги Васильевны, а майора...

Лязгает кормушка.

— Дорофеев, к врачу!

— Чего?.. Я уже был, у меня больше нет уколов...

Дверь распахивается. Гена побледнел, везет погами по камере...

— Вот и неожиданность,— говорит Андрей Николаевич.— Так просто сегодня не кончится, еще что-то будет.

— А может его на выписку,— говорит старик у окна, Михалыч.— Я не пойму, чего они его держат — здоров, как бык.

— Его не выпишут,— говорит Андрей Николаевич,— скорей нас с тобой, хотя мы дальше сортира не дойдем. Этот тут крепко.

— Ольге Васильевне замена,— говорит адидас,— парень в соку.

— Не-ет,— тянет Андрей Николаевич,— ты, Шурик, плохо волокешь в женщине. Ольге Васильевне орел нужен. Уж если она решилась против майора... Нет, наш морячок был в самую точку.

— Не простой малый,— говорит Дмитрий Иванович,— я тут шесть лет, много кого повидал, морячок, пожалуй, из самых крупных.

— Интересно,— говорит Андрей Николаевич,— что, все-таки, в нем? Видный парень, умница, хитрый, битый — все так, но еще что-то, что нам, мужикам, не видать, а женщина сразу сечет...

— Когда без штанов, сразу видно,— говорит старик.

— Примитивно, Михалыч,— говорит Андрей Николаевич,— не для такой дамы, как Ольга Васильевна, этим наших барышень удивишь из хозобслужбы. Нет, Ольге Васильевне полет нужен.

— Они тут полетали,— говорит адидас,— я однажды видел, как он ночью вернулся — ночная процедура. Еле ташил ножки.

— Вас всех на пошлость тянет,— говорит Андрей Николаевич,— вы бы лучше вспомнили, как он рассказывал?.. Кто из нас его не слушал? С каждым по своему. А как Генке отрезал — тот две недели рта не раскрыл! Тут другое, это птица большого полета.

— Он кому-то и сядет на хвост, если его в камеру,— говорит адидас,— не позавидуешь.

— Ничего, выясним... Хотя зачем? — размышляет вслух Андрей Николаевич.— Но мало ли что, кого-то предупредить... Нет, пока сам не научится — не научишь, надо мордой об это самое... Так ли нет, но...

скучно без него, а, Дмитрий Иванович? Такая сила в человеке, пусть дурная, скверная, все равно привлекательная, а ведь я не женщина?

— Мне скучать некогда,— говорит Дмитрий Иванович.

— Понятно,— соглашается Андрей Николаевич.— Хотя знаете, Дмитрий Иванович, никто в вашу вышку не верит, не было б вас с нами на больничке — разве с таким приговором поместят?

— Это не приговор,— говорит Дмитрий Иванович,— запрос прокурора. Нелепость. Беззаконие. Я выйду из тюрьмы. Своими ногами. Докажу. Кой-кому не поздоровится,— он смотрит на папки на пустой шконке, такая печаль-тоска в глазах...

Слышно, как в замок вставляют ключ, скрежещет..

— Быстро разобрались,— говорит адидас,— Михалыч прав, выпишут несостоявшегося орла, голубые глазки...

Все глядят на дверь. Она распаивается...

5

Он шагнул через порог, дверь сзади грохнула... Стоит на подрагивающих ногах в рваных, на два номера больше, грязных ботинках, в желтоватых подштанниках с болтающимися завязками, в коротком, пахнущем карболкой халате без пуговиц; в руках матрас, простыни, подушка. Смотрит на палату: светло, чисто, с железных коек глядят на него спокойные, умытые...

— Здравствуйте,— говорит он, голос срывается.

— Здравия желаем, больной,— отвечает один, сидит на койке, расставил толстые, омерзительно красные ноги.

— Чего встал? — говорит от окна давно не бритый старик с опухшим, синим лицом.— Проходи. Не прогоят, обед, ужин твой, а там видно будет.

— Ты откуда? — спрашивает красные ноги.

— Я?..

Откуда он? Он и сам не знает — откуда.

— Я... из бани.

— Во как! — смеется красные ноги.— Ты не за пивом ли забежал?.. Прокофий Михалыч, не твой клиент? Познакомься, Прокофий Михайлович, директор главных московских бань — не встречал?

— Как же ты — из бани и сюда? Прихватило? — спрашивает третий, помоложе, вид приличный, в спортивном костюме.

— Сознание потерял,— говорит он,— не помню, что дальше.

— Дмитрий Иваныч,— говорит старик от окна,— придется убрать библиотеку — новый пассажир.

Ноги не слушаются, он с трудом переставляет их, подходит к столу, опускается на лавку.

— Испугался? — спрашивает красные ноги, глаза у него веселые, внимательные, словно бы участливые...

Нет, никому он больше не верит!

— Оставьте его, Андрей Николаевич,— сухонький старичок легко поднимается с койки, ловко-привычно собирает папки, бумаги, громоздит на подоконнике.— Располагайтесь.

— Да, Михалыч,— говорит тот, что помоложе, в спортивном костюме,— пролетел ты с мясом, ожил покойник. Так это ты, говорят, крикнул на сборке?

— Как... крикнул? — спрашивает он.

— Желтенький,— констатирует тот, что помоложе,— как еще оклемался, мог врезать дуба, если все в новинку.

— Сто семьдесят третья? — спрашивает красные ноги.

— Сто семьдесят третья,— подтверждает он.

— Нашему полку прибыло, можем продолжать конференции. Ты четвертый. Одного сегодня убрали... Устраивайся. Ося,— кричит красные ноги,— помоги человеку!

Тот, что лежит рядом с пустой койкой, вскакивает, прыгает седая прядь над большими красными ушами.

— Куда?.. Вызывают?..

— Глухой,— кивает красные ноги,— надо кричать в ухо. Милейший человек, повезло тебе с соседом. Да и вообще, считай, повезло, откуда хорошо узнавать тюрьму: все видно, а вроде не тут. Подготовительный класс, чистилище. Не робей. Или виду не показывай. Здесь таких не любят. Не понимают.

Плохо соображая, он стелет на пустой койке, не только ноги, и руки дрожат, не слушаются. Ложится поверх одеяла. Голова плывет.

— Ты с перепугу или, правда, сердце? — слышит за спиной того же, красные ноги.

— Не знаю,— говорит он,— пустили горячую воду, пар, упал на пол и... Ничего не помню.

— Они разберутся,— говорит все тот же,— ты бы намекнул, подсказал, соображать надо. Сколько лет?

— Сорок,— говорит он.

— Болел, небось?

— Было,— говорит он.

— Самое милое дело,— продолжает красные ноги,— если б у тебя давление, это они понимают и оставляют тут. Хотя бы дней на десять. Или язва, тоже хорошее дело, хотя у них рентген, могут поймать. Недели две продержаться, собрался бы с духом.

— Андрей Николаевич, вы верите, что у Бедарева была сто семьдесят третья? — спрашивает тот, что помоложе.

Бедарев?.. — вспоминает он, где-то слышал эту фамилию...

— Может быть, он уверенно рассказывал, складно...

— То-то, что уверенно. И слишком складно. Нет, не похож.

— Мало ли кто на что похож,— говорит красные ноги.— Я, к примеру, похож на зав сапожным объединением? Никто б не догадался. А почему? У меня другие интересы. А это для социальной принадлежности. Чтоб не вязались. Вписаться.

— Крепко вы вписались. И главное, надолго.

— Эх, Шура, знал бы ты мою жизнь!.. За мной она по пятам ходила, тюрьма, а я мимо, мимо. С детства. У нас во дворе, на Самотеке каждый второй — или вернулся, или увели. Все дружки-приятели, кореша. А как возвращались — ко мне! Я тут не был, а все знаю в доскональности.

— В доскональности я знаю,— говорит Дмитрий Иванович.— Едва ли есть камера, в которой я не был, и едва ли есть кто, кого б я... Я имею в виду — из администрации.

— Что ж вы отмалчивались, когда мы ломали голову над нашим морячком — вам карты в руки?

— Посидите с мое, научитесь молчать.

— Да, молчать не умею... Научат, всему научат... Послушай, баня, давай знакомиться, как тебя по имени-отчеству?

— Георгий Владимирович,— он бессмысленно глядит в потолок.

— Жора, значит. Это хорошо. Я, как уже говори-

лось, Андрей Николаевич, любитель поговорить и послушать...

Он переворачивается на живот, смотрит на говорящего.

— Этот спортсмен — Шура, близкий тебе по возрасту, а может, и по интересам. Прокофий Михайлович, у которого ты неоднократно бывал в гостях, в бане. Твой сосед Ося, с ним тебе, как уже сказано, крупно повезло — храпи, разговаривай, никаких претензий. И наш старейшина — Дмитрий Иванович Баранов, шесть лет несет, так сказать, вахту в этих морях-океанах, на этих высоких широтах...

— Как шесть лет? Так это... он? Я слышал на сборке, думал... быть того не может...

— Дмитрий Иванович, вон как приходит слава! Молодой человек не успел заглянуть в тюрьму, а про ваши подвиги ему известно!

Гремит дверь, он переворачивается на спину. Кто-то вошел.

— Уже привели? — молодой голос, напористый.

— Что там, Гена, почему задержка с мясом? — спрашивает старик.

— Пролетели вы с Геной, — говорит Шура, — мясо на своих ногах пожаловало.

Здоровенный малый в халате с длинными, голыми ногами садится в ногах койки, смотрит на него.

— Ты и есть Тихомиров? — спрашивает он.

— Я... — он приподнимается на локте.

— Что ж ты комедию ломал, мертвяка косил — и в бане, и тут?

Он спускает ноги, садится на койке.

— А почему... вы решили... — начинает он.

— Я решил! За тебя решат, тебя тут так раскрутят!..

Он беспомощно оглядывается, шестеро глядят на него...

— Все рассказывай, — говорит вновь пришедший, — до конца, тогда поглядим, что с тобой!..

— Ты, Гена, по чьей наводке базаришь? — спрашивает Андрей Николаевич.

— Я?... По наводке? Да я тебя...

— Цыц, — говорит Андрей Николаевич, и берет кость, он рядом с его койкой, — я тебя сейчас приделаю, паскуда... Чтоб не слышно было, понял?..

...Он ничего не был способен понять, не слышал, чем

закончилась перепалка. Впрочем, ничего не произошло: Генка поиграл желваками на побелевшем лице и отошел.

Принесли обед, шестеро сидели за столом, Андрей Николаевич на своей койке, так и ел, не вставая.

Ему подвинули миску, кто-то шлепнул в щи кусок мяса; Дмитрий Иванович дал ложку, сам ел деревянной... Нет, он не мог есть, проглотил несколько ложек, пожевал мясо. От каши отказался.

— Не могу,— сказал он.

— Зря,— сказал Андрей Николаевич,— выкинут, пожалеешь.

Генка сидел с краю, мрачно молчал, ни на кого не глядел.

После обеда Ося сгреб миски, потащил мыть. Умывальник рядом с сортиром, вроде, и вода горячая.

Выкинут, прямо сейчас выкинут,— стучало у него в голове, а перед глазами кружилась последняя камера, из которой их повели в баню: черные ледяные шконки, грязный пар из разбитого окна, в него прыгает крыса...

Его затрясло, когда распахнулась дверь:

— Дорофеев — выходи!

Генка выскочил за дверь.

— Вот вам и ясность,— сказал Андрей Николаевич.

— Грубовато,— сказал Шура,— и не скрывают.

— С кадрами у них плохо,— сказал Андрей Николаевич,— если такое дерьмо идет в дело. Сяешка. Что-то происходит...

— Ты, Жора, соберись,— сказал Шура,— они его точно под тебя готовят. Считай, и тут повезло — с таким дураком они каши не сварят. Сразу выкупается. Зачем он заорал? Эх, дурак...

— Жалко я его костылем не достал,— сказал Андрей Николаевич.

— Ему показать достаточно,— сказал Прокофий Михайлович.

— Чего ж они от тебя хотят, а Жора? — Андрей Николаевич вытащил кiset, сыпет табачок на клочок газеты.— Тебя из бани куда притащили?

— В какую-то палату... Не понял. Койка, стол...

— А кто там был? — Андрей Николаевич смотрит на него.

— Майор и... Бедарев, что ли? Так он его назвал.

— Вон как! — Андрей Николаевич зажег было спичку и забыл про нее. — Они при тебе разговаривали?

— Нет, — говорит он. — То есть, при мне, но я не слышал, очнулся, стал соображать, когда кто-то вошел, сестра, что ли? Высокая блондинка. Я не разглядел. У них конфликт с майором, ругались. Потом много набежало. А Бедарева увел, не видел. Майор крикнул старшину — и тот его увел.

— Понятно, Дмитрий Иванович? — Андрей Николаевич уже курит. — Все в масть! Теперь им надо понять — слышал он чего или нет? А-й-я-яй, такой прокол и для майора!.. А ты не будь лохом, не шутики, все забудь, и что нам сказал — забудь. Не слышал и все. Ничего не слышал. А то они от тебя не отстанут.

— Н-да, — Дмитрий Иванович отложил амбарную книгу, в которой писал, смотрит поверх очков, — кабы кто другой, не сам майор, пришлось принимать оргвыводы, а ему кто укажет? Замнут.

— К нему это не имеет отношения, к Жоре, — говорит Андрей Николаевич, — случайность, накладка: притащили покойника, а он ожил. С Бедаревым игра.

— А ты один, Жора, или у тебя подельник? — спрашивает Шура.

Он вздрагивает, смотрит на него со страхом.

— Да не бойся, нас тебе нечего бояться! Мы хотим понять во что ты влетел? — это Андрей Николаевич.

— Один, — говорит он. — То есть, еще... одна. На Бутырке.

— Баба вложила, — говорит Андрей Николаевич. — Как же ты до сорока дожил и ничего не сечешь? В институте преподавал?

— В институте, — говорит он. — Я не могу понять, как это может быть?.. Сборка п... Не где-то там — в Москве.

— Где-то там — это где? В Черной Африке, на Гаити? Чему ты студентов учил? Тебя гнать надо было из института!

— Не горячись, Андрей Николаич, — это Дмитрий Иванович.

— Зла не хватает!.. — Андрей Николаевич поочередно закидывает багровые ноги на шконку. — Живет, понимаешь, чистенький, переходит из класса в класс, из десятого в институт, начинает сам учить уму-разуму... Небось, отличник был?

— Нет, — говорит он, — не всегда.

— И тут ума не хватило... Что ж ты людей не видел, неужто у тебя никто не сидел?

— Нет,— говорит он,— не сидел.

— Ладно, не отец, не мать, не дядя-тетя, но из дружков-то, со двора, да в любой деревне каждый второй — или сидел, или вчера вернулся, а кто вернулся, завтра сядет. С луны свалился?

— Я в деревне не жил, я в Москве родился.

— Удивил! А мы, по-твоему — тамбовские?

— Что вы к нему пристали, Андрей Николаевич?.. — Дмитрий Иванович берет за амбарную книгу.

— А потому, что глядеть стыдно! Здоровый мужик, в расцвете... Как ты в камеруходишь, чего ты боишься? Ничего у тебя не болит, нас не обманешь, да где тебе обмануть... Да я не видал таких лохов! И влетел, как фраер, можешь не рассказывать, видно. В институт принимал вместе с бабой, с той же кафедры, ясное дело, лаборантка-длинные ножки... Не поделили — да не деньги, кабы деньги, ладно, это дело серьезное, всяк за себя, а тут она кому-то подмахнула или сам схватил студенточку за эту самую — вот и трагедия! Она жене стукнула, та в партком, скандал на людях, услышали — понесли... Все в наличности, и правильно, получите десятку каждый... Да не о том я хлопочу, чтоб за прием не брать, думаешь, взятки испугался или мне мораль не позволяет? Кто умеет — пусть берет, а у кого есть — пусть платят. Я о том, что такому, как ты, одна была возможность хоть что-то узнать, на сборке оказаться, понюхать, что она такое — да не на Гаити, у себя под носом! Как еще такого научишь?

— Так закон существует? — говорит он. — Разве можно с людьми как со... скотом...

— Закон, говоришь?.. — у Андрея Николаевича лицо становится багровым, как его ноги. — Ты где в Москве жил?

— На Лесной,— говорит он,— я и родился там.

— Вон где. Всю жизнь, выходит, с мальчишек ходил мимо тюрьмы, а как везли и везли — не видел? Для таких, как ты, и жилой дом поставили, магазин — закрыли. а тебе — не надо! Да с Лесной она вся на глазах — Бутырка, и новый корпус, где твоя краля тебя поминает!.. Что ты за человек после этого?

— Так ведь и различать надо,— говорит он. — Мы с вами, скажем, ну... совершили ошибку, что ж нас в общую кучу...

— Ты о двух ли головах, молодой человек?! «Нас с вами...»! А Шуру с Генкой куда определишь? Ты знаешь, какая у Шуры статья — вот он перед тобой? Чем он тебя хуже?

— Перестаньте, Андрей Николаевич,— говорит Шура,— охота вам нервы мотать, такому не объяснишь, пока здесь не научат.

Но Андрея Николаевича уже не остановить.

— Вон ты какой! — кричит он. — А я предупреждаю, соломку стелю!.. Ты взятки брал, а Шура жену уходил, жива на его счастье — ты хороший, он плохой? Ты с бабой не разобрался, а Генка старика искалечил — так он, думаешь, потому мразь, что искалечил? Он потому искалечил, что мразь — не сечешь разницу? А среди тех, у кого галстучки, костюмчики, чистая анкета — среди них? По-твоему, тот человек, кто с дипломом, в «жигулях» с женой в Ригу, а с бабой в Сочи, кто курит «мальборо» и участвует в круизах, а кто с малолетки с зоны на зону, мохом оброс, пальцем сморкается, бабу годами не нюхал, не ноги у нее видит, а чтоб она ему щи сварила да портки сняла — плохой он, в кучу его, в общую, так ему и надо! Загородили Бутырку магазинсм, чтоб вид не портила, травите их, как тараканов, они нам, коммунистам запахом не подходят, смрад от них, а мы в партийный билет пять стольников со студента за прием и в ресторан с такой же лярвой, лишь бы чистенькая и в джинсах... Ничего, научат тебя, как попадешь на общак, там такие, как ты, с верхних шконок не слазят, там вас сразу раскручивают, и кум не поможет, хотя бы ты с поверки до поверки ему стучал..

— Андрей Николаич, да ты что?.. — Дмитрий Иванович давно отложил амбарную книгу. — Горячитесь. Мораль существует или нет? Закон написан? Пусть я тут шесть лет, седьмой, пусть прокурор грозит вышкой — я не виновен, и я докажу, выйду, а те, кто...

— Не виновен?.. — Андрей Николаевич приподнимается на шконке, ноги сваливаются на пол багровыми бревнами. — Это ты, старый пес, генеральный директор, коммунист, на которого миллион повесили — из того миллиона тысяч двести не хапнул? Ты шесть лет доказываешь, что они с нулями ошиблись, оговорили — вон сколько написал, никто читать не хочет! — а что на те нули себе построил и что у тебя с тех нулей осталось? Да как бы ты столько лет начальником удержался, кабы не хапал да с кем надо не делился, как бы в Мекси-

ку ездил, в Бразилию — сам рассказывал! Шестьдесят лет тюрьмы трещали, а тебе надо было?..

— Вы, Андрей Николаич, что-то... несообразное говорите...

— Несообразное?.. Да, я вор, знаю, что вор. И следователь знает, а я ему буду шесть лет голову морочить — так я от того чистым стану? Кабы я в Бога верил, да я б решетку целовал за то, что увидел! Думаешь, легко мне было всю жизнь воровать, а меня не берут, больно ловок... Мать хоронил, отпевал в церкви — да кто ж я такой, думаю? А тут... а тут...

Шура кидается к двери, жмет на кнопку звонка; Андрей Николаевич хрипит, заваливается головой. Сползает...

Дверь распахивается: вертухай, белые халаты...

— Тихомиров!.. Выходи!..

6

В конце длинного коридора открытая дверь, вертухай кивает...

Он везет ботинками, в глазах туман...

Окно без решеток!.. Есть, есть решетка, без намордника, потому сразу не заметил: светло, снег лепит, и кажется...

Письменные столы один против другого... Она! Выхаживает над столом, волосы желтой короной, лицо румяное, свежее, большие глаза сощурены на него, подперла подбородок, сверкает лак на пальцах, кольца...

— Проходите сюда, садитесь...

Он вздрагивает, поворачивается — за другим столом серая мышка.

— Тихомиров, Георгий Владимирович... — мышка близоруко наклоняется над бумагами, застиранный халат подвернут на морщинистых ручках...

— Что с вами случилось, Тихомиров?

— Н-не знаю, — говорит он, — потерял сознание, не помню.

— С вами такое бывало?

— Н-нет... Бывало! — спохватывается он. — Сердце...

— Что сердце? Что у вас с сердцем?

— Болит, — говорит он. — Колет. Печет. Валидол не снимает.

— В больнице лежали?

— Н-нет, но врач говорил, что...

— Снимите рубашку.

Он сбрасывает халат, стягивает рубашку, халат падает со стула на пол, он поднимает...

— Не торопитесь... Руку на стол, посмотрим давление...

Глаза у нее неожиданно мягкие, внимательные... Помоги, помоги!..— дрожит в нем.

— Сорок лет,— говорит мышка безо всякого выражения,— а давление, как у двадцатилетнего... Встаньте, я вас послушаю... Так, так... Повернитесь спиной...

Теперь он стоит против нее, рука с кольцами под подбородком, глаза сощурены... Духи! Перед глазами замелькало...

— У вас всегда так частит? Тахикардия...

— Да...— говорит он.— Не знаю. Когда перегрузки...

— Одевайтесь... На что еще жалуетесь?

— У меня. геморрой,..— говорит он,— кровь, не могу...

— Покажите.

Руки дрожат, не справляются с завязками, жарко...

— Давайте к свету.

Она не шевелится, те же глаза — да видел, видел он уже такие глаза!

— Хорошо,— говорит мышка,— я вам назначу уколы. Сердечные. Надо будет кардиограмму... Завтра...

Завтра!..

— Вы свечи употребляете?

— Д-да.

— Получите свечи... Дежурная!

— Я сама ему... сделаю,— говорит она.

— Да?..

В дверь заглядывает молоденькая в белом халате.

— Не нужно, Леночка, Ольга Васильевна сама делает укол.

Вот оно, понимает он. Она лениво встает — высокая, гибкая, белый халат на ней, как перчатка, сверкает... Она выходит в дверь. Он оглядывается на мышку.

— Все,— говорит мышка и смотрит на него: «С сочувствием, с жалостью?..» — Идите. Сейчас вам сделают укол.

— Вы еще... посмотрите меня? — спрашивает он.

— Посмотрю. Сделаем кардиограмму, а там... Да вы успокойтесь, это бывает, все еще может обернуться...

— Где он там?! — она.

Что может обернуться, чем может...— думает он. Напротив еще одна раскрытая дверь: большая комната, два окна без намордников, снег лепит и лепит...

— Дверь закрой!

Она бросает шприц, брякает о железо. Берет другой.

— Спусти штаны.

Он шагает к кушетке.

— Ты куда, привык?.. У нас с тобой будет другая игра, не захочешь. Или ты что слышал?

— Я ничего, ничего не слышал,— говорит он.

— Ни-че-го?.. Стань к окну. Не бойся, я не таких видала.

Без новокаина...— мелькает у него.

— Не нравится?.. Разборчив. А говорят, у меня рука легкая.

— Ле-легкая,— с трудом говорит он.

— Что-то ты легко соглашаешься. Ты всегда такой?..

Одевайся, я на тебя нагляделась...

Поддрагивающими руками он завязывает подштанники, а она стоит перед ним, рука в кольцах держит шприц, как нож, глаза раскрыты — большие, яркие, и вся она, как сверкающая белая...

— ...Если ты сболтнешь в камере хоть слово из того, что услышал...— голос грудной, ирокуренный и те же духи обволакивают его.— Я тебя поняла, я тебя еще там поняла, под простыней... Если ты скажешь хоть слово... Тебе зона курортом покажется, а ты ее еще не скоро увидишь. Сообразил, голубчик?.. И не бледней, со мной такие номера не проходят. Шагай.

7

Черный свод неба, твердь с подмигивающими мне звездами, сочный хруст травы, фыркание, перебирающей спутанными ногами лошади, костер догорает, вылавливаю в золе обуглившуюся картошку, пахнет дымом, цветами, с реки потянуло свежим ветром, все уже, уже алая полоса заката... Было, не приснилось? А разве может присниться чего не было? Если кто-то рассказал, где-то прочел... И фыркание, и хруст, и запах дыма, и далеко-далеко алая полоса... Разве об этом расскажешь, прочтешь? Было! Неужто было? Когда, в какой жизни?.. И я вспоминаю о себе с удивлением, с недоумением, с любопытством... Белые раскаленные изразцы, улыбаю-

щиеся нежные мамины глаза, тяжелые отцовы руки, сестренку — смешную, розовую куклу, щебечущую в корыте, в мыльной пене... Какая длинная, путаная жизнь... Почему длинная — потому что путаная? Или потому путаная, что... Одна любовь — первая, вторая любовь — вторая, и другая, следующая, не страсть, а горечь, не радость, а боль... Чья горечь, чья боль? Моя бы, ладно, не моя, чужая... Чужая я? Может быть боль чужой, горечь — не своя, за другого?.. Только когда поймешь свою вину в чужой боли, свой грех в горечи другого... У меня радость — а там боль, у меня счастливая нежность — а там оскомина... Кто был соблазном, что стало соблазном, ввело в соблазн? Жена, которую Ты мне дал, сказал Адам. Первое предательство человека, первая измена Богу, совести, слом всего естества — нельзя миру без соблазна, сказано нам, но горе тому, через кого...

Я забрался в матрасовку, одеяло на голову, я пытаюсь уйти, исчезнуть из этого мира, который теперь моя новая жизнь. Единственная моя жизнь, потому что другой у меня нет и не было. Не было?.. Я твержу себе об этом все дни, начиная с первого, все ночи, когда не сплю, все эти месяцы... Месяцы? Да, уже два месяца я здесь. Неужто так долго? Долго? Два месяца это много? И я вспоминаю два месяца моей прежней жизни, любые, радостные или горькие, пустые, забытые, заполненные через край... Какой пустяк, они пролетели — и нет их. Почему же сейчас не оставляет ощущение, что вся моя жизнь уместилась, сошлась, расположилась в этих днях, неделях — в эти два месяца? Не было у меня другой жизни и меня не было. Я спал, а потом, два месяца назад проснулся для того, чтобы жить.

Какая странная мысль, думаю я, вытянув ноги в матрасовке, ворочаюсь — не улежишь! — сквозь худенький матрас, первую неделю зашивал и зашивал, запихивал, разравнивая вату, ребра пересчитывают железные полосы шконки. Горячие изразцы, мама, сестренка в корыте, отцовы руки, фырканы лошади, алая полоса заката — все это было сном, а все что тут... Станная мысль, думаю я, добрая, верная мысль, спасительная. У меня ничего нет — и я свободен, у меня то, это, радость, беда, обиды, долги, грех — и я повязан, запутан, меня задушит — и я не выберусь. Разве я могу хоть чем-то помочь, отдать что должен, зачем думать, разматывать, травить себя... Значит, нет долгов, нет греха: забыл, затер, отказался — и свободен?..

Я пытаюсь начать с другого конца, понять откуда оно идет ко мне, всплывает, пролезает в щели, а я затыкал и затыкал их... Алая полоса заката, думаю я. Только что, перед ужином — блеснул луч сквозь решку, проскочил реснички, вспыхнул на куске стекла, которым Андрюха вытачивал мне крестик, и я... Луч, алая полоса, свод неба, а в нем подмигивающие мне звезды... Что ж, не было луча вчера, третьего дня? Был, а нашла тучка, один миг, чтоб так сошлось — луч, нет тучки, Андрюха, кусок стекла — все в тот самый миг. А если бы не было, не сошлось?..

Вчера было, думаю я. Дверь камеры изнутри обита корявым железом, скреплена болтами, шесть болтов в ряд, шесть рядов по всей поверхности двери. Почему именно болты вызывают во мне ярость? Тупые, вбитые, вмятые в черно-коричневое пористое железо, наглая, самодовольная геометрия, гляжу на болты, на дверь с закрытой кормушкой, не могу сдержаться — с размаху ногой, железо ухает. «Силен,— сказал Вася,— давай еще раз. Один, базарили, вышиб ногой с косяком, но он дурака косил или правда крыша текла, здоровый бугай...» Опсминаюсь, стыдно — болты виноваты! «Береги здоровье, Серый,— сказал Боря,— поговорил бы лучше с рабочим классом...» И я сник, что-то для меня в его голосе, целую жизнь прожили рядом. «Мы с тобой кентами будем»,— сказал он мне на третий день, укладывались спать, я рядом на шконке, через проход, спортсмен, Миша ушел на суд: «Вернется, пусть наверх лезет, а не нравится, ты ему у параши освободил, перебьется...» То на третий день, а еще через месяц таким стал кентом... «Забудешь,— сказал он мне как-то, а я рта не закрывал, очень мне было хорошо,— столько людей повстречаешь, через такое тебя прокатят, я по себе знаю.— Нет,— сказал я ему,— первая камера, как первая любовь...» И вот вчера, после моего единоборства с дверью...

«Поговорил бы, Серый, с рабочим классом...» Лежим на шконках, отужинали, радио бурлит, отошла поверка, скоро подогрев — и в матрасовку, еще неделя пролетела, завтра баня... «Ты уж не спать ли собрался? — спросил Боря, читает меня, как раскрытую книгу.— Как это у тебя получается, я вчера на тебе выиграл пять сигарет, до двадцати посчитал — и ты отключился, захрапел, а шпана на сорок-пятьдесят ставила...» — «Косишь таблетки, Серый?» — Это Васе мои таблетки не дают покоя,

он теперь на моей шконке через проход с Борей, а я у самого окна, на месте чернявого, Коли. «Королевское место,—сказал Боря, когда чернявого вытащили из камеры—это другая история, мне о ней еще думать.—Перебирайся, тебе тут хорошо будет».—«А сам почему не хочешь?» — я удивился. «Привык, да ладно, о чем разговор...» Вот и вышло, что мы бок о бок, локтями, спинами, нос к носу. «Тогда покурим, если пять сигарет,—сказал я, у нас перед ларьком сурово стало с куревом,—ты бы предупредил, что на меня ставишь, вместе будем играть, вдвоем мы и Зиновия Львовича обштопаем». «Нет, верно,—не отставал Боря,—как у тебя получается, а еще, говоришь, помолиться успеваешь?» — «У меня простая молитва». — «Может, от нее, от молитвы?» А мне он вдруг надоел, кент как родственник, я уже привык, считал — так и должно быть, начал распускаться. «Совесть чистая,—сказал я,—потому и сплю». Тихо стало в камере, даже Гриша с Андрюхой, только что шумевшие о чем-то, замолкли. «Вон как,—сказал Боря.—Кучеряво зажил, не сорвись. Может, и верно, но лучше б тебе помолчать». — «Да я пошутил», — испугался я. «В каждой шутке,—сказал Боря,—есть... А если всерьез?» — «А всерьез, нет меж нами разницы». — «Это как понять?» — спросил Боря. «В Евангелии апостол Иаков говорит, если ты не убил, но прелюбодействовал, ты все равно преступник закона. А потому...» — «Так и сказал?» — Боря перевернулся и уставился на меня. — Или ты опять шутишь?» — «Какие шутки в Евангелии,—сказал я.—Тебя следовательно прессует, прокурор, судья — это закон человеческий, сегодня он такой, завтра другой, сегодня пять лет, завтра за то же самое отрубят голову. Ты хитришь, они дают — кто кого. А тут закон абсолютный, он неизменен, он в нас самих, записан в сердце, он в тебе, когда ты о нем ничего не знаешь. Какая между нами разница — ты убил, а я... солгал, скажем. Это разница для прокурора, для него солгать, как два пальца..., и в УК не обозначено — лги, не соврешь, не проживешь. У тебя другой Суд, Страшный...» Тихо было в камере, понял, все слушали, только Зиновий Львович, никогда не ложившийся ночью, досыпал свое. «А он будет, Суд?» — спросил Боря. «Он уже идет,—сказал я,—то, что с нами сейчас, разве не Суд?» — «Нет,—сказал Боря,—это цветочки, хотя у кого как...» — «У кого как, верно,—сказал я,—но лучше, если тут, там страшней... Понимаешь, ты все равно пре-

ступник закона, я все равно преступник закона, и не нам судить,— чье преступление больше — перед Богом, не перед прокурором. Какая у меня может быть чистая совесть, шутка и не лучшего разбора, прости меня за нее».— «Силен,— сказал Андруха,— так все верующие считают или ты один такой?» — «Только так,— сказал я,— иначе и быть не может. Ты пойми,— я обращался к Боре, мне было неловко, что сорвался,— прокурор лепит тебе срок, ему УК позволяет, определил точно, а что Господь нам назначит, мы не знаем, но нам сказано — нет разницы. Если ты не убил, но пожелал кому смерти — ты убийца, мысль выброшена в мир, улетела, во что она отольется, в ком и как откликнется, пусть не в тебе, в другом осуществится, реализуется, но она твоя, ты ее родил. А потому мы все и за другого виноваты. Для прокурора и разговора нет, гуляй, думай, что хочешь, а ты пропал. Если не покаешься. А кто не пожелал кому смерти или еще чего, а кто не украл — в карман не залез, а бревно из леса унес, чужое бревно, не твое...» — «Ты серьезно так думаешь?» — спросил Боря.— «Серьезно,— сказал я,— не я придумал, так оно есть... Для меня не цветочки. На воле времени не было про это думать, а тут...».

Вот о чем был вчера разговор — школьная тема и повторять себе совестно, но ведь не за столом с книжными людьми, все про это прочитавшими и заговорившими так, что уже и боли нет, трагедии нет, остренькое умозрение... В камере был разговор. Вот от чего я плыву сейчас в своей матрасовке, считаю ребрами железные полосы шконки. Считаю, а понять не могу — есть у меня право отказаться от прежней жизни, забыть о ней и начать сначала? У меня ничего нет и я свободен. Что ж, и долгов нет, греха нет, преступления — нет? Чистая совесть, а потому мне хорошо, только болты, вбитые, вмятые в железную дверь, только они мешают, и я сплю, а надо мной всю ночь в ярком свете плывет черный мат, сокамерники оглушают себя, чтоб не думать, не вспоминать, забить бранью грохочущий в них ужас? Каждый за себя, думаю я, вот и корпусной крикнул Боре: «Адвокаты!..» И перед Богом каждый за себя? А что я могу сказать Ему о другом, если о себе еще ничего не знаю, не понял,— но просить я могу, но молиться... Господи, шепчу я в своей матрасовке, просвети их Светом Разума Своего, Ты подарил мне — за что, ради немощи моей, чтоб научить, за мое покаяние? — новую жизнь,

вырвал меня — навсегда! Зачем мне думать о тех, кого я оставил, я оставил их Тебе, Ты и только Ты решишь, что будет с ними. А моя беда, моя боль, мой грех? Тащить их всю жизнь, пока они меня не раздавят? Но разве Он пришел к нам, ко мне не затем, чтоб спасти?.. Я и здесь по Его воле... Различайте духов, думаю я, а как различать, только по плодам: стоит мне скользнуть, тропа накатана, один неверный шаг, а кто-то толкает, предлагает, подсказывает, один шаг, второй — и я... вижу, ощущаю, вспоминаю... Господи, чем только не переполнена, не забита моя жизнь, я могу кружиться в ней бесконечно, рассматривая, отбирая, а оно все быстрее, быстрее, уже не различишь, а оно все ярче, ярче, глаза закрыл — не спрячешься, оно уже вихрь, голова кружится, ярче, жарче... Так будет в вечности, думаю я. Костер, запах травы, звезды, нежность, страсть, то, что не успел, а мог, то, что успел, а зачем оно мне — и я пропадаю, я пропал... «Будь великодушным, Вадя, сказала она, а глаз ее мне не забыть, — ты знаешь, я не могу и не смогу отказать тебе, но будь великодушным...» А был я хоть когда-то великодушным? В тот раз был, а в другой, а с кем-то еще?.. Будь великодушным! И слово какое...

Я отбрасываю одеяло и вылезая из матрасовки.

— Что-то будет, — говорит Боря, — бессонница у Серого.

— Сглазили, — говорю. — Или таблетки кончились. Или я против тебя играю, Боря. Кто угостит сигаретой?

— Кури, — предлагает Пахом, недавно появился, Боря на него рыкнул раз-другой, а мне он сразу понравился и вошел хорошо: «Здравствуйте, будем знакомы, зовут Пахом, имя редкое...»

— Ишь ты, под меня копаешь? — не упустил Боря. — Давай сыграем на твою сигарету.

— Я тебе и так оставлю, — говорю. — Покурим. И сыграем...

Королевская игра — «мандавошка», поразительно бессмысленна, чистое везение, а время убиваешь — что еще в тюрьме надо? Две-три хитрости, я их на второй день понял, и только потом дошло — это и есть знаменитый «трик-трак», упрощенный тюремным примитивом: цветными шариками расчерчивается лист бумаги, на картон или газет побольше, клею в камере достаточно, чуть не каждый день трут клей из хлеба, он, как нарочно, для поделок — глина; и фишки из хлеба — лепи

любой формы; и зарики делают в камере: жгут целлофан, нарезают кубики — черные, блестят, раскрашивают зубным порошком — фирменные кости из магазина «Сувениры»! Серьезные люди брезгают «мандавошкой» — пустая игра, а Боря любит, я долго не мог понять — почему, что для него? Шахматы, покер доминошный, домино — но «козлсм» не назови проигравшего, смертельное оскорбление, убить могут. Только карт не было у нас в камере, сурово сейчас в тюрьме за карты, не каждый решится. А как увлечены — спорят, горячатся, всю ночь игра — и никакого «интереса». Какой «интерес» — едим вместе, курим вместе, больше для разговора, для подначки. Рассказывали, и в этой камере играли, раздевали друг друга, всякое было, уже при мне Гриша проиграл в покер тысячу приседаний, присел триста раз — и вырубился. А в тюрьме положено долг отдавать... «Все, — сказал Боря, — больше такого не будет».

Боря играл только в «мандавошку», просто так. Меня поразило как он играет. Я начал шутя, мне было скучно, только для него, но он так по-детски радовался, так, совсем не по-детски злорадно издевался над проигравшим, что меня стало задевать, потом завело, наконец, я обозлился и, поняв примитивную механику игры, выиграл две-три партии подряд. Боря замолчал, побледнел, а когда в четвертый раз, в почти выигранной партии, неудачно бросил — и проиграл, с ним что-то случилось: стал он серым, глаза нехорошие, шваркнул карту на пол, раздавил зарик ногой... «Ты что, Боря? — я был изумлен. — Тебе нельзя играть...» — «Я... тебя...» — начал он. И тут кормушка грохнула: «Бедарев, на вызов!...»

Повезло мне с камерой: «Два шесть ноль», — бормочу я с нежностью. Сравнить я не могу, но наслушался за два месяца что и как бывает — и не спецу, а про общак и говорить нечего, очень пугают друг друга общаком. Сожители мои, кроме Пахома, для которого двести шестидесятая пока единственная камера, побывали много где. Редко кто задерживался на месте больше двух-трех месяцев: живет себе человек, обвык, успокоился — грохнет утром кормушка и нет его, увели.

Так было со спортсменом Мишей, потом с Колей чернявым... Нет, с ними другое, не просто так, неведомо почему грохнула кормушка... Они исчезли один за другим, каждый по-своему, но ведь и причины были — явные, и какая-то связь в том, как они оба ушли. Я толь-

ко неделю был в камере, мало что понимал, но запомнил. Станный разговор сквозь сон — Боря говорит чернявому: спортсмен все равно уйдет, не твоя забота, а тебе, рыбка, мотать отсюда... Спортсмен ушел утром на суд, а поздно вечером, после отбоя вернулся, увидел, место его занято, я, было, дернулся — освободить... Боря встал: «Ты зачем вернулся?..» — «Сам, что ли, у меня приговор завтра». — «Смотри, — сказал Боря, — завтра... Ложись у параши...» На другой вечер — его опять втолкнули в камеру. Боря посмотрел на меня... «Почему на меня?» — подумал я тогда. «Значит так, — сказал Боря, — нет приговора?» — «Пять лет, — говорит спортсмен, — теща, сука...» — «Хватит, — сказал Боря, — куму объяснишь. Жми отсюда...» — «Куда я пойду, как? Что скажу?» — «Что хочешь, чтоб духу твоего здесь не было, мразь. Я один раз говорю...» Все молчали, чернявый зарылся в матрасовку. «Я повторять не стану», — сказал Боря. Спортсмен потоптался, глянул на Зиновия Львовича, на меня, хотел что-то сказать, смолчал и нажал на «клопа» — кнопка звонка у двери. Кормушка открылась: «Чего надо?» — «Открывай, ухожу...» Так он и стоял у двери минут двадцать, пока не открыли, видно было — в коридоре корпусной, еще кто-то. Шагнул за порог. «Воздух чище», — сказал Боря.

Еще через день сам он ушел на вызов и чернявый прилип ко мне. Гулять он не ходил, уговорил меня остаться в камере и долго нес околесицу. Я мало что понимал, всего неделя в тюрьме, не сообразишь, во мне еще гудела сборка, слушал в полуха, но даже мне было ясно — не сходятся у него концы с концами. Статья у него была — мошенничество, а ни в чем не виноват, ГБ якобы сводил с ним счета за его связи с незарегистрированными баптистами, был он у них «курьером» — так и сказал! — возил материалы в их подпольную типографию, писал духовные стихи — и сразу в набор... «Они меня тянут, чтоб я открыл типографию, оперативка у них, а у меня все в голове — улица, дом, фамилии, канал на запад...» — «Зачем ты мне это говоришь?» — сказал я. «Ты человек порядочный, я знаю кому можно», — глядит на меня цыганскими, шальными глазами, черный мат через слово. Духовные стихи, думаю я. «Готовь письмо, — говорит, — они меня через день-другой вытащат, я знаю кому передать...» Тоска меня взяла, дурак он, что ли?.. Боря вернулся с вызова, прижал чернявого в углу, говорили они долго, а уже совсем поздно черня-

вый остановил меня у сортира: «Объявляю голодовку,— говорит,— сухую, до смерти». — «Зачем?» — «Надоело, пусть освобождают, скоро год — ни следователя, ни адвоката, замуровали. Подельника они, видишь, ищут, никогда не найдут, я-то знаю где он, не добьются... Давай утром письмо, я из карцера передам...» Утром, на поверке он отдал заявление: «Голодовка до смерти или свобода...» «Останови его,— сказал я Боре,— что он дурака валяет?..» — «Не маленький,— сказал Боря,— не лезь, у него своя игра...» Часа через два распахнулась дверь: «Кто тут помирать собрался? Шмаков!.. Выходи!..» «Давай лапу, Серый,— сказал чернявый,— что ж не написал письмо? Ладно мы еще повидаемся, я тебе сказать должен...» Сгинул.

Странное ощущение было у меня первое время: висит наша камера между небом и землей, внизу глухо ворочается тюрьма, горит, пылает, ее жаркое дыхание врывается с лязгом кормушки; уводят кого-то, приводят кого-то; два раза на день — утром и вечером, входит корпусной, глянет, просчитает про себя, чиркнет в книге — и грохнула дверь, а мы опять сами по себе. Даже прогулка не ломала это ощущение: выведут из камеры, несколько шагов до решетки, а там лестница вверх, еще два марша — и крыша, дворики в размер камеры с обледенелыми стенами в два фуста высоты, над головой ржавая сетка, чадит труба, вертухай в тулупе гуляет по мостикам, поглядывает на нас; натолкаемся, намерзнемся — и, назад, до мой...

Земля близко. А небо?.. Высоко небо. Здоровенная труба над крышей спеца, черный дым в ясный день идет столбом, задерешь голову, шапка свалится, а что увидишь? Но разве в небо уходит дым? Мне подумалось однажды: в первый день, на сборке небо было ближе, рядом, оставался шаг, я его не сделал, не успел — или не смог, а в эти два месяца, с тех пор как повезло — с камерой, с сожителями — утратил, потерял...

«Серый» — моя кликуха, Вадимом зовет только Гриша. Петька назвал — глаза увидел. На третий день было, залез на решку, кричит: «Я два шесть ноль, я два шесть ноль!..» Строго с этим, сразу дают карцер, а его не сгонишь с решки. «Чего надо, два шесть ноль?!» — кричат с общака. «Тюрьма-старуха,— орет Петька,— дай кликуху!..» — «Звонарь,— сказал я,— прыгай с решки, вертухай в волчке!..» Он бросился ко мне: «Все! —

кричит.— «Звонарь»! Клевая кликуха! С меня тебе, Серый...» Так и присохла ко мне.

Погибший малый, Петька, никогда ему отсюда не выйти, да он и не хочет, станет кочевать с зоны на зону. Матери-отца нет, жил в Мытищах у бабки, читал я его обвинительное — чего там только нет: и грабеж, и хулиганка, и сто семнадцатая. Полгода сидит, месяц на малолетке, а как исполнилось восемнадцать перевели «на взросло». Гордится Петька, три камеры поменял, никак карцер не получит, а рвется, для него карцер, как медаль. Как-то ночью разбудил меня: «У меня разговор, Серый, отойдем к дольняку». Вылез из матрасовки, иду за ним, вроде, все спят, тихо в камере. «Слышь, Серый,— говорит,— покажи твою тетрадку». — «Какую тетрадку?» — «Где ты феню записываешь, я никому не скажу, перепишу и отдам...» Спросонья я никак не пойму, что он от меня хочет. «Я знаю,— шепчет Петька,— зачем ты тут, не бойсь, от меня никто не узнает...» Вот оно что, думаю. «Давай завтра,— говорю,— спать охота, завтра покажу...» Не успел залезть в матрасовку, Гриша захлебнулся от смеха — гляжу, никто не спит, отбросили одеяла, на полночи развлечения. Зиновий Львович придумал, чтоб Петька от него отстал: «Попроси у писателя, он, думаешь, как сюда попал — в командировке, феню изучает, тихо спрашивай, скрывает...»

Зиновий Львович оказался скучнейшим существом, верно Боря определил — «ретро», отработанный человек, да и мудрено, если б не так: и истории одни и те же, и хохмы, траченные молью... Все ночи он стоит у кормушки, стучит, жмет на «клопа», требует врача, лекарства, кричит, что умирает; все смены его знают, не торопятся, часа через два, когда он уже бьет ногой в дверь, высыпают ему в горсть таблетки; тогда он начинает требовать уколы... Боря пока молчит, а камера, чувствую, раздражена против старика. Но что-то он понимает... «Хорошая камера,— сказал я ему,— ты тут очухаешься, Львович, перед дорогой». — «Странная камера,— ответил он,— у тебя глаза не на том месте».

Гришу он особенно не любит и пользуется всяким случаем, чтоб его ущемить: и курит много, и ест не так, и балаболит не к месту — а спят они теперь рядом, Львович у параша. Гриша сдал, больше молчит, больной, конечно, спит целые дни, ночью читает, устал от придирок, а все, к кому не лень, оттачивают на нем остроумие; Боря всех злобней... И вдруг Гриша говорит мне,

гуляли вдвоем: «Меня из этой камеры не уберут. Я тут до конца, до этапа. В другой убили бы, а здесь, пока Боря, я себя спокойно чувствую — не даст в обиду...» Вон как, подумал я, странная камера, а глаза у меня, выходит, на самом деле, не на том месте.

С Андрюхой мне бывало легко, человек он явно умный, спокойный, говорит со мной охотно, много рассказывает о доме, о жене, очень за нее боится — молодая, красивая, а теща себе на уме, как бы не подыскала по-лучше. Срок ему катит не меньше шести-восми лет, дождется ли, а сыну три года — вот об чем его печаль. «Ты думаешь, я чего залетел? — говорил Андрюха. — Мне квартира нужна, а как ты ее купишь на мою зарплату, пусть я специалист, с дипломом? Разве там деньги, а тут открылось... Вот тебе права человека, — сказал Андрюха, — где жить, где начать жить, если семья, а воровать не хочешь? Уезжай, говорят, на стройку, на север, а я не хочу на север, и Верка не хочет, и сыну не обязательно. Я в Москве хочу. Сечешь проблему? А тут открылось...» Открылась Андрюхе золотая жила: голод на книги, уродливый, искусственный дефицит на пошлятину — а что читать, накушались глубокомыслием, подвигами-геройством, попроще бы, позабористей, клубничку... Сдашь пуд писательского дерьма, в котором ни слова правды, вот кого бы сажать — за ложь! — а им гонорары, премии, квартиры; отволочешь пуд — все равно читать не станешь и девать некуда, это у кого «стенка», но ведь «стенку» к стене поставить, а у всех ли стена? Бросишь им пуд на весы — а тебе абонемент, талончик, марку, а на марку ту саму «клубничку». Хотя, скажем прямо, не тонкий аромат — а разве есть выбор? Видел как-то в подворотне возле пункта приемки макулатуры — россыпью несколько десятков красных томов сочинения вождя революции, притащил бедолага в обмен на марку, а у него не взяли, неловко в макулатуру, но не тащить же назад, и место уже занято под что-то более современное... Я долго понять не мог, где тут «жила»? Оказалось, дело миллионное: мафия, десятки городов, сотни людей промышляют, пункты приемки повязаны — стряпают фальшивые талончики, марки, продают подо-роже, за деньги. У тех, кто покрупней, сотни тысяч до-хода, а кто помельче — поменьше, тоже достаточно. Тех, кто помельче, позабирали, человек пятнадцать сидит в нашей тюрьме по разным камерам. Андрюха разъез-жал — то в Киев, то в Ленинград, он не все рассказы-

вал, только что следователю известно. «Нас бы еще долго не взяли, чистая была работа, не найдешь концов,— сказал он,— масштаб подвел, жадность, за границей стали печатать «марки», тут и раскрутили — ГБ. До больших денег все равно не доберутся, слишком большие, откупятся, а я, вроде, ничего не знаю, вернусь, получу...» Так что квартира Андрюхе все равно светит, хотя и через шесть-восемь лет, но кому в ней жить?.. Однажды он вернулся после допроса крепко расстроенным. «Купил меня следак,— говорит,— как дешевку, зачитал показание одного паренька, я подтвердил: было. Вроде, пустяк, а устроил очную ставку — тот в полном отказе, ни слова не говорит, крепкий малый, мне б глазами прочитывать показание, а я поверил, дурак... Глянул на меня Костя — и отвернулся. На общаке сидит. Как маленького купил...» Андрюха побывал уже на общаке, много рассказывал. «Трудно, а ничего страшного. Теснота, вонь, шестьдесят человек и все курят, тяжело, но главное не распускаться, видел как доходят — уже немоются, не бреются, еле ноги волочит, смотреть стыдно, за две недели скис, а вошел орлом... И в их дела не надо лезть, волчата держат камеру, сразу кидаются, если что. Бояться не надо, первых троих я всегда вырублю, остальные не сунутся, кому охота...» — «А лезли?» — спросил я. «Всякое было... Тут легче, но... Я раньше тебя пришел, мне сразу не показалась. Ты говоришь, как на зимовке, этим и не понравилось, какая зимовка — тюрьма».

Получалось, как это ни было обидно, что я глупей всех — все понимают, а я хлопаю ушами.

Андрюха ближе других с Васей, современные ребята, я таких не знал: музыка, фильмы, свои разговоры. Васю вот-вот должны вытащить на суд, трибунал. Служил Вася на Тихоокеанском флоте, месяц оставался: «Надоело,— рассказывал,— как подумаю, еще месяц — нет, хватит...» Дезертировал за месяц до демобилизации! Полгода ловили, да едва ли искали, еще бы протянул, когда б не попался. Ездил по стране, лечился от скуки, застрял в Крыму, а потом подался в Москву, девушки в Москве понравились, а девушки в столице дорогие, подворовывал. «Такую деваху встретил, поверишь, Серый, на всю жизнь!» Решили в Крым, там у него все схвачено, а билетов нет, сентябрь, сезон, а она ждет, обещал — вечером едем! Сам он всегда бы уехал, но тут хотелось нормальный вагон, а лучше «СВ»... Дол-

го Вася не думал: в Москве в каждом дворе машины... «Мне на две недели,— говорит,— зачем она, я б ее на место поставил, а как бы красиво ехали...» Он успел только залезть в машину, выбирал, чтоб соответствовала предприятию, пошикарней, разглядывал — тут его и взяли, а на нем много чего повисло...

Боря за два месяца стал ближе-некуда. Не за два месяца, в первые дни произошло, я и не заметил, в тюрьме сутки стоят месяца; каждое движение на глазах, не скроешь, не спрячешь и отвлекаться не на что. Мир сузился до размеров камеры, но остался миром, чего мне в нем недостает — свободы? Свободы передвижения в пространстве, думаю я. Но разве человек рожден для прогулок, для путешествий?.. А пространство — что такое...

Боря с самого начала был ко мне открыто доброжелателен и так во мне, безо всякой искательности, искренне заинтересован — я тут же купился. А что во мне искать, зачем покупать, ничего у меня не было, пустой пришел в камеру. Передачу я, правда, получил через день — Митин почерк, его тщательность — такая радость! «Умная передача», — сказал Боря с удивлением. Но ларька до сего не было, деньги, как и предупреждали на сборке, добираются месяцами. Митя передал табак, сигареты нельзя; хороший табак, заграничный, а Боря курил трубку, чубук из хлеба, обкуренная трубка... Ничего у меня не было и ничего я не знал из того, что положено. Как ребенку надо было учиться ходить, разговаривать, понять, что можно, а что нельзя. Тянуть с этим в тюрьме рискованно. Это я понимал.

Он и учил меня, как младенца, с усмешкой и с охотой. Не пугал, напротив, оборвал как-то Зиновия Львовича, тот завел длинную лагерную одиссею, кровь леденела в жилах, ребята напряглись... «Ладно тебе, Львович, каждый может рассказать, а на гражданке — не бывает? Не слушай его, Серый, живешь тут — и там будешь жить, тут нас восемь, а там сто человек отряд, найдешь себе, выберешь, с кентом ничего не страшно, будешь чаек пить, письма из дома, журналы выпишешь, телевизор, а надоело — вышел из барака, звезды близко. И работы не пугайся, деньги будут, жратва получше, не тридцать семь копеек, как тут...» — «Сорок семь, большая разница», — сказал Зиновий Львович. «Пусть сорок семь, вертеться надо — все будет. Не так, что ли?» — «Так да не так... — не сдавался Зиновий Льво-

вич,—еще до зоны добраться, запихнут в «столыпин» двух-трех из особняка, полосатых, голым выйдет». — «Да ладно тебе, «столыпин»! — сказал Боря. — Ночь просидит и на месте». — «Меня далеко повезут,—говорю,—в Сибирь». — «А ты почему знаешь? — спросил Боря. «По статье и зона». — «А что Сибирь — не земля? Вон Зиновий Львович старый сибиряк, сохранился. Куда ты из «стоल्पина» денешься? Доедешь». — «А пересылки,— не унимался Зиновий Львович,— транзит? В Свердловске, как сейчас помню: ба-альшая камера, дым, ничего не видно, в одном углу чай варят, в другом в карты режутся, в третьем петуха употребляют, а в четвертом...» — «Ты бы еще пятый угол поискал,— сказал Боря. — У него все будет нормально, у Серого, я человека вижу и как у него что будет знаю...»

Я удивился, помню, в первую неделю Борины рассказы о зоне, об этапе были в масть Зиновию Львовичу, или тогда он и факты, и случаи подбирал специально, с каким-то прицелом — пострашней, и на меня поглядывал: и «столыпин» загорелся, никого не выпустили, так и сгорели, и конвой посадил этап в грязь на платформе, один отказался, стоял, гордый малый, полоснул его конвой из автомата по ногам — и в машину, и еще, и еще... А я тогда не слушал, далеко до «стоल्पина», долго, меня камера интересовала. И он перестал, а сейчас, выходит, наоборот?.. Нет, что-то с ним произошло, происходит, крутит его, ломает, ночью перестал спать, проснусь, вижу: глаза у него открыты, тянет потихоньку трубочку — и так до утра.

Первые дни я рта не закрывал, мне хотелось поговорить, намолчался в кепезухе — о чем только не говорил, а он хорошо слушал, внимательно, с тем самым доброжелательным интересом, который и купил меня. Не перебивал... Да знал я, что в камере лучше молчать, но камера какая — зимовка! Да и что мне скрывать, я всегда жил открыто: здорово, вот он я! А может, потому так легко говорилось — что не о себе, нет у меня прошлого, чужое, сам не мог отдать — забрали и не жалко. Пустое выбалтывал, лишнее, ни на что не годящее, путавшее.. Отсеивалось в таком разговоре, всплывало, как шелуха, сдувает пустое такой треп — в никуда, и уже не вернется. Выболтал и ушло. Навсегда.

«Ну а кто твой друг,—спросил как-то Боря,—самый главный, есть такой, которому ты... доверяешь, до конца?..» Чудак, подумал я, разве о главном болтают?

Да не потому, что здесь нельзя, а потому — невозможно, как сказать о том, что держало, не давало свернуть, что и сейчас держит и не дает свернуть? Главное, что не дает погибнуть, что, и умирая во мне, воскреснет. Оно и спасет. Своей смертью во мне, своим воскресением спасет...

«А француженка, американка, — приставал Боря, — рассказал бы, Серый, я тебе сколько набалаболит — и про японку, и про кубинку, а то была англичанка в Кейптауне... Я вижу, чую тебя...» Но эта тема для меня закрыта, он понял, отстал.

«Мы за все платим, — сказал я ему как-то, — сначала не понять — успею, расплачусь, есть время, а может спишут? А когда поднакопишь, начинает возвращаться, наступает момент — в горле комом, задавит...» Так я начал ему рассказывать о том, как пришел в Церковь, как меня привело в Церковь. «Пришел, а дальше что? — спросил он. — Я тоже бывал, мать посылала куличи святить да яйца». — «Кто как приходит, — сказал я, — один яйца святить, а другой...» — «Что другой?» — спросил Боря. «Жить, — сказал я. — Или умирать, чтобы жить». — «В тюрьму ты пришел, а не в церковь, — сказал Боря. — Одно дело яйца красить, хоть ящиком крась, никто слова не скажет, другое, когда ты...» — «Я пришел, потому что хочу жить, — сказал я. — Потому что должен платить по счетам, потому что не смог жить, как жил раньше». — «Закон возмездия», — сказал Боря, — верно, за все приходится платить. Только не пойму, чем ты-то заплатил, пока цветочки...»

После того разговора что-то с ним произошло, или мне показалось, но он и ко мне изменился, стал мрачен, раздражен, а может, устал, думал я, давно сидит, а конца не видно...

Борю вызывали часто, особенно первое время. Со следователем у него была тяжелая история: «Не сошлись», — сказал Боря. Он рассказал мне об этом уже на второй день, утром, шрам был свежий. Вся камера слушала и чернявый на своем месте, лежал рядом.

Такой пес, рассказывал Боря, глядеть на него не могу, мало что у меня было, хотел еще повесить. Боря ему ляпнул, резко, надо думать, тот развернулся и кулаком промеж глаз. «Вдвоем сидим, — рассказывал Боря, — я кровь вытер, а он стоит надо мной, дал ему снизу, он в стену влип и за дверь. Жду. Вбегают пятеро. Зажали меня, а он стоит, следак, глаз запух, руки в карманах.

Что ж ты, говорю, только в компании храбрый? Он руку из кармана и меня по скуле, что-то зажал в руке... Кровь хлещет, а мне весело. Как ты теперь отмоешься, сука, говорю, такое не спрячешь. Давай миром, говорит. За нападение на следователя строго, но и ему за кастет не сладко бы пришлось... Сошлись: мне в карцер — драка в камере, из карцера сюда, а следак ушел из дела. Теперь другой будет...»

На следующий день Боря пошел на вызов, чернявого увели, а вечером мы лежали рядом, я на новом «королевском» месте, у решки. Боря говорит: «Решили твою проблему, можешь не письма писать, а хоть романы. Передам». — «Это как?» — спрашиваю. «Заводят утром в следственный корпус, в кабинет, где мы со следаком не поладили, а за столом Пашка... Ты чего тут делаешь, спрашиваю. Я-то ладно, говорит, а ты зачем?.. Дружок, в ГАИ работал, в Пушкине, теперь в областном управлении. Я его давно знаю, много раз выручал и я его не обижал, пили вместе и он, собака, за моей сестрой мазал. Мы с ним как познакомились, у меня «вольво», из последнего рейса привез, фургон, дизель, на Ярославке была неприятность, там и сошлись, это когда он в Пушкине служил. Хороший малый, свой». — «Так он теперь твой следователь?» — удивился я. «Нет, — сказал Боря, — моего подельника, Генки, такая мразь, я тебе расскажу, заслушаешься. Пашка его ведет, а ко мне пришел уточнить кой-что. Мы с ним пробалаболили два часа, он не знал, что я тут — Бедарев и Бедарев, не врубился. Сейчас, наверное, у нас дсма, с моим отцом пьет водку, сказал зайдет вечером и свидание с сестрой обещал. Смотри, говорю ему, не балуй с Валькой, убью. Ты, говорит, теперь в моей власти. Я-то, мол, в твоей, а ты в ее. Шутка. Короче, передавай, что хочешь, я ему говорил о тебе, он удивился, что ты тут, слышал по радио...» — «По какому радио?» — вытаращил я глаза. «Эх ты, — говорит Боря, — простота, лежишь на шконке, играешь со мной в «мандавошку», а про тебя весь мир базарит. — «Шутка?» — спрашиваю. «Какая шутка, Пашка своими ушами слышал — Полухин да Полухин... Жалко я твоего телефона не знал, он бы позвонил, успокоил». — «А он не побойтса, — спрашиваю, — засекут в телефоне?» — «Пашка побойтса?.. Не маленький, сообразит». — «А как ты из камеры вынесешь, — спрашиваю, — шмонают в коридоре». — «У меня не найдут...»

На другой вечер Боря рассказывал свое дело, тоже вся камера слушала, чистый детектив в нескольких сериях. После лагеря, а у него строгач был, вторая ходка по контрабанде, море ему закрыли, устроился механиком на рефрижератор. «Милое дело,— рассказывал Боря,— месяц дома, месяц рейс, гоняю вагон с мясом из Ростова в Москву. Хорошая работа, тихая, два помощника, работы, считай, никакой, купе, как каюта, приемник, жарю мясо от пуза, винишко с собой, девочки на каждой стоянке — хоть на перегон, хоть на два. Нормально. Мясо не простая арифметика: при одной температуре один вес, при другой — новый, а если его водичкой полить — еще один, третий. Соображать надо. Возле Рижского магазин, мясной, заведующий Каплан, неплохой мужик, выпивали, сидевший, давно, правда. А у него продавец, тот самый Генка, сразу видно, мразь, а прилип — возьми да возьми на рефрижератор, поездить захотелось. А мне как раз нужен человек на рейс. Давай, говорю, я тебя попробую. Съездили. Противный малый, но пес с ним, думаю, в случае чего придавлю, у меня не пошалит. Оформляйся, говорю, только учти, у нас работа денежная, пол куса такса, не мне, само собой. Согласен, половину отдал, а двести пятьдесят потом. Ладно. Приходит увольняться, а Каплан говорит: дурак ты, Генка, охота тебе месяцами мотаться неизвестно где, люди в Москву рвутся, а ты... Это Бедареву Москва не светит... Короче отговаривает. Я ему деньги отдал, говорит Генка. Какие деньги? Двести пятьдесят и еще надо столько. Дурак ты, Генка, говорит Каплан, за такие деньги я б тебя старшим продавцом поставил. Пиши заявку в прокуратуру — и деньги вернешь, и в Москве останешься... Пишет Генка заявку, а мы с ним уже договорились: у меня рейс, ждать я не могу, к следующему рейсу чтоб все оформил, встречаемся у метро, он передаст деньги. Иду с сумочкой, весна, солнце, хватил пивка, покуриваю, думаю, чего б подкупить в дорогу, подошел к метро, опаздывает, сука, на пять минут... Подходит. Здорово-здорово. Принес? Достает конверт, я в карман и считать не стал, а меня сзади за руки, а передо мной двое — фотографируют, и в машину. Деньги при мне, свидетели — чистая работа. Я только успел, когда стоял на площадке в прокуратуре, на третьем этаже, а Генка мимо, не глядит, достал его ногой, покатился по лестнице...» — «Где он сидит?» — спросил Андруха. — «В Бутырке, здесь я бы его достал. Да он не

сразу сел — за что, у него заява, вскрыл преступление...»

«Думаешь, вся история,— продолжал Боря,— начало. Получаю я свою сто семьдесят четвертую — посредничество при взятке, лет пять мои. Первая часть. Что я успел первые двести пятьдесят взять нигде не фиксировано, мало ли что он скажет, дурак Генка, не видать ему денег — зачем ему Каплан обещал, свои, что ль, хотел отдать? А если б и они всплыли, тогда вторая часть, многократное действие, восемь лет бы схватил. Я первый месяц в тюрьме голову не мог поднять, отвернусь к стене — так влетел, да быть того не может!.. Ладно. Через три месяца суд, простое дело: деньги, свидетели, показание, заява... Судья спрашивает Генку: где и когда познакомились с Бедаревым? Года два назад, говорит, у меня были неприятности с машиной, не моей, но я водитель, стукнулся, он помог отмазаться. Что значит «отмазаться», спрашивает судья. Дело замять, объясняет Генка, у Бедарева друг в ГАИ, в Пушкине, а у меня происшествие в Мытищах, поблизости. Отмазал. Так, говорит судья, объявляется перерыв для выяснения новых обстоятельств. И меня обратно в тюрьму». — «Во дурак», — сказал Вася. «Идиот, — поправил Боря. — Через два месяца новый суд. Ничего они в Пушкине не нашли, там тоже не лопухи, чисто сработали, никаких следов. А что все-таки было в Пушкине, спрашивает судья, объясните, свидетель. Да не в Пушкине, говорит Генка, под Мытищами. Загуляли с ребятами, разбили чужую машину, не оставаться же на ночь, замерзли, выпить надо, деньги кончились, а у меня в магазине, в сейфе моя доля. Взяли мотор, подъехали к магазину, я знаю где ключи, не первый год работаю, открыл сейф, взял свою долю — не много, семьдесят рублей в тот раз было, и мы уехали, а утром за машиной, там и вышла неприятность с ГАИ... Стоп, говорит судья, что такое ваша «доля» в сейфе — это как понять? А у нас каждый день, говорит, с выручки причитается, я в тот раз днем не успел, торопился, решил ночью... Суд объявляет перерыв на два часа, говорит судья, для выяснения новых обстоятельств...» — «Бывают же такие идиоты...» — Вася даже покраснел. «Это начало, — говорит Боря, — погоди, не то будет. Привозят на суд моего дружка Каплана — спокойный, важный, на меня не глядит. Расскажите нам, пожалуйста, говорит судья, что это за доля от выручки в вашем магазине — как по-

нять, гражданин Каплан? Ничего не знаю, натурально удивляется Каплан, выручка это выручка, сдаем ежедневно, как положено, можете проверить. Вызывают продавцов — одного, другого, третьего — пожимают плечами, первый раз слышат. Вызывают уборщицу, тетю Дашу. Получаете вы, гражданка, к вашей зарплате долю от выручки, спрашивает судья. А как же, говорит тетя Даша, небольшие деньги, но получаю, пятерочку подбрасывают каждый день, дай Бог здоровья товарищу Каплану, не обижает старуху, не знаю, говорит, сколько продавцы или заведующий получает, а мне пятерочка к сиротской зарплате не лишняя... Смотрю, Каплан зеленый стал... Суд принимает частное определение — и его прямо там, в зале суда под стражу, в Бутырку...» — «Крепко», — сказал я. «Вот и я говорю: закон возмездия», — сказал Боря. — «Что ж ты, Каплан, кричу ему со скамьи подсудимых, забыл, что земля круглая?!»

«Но это не все, — продолжает Боря. — Суд объявляет новый перерыв, я сижу здесь, Каплан на Бутырке, наш разоблачитель гуляет по магазину. А следствию он покоя не дает, чуют — еще что-то есть. Делают у него обыск, вроде по другому делу. Чистая квартира, зря пришли. Откуда у тебя автомобильный насос, говорят, а машины нет. Нашел, на улице валялся, куплю машину, пригодится. А на насосе — номер, а хозяйка машины, чей номер, два года назад пропала — искали, не нашли. Машину обнаружили, а ни насоса, ни хозяйки. Берут Генку на Петровку... Куда ему на Петровку, если на суде, когда его никто не спрашивал... А тут прижали, выложил в подробностях. Угнали они с ребятами два года назад машину, покататься захотелось. Покатались и обратно в гараж, как Вася собирался. Загоняют машину, а в гараже — хозяйка, ах, мол, такие-сякие. Они ее этим самым насосом. И опять уехали, проветриться. Покатались. Куда машину девать — в гараж, а хозяйка шевелится. Они ее зарыли в гараже... Везут Генку с Петровки к тому гаражу, показывает, выкапывают хозяйку — что за два года осталось? Он и тех двоих, что с ним были, сдает. Ему еще одно дело, мокрое...»

Вася — человек эмоциональный, бегал по камере, стучал кулаками по голове, переживал...

Поздно вечером Боря сказал мне: «Пашка будет Генку допрашивать, он и его едва не вложил — это Пашка отмазал Генку в Пушкине. Мы, Пашка говорит,

его на Петровку возьмем, там разговор простой... Да что теперь о нем — кончат Генку, сам захотел...»

Письма я Боре не дал. Не то, чтоб я ему не поверил, но... Мне не нужно, сказал я ему, если б мне для дела, кого предупредить, спрятать или еще что — а мне не надо, я ничего не прячу, как жил, так и буду жить. Понятно, сказал Боря, нет степени доверия. Нет, сказал я, для меня это роскошь, а я в тюрьме.

8

— ...Давай сыграем на твою сигарету,— говорит Боря.

— Я тебе и так оставлю. Покурим. И сыграем...

— Не успеете,— говорит Андрюха, он у нас за начпрода, сейчас подогрев, надо сало резать...

«Подогрев» — последняя еда в камере, после отбоя. Три раза в день едят казенное, а четвертый — свое, из собственных запасов: ларек, передачи, что удастся закосить от обеда и ужина. Особая еда — подогрев, тюрьма, вроде, не имеет к ней отношения: свое едим, не в кормушку швыряют — угощаем друг друга, собственным делимся. И день кончился, ничего уже не произойдет...

Андрюха нарезал розовое сало, колбасу — по куску каждому, по конфете, по пол сухаря; хлеб отдельно.

— Шикуем? — говорит Боря.

— У меня завтра передача, подогреют... Наливай, Григорий.

Гриша сидит возле бака с остывшим чаем, оставшимся от ужина, бак-фаныч, укрыт телогрейкой — теплая желтоватая вода.

— Как тебе, Пахом, не хуже, чем на воле?

— Мне как-то... не с руки,— говорит Пахом,— ваше есть.

— Разживешься,— говорит Боря,— мы все начинали с нуля.

— Ну, коли так...

— Завхозом служил? — спрашивает Боря.

— Вроде того,— Пахом небольшого роста, толстячок, нос пуговкой, холодноватые голубые глаза за очками в металлической оправе, движения уверенные, спокойный.

— Много нахапал? — спрашивает Боря.

— Я не по этому делу,— говорит Пахом.

— Ишь какой! Неужто по мокрому? — не отстает Боря.

— Я сухое предпочитаю, — говорит Пахом, — и если коньяк, чтоб посуше.

— Вон какой, да ты, выходит, серьезный человек?

— Стараюсь, — говорит Пахом, — не всегда получается, но...

— Сто семьдесят третья статья? — спрашивает Боря.

— Она.

— А говоришь не хапал. За что же тогда сел?

— Я об этом со следователем, если настроение будет.

— Вон ты какой, а я думал — чижик.

— Чижики на Птичьем рынке, — говорит Пахом.

— Понятно, — говорит Боря, — ты из тех, кто был ничем, а стал всем. Стих есть про вас: «И на развалинах старой тюрьмы — новые тюрьмы построим мы!...» Построили? Доволен?

— Тюрьма старая, — говорит Пахом, — но если кто...

— Если кто виноват! А ты не виновен? Отсюда никто не уходит. Запомни: попал — не выйдешь. А с твоей статьей точно зарюют. Тут один со сто семьдесят третьей седьмой год сидит.

— Как седьмой? — спрашивает Пахом.

— Шесть отсидел, третий месяц ждет приговора. Генеральный директор из Монины.

— Баранов? — вскидывается Пахом.

— А ты его знаешь?

— Знать не знаю, но...

— Дмитрий Иваныч — правильно? И он из таких — ни в чем не виноват, шесть лет писал жалобы, следователей целая команда, считали, пересчитывали... Вышку запросил прокурор Баранову.

— Не может быть!.. — Пахом сжал кулаки.

— У нас все может. Такие, как ты — это вы здесь тихие, а когда там...

Дверь открывается, не слышали за шумом, как вставили ключ.

Спокойный вечер после подогрева, мелькает у меня, ничего уже не может произойти...

Здоровенный малый, длинные руки, носище свернут на сторону, медвежьи глазки... Бросил мешок, шагает к столу.

— Не в обиде, что задержался? Расписание подвело.

— Надо было билет заранее,— Боря сощурился на него.

— А я с утра сплю, не хотели беспокоить.

— Есть будешь? — спрашивает Андрюха.

— Сытый. Или у вас мясо?

— Мясо на больничке,— говорит Гриша.

— Молодой, а соображаешь. Я оттуда,— задирает грязный свитер, хлопает по тяжелому, голому брюху,— на месяц зарядился.

— Из какой хаты? — спрашивает Боря.

— Из 407. Я бы там притормозился, да старшая сестра, сука...

Боря поднялся из-за стола, лезет на шконку, разделся — и в матрасовку. Что это с ним, думаю, всегда долго разговаривает с каждым, кто приходит, у нас одно время была чехарда: приводили-уводили... Такая была активность, с каждым по-своему — слушал, советовал, расспрашивал, рассказывал: Петьке о зоне, Андрюхе про семейную жизнь, Васе об этапе, с Зиновием Львовичем — о чем не поймешь, даже с Гришей, когда никого нет поблизости; со мной целые дни: шутки, рассказы, анекдоты, подначки — неистощимый человек. А сейчас... Ну что он привязался к Пахому?

— ...из вас никто на больничке не был?..— слышу новоприбывшего.— Цирк, братцы... С куревом хреново,— он протягивает длинную руку, спокойно вынимает сигарету изо рта у Гриши.

— Ты что?..— Гриша распустил губы.

— Тихо, птенчик,— говорит новоприбывший,— у меня недокур. Так вот... Старшая сестра, сука, сбесилась. Такая, мужики, история... Баба непростая, майор ее... главный кум, все перед ней на цырлах, крутят жопой — Олечка да Ольга Васильевна, короче, хозяйка. А нам бы покурить и колес поболе, мясо в кормушке, кантуемся. Подход надо иметь — и курево будет и колеса. А тут оборзела. Мужика у нее увели.

— Какого мужика? — спрашивает Вася.

— Был на больничке, я не застал, рассказывают, месяца два назад, артист, он ее сразу схватил за что такую положено хватать, а она, вроде, не врубилась или цену знает, никто, короче, не видел, но известно — скальпелем по скуле. Мужик не простой, он ее не выпустил из процедурной, а когда вышли, у нее, говорят, весь

халат в кровище. Уговорил, короче. После того он не ночевал в хате, в 408, рядом с моей, она все ночные дежурства отменила, сама взяла, ночью не вылезала из больнички. Жили мужики в 408, как короли, сигареты, чай, водку приносил — малина. Вся больничка знала, а ей хоть что, лихая стерва. Стукнули майору, а этот артист осужден, тормозится на тюрьме, зимой на зону дураком быть.

— Отправил? — спрашивает Андрюха.

— Хрена! — говорит новоприбывший, он докурил и щелчком сигарету в угол. — Майор бабы испугался, отправил его на корпус, говорят, на спецу. Сговорились.

— Как фамилия? — спрашивает Андрюха.

— Вроде... как это... Безарев ли, Бедарев.

— Кто? — спрашивает Вася.

— Хрен его знает, вроде, Безарев. Артист, короче — и бабу схватил, и майора поймел, и с бабы тянет, и с майора. Закладывает, само собой, лохов по тюрьме много...

Я вздрагиваю, Боря стоит за моей спиной.

— Ты что балаболишь, падла? — тихо говорит он.

— Чего? Это ты мне?

— Ты что на хвосте принес? Я Бедарев.

— Ты?.. — новоприбывший озадачен. — Не брехали — на спецу?

— Жми отсюда, — тихо говорит Боря, — сразу, чтоб...

— Я — жми?.. — медвежьи глазки окидывают камеру, щупают каждого: Зиновий Львович на шконке, у сортира, он не жалуется подогрев, остальные за столом. — Вон оно что... — медленно говорит медвежьи глазки, — вас он, значит, ощипывает, а вы терпите? Ну хата... — он смачно сплевывает на пол и тяжело начинает подниматься из-за стола. — Терпите, как он на вас стучит, с майором за бабу расплачивается и никто из вас ему...

Договорить он не успевает, Боря точно выбрал момент, медвежьи глазки тяжелей килограммов на десять, здоровей, но он поднимается, ноги согнуты, нет опоры, Боря пролетает мимо меня и с размаху, кулаком бьет его в лицо. Медвежьи глазки поднимает в воздух, голова глухо брякает о кафельный борт сортира, он сползает на пол. Боря уже у двери, жмет на «клопа». Никто за столом не успел двинуться.

Лязгает кормушка.

— Убери кого привел, — говорит Боря.

— Чего?

— Убери, говорю, сдохнет, будешь отвечать.

Лохматая голова вертухая лезет в кормушку, он видит только ноги на полу, дальше не разглядеть. Кормушка захлопывается.

— Ну,— говорит Боря,— кто за ним?

Все молчат.

— Пораззявили хлебала, вам каждый наговорит. Есть вопросы?..

Распахивается дверь. Входит корпусной.

— Что тут у вас?

— Споткнулся,— говорит Боря,— ножки слабые. Еще раз споткнется, уйдет на волю.

Корпусной наклоняется, берет лежащего за руку. Тот с трудом садится, крутит головой, лицо в крови.

— Вставай,— говорит корпусной.

Медвежьи глазки поднимается, вид у него страшный.

— Ну, гад... я тебя...— он отшвыривает корпусного.

Боря не двинулся. Корпусной успевает раньше: заламывает руки и вытаскивает грузное тело в коридор. Возвращается.

— Как твоя фамилия?

— Бедарев,— говорит Боря.

— Смотри, Бедарев... Где его вещи?..

Корпусной выбрасывает мешок в коридор. Дверь захлопывается.

Минут через двадцать, все уже улеглись, снова гремит дверь — длинный белобрысый майор с лошадиным лицом, за ним корпусной, в дверях вертухаи.

— Встать!..

Поднимаемся; Боря лежит.

— А тебе отдельно?

Боря вылезает из матрасовки.

— Фамилия?

— Бедарев.

— Это ты?! — кажется майор захлебнется от крика.— Беспредел устраиваешь в камере! Да я тебя...

— Не тыкайте,— говорит Боря, он белый, как плита над умывальником.— И кричать не положено.

— Будешь учить меня, что положено?.. Я дежурный помощник начальника следственного изолятора. Как стоишь?!

— У вас права нет кричать,— говорит Боря.— И унижать достоинство — нет права. Я в следственной ка-

мере, не осужден. У вас и на преступника нет права кричать, а я...

— Вон из камеры!.. С вещами, с вещами!..

Боря начинает собирать вещи.

— Вы бы разобрались, гражданин майор...— говорю я.

— Что? А вы кто такой?.. Нет адвокатов в тюрьме! Быстрее собирайтесь!..

Боря явно не торопится, вижу пихает в мешок один сапог, второй под шконку, шапку оставил, берет сигареты...

— Десять суток! — кричит майор.— Понюхаете карцер!..

— А я без обоняния,— говорит Боря.

— Разговоры!.. Это что такое?..—майор срывает петлю над Бориной шконкой, картинку со стены, календарь, топчет ногами коробки-пепельницы, хлебницы...

— Люди работали,— говорит Боря,— старались, хотя бы поглядели, что ломаете.

— Молчать. Чтоб ничего на стенах! Разгоню камеру!..

Боря выходит первым, майор, корпусной следом. Дверь грохнула.

— Часто у вас так? — спрашивает Пахом.

— Кто из них врет? — говорит Вася.

— Врет-не врет, а с Борей хорошо жилось,— говорит Петька.— Раскидают хату. Ладно, мне на суд.

— И я не задержусь,— говорит Вася.

У меня все дрожит, не могу прикурить.

— В камере самое страшное тишина,— говорит Гриша,— когда тихо, спокойно — тут и начинается, из ничего.

— Давайте спать, мужики, завтра с утра потащут,— говорит Андрюха.— Эх, не успею мою передачу схватить!

— Жалко Борю,— говорит Гриша.

— У нас на двадцать четверке, на Урале...— начинает Зиновий Львович.

— Заткнись, дед,— обрывает его Петька,— надоело.

Заползаю в матрасовку. Шконка рядом пустая, холодные черные полосы, на полу под ними валяется сапог, шапка, тетрадь с вылетевшим листом, скашиваю глаза — крупный, быстрый почерк: «Боречка! Любимый мой, радость моя ненаглядная...»

Боря вернулся утром, после завтрака: спокойный, веселый.

— Всю ночь прыгал,— говорит,— раздели, выдали кальсоны и майку без рукавов. Батарей отключены, из параша течет...

— А этого куда? — спросил Андрюха.

— Хрен его знает. Его из больнички за драку поперли, потому меня и отпустили. Вытаскивают утром: напрыгался, лейтенант спрашивает, другой раз не так попрыгаешь... А вы хороши: семьей живем, чтоб жрать вместе? Дошло до дела — попрятали языки в жопу...

Первым делом Боря застелил шконку, прикрепил на место сорванную майором картинку, приладил петлю, достал из-под шконки тетрадь и собрал разбросанные на полу листки.

Когда пошли на прогулку, он придержал меня за рукав:

— Останься, Серый, есть разговор.

Я остался. Зиновий Львович спал. Больше никого в камере.

— Напугался? — спросил Боря.

— За тебя испугался. Думал, не увидимся.

— Мы до лета вместе, раньше июня у меня суда не будет, Пашка сказал, а тебя еще ни разу не вызывали. Не веришь мне?

— Чему не верю? — спросил я.

Мы сидели на моей шконке лицом к решке, спиной к камере. Нет, он не спокоен, понял я, а что не весел...

— Веришь-не веришь, не важно. Он правду сказал.

— Как... правду? — спрашиваю.

— Майор со мной счеты сводит, за Ольгу... Да разве в том дело! Слушай, Серый, я-то тебе верю, ты мне, как хочешь, сам тебя учил — в тюрьме никому не верь, кенту не верь, себе — только по праздникам. А я тебе верю. Ты меня сразу взял, когда перекрестился — помнишь? — за столом... Ладно. За все платим, ты верно сказал, а я... А если что доброе сделал — учтут, перевесит?

— Откуда мне знать,— говорю,— я не священник. Если без корысти, ради Христа — перевесит.

— Ради Христа?.. Не знаю, не понять. У меня дружок был, Колька, со школы... Я тебе рассказывал, мы

с ним в мореходку убежали — помнишь?.. Я остался, а он слинял, геологом стал. Редко видались, я в море, жил в Ленинграде, а когда приезжал к матери в Москву, к нему обязательно, если дома, а он все больше в поле. А тут заболел, год не работал, стало получше, решили с женой на Кавказ, в альпинистский лагерь... Оба погибли в лавине. Остался сын, тоже Колька, пять лет было — и никого, тетка где-то. Взял к себе, увез в Ленинград, теперь ему двенадцать, правда зовет — Боря, я не хотел, чтоб отцом, пусть своего помнит — верно?.. Как считаешь — учтется?

— Не знаю, Боря, — сказал я, — нам про это думать не положено, делай по сердцу — за нас решат.

— По сердцу... А тут как? Она — блядь, знаю, сука — знаю, но я, веришь, Серый, ни о чем думать не могу, на меня не похоже? Я сколько баб повидал, я тебе рассказывал, ты не хочешь слушать...

Он замолчал.

— Так что у тебя? — спросил я.

— Я сам не пойму... Он набрехал про скальпель, тюремная параша, на больничке придумали...

— Так ты был на больничке? — спросил я.

— Был. В тот раз на третий день вытащили из карцера. Два дня прыгал, на третий сморило, а спать на железе, ни матраса, ничего нет, отпирают на ночь шконку — ложись. Я на третий день вырубился, скovyрнул шрам, свежий или зашили плохо, проснулся в крови, стал стучать, вытащили и на больничку. Ночь была, а у нас и днем нет хирурга, с Бутырок привозят. Она дежурила ночью, Ольга, стала зашивать... Тут я ее схватил, верно...

— А потом? — спрашиваю.

— А потом до сего дня. Я бы женился на ней, я таких баб не видел, не знал.

— У тебя жена, — говорю, — Колька?

— У меня две жены, и, кроме Кольки, двое. Я тебе рассказывал...

Рассказывал, думаю я, чего-чего он не рассказывал — сколько там правды? Сентиментальная лагерная повесть. Была у него жена в Питере, артистка, он — богатый мореход, дочь, квартира, «вольво»... Приезжает к нему на зону: «личняк», три дня. На третий день говорит: «У меня, Боря, гастролы, в Америке, из-за тебя не пускают...» Если б она в первый день сказала,

рассказывал Боря, нормально, жизнь есть жизнь, а она на третий... «Боялась, духу набиралась?..» О чем разговор, сказал ей Боря, от меня заявление, пожалуйста... Развели, уехала, пишет, а он не отвечает. Через полгода опять свидание, общее. Жду мать, рассказывал Боря, надо было кой-что передать. Выводят на свидание человек пятнадцать, а их еще больше — дети, родители... Нет матери. Все за столом, разговоры... Стоит девчушка в стороне, лет восемнадцать. А вы к кому, спрашивает ее Боря. А я, говорит, к вам. Кто такая? Соседка ваша, мы только переехали, мама ваша заболела, попросила съездить, а у меня время свободное, я говорила с начальником, разрешил... Понятно, что разрешил, рассказывал Боря, я на зоне жил, как король, считай, начальник производства. Не начальник, механик, начальником вольная баба, швейное производство, но я всем крутил, она и безконвойку устроила, и чуланчик был, где мы с ней в жмурки играли, — короче, можно сидеть... Выходим с девчушкой на крылечко, садимся на бревнышки возле дома свиданий, весна, теплынь, о том, о сем — ни о чем. Как тебя звать — Варя. Варя так Варя. А можно, говорит, я к вам еще через полгода? Через полгода нельзя, говорю, личное свидание. А я на личное. Для этого, говорю, надо заявление. А я бы, говорит, написала... Поговорили. Пошли от нее письма, а через полгода — что думаешь? — приезжает: заявление, ей штамп в паспорт, тогда разрешали бутылку шампанского, я бутылку спирта со своего производства — три дня свидание и три на свадьбу. Через полгода приезжает на общее, а еще через три месяца телеграмма — дочь... «Лучшей жены не надо...» — сказал мне тогда Боря.

— ...У меня две жены и, кроме Кольки, двое. А мне того не надо. Ты писатель, должен понимать в бабах — что мне делать?

— А что тебе делать?

— Она с майором спит — сечешь? С мужем, говорит, не живу, а с майором — вся тюрьма знает. До мужа мне нет дела, а майора...

— Тот, что приходил?

— Нет, тот ДПНСИ, по режиму, припадочный. Другой майор, кум... Слушай, давай его уберем, суку?

— Кого? — спрашиваю.

— Кума. Нас двое, две головы — не придумаем?..

У меня с ним была встреча на больничке... Мне бы его на воле встретить...

— Выходит, он тебя сюда отправил? — спрашиваю.

— Ну отправил. Я таких видал, они за мной всю жизнь ходят, еще на сухогрузе, а на зоне!.. Много они с меня взяли? Хрен им меня прижать, а этот слизняк... Давай его спровадим?

— Ты что, Боря,— говорю,— мы под замком?

— Анонимку прокурору: живет, мол, со старшей сестрой?

— Не знаю, как его, ее первую выкинут.

— Да, не годится... Слушай, там есть сестричка, Леночка, такая киска... Напиши, что он ее — тянет?..

— Ее еще проще выкинуть.

— Пес с ней, ей только польза, последнее дело здесь работать — что с ней через год будет, из нее тут такую сделают...

— Я, Боря, доносов писать не могу.

— Да?..

За спиной гремит дверь, вваливаются с мороза наши сожители.

— Гляди,— кричит Андрюха,— на месте, не тронули хату!

— Кому вы нужны, чижики,— говорит Боря,— чирикайте...

Он не отходил целый день, мне показалось — не в себе.

— Я тебе все расскажу,— говорит,— баба есть баба, им всем надо одно, и нам всем — одно. Но... Как бы тебе объяснить?.. Я две недели кантовался на больничке, а считай, целую жизнь прожил с ней, все ночи до утра... Муж у нее давно записался, где она его нашла — может, здесь подобрала, сколько тут мужиков, говорят, до десяти тысяч? Что я про нее знаю? Только что рассказывала и что сам увидел — а мне хватит! На всю жизнь. Да не надо на всю жизнь — она меня отсюда вытащит, понял? У нее кум, через него...

Тихо в камере... Какое тихо: радио бурлит, Андрюха с Васей играют, Пахом с ними, проходит курс, Петька прилип к Зиновию Львовичу, только Гриша молчит, читает, что ли? Тихо не бывает, но привык — не слышу...

— Я с ней вижусь... — шепчет Боря, лежим рядом на шконке,— здесь, на корпусе. Лидка-врачиха, ее кен-

товка, ты знаешь, она тебя вызывала, врач — запомнил?

— Помню,— говорю,— красивая женщина.

— Что ты понимаешь, ты бы на Ольгу поглядел. Разве что, оголодаешь, не на такую будешь смотреть: кольца, глазами моргает, интеллигенточка... Я, думаешь, куда на вызова хожу?

— Куда?

— К ней, к Лидке, в нашем коридоре. Пашка редко приезжает, я не его следственный, у него Генка, а тот на Бутырке, моему следаку я не нужен, он свое сделал, ждет суда, когда Генку оформят, Лидка вызывает, мне, вроде, продолжать курс лечения, недолежал на больничке, кум, как узнал, вытащил, а у Лидки две комнаты — видал?.. Она в первой принимает, дверь всегда открыта, чтоб вертухай видел, а вторую закрывает — там Ольга и ждет... Я ей говорю: уедем отсюда, машину заберу, остальное Варьке, все ей оставлю, а деньги есть, я не зря пять лет на рефрижераторе, хватит, у меня дружок в Сухуми, дом купим...

— А возмездие, Боря?

— Что?.. Потом, потом, Серый, расплачусь. Мне б отсюда выскочить, не могу я пять лет, не вытяну, а меньше не дадут, у них кампания, всех стригут по этим статьям, не открутишься, если не Ольга, не майор... Обманут, думаешь? Обманет, сука...

— Так что ж ты хочешь? — спрашиваю.

— Я ее жду, понял? Обманет-не обманет, а когда встречаемся... Ну как тебе сказать? У нее, понимаешь... халат белый, она его расстегивает... Как придумали — халат в кровище! Верно, когда зашивала ночью, я ей не дал, не успела зашить... Ты что, говорит, халат испачкаешь! И смеется, стерва... Баба есть баба, Серый, я когда ей рассказывал — Сухуми, дом у моря, машина, деньги — глаза загорелись. Что она видала, даром что заметная, отчаянная... Спившийся мужик, мусорный, тюремная больница, гроши, доходяги голые задницы подставляют, — да не положено ей уколы делать, старшая сестра, она из-за меня!.. И этот кум, слизняк, мразь... А я мужик, она понимает, она таких не знала... Я его заставлю, она говорит, он все может, на крайний случай — поселение, на худой конец, зону поближе, посытней... Понимаешь, Серый, через кума! Значит, ей за то платить?

— Ты сам говоришь, за все платим.

— Мы платим, а когда за нас?

— Так и платим,— говорю,— другими расплачиваемся.

— И у тебя так было? — спрашивает.

— У каждого свое,— говорю,— это и есть грех, когда других втягиваешь, сам бы ладно.

— Верно! А тут все на мне: она мне добром платит, она для меня всем рискует, она собой... жертвует — так?

— Хитер человек,— говорю,— а Бога не перехитришь.

— Так думаешь?

Я промолчал.

— Ладно, Серый,— говорит,— так ли, не так, разберусь. Ты мне вот что... От нее уже неделю — ничего, и Лидка, сука, не вызывает. Напиши ей письмо, за меня, а, Серый?..

— Я — за тебя?

— Я ей твой телефон передал,— говорит,— помнишь, ты давал, боялся, меня уведут, чтоб не потеряться? И Пашке передал, чтоб они моей сестре, Вальке, сказали, Ольга с ней видалась, с сестрой. Кто-нибудь передаст, да оба — и он, и она. А Валька позвонит тебе домой, зайдет — и возьмет письмо, сечешь? Я и жду, вызовут, может, для тебя уже письмо...

— Мне гонорар, что ли? — спрашиваю.

— Я тебе не хотел говорить, ты мне не веришь, а как получишь... Ладно, зря сказал. Напиши, Серый, ты писатель, напиши так, чтоб она... поплыла? Чтоб ей света в окошке без меня — не стало. Тогда она на уши встанет, придумает, кума за глотку, заставит...

— Как же я напишу,— говорю,— я ее в глаза не видел — что я про нее знаю?

— А я тебе письма, у меня — гляди... — он лезет под матрас, достает тетрадку. — Ты поймешь... Этот ублюдок балаболит, она, мол скальпелем. Да не он придумал, у него одна извилина... Не было того, но... Пойми меня, у меня этих баб, как волос, у меня Варька — пять лет буду мотать на зоне, знаю — никому, ни с кем! А мне скучно дома — понял? А эта, Ольга... Могла, понимаешь — смогла бы! Если б что не так, если б... скальпель в руке — полоснула бы и ни о чем, что будет дальше, не подумала. Потому верю — она меня отсюда вытащит, не знаю как, чем кто заплатит, но...

— Хорошо,— сказал я,— попробую. Давай письма.

Попался, думаю я, неужто попался? Так просто, дешево, безо всякого сопротивления, сам, своими ногами, собственной охотой... А как еще бывает? Раскаленное железо, дыба, игла под ногтями... «Кому вы нужны, чижики, чирикайте себе...» Никому я не нужен, сам иду навстречу, сам хватаю, что подбрасывают, а он смеется, веселится, доволен — легкая добыча, простая работа, и мудрить не надо: размяк, расслапился, душа играет, всем тягость, а мне хорошо, всем тюрьма, а мне — зимовка, скучно — болты мешают, а так бы до конца срока, возьмите меня! А меня и брать не надо, сам отдался, мне и сулить не обязательно — я и так готов.

Как в черной вате, как в страшном липком сне — ни ногой, ни рукой, где я — разве это я? А ты думал — кто такой?

Висит камера меж небом и землей — светло, чисто, сухо, сытно, все неудобства, что вмяты в железную дверь болты — шесть на шесть, блажь у меня, глядеть не могу; изучил камеру, каждую щербину знаю, каждая плитка на полу — знакома, раз в неделю, в очередь скребу шваброй, было время изучить. Целую жизнь здесь прожил, другой не надо, выдержим, не пугайте... А тебя никто пугать не собирается, зачем, без того растерян, раздражен, дергаешься... Отдал первородство, ни за что, ни за похлебку, по жалкой душевной слабости, чтоб кусок посочней — все дружки: Серый да Серый, а не насторожило — почему все, и те, кто готов сожрать друг друга — и они?..

Меж небом и землей... А задумался над тем — что оно, твое небо?.. Видимая сквозь решетку, сквозь ржавую железную сетку над мерзлым двориком лазуревая бездна воздуха, разве она — Небо, а не пристанище для низвергнутых с истинного Неба духов злобы поднебесных? Принял, сам впустил в себя, теперь опоминаться, когда рвут когтями, когда стал задыхаться... Белый халат в крови, дом у моря, черная длинная машина — «иномарка», мерзкий донос, анонимка, шепот кума, липкая страсть за спиной вертухая, пальмы, цветы... Камин, камин не забудь, Серый, а в нем сандаловое дерево, пылают поленья, сечешь запах, было, будет, мраморная доска, а на ней коньяк, виски, слышать, как бьет прибой у решетки сада, южные звезды над горами,

над своим пляжем, а эту уберем, пес с ней, ее все перепробовали, а у этой в руке нож, скальпель, она у кого хочешь душу вынет, а девочка плачет, забыть не может общее свидание, личняк, а кум ухмыляется, висит рыбка на крючке, не сорвется, заглатывает, я ему покажу сытную зону-поселение, он у меня попадет куда надо, и ты мне за любовь заплатишь, за смех за моей спиной заплатишь, сапоги будешь лизать, а может, и письма — ему, куму: мне не забыть твоих рук, твоих глаз, у нас все впереди, еще не то будет, распустишь волосы, а сквозь них золотые звезды на черном небе, а под нами влажная галька пахнет морем, песок скрипит под волной, скрипят сосны, а на той сосне еще крючок — для писаки, вымажем чистенького в говнеце, чтоб запашок, не отмоется — зачем с ним мудрить, тепленький, сам приполз... «А то была история, шоферил в воинской части, гоню утречком по шоссе, голосует, садись, не жалко казенной машины, гляжу — поп, во, думаю, пассажир, то-се мужик в норме, борода да крест на брюхе — балабол, как все, заедем, мол, в гости, стакан налью, с нашим удовольствием, а дома попадья, а на столе чего-чего нету, от печки к столу — щеки красные, сиськи прыгают, как футбольные мячи, не стакан, до темна гуляем, а у нас, говорю, сегодня фильм новый, отпустил бы, святой отец, матушку, не все ей время у печки, а мне что, говорит, если управится, уберет, вымоет, к утру пироги да пышки, управлюсь, уберу, напеку — и в машину, да недалеко, в лесочек, и с той поры до белых мух — он в церковь, а она в лесок...»

Кто виноват, кто принял духов злобы поднебесных, кишмя кишаших в чистой светлой хате — меж небом и землей? Незанятый, выметенный, убранный дом — тогда идет и берет с собой семь других, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого...

В чем была ошибка, думаю я, начало, шаг в сторону, где перепутана тропа, оступился, скользнул, а теперь — вниз, вниз, теперь вихрь, не выбраться, если Бог не поможет, сам — ни за что, куда мне — помощи, Господи, помоги!.. Отказался от прежней жизни, забыл, затер, вычистил, вымел дом — а чем заполнил, чем заселил? Отказался от того, что все равно забрали — но зачем забрали, ради чего? Чтоб впустить в пустой, выметенный дом — кого впустить?.. Помилуй меня, Господи, и спаси! Что ж и о том забыл, что умерло во мне,

воскресая, слабый росток, а в нем воскресшая жизнь, что рядом с ней слепая, все сжигающая страсть, перепутано добро и зло, не отличишь — кровь, грязь, отчаяние, измена, предательство, сентиментальность, корысть, душевная расслабленность, жажда урвать, не прогадать, не упустить сейчас, завтра — не надо... Вон они, рассеяны во множестве по всей прозрачной бездне — надо мной, во мне! Нет злодеяния, чтоб они не зачинщики, преступления, чтоб не участвовали, так ли сяк — разберемся!..

Я давно обратил внимание: стоит возле левого клироса, всегда на одном месте, черный платок до бровей, строгое лицо, ничего лишнего, — своего — чистая красота. Однажды столкнулись глазами... Нет, подумал я, еще не все отдала: переменчивые, глубокие, тают, плывут... И еще, и еще. И еще раз: подходит к священнику, после службы, вынимает из сумки — этюдник! — завернутое в белую тряпицу — икона!.. Осенью, за три месяца до того, сошлись в дверях, на паперти, старушка поскользнулась, покатила со ступеней, вместе подняли: «Куда вам, матушка?» — и голос живой, звонкий. Вместе шли, через два переулка, на пятый этаж... А потом вниз вместе, а потом по улице вместе, а там — до утра. Нина. Я ничего не знал о ней, до сегодня — не знаю. Я ничего не хотел знать, мы больше молчали. Сколько раз видались — три, четыре... Пятый — последний. Сегодня я не могу гулять, мне за город, говорит, кой-что забрать. — Возьмете меня?.. Глубокая осень, ноябрь, мерзлая земля со снежком, заколоченные дачи, голые деревья, стылые комнаты... Стемнело, света не было, трещали дрова в печке, на столе свеча...

Что это — было, приснилось? Из какой жизни — из той, что была, что будет?.. Мне ничего здесь не нужно, сказала она, я вас обманула, вокруг никого, только печка, свеча и нас двое... Она развязала платок, на белой стене, над ее головой поднялось темное пушистое облако, глаза у нее по-детски круглые, в них дрожит пламя свечи. Я видела: ты меня ищешь, ждешь, а я здесь, я сама тебя ждала, но... будь великодушным, Вадя, я не могу, не смогу тебе отказать ни в чем, но прошу тебя, будь великодушным — хорошо? Так теперь не бывает, я знаю — смешно, нелепо, но давай... не так, как теперь? Пусть Бог решит за нас. Давай встретимся через... три месяца, если... Бог того захочет... «Огненно-

го искушения, сказала она, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да...» Дальше я не помнил, а она проговорила до конца, до точки. «Огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да...» Нет, не могу вспомнить.

Три месяца кончились в тот день, когда мы с Митей повезли сестренку в родильный дом. В церковь я не пошел. Наше последнее свидание не состоялось. Не было его. И ничего не было?..

Мы гуляем в промерзшем дворике, нас трое: Пахом, я и Гриша. Зиновий Львович и Боря остались в камере, Андрюха на вызове, Петьки и Васи уже нет. Петька не вернулся: «Может, кого из вас на Пресне дождусь? Не забывают Звонаря!..» — и сгинул. Вася пришел после первого дня трибунала, прокурор запросил три года — три года без месяца на Тихоокеанском флоте, а теперь еще три сухопутной зоны. «Смотри, Вася, больше не заскучай», — сказал я ему. «Теперь все, — говорит, — отстрелялся: и служба, и тюрьма, что осталось? Жениться осталось!..» «Я рад, что тебя увидел, Серый...» — сказал он. — А ты поаккуратней, много говоришь, не верю я ему, болтал — на Кубе они пряжками дрались, откуда у них пряжки, нет их на торговом флоте...» Еще штрих к портрету, думаю.

И вот мы втроем во дворике, холодно, топчемся на пяточке, хозобслуга скальвала лед, развалили, забили дворик, не походишь. Гриша забрался на кучу, ухватился руками за ржавую сетку, глядит в небо — что он там видит в прозрачной бездне — духов злобы поднебесных?..

— У меня к тебе щекотливый вопрос, Вадим, — говорит Пахом...

Телогрейка, кирзовые сапоги, уши опущены, подвязаны, очки запотели. Я таких не видел, и на воле не знал, не пришлось. А жаль, мне было бы на пользу. Думал, таких нет. Нормальный мужик, как теперь говорят, немолодой, под пятьдесят, хозяйственный руководитель; спокойный, видать, деловой, энергичный, сдержанный, несомненно знающий, с образованием — агроном; из глубинки, а работал в Москве, не великая

должность, но все-таки — генеральный директор объединения, плодоовощные «точки» в нескольких московских районах. Среднее звено, как говорится. И не карьеру делал, как я понял, работал себе и работал: агроном, директор совхоза, чиновник в управлении, в министерстве, потом генеральный директор. Он много говорил со мной, свободно, но я понимал, знает, о чем можно говорить в камере. Картина из его рассказов складывалась ужасающая: невообразимый, разболтанный, разваливающийся хаос, в котором никто уже ничего не мог понять и невозможно хоть что-то сделать. Хотя будешь честным, как князь Мышкин и самоотверженным, как Дон Кихот — да что там Мышкин с Дон Кихотом сделают в нашем хозяйстве, в конце его развалят. Пахом не наживался, в камере человека сразу видно: как держится, одет, какие передачи, что рассказывает о доме, по случайным словам — вырвалось бы, проговорился, как бы ни был хитер и сдержан, все выкупаются... И жил где-то за чертой Москвы, хотя и генеральный, в тесной квартирке с женой и дочерью на выданье, и заботы-тревоги самые мизерные... Они говорят «взятка», рассказывал он, приходит, скажем, состав со свежими помидорами, сегодня не разгрузишь, завтра другой сорт, а они не хотят разгружать, стрелять их, что ли? Ставлю коньяк или мне ставят. Взятка? А два раза коньяк — вторая часть статьи, до расстрела, а работать надо, с меня шкуру снимут. Да разве я мог бы поверить — за это в тюрьму! Никто не верил, пока не стали брать десятками, а по Москве теперь тысячи, вся хозяйственная Москва сидит, тысячи коммунистов, как в тридцать седьмом году... А ты знаешь про тридцать седьмой год, спросил я. А как же, говорит, я с этим родился, у меня год рождения тридцать седьмой и в том же году отца убили. Трактористом был, мы воронежские. Идет из роддома, из райцентра, пьяный, кренделя выписывает по дороге — сын родился! Навстречу милиция, из нашей деревни: ты что, говорят, такой-сякой, позоришь звание ударника труда, что, мол, Сталин сказал? А пошли вы, говорит, со своим Сталиным, надоели... Утром взяли и с концами. «Трантист», как у нас говорил один дед, его тоже в троцкизме обвиняли: какой, говорит, я трантист, это у нас Колька, он в метеесе работает, а я, мол, конюх, а его в зубы...

Есть люди, рассказывал Пахом, конечно, есть, я хорошо знаю, нормальные мужики, работяги — поезда хо-

дят, хлеб сеют, сталь и ту плавят, я на Урале работал, знаю. То и удивительно, что расписание существует, что сеют и плавят. Другое дело, как это все в натуре, но.. Есть, есть нормальные мужики, они вместо того, чтоб бежать куда глаза глядят, сидят на своем месте, вкалывают, мозгами крутят, как бы и дело сделать и закон обойти, он им ничего делать не дает — а их сюда. Да разве нас надо брать, говорил Пахом, явно забывая где находится, но бывает, что и сдержанный человек не может остановиться, взяли меня — что у них изменилось? Я знаю, кого надо брать, но там закон не писан, до тех не доберешься. Ко мне один такой приезжал, хозяин Москвы, не второй, так пятый человек в государстве, всякое может случиться, он и первым будет... А меня мужики из управления предупредили за полчаса, едет, мол, навел марафет, въезжает, прошел по цехам, пожал руку, уехал. А к соседу нагрязнул, тот ничего не знал, как снег на голову, а во дворе картошка, привезли, не успели убрать — он «чумовозом» по картошке, развернулся и в ворота. Что думаешь, не успел доехать до своей конторы, соседа сняли и из партии... А я теперь думаю, дурак я дурак, знать бы, я бы весь двор картошкой засыпал, пусть давит, сидел бы сейчас дома, в совхозе конюхом — не на нарах, не на зоне, расстрелять меня не расстреляют, вроде, не за что, а десять, как бы не двенадцать, мои. Ты что думаешь, те, кто на самом деле берут, да не коньяк, кто дворцы строят и на сафари ездит, кто развалил супердержаву — а ведь хлеб вывозили, ты подумай, весь мир кормила нищая Россия! Они и ездят в «чумовозах», вот кого брать, да руки короткие, кто их возьмет. Ладно, и говорить неокота, заканчивал Пахом свои социально-экономические рассказы.

И в камере он жил, как человек, приглядывался, побряхтывал, изучал УПК, играл в «мандавошку», а чаще в шахматы, научился «вертеть» ручки — любимое дело эков в тюрьме: распускают нейлоновые тряпки, носки, рубашки, обвязывают цветными нитками стержень от шариковой ручки, завернутый в бумагу — любой узор: «Дорогой Наташе от Кости в день 8 марта не забывай помни...» Фирма.

Протирает очки, глядит на меня холодноватыми глазами:

— У меня щекотливый вопрос.

— Давай, — говорю, — меня давно не щекотали.

— Ты веришь Бедареву?

Я вздрогнул, оглянувшись на Гришу, он прилип к железной сетке.

— А почему ты меня спрашиваешь? — говорю.

— Ты с ним два месяца, спишь рядом, не разлей вода.

— Все так, почему ж тогда меня?

— Тебе я верю, — говорит, — что-то про людей знаю.

— Если знаешь — зачем спрашивать?

— Экий ты уж, — говорит Пахом и улыбается, хорошая у него улыбка, морщинки у глаз, — с тобой надо проще. Как считаешь, можно через него передать письмо?

Вот оно что, думаю.

— Кому письмо, — спрашиваю, — коли ты мне веришь?

— Жене, — говорит, — мне край нужно.

— Это он тебе предложил? — спрашиваю.

— Нет, я сам попросил, вижу, бывалый, шустрый, все про всех, все ходы-выходы. Можно, говорит, есть канал.

— Если жене, чтоб успокоить, нормально, мол, жив-здоров...

— Нет, — говорит, — я не мальчик, успокаивать, ее письмом не успокоишь. Мне необходимо, понимаешь?

— Я тебе вот что скажу, Пахом... — гляжу ему в очки. — Мне Боря предлагал то же самое. Не я его просил, он предложил, мы кенты. Успокоить я бы хотел, но... Отказался.

— Почему?

— Я тоже не мальчик. Нет той самой необходимости.

— Понятно, — говорит, — а у меня... Ты тут два месяца и тебя ни разу не вызывали?

— Третий месяц. Ни разу.

— Странно. Что ж для них УПК не существует?

— Я про них не думаю, — говорю, — не вызывают и слава Богу.

— А за меня сразу взялись, с первой недели. Следователь давит. Меня, как они говорят, шофер сдал, личный шофер, казенная машина. Парень влип, я его особо не стеснял, он делишки свои обделывал на машине, конечно, я виноват. А когда его взяли в оборот, покати́л на меня. Личный шофер все знает, сидишь рядом,

куда, с кем, а он такое наговорил, правда с враньем так перепутана — я бы сам не разобрался. Знает он, что я от жены скрывал, а больше ничего, а они такой суп сварили — что ты! И это бы не страшно, отмоюсь, но они от меня требуют показаний на других, на нашего зампреда, в Бутырке сидит, на председателя исполкома — пока на свободе...

— Зачем? — спрашиваю.

— Не знаю, — Пахом вздыхает, — я не могу понять смысла, это, как снежный ком, избиение кадров. Нормальные мужики — и зампред и председатель. Тут ОБХСС, мафия, им дела нужны. Или свою шкуру спасают, чтоб до них не добрались, у них много могли бы обнаружить. Он откровенен со мной, следовательно: давайте, говорит, показания, Пахом Михайлович, я все, что ваш шофер наболтал, при вас уничтожу, а нет... Вот о чем надо написать, людей предупредить. И чтоб жена адвоката нашла через председателя, она у меня простая баба, ничего не сообразит. И денег у нее нет, не нахапал, как твой Боря считает. У меня заначка от нее, три сотни припрятал. Я ремонт затевал, сложил кафель в уборной — и между плитками. Они на обыске все расшвыряли, пустые бутылки, дочка собирала — заграничные, и те позабирали, взятки я, мол, брал бутылками. А кафель не тронули...

Да, думаю, большой ты хапуга со своими тремя сотнями.

— Не знаю, Пахом, что посоветовать. Если б ты написал так, чтоб никто, кроме жены, ничего не понял...

— Если я так напишу, — говорит Пахом, — она точно ничего не поймет, следовательно сообразит, он на это науськан, а она — нет. Считаешь, может попасть к нему?

— Тогда я бы на твоём месте не писал.

— Понятно, — говорит Пахом, — но у меня нет выбора, я уже отдал ему письмо. Он ждет вот-вот вызовут — не сегодня-завтра.

— Отдал? Что ж ты мне...

— Для проверки, себя успокоить. Считаю, успокоился.

Утро в камере начинается гимном. Шесть часов. Ржавый, дребезжащий, булькающий хрип — замшелый,

отживший свое старик прочищает глотку, отфыркивается, отплеывается, отхаркивается...

— Да заткни ему хайло, падле! Кто там ближе?..

Никто не хочет вылезать из матрасовки, всю ночь тусовались, можно б еще придавить полчаса, а победный грохот зрелого социализма уже наполняет камеру.

На верхней шконке новый пассажир — Серега Шамов, ему и кричать не надо, люто ненавидит радио, всегда вскакивает с первым вскриком проснувшегося чудища, сегодня замешкался — или заснул под утро? Поднимается под яркими потрескивающими трубками «дневного» света: глаз он продрать не может, кальсоны под брюхом, румяные щеки, встрепанный, всклокоченная рыжая борода — старообрядец из Горького. Со шконки — на умывальник, длинные руки тянутся к зарешеченному оконцу, крутят — и тишина! Для верности, Серега смачно плюет в оконце и лезет назад, накрылся с головой одеялом.

Распахивается дверь.

— Выноси мусор!.. Кто придавил соловья? Включить!

— У нас неделю не работает. Каждый день базарим — хрипит!

— Проверим — совсем заберем. Включить!

— Напугал! Да забирай ты его, нам не надо!

— Да что ты с ним толкуешь, с псом — нажрался ночью дармоед! Он в жисть ничего не подымал тяжелее стакана!..

— Заходи, касатик, мы тебе споем!

— А я тебе спляшу — давай!..

Вертухай не может войти в камеру, не положено без корпусного, кричи что взбредет в голову, он только отбрехивается, это уж так надо обозлить человека, чтоб затеял жаловаться...

— Подойди поближе!.. Шагай смелей, комсомольское племя!..

Вертухай с грохотом швыряет дверь, гремит ключ.

Никто уже не спит: кряхтят, кашляют, выползают из матрасовок, в очередь к умывальнику; Андрюха начинает зарядку.

— Сон приснился, — говорит Пахом, — мясо на бойне. Висят туши, а по ним зеленые мухи...

С верхней шконки свешивается рыжая борода:

— К покойнику сон. Если мясо тухлое, мухи... Увидишь, а не увидишь — услышишь.

— Шаман,— говорит Боря.— Твоя очередь убирать.

— С нашим удовольствием,— Серега садится на шконке, свесил ноги с черными пятками.— У нас, братцы, такая была дома история, собрался я помирать...

Он как вошел в камеру, я понял — другой, ни на кого не похож: лицо открытое, спокойное, глаза веселые и борода до пупа. Не во внешности дело, я уже знал, каждый по-своему входит в камеру, первое дело — в ой ти, многое определяет, а потому так внимательно смотрят на нового пассажира: что за человек, откуда пришел, зачем его сюда кинули — случайность? — в тюрьме случайностей не бывает, накладка редко; кум ли для своих целей, под кого-то, проштрафился ли в другом месте, просто новоприбывший, определенный по режиму, или еще что. Надо понять в первые минуты, не ошибиться: можно ли давать ему место на шконке, принять в «семью», кушать вместе за дубком; возьмешь неведомо кого, а он кумовской, «петух» — и пополз по тюрьме шепоток: «В такой-то хате взяли в семью...» И вся камера под подозрением. А потому каждый, кто входит, если не полный лох, знает, первые минуты решат его судьбу, а может, и не только здесь и на зону потянется ниточка. Потому все так в первые минуты напряжены, собраны, особенно кому есть что скрывать... Не скроешь, как бы ни был хитер, выкупится, слишком много глаз со всех сторон, не спрячешься.

Серега Шамов сел за спекуляцию. Ехал он к себе в Горький из Ростова, взял на Казанском вокзале носильщика, а тот оттащил неподъемные чемоданы в ментовскую. «Килограммов сто,— рассказывал Серега,— носильщик сразу врубился. Икра». — «Черная?» — ахнул Андруха. «Минтай», — сказал Серега. «Кто ж у вас в Горьком минтая хаваает?» — «В Горьком, сколько себя помню, да и до меня, мать говорила, всегда жрать нечего,— рассказывал Серега,— там чего хочешь возьмут, а за минтайской икрой по десять рублей поллитровая банка — в драку». «Я не первый раз езжу,— рассказывал Серега,— в Ростове у меня и магазин, и продавщица знакомая, сразу сто килограммов — и пошел. Сестру взял в помощь, а какой толк от бабы, только на билеты потратился, все равно надо носильщика, я ж не знал, что он не одной тележкой подрабатывает...» Развели Серегу с сестрой по разным «комнатам», оба доложили: и сколько раз ездили, и где в Ростове магазин, и как зовут-величают продавщицу, и почему в Горьком идет

минтай на базаре. «Что ж ты сестру сдал?» — спросил Боря. «Так она сама наболтала, их там пять человек, со всех сторон, все знают, не отбрешешься. Да ладно, сестра, отпустили ее, у нее дети малые... Тут не сестра, куда вы, говорю, икру денете, протухнет, я вон как домой спешил... А то, мол, не твое дело. Я обозлился и прям из чемодана, руками — да разве сжуешь сто килограммов?..» — «Да, — сказал Боря, — коммерсант. Теперь они у тебя дома закусывают». — «Как они ко мне попадут, я не в Москве живу». — «А паспорт был с собой?» — «Что ж, они в Горький поедут?» — «Да, — сказал Боря, — с тобой не заскучаешь. А дома есть чего поискать?» — «Есть, — сказал Серега, — только им не найти, у меня под матрасом деньги...» Большое было веселье в камере от его рассказов.

Но на самом деле, Серега был не так прост. Работал он сторожем на каком-то заводе и прислуживал в старообрядческой церкви — убирал, читал, алтарничал, хотел стать священником, но батюшка не благословил. «А икрой спекулировать благословил?» — спросил я. «А что икра, — сказал Серега, — в Ростове есть, а у нас нет, кто не хочет покупать, пусть сам едет, они мне спасибо говорят за десять рублей, только давай.» — «Так он знал, твой батюшка, куда ты едешь, — не отставал я, — каково ему теперь, когда ты в тюрьме?» — «А он тут причем? Нормальный бизнес, — сказал Серега, — надо не в тюрьму сажать за это, а чтоб жрать было чего, надо хлеб сеять да не гнить, свиней держать и рыбу ловить. А у нас семьдесят лет за спекулянтами охота, будто оттого, что они план по спекулянтам выполняют, у них чего вырастет». — «Это называется политэкономия», — сказал Пахом и поглядел на меня. Я промолчал.

Нет, Серега совсем не прост. Не то чтобы его просто-душие было маской, но он знал ему цену и пользовался им прямо артистично. Такая домашность была в его открытой улыбке, нижегородском говорке, в безотказной и неназойливой услужливости без тени заискивания. Первым делом Серега добела отскоблил стол — дубок, отдраил сортир и раковину, и все это, не переставая сыпать истории, в которых сам он неизменно оказывался в дураках. Полная неожиданность для камеры.

Мне было любопытно, как сложатся у него отношения с Борей. И тут я опять ошибся. Боря в него прямо вцепился, мне показалось, он даже про меня забыл,

первые дни не отпускал Серегу гулять, учил как вести себя со следователем — отказаться от первых показаний: «Скажешь, заставили, запугали, запутали!» — «Так и было», — улыбался Серега. «И на суде вали на ментов, на следака, — говорил Боря, — они сами, мол, сочинили. А ездил в Ростов, потому в Горьком жрать нечего, семья большая, сто килограммов вам как раз на пост хватит, в церкви бесплатно раздаешь. И сестру отмазывай, она, говори, родных в Ростове навещала, к врачам ездила, придумашь. Если вас двое — это группа, больше тянет, а у сестры дети, или ты ее посадить хочешь?..» Боря вдалбливал Сереге свою версию, и хотя была она шита белыми нитками, стоять надо было на ней и ни на какие уговоры-угрозы не поддаваться. «Другого выхода у тебя нет, — говорил Боря, — схватишь вторую часть: многократное, групповое...» Боря горячился и поглядывал на меня и Пахома.

Но меня Серега Шамов интересовал с другой стороны: я первый раз видел живого страообрядца — не из книжки, не по рассказам, современного парня да еще в такой крайней ситуации. «Вот это верующий человек, — говорил Боря, явно в укор мне, — ему везде хорошо». Серега был совершенно спокоен, весел, ровен, будто и не занимало его как у него сложится — как Бог даст, и это было настолько непохоже на остальных-прочих, стоило задуматься. Все, кого я видел до сих пор, гнали — кто откровенно, не пытаясь скрыть от окружающих, кто надрывно-беззаботно, пряча от себя ужас перед будущим. Серега ни о чем таком не говорил и, казалось, не думал, хотя явно не был человеком легкомысленным. Он крепко спал, с аппетитом съедал все, что ему давали, наводил чистоту в камере, не щадя себя, потешал нас байками, а перед сном, забравшись наверх, подолгу молился. Он внимательно глянул на меня, когда я перекрестился перед едой, перекрестился двумя перстами, но это был единственный раз, больше он на виду не крестился и всегда уединялся для молитвы. Мне показалось, он не хочет молиться вместе со мной. Однажды Боре удалось втравить нас в дискуссию — «како веруещи»: Серега был по-сектантски непримирим, говорил о Православии с презрением, насмешкой — «обливанцы», прочитал длинную поэму об Аввакуме, а на мои слова о Серафиме Саровском пожал плечами: «Нет такого». Меня поразило, что такой укорененный, церковный человек, не знает Ветхого За-

вета, духовный смысл Евангелия для него как бы не существовал, хотя тексты он знал наизусть. Мертвая, замкнутая в себе безысходность веры, как бы изолированная от жизни и никак ее не оплодотворяющая. Вера сама по себе, а жизнь сама по себе. Голая традиция, обряд, буква. И одновременно такая органика внутреннего состояния, словно бы никак не зависящая от внешних обстоятельств. Было о чем подумать. Ко мне он приглядывался, думаю, не верил или не мог понять, хотя порой казалось, мы без слов понимаем друг друга и есть нечто внятное только нам двоим в камере. Я был очень рад его появлению, стены как бы раздвинулись, а у меня имелся к нему интерес и вполне корыстный: я надеялся, он запишет мне молитвы, псалмы, кроме «Отче наш» и «Верую» я не знал ничего.

— ...собрался я помирать,— начал Серега,— простыл на трудовой вахте, прохватило на проходной, сквозняк, комсомольцы шастают туда-сюда, хотел замок повесить, чтоб не ходили — недовольны, им надо план выполнять, а я стой на ветру.

— Тяжелая твоя болезнь,— говорит Боря.

— А как думаешь? Сорок температура, ни охнуть, ни вздохнуть и сон привиделся — поганое мясо, тухлое. Положили в больницу, а мне еще хуже. Пусть, говорю, сестра придет. Приходит. Ой, говорит, мой Феденька по тебе так скучает, переживает!.. А Феденька — племянш, стервец набалованный, пакости мне строит, себе на беду выучил его стрелять из рогатки, пусть, думаю, мальчик резвится. Я из дома, а он железками по моим иконам, всем глаза повышибал. Отодрал конечно. Сестрин муж на меня с кулаками. Я ему говорю: если из вас кто еще хоть раз войдет ко мне в комнату, выкину из квартиры — с вещами и с племянником. Я в квартире старший. Утихли.

— Большой ты христианин,— говорит Пахом.

— Без строгости нельзя,— Серега качает голыми пятками,— это первое дело. Повесил замок, а он, стервец, что придумал — из горшка под дверь льет.

— Талантливый ребенок,— говорит Боря,— любит тебя.

— Смекалистый. А тут, скучает! Ишь, думаю, учуяли, чем пахнет. Я ей говорю: помираю, сестра, хочю оставить деньги, зачем они мне — гроб обклеивать, сгниют. Спасибо, говорит, мы их уже нашли. Где нашли? Федька, мол, под матрасом нашел. Я ж ему не

велел в комнату заходить? Так ты, говорит, помирать собрался, все равно в комнату вносить. Ладно, думаю, вон вы как со мной, а сам говорю: ты эти деньги мне завтра принеси, они на текущие расходы, а настоящие деньги... И тут мне так стало денег жалко, в глазах потемнело. Она надо мной наклонилась, решила — конец: «Где,— спрашивает,— деньги?» Глаза у нее сонные-сонные, я другой раз толкну в бок — чего, мол, спишь? А тут из глаз огонь. Э, думаю,— а вдруг не помру? Ладно, говорю, приходи завтра, до утра продержусь. Может, помрешь, говорит, рассказывай сегодня, завтра мне некогда, на базар идти. Твоя печаль, говорю, найду кому отдать, а может, и там деньги нужны — кто знает?.. На другой день просыпаюсь — ничего не болит, дышу, прошелся по палате, подошел к окну — бежит моя сеструха, торопится. Живой! — кричит, — успела, давай рассказывай — где? — и глаза горят, как вчера. А зачем я тебе буду рассказывать, если я живой, они, мол, мне самому пригодятся. Что думаете? Плюнула — и в дверь. Очень на меня обозлилась.

— Где ж у тебя деньги? — говорит Боря.

— В деревне, у бабки. Сто лет будут искать, пусть из Москвы приезжают с собаками, хотя бы этого взяли, как его?..

— Штирлица, — говорит Гриша.

— Да хотя бы и Штирлица. Не видать им моих денег.

— А батюшка знает? — спрашивает Боря. — Не мог же ты от него скрыть — на исповеди?

— Я не перед батюшкой, перед Богом исповедуюсь, — говорит Серега. — Богу про это говорить лишнее. Он и без того знает.

— Хитер! — говорит Андрюха. — А из-под матраса отдала?..

— Что-то, мужики, хлеб запаздывает, — перебивает Пахом, — рано встали? Включили б радио. Давай, Серега, у тебя получается.

Серега лезет на умывальник, крутит, забулькало — и хлынула музыка: густая, мрачная, за душу хватает.

— Что это они? А где «Зарядка», «Пионерская зорька»?..

— «Последние известия» должны быть...

А музыка гуще, страшней: Шуберт, Чайковский, Шопен...

— Братцы, — говорит Пахом, — не иначе, покойник...

Боря стучит кулаком в кормушку. Открывается.

— Чего хлеб не даете?

Кормушка захлопнулась.

— Может наши в городе? — говорит Андрюха. — Лезь, Гриша, на решку, кто там на белой лошади?..

Сидим за дубком, глядим друг на друга.

— Точно помер, — говорит Пахом, — только кто?

— Хорошо б главный, — говорит Андрюха, — амнистия должна быть. Так, что ль, Львович?

— Амнистия была один раз, — говорит Зиновий Львович, — второго не будет. Мало нахапали.

— Неужто мало? — Пахом удивляется. — Забита тюрьма.

— Амнистия ни! — Боря раздражен, — в тюрьме всегда — амнистия, к восьмому марта и то ждут.

— Я в сорок девятом сидел на Бутырке, разве сравнишь, тогда было много!.. — Зиновий Львович качает головой. — Нет, мужики, вам не обломится, все из одной колоды, не передернешь.

— Колода всегда одна, — говорит Пахом, — тогда разве другая? Но была ж амнистия?

— Я в те карты не играю, — говорит Зиновий Львович, — это ты, Пахом, сдавал, пока самого не сдали.

— Что ж они кормить нас не будут до амнистии? — говорит Андрюха. — Ломись, Серега, в дверь, ты дежурный!

Серега стучит ногой. Дверь открывается. На пороге корпусной, вертухай, кто-то еще. Поверка.

Корпусной шагает в камеру, глядит на нас. Молчит.

— Командир! — говорит Боря. — Когда жрать дадут?

Корпусной повернулся и вышел. Дверь грохнула.

Боря побелел, лезет на решку...

— Тюрьма! — кричит он. — Я два шесть ноль! Нам жрать не дают! А у вас как?!..

Издалека, как в колоде, бухает:

«Не дают!..» «И у нас!..» «И нам!..» «И нам!..»

Наконец, гремит кормушка. Баландер. Андрюха принимает хлеб, шленки с «могилой».

— Что там, браток?

— Крякнул. А кто не говорит. Туда-сюда, как тараканы...

— Может, отпустят?

— В каждой хате одно — отпустят!.. Давай еще шленки — налью!

Все возбуждены, гремят ложками.

— Нет, должно что-то быть... Должно! — кричит Андрияха.

— Ну дураки, — злится Боря, — если что изменится, вас всех перестреляют, кому вы нужны на воле? А если отпустят — одного из всех. Из всей тюрьмы — одного.

— Кого? — спрашивает Гриша.

— Тебя при любой погоде шлепнут. А если забудут, я пришью.

— Кого ж одного?

— Надо мозгами шевелить, — говорит Боря. — У нас один политический — Серый. Его могут отпустить, если это серьезно.

— А что, — говорит Пахом, — резонно. Но если с него начнут и до нас дойдет черед. По логике, по нормальному здравому смыслу, если захотят хоть что-то менять...

— Верно! — горячится Андрияха. — Как не менять! Мы видим, нам известно, что ж они того не знают? Больше знают, лучше!

— Зиновий Львович, да скажи ты им, дуракам! — Боря поднимается из-за стола, лезет на шконку. — Зла не хватает!

— Мало сидишь, щенок, здесь ничто не изменится — не может! — Зиновий Львович назидательно поднял палец.

— Да ведь каждому ясно, — не сдается Андрияха, — в какой области ни возьми, в любом хозяйстве — нельзя так больше жить!..

— Пахома спроси, — говорит Боря со шконки, — ему все ясно, а выпусти его — он о тебе вспомнит? Да зона ничуть не хуже ихнего министерства! На зоне у кого зубы острее — тот жрет, а у них, у кого язык приспособлен, длинней — лизать. А не все равно?..

— Тихо! — кричит Гриша.

Замолчали. И радио молчит. И тюрьма молчит — слушает.

«От Центрального комитета... От Президиума Верховного Совета...»

— Давай, давай!..

— Тихо, суки!..

«...с глубоким прискорбием... после тяжелой болезни... Генеральный секретарь... Председатель Президиума... Имярек...»

Пауза. Будто набирают воздух в легкие... И стены дрогнули:

«У-рра!!!» — ухаёт в колодце.— «У-рра!!!» — где-то рядом...

— У-рра! — ревет камера.

Боря сидит на шконке: красный, потный, рот еще открыт.

— Тюрьма проголосовала,— говорит он.— Ну и славно.

У нас он кричал громче всех.

Мы гуляем во дворике, на крыше. Всех выгнали из камеры, даже Зиновия Львовича подняли первый раз за все время. Вертухаи ходят над нами, обычно один, редко двое, сейчас — пятеро и офицер.

— Переполох в их тараканьем царстве,— усмехается Боря.

— А чего они боятся — убежим?

— Я бы убежал,— говорит Андрюха,— а как?

— На трубу,— говорит Серега,— во-он лесенка, видишь?

— А дальше куда?

— Хоть покричать.

— Хорошо покричали,— говорит Пахом,— от души.

— Теперь до следующего раза.

— Если опять старика поставят, недолго.

— Там молодых нет, молодые все здесь.

— Есть один,— говорю,— твой ровесник, Пахом, чуть старше.

— Знаю я их,— говорит Пахом,— и чего от них ждать известно, как бы кто по старому не заплакал. Хотя хочется верить...

— Пес с ними,— говорит Боря,— старый ли молодой, одним меньше, а нам все равно мотать срок.

— А все-таки хорошо,— улыбается Гриша,— когда вся тюрьма...

— А ты покричи,— говорит Боря,— может еще кто отзовется?

Гриша не думает, лезет на кучу льда, берется за сетку... Стаскиваю вниз.

— В карцер захотел?

— Пожалел,— Боря прищурился на меня,— а выпустят, вспомнишь? А ведь точно — выпустят!

И я чувствую, что-то во мне дрогнуло, я же знаю, понимаю — никогда не вернусь, не выйду, нет амнистий,

быть не может, а если будет, не для меня... Но — по логике, по здравому смыслу, по...

Черная дверь дворика исписана сплошь — ручками, карандашом, чем-то острым: «Два месяца в 249 Тенгиз», «Прокушев тварь кумовская!» «Федю кинули на общак», «Вася! Ты мне друг до смерти»...

— Говоришь, лесенка на трубе? Верно...— Боря сидит у стены, на корточках, курит.— Летом один пролез через сетку, по крыше — и на трубу. Днем было, гуляли, видели. Вертухаев набежало — море. А он кричит: «Если кто полезет — прыгну!» Притащили сеть, а боятся — сиганет мимо, на улицу, скандал. Сам Петерс вылез на крышу, уговаривал через мегафон, что ничего ему не будет...

— Слез? — спрашивает Серега.

— Куда денешься. Здравый смысл — так, что ль, Пахом?

Пахом не отвечает.

Читаю на черной двери: «Если выйдешь, скажи матери, что я...» — дальше замазано. «Коля! Коля! Коля! Держись я в отказе!..»

Вертухай проходит над двориком, глядит на нас.

— И через пятьдесят лет, посмотришь, тут то же самое будет, — говорит Боря.

— Кто будет смотреть — наши дети, и они тут окажутся? — спрашивает Андрюха.

— Внуки. Ничего никогда не изменится.

— Зачем тогда кричали — чему радовались?

— Все равно приятно. Один сдох.

— А ты, Вадим, тоже ни на что не надеешься? — это Пахом.— Считаешь, исключено?

Я ловлю в себе смутную мысль, она зрела, рождаясь из чувства, Боря разбудил ее нелепой, пустой уверенностью — не надеждой, уверенностью!.. Вот она...

— Был царь на Руси, — говорю я, — Борис Годунов, а у него сын Федор. Царь был настоящий, законный, хотя коварством и хитростью захватил власть, а потому боялся за сына. Позвал его перед смертью...

Еще один вертухай медленно проходит над нами, прислушивается.

— Ты с малых лет сидел со мною в Думе, — говорит сыну Борис Годунов.—

Ты знаешь ход державного правленья;

Не изменяй теченья дел. Привычка —

Душа держав. Я ныне должен был

Восстановить опалы, казни — можешь
Их отменить; тебя благословят,
Как твоего благословляли дядю,
Когда престол он Грозного приял...

— Как, как?..— говорит Пахом: — «Я должен был восстановить опалы, казни... Можешь их теперь отменить?»

— Со временем и понемного снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпускай...» — договариваю я.

— Вот он государственный здравый смысл,— говорит Пахом,— может, кто сообразит, прочтет ему про Годунова?

— А чем там кончилось? — спрашивает Боря.

— Плохо кончилось — говорю я. — Царь помер, сына убили, а народ промолчал.

12

Я понимаю, что потерял необычайно важное, дорогое, не наработанное, незаслуженное, а мне подаренное. Потому и потерял, думаю я, что оно не свое, мне подарили, как поощрение, в надежде, что пойму его ценность и ни на что не променяю, ни за что не отдам, а я растратил, расточил... Нет! Мне дали в рост, думаю я, вот в чем духовный, евангельский смысл того, что со мной произошло: мне дали талант, который следовало приумножить, а я закопал его в землю, потому Хозяин, придя, отобрал и отдал кому-то другому. Может быть Сереге Шамову?.. Не мое дело — кому. Мое дело вернуть, вымолить, отдать все, что осталось, лишь бы вернуть, получить снова... И я пытаюсь восстановить в себе это ни на что не похожее ощущение... Мне не за что зацепиться, в моей жизни ему нет соответствия, я не могу постичь что оно означало. Но оно было, было! Осталось во мне, как мгновение безмерного счастья, пролившегося на меня на сборке, в надсадном дыхании, хрипе, бежавших рядом несчастных людей, и там, в нескончаемых гулких коридорах с черными глухими дверями — я был, на самом деле, счастлив, той полнотой любви и радости, которая льется уже через край... Как это вернуть?

Мне скучно. Мне просто надоело. Все в камере раздражены и я раздражен. Андрей — гонит, Пахом — гонит, Гриша ухнул в яму и пускает пузыри, с Зиновия

Львовича сползло спокойное над всеми превосходство, он открыто презирает нас всех, едва сдерживается; Боря тяжело, глубоко зол на весь белый свет, запутался, с каждым днем путается глубже, безысходней — где он настоящий? Один Серега — другой. Другой? Не знаю, я уже никому не верю, вижу хитрость, где ее и быть не может. Я одновременно — гоню, раздражен, ненавижу, во мне все, что так ясно вижу в других! Мне просто скучно! Сколько я слышал о тюрьме, сколько прочитал о тюрьме, всю жизнь, как себя помню, вокруг говорили о тюрьме — отцы, деды, братья, друзья: кого-то взяли, кого-то убили, кто-то не вернулся, сидит до сих пор, кто-то потек, ждет ареста... Допросы, пытки, блатные, голод, изуверство... Да ничего того нет! Заперли в сортире, дают вместо хлеба — глину, вместо чая — мутную теплую воду, вместо книг — макулатуру, вместо друзей — больные, изъязвленные, истерзанные, уставшие от самих себя несчастные люди. И все. Вот что такое тюрьма! Но и в сортире можно жить, привыкаешь, есть свои удобства; и глина — хлеб, с голоду не подохнешь, и чай-без чая полезен для здоровья. А люди?.. Те же самые люди, меньше читали, зато больше прожили. Одно и то же — скучно!

Я смутно понимаю: меня закружило в черной бессмыслице, пустоте, из нее нет выхода — о том же самом месяц назад... Чуть иначе, виток был больше, сейчас сужается, любой попыткой вырваться я ускоряю вращение — и уже вихрь! Тут и причина: не может быть, чтоб у всех так, а у меня эдак... Но я доволен собой — справился! Самое трудное — первые дни, месяц — справился! Остальное — быт, терпение, поскучаю, что поделать... А может, на этом все и срываются? — думаю я. Неужто такой пустяк ломает человека? У каждого своя крыса, вспоминаю я, а где моя крыса?

«Как так получается, — сказал Боря, — вы оба с Серегой нормальные мужики, вроде меня — чем я вас хуже? Почему вы верите в Бога, а я нет?» — «Почему?..» — сказал я. «Я не успел родиться, а про Бога услышал, — сказал Серега, — у меня отец был священник. Наш. А ты, Боря, небось, в мавзолей ходил?» — «Ходил, — сказал Боря, — а чем он тебе не угодил?» — «Да по мне, хотя бы Троцкого туда положили», — сказал Серега. «Так вы антисоветчики, что ли?» — сказал Боря. «Мы с тобой о вере говорим, — сказал я, —

а Троцкий по другому ведомству. Как получилось, что я поверил в Бога?.. Трудно... Не могу объяснить. А понять за тебя и того трудней... Священников у меня в роду не было и в мавзолей я тоже ходил. Просто я понял, что жить, как раньше, не могу, без Бога — не смогу. Понял, что жизнь тут не кончится, со смертью — не кончится. И это навечно, потом не исправишь», — «Ты, стало быть, будешь пряники жевать, а я на сковородке?..» — сказал Боря. «Едва ли, — ответил я. — мы с тобой говорили, да и нет там пряников». — «Если нет пряников, нет и сковородки», — сказал Боря. «И сковородки нет». — «Так что ж ты меня стращаешь? Однова живем, перетопчемся!» — «Я тебя не страшаю, — сказал я, — ты сам боишься, как и я — боюсь, а значит, наша душа знает, что с ней будет. Чует, плохо дело. Душа умная тварь, сказал кто-то». — «А что там плохого, если нет сковородки?» — «Эх, Боря, Боря, — сказал я, — который раз ты со мной все о том же самом! Разве случайно? Хорошо тебе сейчас?» — «Нормально». — «Кабы нормально, ты бы о сковородке не вспомнил. Крутит тебя. Сколько будет продолжаться — погорит и потухнет, через месяц, пусть через год — и не вспомнишь. Так иль не так?» — «Ну и что, всю жизнь я, что ль, должен...» — «Верно. А там вечно — понимаешь? Не десять лет срока, не пятнадцать и пять по рогам — навечно, всегда, и уже никакой амнистии, и на белой лошади никто не приедет». — «Ты тоже в это веришь?» — спросил он Серегу. «А как же, — сказал Серега, — потому мы и блюдем чистоту». — «Это как — блюдем?» — спросил я. «Ваших книг не читаем, на ваши иконы не молимся, щепотью не крестимся, не обливанцы». — «Гляжу я на тебя, Серега, — сказал я, — слушаю, такая у меня, другой раз, тоска. И молитвы ты знаешь, и в церкви служил, а неужто душа у тебя не кричит и не корчится?» — «А чего ей корчится, мы чисты перед Богом, не как другие». — «Да разве хоть кто перед Богом чист? — сказал я. — Ты, Боря, спрашиваешь о вере, почему мне открылась. Я и сам не знаю почему, но понял твердо, особенно в тюрьме: вера не в том, чтоб крест нацепить на шею, хотя с крестом веселей...» — «Покажи крест», — сказал Серега. Я показал. «Хороший, — сказал Серега, — Андрюха выточил?.. Канатик надо длинней, чтоб до пупа доставал, а у тебя, как брелок, не гоже». — «Вот видишь, — сказал я, — будто Христос в этом — длинный канатик или короткий». —

«А в чем?» — спросил Боря. «Есть в Библии одна история,— сказал я,— про Авраама... Ему было уже сто лет, его жене Сарре девяносто, а детей у них не было. Господь однажды явился им и сказал, что у них будет сын, а потомство, как песок морской. Сарра не поверила, засмеялась про себя, ей было девяносто лет и, как сказано там, обыкновенное у женщин у нее кончилось. А Авраам поверил: он знал, что обещания Божии непреложны, он верил Богу — во всем! — и это вменилось ему в праведность. И Сарра родила сына, Исаака» — «В девяносто лет?» — спросил Боря. «В девяносто. Понимаешь, как они его любили и тряслись над ребенком. Господь снова явился Аврааму и сказал: возьми сына своего единственного, Исаака и принеси его Мне в жертву. Авраам рта не раскрыл, ничего не ответил: взял дрова, огонь и нож, посадил Исаака на осла и они три дня добирались до горы, где совершалось жертвоприношение. А когда доехали, оставили внизу осла и пошли наверх. А где агнец? — спросил мальчик отца. Бог даст агнца, сказал Авраам, сложил дрова, связал сына, положил поверх и занес нож... И тут он услышал...»

И тут я сам услышал свой голос — со стороны, и содрогнулся. В камере тихо, радио уже выключили, никто не спал: мерзкая камера, восемь двухэтажных шконок, зарешеченное окно, черная железная дверь, булькающий унитаз — и напряженные лица сокамерников. Вот где надо читать Библию, подумал я.

«...И тут он услышал голос,— сказал я: — Авраам! Вот я, сказал Авраам. И голос продолжил: не поднимай руку на отрока, ибо теперь Я знаю, ты боишься Бога и не пожалел единственного сына ради Меня. Оглянись — увидишь агнца. Авраам оглянулся и увидел в кустах запутавшуюся рогами овцу... Вот что такое вера,— сказал я, и мне показалось, я сам готов это понять,— не двуперстье-щепоть, не обливанцы-окунанцы, не длинный-короткий канатик, а подвиг веры... Отдать все, что есть, не деньги — какая разница, сестре или ментам, но все, что у нас есть, самое дорогое и ценное — Исаака! — чтоб ничего не осталось, тогда мы хоть что-нибудь, может, и пойдем, выйдем на дорогу веры... В тюрьме это легче — понимаешь? У нас и так все забрали, а мы, видишь как, мудрим, ловчим, выгадываем...» — «Вон ты о чем...» — сказал Боря. «Ты ж спрашиваешь, что такое вера?» — А сам ты все отдал?

Покажи мешок — от передачи к передаче барахла больше...» — «В том и дело, — сказал я, — у меня сил нет, да разве в барахле дело... Но и это только начало». «А дальше что?» — спросил Боря. «А дальше... — сказал я и почувствовал, как это мне трудно... — Дальше... я тебя должен полюбить, как самого себя. Ты меня, к примеру, вкладываешь, а я тебя люблю, потому что понимаю и мне тебя жалко...» — «Я — тебя?..» — Боря побелел. «Это я, к примеру, — сказал я, — или мы думаем о вечности, о том, что там с нами и как будет, или какие у нас отношения с вертухаем, с кумом или следатком...» — «Тебя еще жареный петух в жопу не клюнул, — сказал Боря, — я погляжу о чем ты подумашь...»

С каждым днем мне становилось с ним невыносимей: меня раздражала его самоуверенность, бесило хвастовство, разговоры о женщинах... Как он играл в «мандавошку»! В шахматы боится — верный проигрыш, а в... Как меня Бог любит, думал я, если б сунули в Лефортово, в камеру на двоих, месяц, три, год — с ним, нос к носу! Полюбить его, как самого себя?.. Господи, прости и помилуй меня грешного — долго еще Ты будешь терпеть меня?.. Я срывался на мелочах, на ничего не стоящем пустяке, на разговорах о радиопередачах, о книгах, когда разгадывали кроссворды; я и не заметил, что мы становились... врагами, и засыпали, повернувшись друг к другу спинами. «Очень ты горяч», — сказал мне как-то Пахом. А Андрюха качал головой: «Как ты будешь на зоне, Серый, там не тюрьма, с твоей статьей за каждое лишнее слово упекут...»

Боря ушел на вызов в неурочное время, перед ужином, вернувшись, на меня не поглядел, а когда легли спать, сказал: «Для тебя есть письмо, у Ольги. Валька была у твоих, ей передали. Ольга сегодня не взяла с собой, на днях дернут, принесу...» Боря проговорил это сквозь зубы и повернулся спиной.

Разболтанное утро, ни с чем не связанное, давящее ощущение зреющей, созревшей беды — откуда оно? А все то же: уборка, шленки, радио, пустые разговоры: Пахом пережевывает статьи в газетах, Боря влезает: злобно, будто трягнули предвоенной выделки мундир, нафталином запахло... И я чувствую, бледнею, сорвусь...

Я и не услышал, потом донеслось — кормушка лязгнула:

— Полухин, на вызов!..

Все молчат, глядят на меня.

— Дождался,— говорит Андрюха.

— Есть такой — Полухин? — кормушка.

— Есть, есть!..— Андрюха.

— Ты, что ли?

— Я — Полухин,— говорю.

— Чего ж молчишь? На вызов...— кормушка захлопнулась.

— Отпустят! — говорит Пахом.— Три месяца кончатся, санкцию им теперь никто не даст, не продлят! — начитался УПК, пикейный жилет! — Время другое, надо уметь газеты читать...

— Не мели,— говорит Боря,— собирайся спокойно, Серый.

— Что собирать? — гляжу на него: хорошие у него глаза, прямые и злости нет, как в последнее время...

— Тетрадь,— говорит Боря,— бумага обязательно своя, запишешь на ихней, отберут, а на своей права нет. Ручку не забудь.

Дверь открывается.

— Дай собраться человеку! — кричит Боря.— Ему на дольняк!

Дверь закрылась.

— Да ладно,— говорю,— какие сборы...

— Давай,— говорит Боря,— ни пуха...

И вот я первый раз выхожу в коридор... Прогулка не в счет: вываливаемся вместе, пусть вдвоем, наискось дверь на лестницу, вверх — и дворик. Тут другое: пустой длинный коридор, когда-то, давным-давно — неужто нет еще трех месяцев? — я шел этим коридором, мимо черных глухих дверей, думал, этаж нежилой, ничего не понимал, и о том, что меня ждет, сил не было думать. Сейчас я бывалый зэк.

— Стой...— девчонка, едва ли за двадцать, хорошенькая, стройная, в военной форме, в туфельках, бледненькая, веки намазаны, глядит с усмешкой: — Покажи тетрадку.

Отдаю. Листает.

— Что еще с собой?

Шарит по карманам.

— Боишься, защекочу?

— Да хотя бы,— говорю.

— Вон какой. Давай вперед...

Шагаю мимо дверей, она наклоняется, открывает

ключом — фигуристая!.. Лестница — та самая! Вниз, вниз, теперь она впереди, открывает одну дверь за другой, ключ один — и пошли переходы, лестницы... Странное ощущение — свобода?..

— А ты тут не заблудишься? — спрашиваю.

— Я-то не заблужусь, о себе болей.

— Подарила б ключ,— говорю,— может, пригодится.

— А еще чего тебе подарить?.. Много украл?

— Я по другому делу.

— Замочил? Или изнасиловал?

— А тебе что больше нравится?

— Лучше б украл. Мне деньги нужны.

— С этим у меня плохо...

— Стой!..

Мы на площадке широкой лестницы. Другой корпус. Она открывает — шкаф-не шкаф, подталкивает меня — и закрыла. Темно, затхло, носом к стене, не повернуться; мимо шаги, топот, много шагов... Стихло. Открывает дверь.

— Выходи.

— А если б ты меня тут забыла?

— Мне за то деньги платят, чтоб помнила.

— Ты все про деньги?

— А ты про любовь?.. Давай вперед, намолчался, унюхал...

Вроде, и не тюрьма: чисто, линолеум, приоткрытые двери — контора, учреждение... Ага — следственный корпус!

Распахивает дверь — кивает мне.

Комната. Светло. Письменный стол завален бумагами, папками... Она! Из того утреннего кошмара. Дверь сзади закрывается.

— Здравствуйте,— говорю.

Глядит на меня рыбьими глазами. Внимательно. Вприщур. И платье то же самое. Не снимала три месяца.

— Садитесь.

У письменного стола — маленький столик, хочу отодвинуть табурет... Привинчен. Сажусь. Тетрадь перед собой.

Окно! Господи, без... Есть, есть решетка, но без ресничек, а потому кажется открытым — светло!.. Солнце!..

Опустила голову, пишет, на меня никакого внимания. Хорошо-то как! Чисто, светло, тихо, за столом женщина!..

— Можно к окну подойти?

Поднимает голову, глядит с любопытством — хоть какое-то чувство!

— Подойдите.

Внизу улица, никогда здесь не был, сверху кажется узкой, прошел трамвай, тает, течет — весна! Женщина с коляской...

— Знать бы,— говорю,— сестра бы подъехала...

Поднимает голову, уставилась на меня.

— Что у меня дома? — спрашиваю.

— Племянник родился.

— Это я знаю. Как назвали?

Пожимает плечами.

— Что с сестрой?

— С сестрой будет особый разговор. Я ее приглашала — не явилась. У нее, видите ли, молоко.

— Что — молоко?

— Молоко пропадет.

— А вы как думаете?

— А мне зачем думать?.. Садитесь.

— Молодец, что не приходит. Я бы тоже не пришел.

— И поговорили об этом. А то — как назвали...

Так мне и надо, думаю я, напросился.

Берет со стола папку, другую... Раскрывает.

— Ваша рукопись?

— Дайте посмотреть.

Знакомая папочка... Что ж ты спрашиваешь, думаю, на первом листе сверху моя фамилия... Вон что, надо, чтоб я подтвердил... И тут чувствую, мне становится жарко — эпитафия: «...огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете (I Петр. 4.12—13)»... «Радуйтесь, да и...»

— Вы чему улыбаетесь?

Я думал, плачу. «Огненного искушения, для испытания вам...»

— Ваша рукопись?

— Я не отвечаю на вопросы, разве вам не сказал прокурор?

— Какой прокурор?

— В деле должно быть мое заявление. Первое. Последнее. Еще в КПЗ. Отказ от показаний.

— Прошло два с половиной месяца, думаю, у вас что-то изменилось?

— Я думал, у вас что-то изменилось.

Дает другую папку.

— Это ваша рукопись?

— Я и смотреть не стану.

— Ваше дело.

Пишет долго, старательно. На столе сигареты — «Ява»! А у нас кончились, только табак, ребята говорили, следаку дают деньги на зэка, на сигареты. Байка, конечно. Нет, не буду просить.

— Я хочу написать заявление,— говорю.

— О чем?

Раскрываю тетрадь, беру ручку...

— Как ваша фамилия? — спрашиваю.

— О чем заявление?

Не отвечаю, я и глядеть на нее не могу... «Следователю прокуратуры...» Прошу Библию, прошу свидание со священником, ссылаюсь на закон... Кладу ей на стол.

— Я не возьму,— говорит.

— У вас права нет не брать.

Позеленела, шипит:

— Вы у меня вспомните права!.. Ваша сестра уже посылала такие заявления. Ей отказали.

— То сестра, а то я.

Бросает мне на столик исписанную бумагу:

— Подпишите.

— Я ничего не подписываю. И читать не стану.

— И это ваше дело.

Кнопка, видать, под столом, нажимает.

— Вы на спецу?

— На спецу.

— Сколько человек в камере?

— Семеро,— говорю я, и какая-то тоска сжимает сердце: да что она не узнает, что ли!

— Хорошо устроился,— она усмехается мне в лицо.

— Хорошо,— говорю я.

За спиной открывается дверь: другая провожатая, постарше, лицо мрачное, серое. Рыбьи глаза что-то подписывает — пропуск! Встаю.

— Всего доброго,— говорю я.

— До свидания...

С этой болтать мне не хочется. Да и ей до меня нет дела. Не вижу я обратной дороги, переходов, лестниц,

и ощущения свободы у меня нет. Пропало. Тоска. А что случилось, думаю я, или ты чего ждал?.. Украл, замочил, изнасиловал... И к злодеям причтен... Он же сказал, письмо из дома, вспоминаю я Борю, вот я его и получил... Благодарю Тебя, Господи!

Я не успел войти в камеру, а уже понял: что-то произошло... Нет, не сразу долетело, в первый момент я был счастлив — дома! После постно-лживого лица с рыбьими глазами, мерзких коридоров и переходов, провонявшего чужой бедой «шкафа», вертлявой распушенности одной провожатой и злобно-мрачного молчания второй — вот он мой дом! Обжито, прожито, уродливая, неестественная — но моя теперешняя жизнь...

Зиновий Львович стоит у двери: в телогрейке, в шапке, в сапогах, рядом завязанный мешок, матрас в матрасовке. Боря бледный, напряженный — у стола; остальные по шконкам.

— Что случилось? — спрашиваю.

Зиновий Львович давит на «клопа».

— Давай, давай!.. — говорит Боря.

Прохожу к своей шконке... Открывается дверь. Корпусной.

— Что тут у вас?

— Да забирай его! — кричит Боря. — Он нам жизнь заедает, если больной — тащи на больничку, на людей кидается!..

— Кто еще что скажет?

Все молчат.

— Так что случилось? — голос у корпусного скучный, видать, надоело, для порядка спрашивает.

— Два месяца терпели, — говорит Боря, — угрожать начал. Вон его, — кивает на Гришу, — обещал пришить «восьмеркой».

Корпусной переводит глаза на «восьмерку» — шайка для стирки.

— Если, говорит, будешь курить, пришибу! — Боря явно завелся. — Чего ему в башку влезет — а нам зачем?

— Было? — спрашивает корпусной Гришу.

— А где курить? — говорит Гриша, — у нас вагон для курящих.

Зиновий Львович ощерил золотую пасть:

— Всю ночь мне в морду сигаретой...

— А ты что всю ночь?..— говорит Боря.— Забирай его, командир, плохо кончится.

— И ты, Пахом, промолчишь? — говорит Зиновий Львович.

— Надоел ты, Львович,— говорит Пахом.

— Пошли, командир,— говорит Зиновий Львович.— Сорок лет оттянул, а такой хаты не видел, они ему всю жопу вылизали, а он кому лижет?..

Зиновий Львович поднимает мешок, исчез за дверью.

— Как боевое крещение, Серый? — спрашивает Боря.

Говорить мне не хочется, не понимаю, что тут произошло, что происходит, качается дом, который я только что увидел, ползет подо мной пол, как палуба...

— Нехорошо со стариком,— говорю я,— поторопился.

— Ладно тебе! — отмахивается Боря.— Нашел кого жалеть, окажись с ним на узкой дорожке — сожрет, как не было. Не таких харчил. А если б он пришиб Гришку?

— Не тронул бы. Болтал. Ты сам знаешь.

— Во добренький,— говорит Боря,— и Гришку ему жалко, и эту мразь, и... А меня тебе не жалко?

— А ты тут причем?

— Я тебя, Серый, предупреждал, ты тюрьмы не нюхал... Ты знаешь, что такое беспредел?

— Порядок на кладбище, Боря.

— Погоди, вспомнишь...

— Следователяша то же самое сказала... А почему ты порядок устанавливаешь — тебя выбрали? Или назначили?

— Вон ты как заговорил...

— Хватит, мужики,— говорит Пахом.— Рассказал бы, Вадим...

— Отказался отвечать. Раз спросила, другой...

— И все?

— И все. На сестренку плетет, не приходит к ней, мы, мол, ее достанем. А она родила в тот день, когда меня увели... Как-то странно спросила — много ль человек в камере?..

— Неужто все? — не отстает Пахом.

— А ты думал — отпустят?

— Уверен был,— говорит Пахом.

— Нехорошее у меня предчувствие,— говорю,— буд-

то... Зато своя радость... Помнишь, Серега, я тебя спрашивал: «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого...»? Не могли вспомнить. Теперь знаю. «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете...»

— «Огненное искушение»! — говорит Боря. — Тебя еще не пощупали, а уже предчувствия — обосрался!.. Христиане! Куда вам...

Надо промолчать, думаю я, нельзя заводитьсь, зачем я в этой хате, пора менять, хватит, зажился...

Когда Боря улегся, Пахом отозвал меня к сортиру, там у нас место для разговоров — отвернешься, к стене и вроде...

— Понял, что такое тюрьма? — говорит Пахом. — Сам себя теряешь. Зачем я ему поддакнул?.. Старик, правда, надоел, но мало ли что мне надоело?.. А я думаю: вдруг Бедарев отправил письмо, не соврал? Вот я уже и попался...

— Нельзя, Пахом, никогда нельзя ради чего-то...

— Знаю, — говорит Пахом. — Меня сегодня тоже вызывали. После тебя, а пришел раньше. Ничего нового не сказал, но чую — знает. У следователя мое письмо. Всегда уважительный, а сегодня в лицо смеется. Тут вот в чем дело: старик мешал Бедареву, старик — битый зэк, сечет, до чего нам, желторотым не допереть. Молчал, а сам давно все понял. Зачем Бедареву такой свидетель?..

Лежу на шконке. Боря рядом, не спит. И я не сплю. Не могу забыть старика. Он и меня раздражал — из чужого, страшного мира, ничего о нем не мог понять, но... Дай, говорит, мне, Вадим, носки, тебе подогнули, шерстяные — у меня ноги зябнут, от сердца, видать, не тянет... Как же он углядел, подумал я, весь день спит? На этапе я достану, говорит, у меня все будет чего захочу, а тут... Ты на этапе достанешь, сказал я ему, а я — нет, зачем мне отдавать, сестренка связала. Пожалел. А у старика зябнут ноги. Какое мое дело — достанет-не достанет, ему сейчас надо... Кто же я такой, думаю я, зачем-то меня сюда бросили, а я сижу, как мышь, шкуру спасаю. Шкуру — не душу. Зачем бросили?.. А за что взяли? Я и об этом забыл... На вопросы не отвечаю — подумашь доблесть, со следователем иг-

ра, но вокруг-то люди, может, я им нужен, для того меня и... Что же я молчу — о себе пекусь?.. Помогите мне, Господи, научите... Только что получил письмо из дому, от... Нины, от... Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...

13

Первый раз так тихо открылась кормушка: глядит, молчит.

— Чего надо? — спрашивает Андрюха.

— Полухин — есть такой?

— Я, — говорю.

— Собирайся, с вещами... — знакомый голос, сдержанный.

И закрыл кормушку.

Проваливается что-то в желудке. То самое, когда говорят: душа ушла в пятки. Пятки — не желудок, думаю я.

— Приехали, — говорю.

— Освобождают, что ли?! — вскинулся Пахом.

— Как же, — говорю, — после вчерашней беседы следовательно — освободят. Ты бы на нее поглядел...

— Утром не освобождают, — говорит Боря, — только вечером.

— В Лефортово, — говорит Андрюха, — точно, в Лефортово, здесь тебе нечего делать.

— Не может быть, — говорит Боря, — почему вдруг?

Поднимается, идет к двери, стучит в кормушку. Открывается.

— Куда Полухина?.. Это ты, Федя?.. К врачу его, что ли?

— Сказано — с вещами.

Кормушка закрылась.

— Я думал, мы до лета, — говорит Боря.

Вижу, растерян, огорчен. Господи, кто он такой?..

— А я думал, Пасху отпразднуем, — говорю, — мы бы с тобой, Серега, вместе...

Серега не отвечает. И все молчат. Расстроены.

Вытаскиваю из-под шконки мешок, казалось, нет вещей, а все равно — сборы, затыкано, закурковано...

— Видите как, — говорю, — хотел к Пасхе подарить...

Я, и верно, думал, кому что, сейчас трудно вспомнить, а ведь были соображения: Сереге — тетрадь, руч-

ку, Андриюхе — мыло, он мешок мой нюхал: «Как дома побывал!»; Боре — носки, Пахому — иголку: я дежурил, а вертухай забыл отобрать, осталась; Грише... Что Грише? Конверты, больше ничего нет...

— Может отпустят,— говорит Пахом,— ты запомнил, что передать?.. Телефон запиши...

— Напиши,— говорю,— а я запомню.

— Я думал, с тобой до лета,— опять говорит Боря.— Эх, Серый... Нам бы не в камере поговорить...

— Погоди, увидимся...

Пахом дает листок: телефон, имя-отчество жены... «Не забудь про деньги под кафелем...»

— Не забуду, Пахом,— рву записку.— Но ты зря рассчитываешь.

— Что ж они про тебя задумали?..— говорит Боря.

Андриюха с Гришей запихивают мой матрас в матрасовку.

— Держи, Серый,— говорит Серега,— я тебе Правило переписал. Утреннее. Наше. Оно полнее, больше вашего. Верней. И два псалма: пятидесятый и девяностый.

— Серега!.. Спаси тебя, Господи! Подарок... К Пасхе.

— Не уходи, Серый...— говорит Гриша.

— И от меня возьми,— Боря вытаскивает из-под матраса пачку «дымка».— На черный день спрятал...

— Таких давно не видел...— говорю.

Как-то странно он на меня глянул.

Дверь открывается, и я вздрагиваю: рыжий старшина, тот самый — Вергилий!

— Собрался?..

— Простите, мужики,— говорю,— если что...

— Бог простит,— говорит Серега.

— Жалко, не договорили,— говорит Боря,— так всегда, главного не успеть. На потом оставляешь, а потом не бывает...

Андриюха взваливает мне на спину матрас:

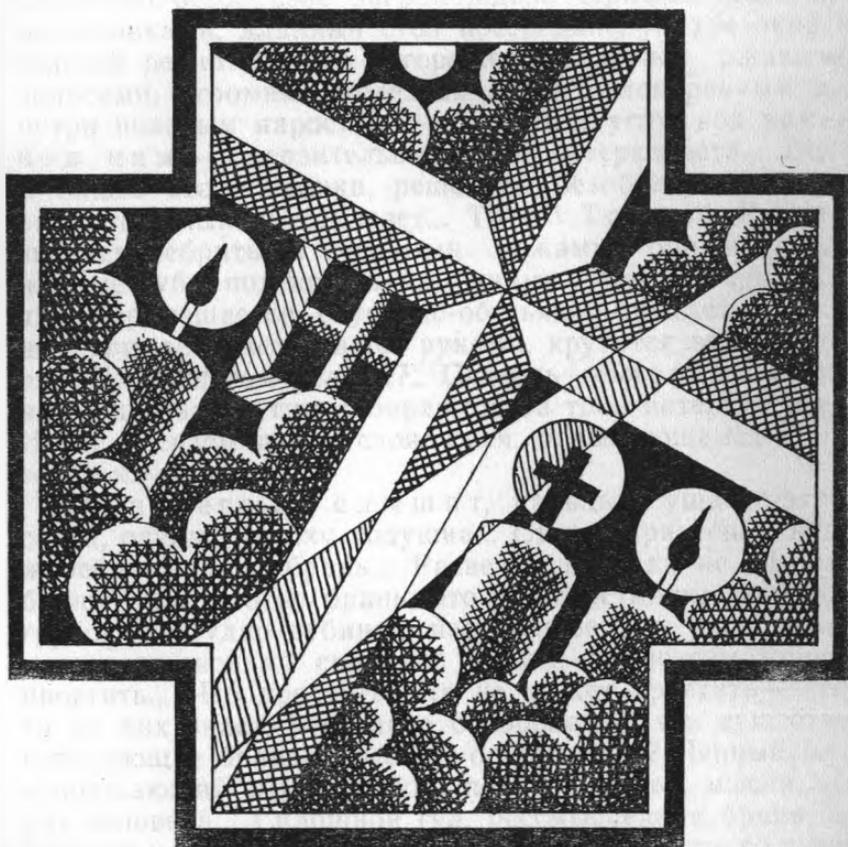
— Если на общак — покричи.

— Да не может того быть,— говорит Пахом.

— Если не увезут,— говорит Боря,— сразу переводи свою подписку, а увезут, газета будет приходиться — понял?

— Ну, все?.. — слаб я, ноги дрожат.— Пошел, мужики...

Рыжий стоит у двери, смотрит на меня. Уже из коридора я еще раз оборачиваюсь на камеру...



— Вы не можете, не можете, вы не можете так со мной... Вы не можете...— шепчет, бормочет он, замолкает и начинает снова: — Вы не можете так со мной...

Глаза у него закрыты, он натянул матрасовку на голову, но все видит, слышит — ничего не видя, ничего не слыша. Он напряжен до предела, все, что осталось, стучит в нем: зрение, слух, обоняние, осязание... — что еще?

— Вы не можете,— бормочет он, — не можете так со мной...

Он зажмурил глаза, натянул матрасовку на голову, но он видит! Залитое ярким мертвенным светом пространство безобразно загромождено черными железными шконками, длинный стол посередине, глухие окна в толстой решетке густо загорожены снаружи ржавыми полосами, огромная железная дверь с наваренным изнутри нелепым наростом — что это? В углу, под ним — под ним! — омерзительный трон ватерклозета... Если б только это — шконки, решетка, безобразная дверь, омерзительный ватерклозет... Толпа! Толпа! Кривляющаяся небритыми черными рожами, ощеривающая желтые зубы под красными, синими губами, в лохмотьях — перемещается, снует, по-обезьяньи прыгает со шконок, гримасничает, машет руками, крутится вокруг стола... Что они там делают?.. Очередь — очереди! — под ним, один за другим забираются на трон ватерклозета... И все в сизом дыму, слоющемся, подымающемся к потолку клубами...

Он ничего не слышит, пальцы в ушах, матрасовка, одеяло, сверху подушка... Стоны, кряхтенье, визг, жеребячий смех, брань... Разве он никогда не слышал брани? Нет, это не брань, что-то непостижимо-мерзкое, грубое, как удар дубиной, изощренное, как укол иглой, издевательское до смертной обиды, до невозможности простить... Что простить, кто не может простить — кто из них знает, что такое оскорбление, эти существа, изрыгающие брань, способны оскорбиться? Черный мат, извращающий смысл любого понятия, слова, мысли, образ человека... Сплошной гул, бессмысленная брань заполняет пространство и он плывет в нем вместе со своей

матрасовкой, одеялом, подушкой — куда его тащит?

Что может он обонять, зарывшись носом в ворох собственных тряпок?.. Смерд заполняет пространство, в котором он плывет, он ощутил его сразу, едва успев протиснуться в дверь со своим мешком, и до сих пор не поймет — почему тут же не задохнулся? Смерд источает матрасовка, одеяло, подушка, он расстегнул ворот рубашки, уткнулся носом в грудь — тело сочтется смердом, он проник внутрь и уже сам из себя...

Что у него есть еще?.. Осязание, вспоминает он. Руки он старается держать в карманах, когда они не в ушах, боится прикоснуться хоть к чему-то, только что почувствовал пальцами брызнувшую под ними кровь раздавленного насекомого...

Что это такое, думает он, я не могу понять и определить, потому что нельзя понять, оно не поддается определению — неопределимо. У меня нет языка, слов, меня им не научили или их нет вообще на человеческом языке — слов, способных называть. Но у меня нет и чувства, готового откликнуться — я же не вижу, не слышу, не осязаю... Но значит, и разум не может вместить, что я, тем не менее, обоняю, слышу, вижу... Но если этого нет, не потому что меня не научили, но вообще не существует на человеческом языке — нет слов, нет чувств, нет понятий, как же я, тем не менее... И откуда-то из глубины сознания приходят слова: когда-то, где-то, от кого-то он их услышал или прочитал, он не может вспомнить кто, где, когда, но он их знает, они ему почему-то известны, они для него тоже всего лишь слова, неспособные объяснить, но быть может они и вмещают своим странным смыслом, от которого он всегда отмахивался — с усмешкой, с раздражением, со злобой, вмещают то, что невозможно понять, определить, увидеть, услышать, выразить в словах на человеческом языке... Сейчас он цепляется за них — больше ничего нет в его готовом вот-вот померкнуть сознании...

«Там будут вопли и скрежет зубовой...» — слышит он в себе. Это говорит не он, что-то в нем: «воплъ и скрежет зубовой...» Да, думает он, все, что вокруг меня, во мне — это и есть...

— A-а!! — кричит он. — A-а!!!

Он сбрасывает одеяло, подушка летит вниз, он выпутывается из матрасовки, отпрыгивает к стене...

— Ты что орешь, падла?

Там, где только что были его ноги, торчит лохматая

голова, рука с блеснувшей бритвой, дно матрасовки срезано, вторая рука с треском отдирает широкую полосу.

— Молчи, сука, пришью...

Исчезла голова, руки, матрасовка стала на треть меньше.

— Подкоротили, сосед,— слышит он рядом гнусавый смешок.— Начало, еще не то будет...

Он прижался спиной к корявой «шубе» стены, над головой трещат трубки «дневного света»; на шконках у противоположной стены пестрая куча голов, ног — каша из лохмотьев, небритых существ; внизу урчит, пышет смрадом ватерклозет. Он на самом краю...

2

Как ни странно, только что пережитый ужас приводит его в чувство. Ему не хватало конкретности, услышанный им в себе «скрежет зубовой» был безысходен неопределимостью. Не надо закрывать глаза, думает он, не нужно затыкать уши. Если у них,— он смотрит на пеструю кашу напротив, если у них есть языки — для брани, руки, чтоб держать бритву, ноги, чтоб... Отсюда не убежишь, не уйти, ноги тут не нужны, но они пригодятся потом... Значит, «потом» будет? А как же, думает он, мы еще побарахтаемся, отсюда можно выйти, но не ногами, не с помощью руки с бритвой. Нужна голова. Можно уйти на спец, на больничку, теперь я кое-что знаю. Это у них только поганый язык и рука с бритвой, а у меня голова...

— Ты давно здесь? — спрашивает он соседа, тот занят бессмысленным делом: распускает грязную шелковую майку, наматывает нитки на свернутую в жгут газету.

— Второй месяц,— отвечает гнусавый голос,— башлей нет, никак не подгонит моя сука, я до нее доберусь, думает зарыла... У тебя табачка нет?

— Кто лежит внизу? — спрашивает он, про табачок он говорить не хочет.

— Кому положено. У кого язык длинный — лизать, кого кум кинет, у кого табачок, ларек-дачки... Покурим?

— А это кто такой — вон седая борода?

— Крыша течет, придурок, его уже учили.

Седая борода сидит на краю, ноги по-турецки, глянет туда-сюда, чертит на листочке, откладывает, берет новый.

— Рисует, что ли?

— Верещагин. Ждет экспертизы на Серпах.

Запахло жженым, в окно потянул синеватый дымок.

— Горим!.. — говорит он соседу.

— Твои дрова — матрасовочка. На сегодня им хватит, завтра одеяло подкоротят.

— Как... одеяло?

— Молча,— говорит сосед: матрасовка едва прикрывает ему ноги, одеяло не шире полотенца.— Видал? Вот и у тебя так будет... через неделю.

— Зачем... им?

— Чаек пьют. Волчата шуруют по хате, им по глотку. Хрен с ним, заплатим, не здесь так с зоны.

— За что? — спрашивает он.

— За одеяло, за матрасовку. С кого возьмут? Ты ж расписывался за казенное имущество... Давай покурим.

Он достает припрятанный в мешке табак.

— Это дело... Дай-ка скручу, у тебя увидят, полезут, ты, гляжу, полный лох, а тут шакалы...

Уши затыкать бессмысленно, глаза закрывать — без толку, не спрячешься. Матрасовку он свернул, сунул под голову, прикрылся одеялом... И матраса своего нет, отобрали как вошел, зачем ему — наверху лежат вповалку, сейчас посвободней, попрыгали вниз, а когда залезут — только на боку...

Тянет дымком от окна, догорает его матрасовочка. А ведь прав был Андрей Николаевич, кабы не больничка... Каким чудом он продержался два месяца, больше? Нет, тут не чудо, посчитали, что выгодней, все он понял, а что не понял, растолковали: боялись, проболтается, ее прокол, Ольги, подвела кума. Он и сейчас вздрагивает, вспоминая белый сверкающий халат, шприц в руке, как нож... Почему сейчас выкинули? Хватит, сколько можно держать на больничке, здоров да и вообще в порядке, отмок, отдышался, а кабы не больничка, если б сразу сюда — не выдержал бы, он и сейчас не вытянет, но если б сразу, тут бы и размазали. Больше не могли держать на больничке, понятно, и на том спасибо, не в том дело, что здоров, плевать им, не нужен стал, перестали бояться, небось дальше потащили того артиста... Да какое мне дело, мое дело другое, надо головой ворочать, они кулаками, поганым языком, а я головой, сразу не могу, теряюсь, а чуть вздохнуть, собраться... Да тот же самый мир! Тут смрад, темнота, ужас, а там... Там свое и там харчат, но если я там выжил, выплыл...

А что в институте — не волки, на кафедре — не шакалы, то же самое, везде — у кого больше, тот и пан! Но — выжил, пробился, не схарчили! Голова, голова нужна, и тут есть, не может быть, чтоб совсем не было выхода... — он думает все быстрее, лихорадочней. Здесь я не смогу, не вытяну, здесь они меня задавят, надо придумать, сообразить сразу, сегодня, завтра может быть поздно...

И он с благодарностью вспоминает длинные дни в тишине больнички: одноэтажные шконки, две простыни, молоко, белый хлеб, мясо; ярость срывающегося в крик Андрея Николаича; замороченную деловитость Дмитрия Иваныча — а ведь расстреляют, да пусть пятнадцать лет, все равно не вытянет; распадающееся мертвое занудство Прокофия Михалыча — помрет, не сегодня-завтра помрет; тихое отчаяние «спортсмена» Шуры — проговаривался, не спрячешь; беззащитную, бессмысленную — всегда себе во вред! — нелепую доброту Оси; и Генку — злобного, задерганного, но и в нем затравленное страдание... Неужто люди? А здесь, выходит, другие?.. Да какие они люди! — уже со злостью спохватывается он: Андрей Николаич — потомственный, с рожденья вор, натянул маску интеллектуала, книгочех, доморощенного философа — как корове седло! Бога вспоминает, в тюрьме, что не вспомнишь, учить вздумал, правду-матку режет, а попадись ему на воле — перешагнет, да как ему было пройти мимо тюрьмы, здесь ему и место: везло, ловок, связи, деньги, потому и дотянул до старости, но ведь не ушел, есть справедливость — залетел, подлечат и сюда, пусть он тут покуражится, подышит... Дмитрий Иваныч, вроде бы, ближе, понятней, нормальный человек, схватил лишнего, не переварить, но разве удержишься, пожадничал, а если б держал себя в рамках, в разумных пределах — приличный человек, дача, машина, Бразилия-Мексика, могли б и встретиться, да не могли — встречались, не с ним, так с моим тестем — разве не такой, помельче, потому и сидит дома, лишнего, что в глаза лезет, не схватит, хитер, трус, такие и живут, своей смертью поплывет в красном гробу за подушкой с орденами, небось, проклял его, отказался, пятно в анкете, по передачам видно, без отца собирала, все из магазина, из заказов ничего, из спецбуфета не дал, разведет, как пить дать, разведет, ну и пес с ним, теперь другая жизнь, буду умней, не поймают, такой прокол раз в жизни, научусь, время есть, соображу, продумаю, на всю оставшуюся

жизнь до конца... А этот живой покойник — Прокофий Михалыч, тоже, что ль, человек? Тля! На такую вырлил идиллию — директор пляжа, во какие бывают должности, пляж в Химках, соорудили с женой шалаш, одних бутылок, говорит, на сотню в день, так и те собирать надоедало, можно больше, в праздники, другой раз, как войдут в азарт, в раж, на пятьсот рублей набирали — машина, кооперативная квартира, что еще надо — мало! — престижу захотелось, директор бань в самом центре, известно как получить номер в тех банях, чтоб в любое время, в любом составе, по высшему разряду, с пивом и коньяком, хоть на всю ночь. Вот и подохнет собачьей смертью на больничной шконке... А Шура? Пустой малый, только кажется ближе, ровесники, школа-институт, танцы-манцы, одни и те же улицы-переулки, Крым-Кавказ, но думать надо, соображать, зачем голова человеку — за бабу сломать жизнь, хоть на два хода вперед как не считать, какая может быть любовь, какая жена, если сам рассказывал, а не рассказывал, проговаривался, как-то ночью Андрею Николаичу всхлипывал, а тот учил уму-разуму: два года добивался, два года просил бабу, чтоб дала, она и показала, когда уговорил, сам хотел, сам уламывал, чего ж обижаться, выпросил, получил чего хотел, какие претензии, она и давала, небось, не просили, кто просит, тому не дают, да не замечать надо было, коль нужна, а заметил, закрыл дверь и ушел, а лучше, закрыл дверь, не пустил, если дверь твоя, так ведь и убить не смог, какое убить, когда два года уламывал, он и убивал, а надеялся, с перепугу даст, а теперь в его квартире — подарил, прописал, на его деньги гуляет, кому захочет, радуется, спровадила дурака, а вернется — новый замок, как еще дураков учить, для того и тюрьма, научат... Это только Осю не научить, такому чем хуже, он только глупеет, его и посадили за глупость, за доброту — а что такое доброта, если не глупость, он всегда дурак был: ветеран, специалист, еврей-золотые руки, а послушать — ничего не нажил, друзья-приятели и все именитые, зубы он им вставлял, за то и приваживали, а когда упекли, сдали за чужие грехи, нажились на нем, списали, небось, и пальцем не шевельнул никто из тех именитых — зачем им, да и правильно, поделом! Генка и тот поумней, даром что свинья, валенок, за пачку чая вломит, стучит, за то и держат на больничке третий месяц, так ведь борется за жизнь, не сдается, зубами дер-

жится, вытянет, он и вытянет — изо всех один, за что только не хватается, в больничную кормушку углядел бабу из хозобслуги, подержался — и уже поменялись адресами, ночами строчит письма, признания до гроба, планы на будущее, у нее квартира, а что ему еще — ни кола, ни двора, хулиган с Таганки, а все может быть, оттянут по три-пять лет, встретятся, если она кого другого не захомукает — и поехали, не как у страдальца Шуры, да чтоб такое осуществить, из такой ямы выбраться — да он кого хочет сдаст!.. А может, оно того сто́ит?..

Какой университет, думает он, два месяца на больничке, а целая жизнь, еще б зацепиться, хоть на самом краю, продержаться... Нет, совесть надо иметь... Да какую совесть, трезвость нужна, соображать надо, нет времени на раздумья, на слабость, больше не подадут, чудо, что подарили два месяца, такого и быть не могло, а теперь надо самому, не будет подарков, да и нелепо ждать, только самому, своими силами, зубами, мозгами, вырвать, успеть... И он опять, не понимая почему, цепляется, продолжает думать о Генке: самый неприятный из всех, самый чужой, чуждый — непонятный, откровенно злобный, опасный, а что-то их... связало с первого дня, как только его увидел: в коротком халате, голые голенастые ноги, хищный хрящеватый нос, большой жадный рот, сел на его шконку: «Ты и есть Тихомиров?..» И он вспоминает, как дрожали у него руки-ноги, как Андрей Николаич схватил костыль, как раскручивалась-разматывалась путаная история неведомого ему морячка — два месяца отлежал на его шконке, спасибо, освободил место, да причем тут морячок, сошлось, кто-то химичил — кто? Совпало, помогло, случилось — но значит, могло совпасть, бывает, и тут можно выскочить, если схимичить, организовать, устроить, смог же Генка, одна извилина, а смог, до сих пор не выбрасывают и сейчас лежит под простыней, жрет мясо, хлебает молоко... Не упустить, не упустить шанс, не может быть чтоб и здесь не было выхода, думать надо, шевелить мозгами, нет у него права на ожидание, на ошибку, сразу не сообразил, не врубился, а здесь своя хитрость, как везде, система, механизм, паутина, вяжет ее паучок, крутит, сучит, плетет — разгадать, распутать, на то у него голова, сам начнет вязать, путать...

Значит, Генка, думает он, только Генка, вот где наука-университет, перспектива, остальные — отработанный номер, шлак на выброс, в Генке звено, то самое, за

которое ухватиться, вытянешь, не зря учили уму-разуму, да не в этом университете, в том, прежнем, звено, за которое ухватишься — и вот она цепь, запашок, правда, не тот, ясное дело, но уж какой теперь запашок, за один день нанюхался, не до жиру, простой выбор: стать паучком, коли нет сил быть волком, коль не возьмут в шакалы, или... Один Генка и стоит хоть что-то на этом рынке, остальные болтуны, ничтожества, те самые интеллигенты, навидался в прежней жизни, и тут такие, знак другой, пусть обратный, а нет разницы, пустота, слякоть... «Плюсквамперфектум», — вспоминает он, где он, кстати? Да уж, наверно, размазали, доплыл, если попал сюда, какие у него варианты, не было больнички-университета, кто ему схимичит, кому нужен, а где еще набрать ума-разума, встретились бы, подсказал... Да зачем мне, силы на него тратить, научат, пусть сам доплывает; фраер, вспоминает он, самоуверен, сентиментален, а такой же, как все — болтун-умник, подлаживается, чтоб не остаться в стороне, вроде свой, разговоры-сигареты, вписаться ему надо, его тут впишут...

Нет, только Генка, думает он, вот где сермяга, если хочешь жить, если хочешь выжить, выбратся: не убеждать-уговаривать-доказывать шесть лет, как Дмитрий Иваныч, тонна одних жалоб-оправданий, а прокурор все равно — вышку; не лбом об решку, как Андрей Николаич — тюрьма у него, видишь ли, возмездие-прозрение; не дожидаться, чтоб бирку на ногу — и поташили, как потащут Прокофия Михайлыча, директора пляжа, плохо ему там было, мало нахапал; не плутать в трех соснах, как недоделки-пустомели Шура с Осей, один от бабы не мог отлипнуть — не давала ему! другой совсем неведомо в чем заблудился, собственной добротой накушался, из ушей полезла, не зря оглох... А за что он влип — Генка?.. — перебивает он себя. Шут его знает, темна вода, врет, путает, там не хулиганка, посерьезней, другой раз такая тоска в глазах... А может быть, и с ним не так просто, не разобрал, может, нет там никакой силы и он так же слаб, как все, и не вытянет, как все... Да и откуда — одна извилина, а туда же — переживания, сожаления, страдания, — как-то глянул на меня, а ведь явно было, только что стучал, как не понять, только успел вернуться с вызова, вроде, от врача, а Шура рассказывал, их вместе дернули, одного на процедуры, а Генку в ту самую дверь, где майор морячка заарканил — что ж он на меня тогда глянул, неушто пови-

ниться, стыдно?.. Такой же, как все, затопчут, употребят и вышвырнут — зачем он, кому? Кто ж тогда, если и не Генка? Как же жить, как выжить?.. А если единственную его извилину — жажду, ту самую звериную жажду выжить, ради которой ничего не жалко, если эту жажду приспособить, а переливы, страдания, слюнявые комплексы и переживания ему и оставить, пусть захлебывается — и на одной такой жажде...

Только так, думает он, никаких сентиментов, тюрьма — не гимназия, да он никогда дураком не был, а залетел не по своей вине, нелепость, вломила дура, ничего, свое получит, а на нем нет вины, все у него всегда было четко, как у людей, не хуже, но если б знать, если б он был готов заранее... Есть и тут место, положение, ситуации, где можно жить, выжить, не боги горшки, сообразим. Отсюда надо уходить, думает он, пусть здесь тех держат, у кого голова не варит, а мы как-нибудь, научили — спасибо, пусть те плачут, кто учиться не способен, кого не научишь, а мы как-нибудь, хватит ума, силы, пусть они тут, а я...

Он лежит на спине, укрылся одеялом, матрасовка сложена под головой, глаза закрыты, а все видит, все слышит: пестрая куча разноцветных тряпок, как в калейдоскопе; рычание, хохот, вой; и дым уже не движется, стоит, как туман — дым или смрад?..

3

Уютно, думает он, славно, тепло, вытянуть ноги, плывешь, зачем спешить, не торопись, успеем, самое оно — потянуть, растянуть: удовольствие не в самом удовольствии, а в его ожидании, оно подороже, для того и предбанник, острота — это уже конец удовольствия, известно, что за ним, а вот его ожидание... Давай-давай, Жорик, Жоринька, милый, ну что ты тянешь... Лучше не глядеть, не слышать, а она перед глазами, стягивает джинсы, да не хочу я, не надо сразу, плывем, как славно... Быстрее, Жоринька, не тяни, там не ждут, опоздаешь, не один ты, потеряешь, я не могу больше, не хочу ждать... А я не хочу видеть, закрыл глаза, а она щекочет пятки, ты что, потом, успеем, погоди, а хороша стерва, живот, грудь, ноги, повернулась, зачем повернулась, уходит, спешит, нейметя, экстерьер, вспоминает он, о ней сказали, а она, дура, обиделась, а верно, хороша, и верно, экстерьер, за то и цена, не жалко, по-

вернулась, вот у кого походка, особенно когда ничто не мешает видеть, когда сняла, что мешает видеть, повернулась — и в дверь, ну и пусть, одному лучше, вытянуть ноги, успею, а из двери, как открыла — тепло, жар, крики, шайки звенят, да разве там шайки, сауна, горячий пар, сухой, вон как пошло по ногам, стихло, закрыли дверь, ух ты, там наверно, не шайки — бокалы звенят, кто ж ее первый схватил, ничего, успею, когда они еще дойдут, разогреются, им подержаться, это он с полоборота, а если эта свинья, сволочь, тот может сразу, ждать не будет, надо бы удержать ее, так ведь сама лезет, тормозит, щекочет, невтерпеж ей, опять приоткрыла дверь, сверкнула, чем сверкнула, чем надо, тем и сверкнула, какой яркий свет, не разглядишь, слепит, шум, звон, визг, схватили ее, конечно, схватили, а ей того и надо, надо и мне, выходит, спешить, нельзя опоздать, пожалею, да и с какой стати, если договорились, деньги плачены, а дерут, подумать страшно, овсы, говорит, вздорожали, а что делать, хозяин-барин, не хочешь — никто не неволит, за ценой не постоим, не хуже людей, надо раздеться, не за предбанник цена, пожалею, за них, что ль, платил, чтоб им сладко, рубашку долой, брюки, ботинки, черт, как в детстве, узел не развязать, когда надо спешить всегда так, рвать его, что ли, а шнурок новый, как назло, только купил, не порвешь, зажалю ногу, пальцы давит, жжет, сбросить, скорей сбросить, а черт, не скинешь, ладно, пусть в ботинках, засмеют, а пусть смеются, голый в ботинках, конечно, смешно, стыдно, а ничего не стыдно, какой стыд в бардаке, да и куда деться, все сильнее жжет и не сбросишь, ладно, там не до того, все пьяные, не заметят, да хоть и заметят, больше нельзя тянуть, надо успеть, заиграют, потеряю бабу, да черт с ними, с ботинками, предбанник, мать вашу, а где дверь, не найти, нет, что ли, двери, она только что вышла в дверь, куда ж еще, не надо было выпускать, не надо было отпускать, пусть бы она разделла, если нейдет, она б и шнурки развязала, как же она щекотала пятки, значит, сначала сняла ботинки, а потом, снова надела, завязала, нарочно узлы, чтоб не успел, а он прошляпил, кейфовал, провозился, конечно, схватили, сидит на коленях у того, кто первый схватил, смеется стерва и они потешаются, ждут его выхода, ага, кто-то хихикает, гнусаво, мерзко, через дверь, а слышать, да где же дверь, бред какой-то, сам отдал, выпустил, надо б вместе, сразу в жар, в пар, а лучше в бассейн,

за руки, не отпускать — и полетала бутербродами, а там сразу, в зеленой воде, а черт, как жжет ноги, вот она дверь, нашел, нащупал, ногой ее, ботинком, распахивается...

Яркий свет, грохот, вой, визг, сколько их, почему так много, а он голый, в ботинках, ноги, ноги...

— А-а!! — визжит он. — А-а-а-!!!

Ноги в огне, полыхают, дым, он подтягивает ноги, ничего не может понять от боли, дуреет, огонь ползет по матрасу, тлеет, дым, как ножом режет пальцы, а вокруг разноцветный грохот, вой, хохот — это он кричит или кто-то рядом? — схватил руками ноги, жжет, горит между пальцами...

— А-а!!! — орет он.

Кто-то запрыгивает снизу, навалился на ноги, зажал.

— Скоты! — слышит он. — Мерзавцы!.. Как вы смеете так с человеком? Кто вы такие?.. Подонки!..

— А ты что лезешь, тебя трогали, сука?..

— У-у!! — воет он: ноги ножом, пальцы... — У-у...

— Он человек, а вы кто — нелюди, свиньи, скоты!..

— Тебе жить надоело, суке?..

— Мочи его!..

Стоит над ним на коленях, накрыл ноги одеялом, держит, седая борода дрожит, зубы оскалены:

— Мерзавцы, подонки...

— Сюда его, вниз его сбрось!..

Не человек, обезьяна бежит по шконкам от окна, перепрыгивает через лежащих, не выбирает — по ногам, по головам, ближе, ближе — и ногой, по головам, ближе, ближе — и ногой, как футбольный мяч, седая борода взлетела — и исчезла...

— Навались, разом, да прикрой ему башку, убьем!..

Вой, визг, скрежет, лязгает дверь...

— Встать! Всем встать!!!

Грохот сапог...

— Вниз! Всем вниз!!

— Ты чего в крови, кто тебя?.. Что молчишь?

— Спалили человека, скоты!

— Где он?..

Дергают за ногу.

— Больно! Вы что?!

— Давай вниз... Фамилия?

— Я... Тихомиров фамилия. Я... не могу, больше тут не могу, куда хотите, что хотите — тут больше не могу!..

— Куда ты меня ведешь, Федя?

Молчит, он все время молчит, открыл первую дверь из нашего коридора, пропустил вперед, стучит сзади ключом по железным перилам: лестницы, переходы, туннели, опять лестницы и снова... Широкая, в два раза шире нашей, пролеты огромные, погрязней... С площадки прямо... Эх, не заметил, какой этаж! Коридор в три раза шире, потолок...

— Во кубатура!.. Куда ж ты меня привел, а, Федя?

Остановился, смотрит на меня: маленький, рыжий, веснушки на лице, на носу, глаза... Другие глаза! В тот раз помню — бешеные, вздрагивали, а сейчас другие — устал, что ли?

— Я тебя предупреждал, что ж ты уши развесил?

— А что я?

— Ты в тюрьме, здесь не ошибаются. Один раз ошибся... Шагай вперед.

— Это общак, что ли?

Не отвечает.

— Стой.

Стою у стены: коридор широченный, между дверями расстояние в пять раз больше, чем у нас, на спецу, что-то внушающее... уважение, скажем... мощь...

Подходит к вертухаю, тот болтается посреди коридора, говорят о чем-то, долго говорят, дает ему папку, мое дело; опять говорят — может, мест нет?

Опускаю на пол мешок, лоб вытереть, жарко... Подходит.

— Давай в тот конец.

Шагаю мимо двери, мертвая тишина, вторая, третья...

— Стой.

Остановился.

— Мандраж? — спрашивает.

— Может, обратно отведешь, тут, наверно, мест нет.

— Тебе радоваться надо, что перевели, там бы тебя, лопухого, догрызли... А мест тут на всех хватит, увидишь.

Вертухай медленно идет к нам.

— Приходи, Федя, я тебя ждать буду. Ты у меня Вергилий.

— Чего, какой...

Вертухай подошел, отпирает дверь, открывает чуть-чуть.

— Давай, — говорит.

Не пролезть с мешком, нажимаю, а дверь не поддается, больше не открыть, что-то держит.

— Как тут пролезть?

— Молча, — говорит Федя, — не такие пролезали...

Переизбыток воображения, думаю. Разошлось воображение, не остановить. Так ведь ошеломляет. Так-то оно так, думаю, но и перепутать можно, что на самом деле, а что... Не совсем так было, когда он вел меня, то есть, все так и было — лестницы, туннели, переходы, коридор общака... Таким ли он был, или мне хочется, чтобы он был таким? Я не могу понять, что в его появлении — в тот раз, когда вели со сборки, и сейчас, почему именно он, рыжий — совпадение, случайность, в тюрьме не бывает случайностей, вот в чем странность, а ошибиться нельзя...

Наверно, я сейчас думаю о нем, чтоб не думать о том, что происходит вокруг: слишком много, с воображением надо бы погодить. Писатель, думаю я, вот она зараза писательская...

Огромная камера, вот что ошеломляет, прав был Боря, когда говорил: «Ты еще тюрьмы не нюхал, браток...» «Вот это тюрьма!» — первое, что пришло в голову, когда и подумать не успел, пролез, протиснулся в дверь со своим мешком и сразу дошло: дверь заклинили намертво, нельзя открывать во всю ширь — толпа, рванутся, не остановить, куда вертухаям, пулеметы не остановят... Мрачная, зловещая, безобразная красота... Может быть красота безобразной? Может-не может, а вот она: высоченный потолок и все гораздо больше, значительней, весомей, шконки в полтора раза выше спецовских, головой не достать до верха, изразцы красивые, как в банях, окна под самым потолком сплошь затянуты «ресничками», три ступени ведут к сортиру, все в движении, а потому кажется — в дыму, в смраде плывет ватерклозет, парит над камерой.. Но народу, народу!.. Толпа. Наверху пестрая куча, вроде, глядят на меня, а вроде, никакого внимания, чтоб пройти надо протолкаться, как в троллейбусе — да тут ничего не понять! Стол длинный — дубок, играют, то же домино, видать, покер, а вон и шахматы...

— Давай сюда!..

Оборачиваюсь, крайняя шконка, возле сортира, их там много, бурный разговор, не до меня. Кто ж позвал?.. Подхожу.

— Откуда... Так это ты?.. Не узнаешь, очки?

— Здорово,— не могу вспомнить.

— Забыл? На сборке вместе. Ты с длинным малым тусовался, и еще один с вами — туберкулез косил...

— Верно!.. — во память! Теперь и я вспомнил: татарчонок, шустрый, доброжелательный...— А ты как тут?

— Я с самого начала, присох. А тебя куда потащили?

— На спец, два с половиной месяца прокантовался.

— А сюда почему?

— Кто их знает. Видать, для науки. Как тут у вас?

Рядом молчат, прислушиваются.

— Нормально,— говорит,— жить можно.

— Куда меня определяют?.. — вспоминаю я общаковские порядки.— Кто тут у вас шнырь?

— Я и есть шнырь,— говорит мой татарчонок,— только я не по этому делу. Чего ж они сюда, у тебя, вроде, статья...

Подходит кто-то, от мелькания лиц не разберешь, как в кино, если войдешь в середине сеанса, лезешь между рядами, не врубиться — кто, зачем, почему...

— Давай, шнырь, тебя зовут.

Татарчонок встает — и нырнул в толпу.

Сижу на его шконке, мешок рядом, всякое думал об общаке, но такого не ожидал. А чего ж ты ожидал, думаю, скучно стало, слишком хорошо, загордился, заважничал, распускаться начал, вот и сунули мордой куда следует. А может, на благо, вот как сказал рыжий Федя: тебе, мол, радоваться надо... Не хватает духу на радость. Значит, вон она какая — тюрьма, впечатляет... Эх, вспоминаю, летит мысль, не удержать, кто-то говорил: если у самой двери упруешься, у них права нет заталкивать, не пойду, мол, и весь разговор, а переступил порог — все, обратного хода нет... Надо было отказаться, может, и рыжий того от меня ждал, а сегодня пятница, они специально, суббота-воскресенье мертвые дни, не дернешься, в тюрьме никакого начальства, не достучишься... Тут нет случайностей, накладок, задумано... Пятница, думаю я, а завтра... Завтра Лазарева суббота! Вон оно как, да, пожалуй, ничего случайного, все так и должно быть...

Подходит татарчонок, рожа кислая, как слизнуло доброжелательность.

— Давай, — говорит, — с тобой хотят поговорить.

— Кто? — спрашиваю.

— Давай к первой шконке...

Идти мне не хочется, ничего хорошего не светит, в лучшем случае нудные разговоры, два месяца назад тянуло послушать, поговорить, теперь накушался, хватит, а что делать, тут свои законы, чужой монастырь. Выходит, нельзя раскатать матрас, забраться под шконку, закрыть глаза и думать о том, что завтра Лазарева суббота, послезавтра воскресенье и Он войдет в Иерусалим: две тысячи лет Он год за годом входит в Иерусалим, хотя знает, что Его там ждет...

Я думаю об этом уже на ходу, пробираюсь в толпе, верно, как в троллейбусе, впору спросить: «Вы сейчас не выходите?..» Спроси, врежут: «У тебя что, сука, крыша течет?..»

Первая шконка у самого окна, одноэтажная, королевское место — воровское, поправил меня как-то Зиновий Львович... Вроде, татарин, лежит, подпер голову рукой, синий спортивный костюм, лет тридцать пять; рядом здоровый бугай, грузин, тоже в спортивном, пошикарней... А на соседней шконке молодые ребята, лет по двадцать пять, лица открытые, веселые...

— Здорово, — говорю, — звали?

— Садись, — говорит татарин, — откуда явился?

— Со спеца.

— Какая хата?

— Двести шестидесятая.

— Двести шестидесятая?.. — он поворачивается к пареньку, чем-то похож на Лешу со сборки, нет, тот был поскромней, а этот наглый. — Твоя, Сева?

— Моя, — говорит.

— Где там у вас телевизор? — спрашивает меня татарин.

Ну, про эти наколки я наслушался.

— Между окнами, — говорю, — только Севы там не было, я без малого три месяца отлежал.

— Чего ж тебя выкинули?

— Есть над чем подумать, — говорю, — а я не проился.

— Какая статья? — спрашивает грузин.

— Вы не знаете, — говорю, — сто девяностая прим. Никто не знает.

— Недоносительство,— говорит Сева.

— Никто ни разу не угадал. Распространение клеветы на советский государственный и общественный строй.

— Так ты против коммуняков?..— вскидывается еще один, самый молодой среди них, чернявый, глаза блестят.— Ну, ребята, дождались человека!

— Правда, против? — спрашивает татарин, сощурил глаза.

— Нет,— говорю,— я человек мирный, книги писал. Верующий я, православный.

— Чего ж тебя не в Лефортово? — спрашивает татарин.

— Вы, мужики, меня о том спрашиваете, чего я сам не знаю — почему на общак, почему не в Лефортово? Еще спросите: зачем посадили? А я попрошу: отпусти, дяденька!..

— Ты и писателей знаешь?— спрашивает Сева.

— Знал, а за три месяца забыл. Мне б их никогда не знать.

Из толпы выныривает шнырь.

— Гарик, тебя на вызов...

Во как, здесь не услышишь, когда открывается кормушка.

— Адвокат, сука! — говорит татарин.— У меня суд в понедельник. Я с ним недолго, оглядись пока...— он кладет мне руку на плечо.— Поговорим, не робей. Хорошо, что тебя сюда, не пожалеешь.

Ушел.

— Слушай, Серый,— говорит самый молоденький,— расскажи про писателей, к примеру...

— А ты откуда знаешь?

— Что знаю?

— Что у меня кликуха — «Серый»?

— А что тут знать — видно.

— Ловко,— говорю,— я б нипочем не догадался.

Грузин встает со шконки, ушел.

— Много за книги хапнул? — спрашивает Сева.

— Так еще суда не было, по моей статье, если не переквалифицируют, больше трех не дают.

— Я не про срок, про деньги. Или ты в валюте?

— Ничего я, ребята, не получил, кроме спеца, теперь общак понюхаю.

— Здесь нормально,— говорит молоденький,— лучше спеца, там с тоски подохнешь.

— А ты был? — спрашиваю.

— Не был, рассказывали, Сева две недели про-
скачал.

— В какой хате? — спрашиваю.

— В двести сорок второй.

— Зачем же лапшу вешал про двести шестидесятую?

— Пощупать, вчера одного привели, тоже интелли-
гент, маленько пощупали — и выломился.

— Не понял,— говорю,— а что случилось?

— Коммуняка,— встречается молоденький,— доцент из
МАИ. На больничке, говорит, два месяца отлежал, пу-
тался, врал — с перепугу, загнали наверх, а там... Коро-
че, выломился. Могут разогнать хату, настучит.

— Какой из себя,— спрашиваю,— я одного такого
видел на сборке — высокий, худой?

— Высокий... На тебя похож. Нет, не худой. Может,
не врал, на больничке отъелся? А может, и не коммуня-
ка, много путал, потому и загнали наверх... Мы их всех
туда, вон еще один...

Кивает наверх: сидит на краю, свесил ноги в сапо-
гах, очки в роговой оправе, читает газету.

— Кто такой? — спрашиваю.

— Поговори, тебя к ним в семью — верно, Сева, ку-
да его еще?.. Их пять человек в семье, хозяйственники.

— Мне бы полежать, наверх, что ль, забраться?

— Погоди,— говорит молоденький,— Гарик вернет-
ся, решит... Про чего ты книги писал?

— Потом, ребята, дайте сообразить, никак не вруб-
люсь, такого не видел.

— Не нравится? Я восемь месяцев, дом родной...

Гляжу ему в глаза: ясные, никаких проблем... Да
быть того не может — восемь месяцев в такой камере!

— Так тебя за веру, что ль, посадили,— не отстает
молоденький,— у нас, вроде, попы разрешены?

— Он не в церковь ходит, а в эти, как их...— это
Сева.

— Ты, получается,— герой, мученик или революцио-
нер? — спрашивает молоденький.

— Нет у меня такого чина. Ты восемь месяцев здесь
и говоришь — нормально, а я первый день и у меня
мандраж.

— Привыкнешь,— говорит молоденький,— первые дни
все так, считай, повезло, человек шестьдесят, бывает
набьют до восьмидесяти, тогда караул...

Разговора не получается, приглядываются, осторож-

ничают, без Гарика ничего решать не могут — едино-властие.

— Пройдусь, — говорю, — надо привыкать...

«Коммуняка» спустился вниз, как только я к нему подошел. Пожилой, спокойный, манеры начальственные.

— К нам в семью? Какая статья?

Объясняю.

— Ну что ж, давайте вместе.

— Что за семья? — спрашиваю.

— Объединяются, чтоб есть вместе, обычно — по статьям, а за дубком камерная аристократия, — он поджал губы. — Вы... поаккуратней, сложный народ. Как они с вами?

— Никак. Поговорили и все.

— Место они вам не дадут, полезете наверх. Я здесь самый старший, а место не дали, месяц наверху. Щенки. Меня они из себя не выведут, главное — никакого внимания. Пропашие люди. Куражатся. В блатных играют.

— Вы один по делу? — спрашиваю.

— Нет, нас много. И на Бутырке сидят.

— Почему ж не на спец?

— Хотят сломать. Им нужны показания. Поставить в ситуацию, когда человек полезет на стенку. Я и наверху продержусь... Слыхали что-нибудь про амнистию?

— Что за амнистия?

— Я думал, вы человек мыслящий. Руководство новое?

— Какое руководство?

— Партийное, государственное.

— Для меня оно всегда одно.

— Надо уметь читать газеты. Приходит новое поколение. Мои ровесники. Первым делом нас всех отсюда...

— Отсюда — и куда?

— Я бы на вашем месте не иронизировал. Вас, кстати, непременно освободят. Хотя тут дело... не в справедливости, а в стратегии. Таких, как вы, выгодно освободить.

— А по справедливости, надо бы держать?

— По высшей справедливости, надо держать.

— А вы говорите — новое руководство. Старое ли, новое, оно всегда считает — лучше держать.

— Все будет по-другому, увидите. Те делали себе во вред, как нарочно, в любой области, где ни возьми, непременно обгадятся, прямое вредительство, а сейчас при-

ходят другие люди, слежу по газетам, всех знаю — трезвые, деловые, с образованием, неглупые, понимают, что выгодно, прагматики.

— Не вижу разницы. Если те и другие исходят не из закона, не из... нравственного чувства, а из сегодняшних представлений о выгоде, к тому же называют ее справедливостью, то есть лгут?.. Она у них, конечно, всегда высшая...

— Благо народа — высшая справедливость.

Во какая у меня будет семейка!.. Бред. А вокруг... даже не понять что: гул, крики, толкотня, дым, смрад...

— А ваши сожители,—я киваю на камеру,—не народ?

— Эти?.. — он пожимает плечами.— Ну знаете... Социальное дно, отребье.

— И справедливости для них не должно быть?

— Разумеется. Только изоляция. И чем более жесткая и радикальная, тем лучше и верней.

— Вы полагаете, это справедливо?

— В высшем смысле, конечно.

— Если б мне предложили и я б знал, что вы выражаете идеи нового руководства, я б проголосовал за старое. Оно симпатичней, во всяком случае, откровенней.

— Саша, подойдите-ка...— говорит мой собеседник.

Оборачиваюсь, из толпы выплыл еще один, верно, как в кино, когда крупный план, хоть что-то поймешь, а так — мелькание. Высокий, подтянутый, лицо худое, нервное, волосы падают на бледный лоб, глаза лихорадочные, лет сорок.

— Познакомьтесь, Саша, к нам в семью определяют. Из диссидентов, писатель, а взгляды самые реакционные... У Саши,—он поворачивается ко мне,—через неделю трибунал. Полковник. Та же статья, что и у меня. Не успеет до амнистии. Ничего, Саша, она вас догонит на пересылке.

— Мне она не нужна,— говорит полковник,—если суд состоится, мне ничего не нужно. Или оправдание или смерть.

— Вы давно здесь? — спрашиваю.

— Пять месяцев, у нас быстро.

— Взятка? — спрашиваю.

Лицо у него передергивается:

— Я хочу с вами поговорить,—глядит на меня, глаза горящие, меня не видит, в себя смотрит.

— Приходите на нашу семейную школку,— говорит

мой прогрессивный собеседник,— у нас из пятерых только один внизу... Да, я не представился: Владимир Николаевич Брюханов, начальник отдела кадров, меня называли «комиссаром».

— Вадим,— говорю.

— Давайте отойдем,— говорит полковник,— на ходу лучше.

Протискиваемся к двери, посвободней, ходят пары — от сортира к противоположной стене, разговаривают, смеются, двое возле кормушки — грибообразный нарост, наваренный изнутри; татарчонок-шнырь зашивает матрасовку, его плотно обсели, бурный разговор, машут руками, матерятся...

— Напряженная у вас жизнь,— говорю.— А что они все время обсуждают, тоже амнистию?

— Они?.. — полковник не глядит по сторонам, кажется, он и меня не слышит.— Вы писатель?

— Вроде того.

— Очень хорошо! Мне важно проверить... последнее слово. Я виноват. Но не субъективно, не по совести... Понимаете?.. Я хочу начать этими словами... Вы помните их точно, буквально?

— Какие слова?

— Что?.. Ах, да... Островский: «Надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

— Так и есть, а что вам еще? — какая тоска: трибунал, смерть, субъективно не виноват — и Островский!..

— А дальше?.. «Чтоб не жег позором стыд, чтоб...»

— Вы же не экзамен сдаете, говорите своими словами. Тем более, знаете, субъективно не виноваты. Так бы и начали: по совести не виноват. Или бы кончили...

— Я читал заявление жены,— говорит полковник.— Она пишет, что проклинаят день и час, когда меня увидела. У меня сын семи лет, Сережа. А ей двадцать шесть. Красавица.

— Она вам не верит?

— Чему она должна верить — ей нет дела до...

— Вы в Бога веруете?

— Я — коммунист,— говорит полковник.— Они поставили меня в ситуацию, когда я вынужден был брать деньги. Я председатель дачного кооператива: строительство, дороги, газ... Брать и давать. Но это не те деньги, это...

— Кто поставил вас в вашу ситуацию?

— Кто?.. Вы думаете... Бог?

— В высшем смысле, как любит говорить ваш приятель по семье, может быть. Но в натуре, в реальности, в которой вы вынуждены брать и давать — те самые коммунисты. Разве не так?

— Ну и что?

— Вы наверху? — спрашиваю я.

— В каком смысле?.. А, где я сплю? Наверху.

— Все пять месяцев?

— Пять месяцев.

— Ваш приятель все время толкует о высшей справедливости, но ведь они правы — те, кто загнал вас наверх и не дают место внизу? Именно вы, с их точки зрения... А может она не так субъективна? Именно вы создали эти условия... — и я оборачиваюсь на камеру...

Она вся в движении: гудит, бурлит, смердит, живет невероятной, непостижимой мне жизнью, я без малого три месяца в тюрьме, но только сегодня, накануне Лазаревой субботы мне открывается ее истинный, скрытый до того, тайный смысл... Сегодня... нет завтра Он воскресит Лазаря, войдет в Иерусалим, начнется Страстная неделя, Его предадут, будут истязать, распнут, погребут и тогда Он... А я, а они, а мы...

— Вы и создали эти условия, — говорю я, — и здесь, в этой камере, и там, в дачном кооперативе... Создали условия, в которых нормальный человек жить не может. Или он должен воровать, убивать, лгать и брать взятки, или...

— А разве есть какое-то «или»? — говорит полковник.

— Оно всегда есть. Я должен понять, что сам виноват в том, что происходит вокруг. С людьми, участвующими во лжи, и со мной, в ней существующим. А если вы, как и ваш приятель, считаете, что вокруг только социальное дно, отребье, с ними так и быть должно, то на что вам жаловаться? Или полезете наверх, или сами будете загонять наверх других. Или вас расстреляют за взятку, или сами будете за нее стрелять.

— Но это не взятка... — полковник останавливается и смотрит на меня, — я брал, чтобы... Это социальная необходимость.

— Вы участвовали во лжи и вас загнали наверх... — Что это я разговорился!.. — Вы хотели бы загонять наверх других?

— Я бы хотел умереть, — говорит полковник, — я не

могу жить, если Сережа будет считать меня вором.

— Вас надо было остановить,— говорю я,— вы могли дожить до старости, нянчить внуков и продолжать считать себя субъективно ни в чем неповинным. У вас был бы дом, красавица жена и вам было б наплевать, что делается с людьми за забором вашей дачи. Благодарите Бога за то, что с вами случилось. Ради Сережи. Он уже не будет таким, как вы, он с семи лет будет знать, что есть тюрьма, лагерь, что мир разделен хотя бы на тех, кто сидит, и на тех, кто сажает. Это не мало для первой мысли.

— Будет знать, что его отец вор.

— Будет знать, что жизнь — не дачный кооператив с хорошими дорогами и газом. В семь лет поймет, что должен выбирать между теми, кто загоняет наверх, и теми, кого...

— Что ж, по-вашему, ему следует выбрать?

— Это дело его совести, в вас она проснулась, в сорок лет, а он услышит ее в себе в семь. Разве это не Божья милость, вы не думали о своем сыне, Бог решил за вас...

Полковник останавливается, закрыл руками лицо, а когда отнимает руки, оно в слезах.

— Это ужасно,— говорит он,— трибунал сейчас не дает расстрела, я знаю... я сам сидел в трибунале...

Наша семья почти вся в сборе, нет только одного, он «судовой», вот уже два месяца каждый день уходит на процесс: подмосковная ПМК, он главный инженер — взятки, хищения, служебные злоупотребления; их человек десять по разным камерам. Еще один семьянин — Виталий, рабочий мебельного магазина: длинный, нескладный, с большими ногами; когда я сел на шконку, он разматывал самодельные бинты, сшитые из старых рубаш и полос матрасовки, настоящие бинты отобрали на шмоне, на больничку не берут, а на его вены смотреть страшно... «Деньги я не себе брал,— сказал он, когда я спросил про статью,— у нас такса — полсотни или столярник сверх, пожалеешь кого другой раз: бабка внуку гарнитур на свадьбу, другому — квартиру получил, а спать с женой не на чем, очередь на полгода. Отдаю заведующей и у меня навар — да они благодарят, рады без памяти, какая полсотня-сотня, когда ни спать, ни есть не на чем! Заведующую прижали на Петровке, валит на меня, а я ничего не знаю, они говорят: сдавай заведующую, а то посадим. Зачем на человека? Всегда

берут на испуг, а оно видишь как — заведующая гуляет, помогла раскрыть преступление, а мне сидеть...»

Сидим на нашей семейной шконке: хозяин ее узбек по имени Султан, пожилой, когда-то, видно, тучный, сейчас рыхлый, сырой, с отечным улыбающимся лицом. Темновато, глаза отдыхают от безумного «дневного» света, сидишь, как в зрительном зале — а на сцене, на сцене!.. Султан поджал ноги по-турецки, улыбается; полковник на самом краю, глядит в сторону; мебельщик наматывает бинты; а «комиссар» жует и жует свою жвачку:

— Вас не устраивает общественная справедливость социализма, для вас это естественно. Вы настаиваете на какой-то абстрактной, вечной, асоциальной, якобы абсолютной справедливости, будто она возможна, будто хоть когда-то где-то ее хоть кто-то мог осуществить. Нельзя жить в обществе и быть от него свободным...

Ну уж конечно, думаю, как он сразу не вспомнил!..

— Да вы мне новую статью шьете, — говорю, — я про социализм и не обмолвился, у нас речь об амнистии...

— Будет, будет?.. — вскидывается Султан, — что слышал, скажи, дорогой, какая будет амнистия?

— Вас, Султан, первым делом, — говорит комиссар, — ветеран, персональный пенсионер, инвалид — к юбилею победы.

— Спасибо, дорогой, хороший человек... Советский власть — хороший власть, только... очень долгий. Девятого объявят — да? А когда выходить?

— Сразу выходить, — говорит комиссар, — кто попадает под амнистию, они ни одного дня держать не будут, у них права нету.

— А права меня сажать у них были? Что я фашист? Я директор совхоза, депутат, инвалид войны, у меня ордена... Я хлопок сдавал, мясо сдавал, шкуры сдавал?..

— В первый же день, Султан, не беспокойтесь, я в министерстве не один год, знаю как делается, да и с какой стати вас тут кормить, тратить деньги, государству не выгодно, сейчас возьмутся, будут считать денежки...

— Ты что говоришь?! — Султан подпрыгивает на скрещенных ногах. — Меня кормят?.. Баландой кормят, глиной кормят, свиньи не станут есть...

— Конечно, — продолжает свое комиссар, — новому руководству для поднятия авторитета важно подойти диалектически, с одной стороны, продемонстрировать

наш советский гуманизм, а с другой, утвердить высшую справедливость социализма. Это будет первый ошеломительный шаг новой политики. Такого рода амнистия — и чем она шире, тем для престижа лучше, убивает сразу двух, а может, и трех зайцев.

— Да у нас их давно перебили, — говорит мебельщик Виталий, он покончил с бинтами, опускает штанину, — поди купи.

— Кого перебили? — спрашивает комиссар.

— Зайцев, — говорит мебельщик. — Сколько себя помню, всю дорогу стрельба и обязательно дуплетом, чтоб не одного, а двух, а еще лучше сразу пять.

Полковник задергался, забулькал — и прорвался хохотом.

— Что с вами? — спрашивает комиссар.

Смех так же резко оборвался. Полковник встал и отошел.

— Переживает человек, — говорит Султан, — не подойдет под амнистию, не воевал.

— Не скажите, — говорит комиссар, — военных она несомненно коснется, пусть во вторую очередь. Новое руководство непременно будет заигрывать с армией — на кого опираться?

— А ты, дорогой, — обращается ко мне Султан, — не воевал?

— Нет, — говорю, — я после войны родился.

— Ай-я-яй, как не повезло человеку, надо бы чуть раньше, сплеховали родители, придется ждать другую амнистию.

— Видите ли, Султан, — говорит комиссар, — у нашего писателя особые обстоятельства, он...

К нам влезает шнырь.

— Давай, Серый, с тобой хотят поговорить...

Гарик вернулся с вызова, а я и не видал — как тут углядишь! Лежит на первой шконке, кулак под головой, рядом те же ребята, грузин — что-то он мне не нравится, еще один, в тот раз его не было: круглолицый, молчаливый.

— Давай, Серый, договорим, на самом интересном месте прервали — ты не в обиде? Тюрьма... Огляделся?

— Трудно понять, — говорю, — такой камеры не видал.

— Хочешь уходить?

— А куда мне уходить? Меня не спрашивали.

— Как жить будешь — писатель, интеллигент, а мы, знаешь, кто?

— Такие, как я.

— Слыхали, мужики? Мы грабители, убийцы, воры, насильники — как ты с нами будешь?

— Ты меня не пугай, Гарик, я третий месяц в тюрьме, навидался. Мы тут все зэки.

— Чего ж тебя со спеца выкинули, кому не угодил?

— История простая. Я здесь два с половиной месяца, а вчера первый раз дернули на допрос. Гляжу, та самая, что на обыске, я б на нее еще десять лет не глядел...

— Не соскучился по бабе? — Гарик смеется.

— Нет,— говорю,— я по воле соскучился.

— А она чего предложила?

— Один-другой вопрос, я говорю: я еще в КПЗ сказал, не буду участвовать в следствии. Так, может, мол, поумнели за два месяца. Я думал, вы поумнели... Про белого бычка. А сколько, мол, человек в камере — шестеро... И тут понял, не жить больше на спецу. Утром потащили.

— Сука,— говорит молоденький,— она, кто ж еще, тут гадать нечего, задавить им тебя надо.

— Помолчи, Костя,— говорит Гарик,— тебя не спрашивают... Шесть человек в камере?

— Шесть, я седьмой.

— А кто стучал?

— Кто их знает, у меня со всеми нормальные отношения, зачем на меня стучать?

— Хреновый ты писатель, если в людях не сечешь. На кого стучать, как не на тебя? Да еще на спецу! Был в камере кто не по первой ходке?

— Были. Мой кент третий раз. Еще один старик — сорок лет отмотал, его, правда, увели...

— Кент!.. Как фамилия? Какая статья?

— Посредничество во взятке. Бедарев. Непростой мужик, но у меня с ним все хорошо. У него следствие, суд был в январе, теперь летом...

— Неудобно говорить, Серый, человек ты, вроде, солидный, но таких лохов поискать. Да он осужденный, твой Бедарев, чего ему делать на спецу?

— Как ты можешь знать?..— мне становится не по себе.— Хотя есть странность... Следствие не больше трех месяцев — почему он так уверенно говорит о лете?.. У него подельник...

— Тормозится до лета, за то и стучит, — говорит Гарик. — Письма через него отправлял?

— Нет, мне не надо. Хотя...

— Эх, Серый, тебя учить и учить. Рассказывал ему о деле?

— Мне, Гарик, рассказывать нечего, я говорю, что и следователю бы сказал, когда б у меня были с ней разговоры.

— Через кого отправлял рукописи?

— Вот именно. Ты думаешь, тут криминал?

— Я думаю, их только это и интересует.

— Простой вопрос, — говорю. — Я написал, к примеру, книгу, дал тебе почитать, ты прочел и отдал Косте, Костя — Севе, а кому отдал Сева, я не знаю... Если книга попала на запад и ее там напечатали, откуда мне знать, кто ее отправил? А помогать им искать, чтоб они вас затаскали?.. Я имен не называю...

— Ну ловкач! — смеется Гарик, — не такой уж ты лох!..

Все на шконке смеются, довольны моей хитростью.

— Чудаки, я правду говорю.

— С тобой нормально, Серый, — говорит Гарик, — так и держись, коммунякам нельзя верить. Как тебе твоя семья?

Я пожимаю плечами, лучше помолчать.

— Мне бы полежать, много впечатлений.

— Верно, — говорит Гарик, — да вот хоть туда, — он кивает на вторую от окна шконку, на первой круглолицый, рядом грузин.

— Там человек, — говорю.

— Какой человек?.. Толик!

Со шконки поднимается лохматый паренек.

— Давай наверх, — говорит Гарик.

Тот посмотрел на него, достал из-под шконки мешок, собирает вещи. Ни слова.

— Неудобно, — говорю, — лежал человек...

— Не твое дело, — говорит Гарик. — Шнырь!..

В камере грохот, а сразу стихли.

Подходит шнырь. Толик уже собрал мешок, полез наверх.

— Тащи его матрас, — говорит Гарик, — постели.

Теперь мне и лежать не хочется: диалектика, вспоминаю я «комиссара» и полковника — кто кого загоняет наверх?..

— У меня, понимаешь, Серый... — начинает Гарик и

оборачивается к ребятам: — Давайте, мужики, кто куда...

Встали и отошли.

— Через два дня у меня суд,— говорит Гарик,— третий, как у твоего кента на спецу. Но он осужден, можешь поверить, а мой суд отложили. Я год кручусь в этой хате. Вытаскивают на суд, вижу, не светит, как подходит к речи прокурора, делаю заявление: я татарин, по-русски не понимаю, давайте переводчика. Они откладывают, месяц-другой, приходит переводчик, а я по-татарски — ни слова. Мне адвокат говорит: судья твоего имени слышать не может, он тебя закопает, двенадцать лет повесит, а мне надо не больше десяти — сечешь? Двенадцать — ни по УДО, ни по амнистии, присохну, глухо. Адвокат говорит: если не будешь валять дурака, затягивать процесс, мы с судьей договорились — получишь десятку, а нет, твои двенадцать... Как думаешь, обманут?

— Не знаю, Гарик, боюсь советовать. Адвокат у тебя свой?

— Они все одинаковые, а можно ли ему верить — о чем они договорились?

Появляется шнырь.

— Тебя, Гарик, опять на вызов.

— Что?.. Адвокат? Да мы с ним попрощались до суда, что ему торчать в тюрьме?..

— Не знаю,— говорит шнырь.

— Может насчет того ханурика...— круглолицый первый раз открыл рот, глянул на меня, говорит тихо, а я разобрал: — Ну выломился который? Настучал, мразь...

— Видишь,— Гарик повернулся ко мне,— новости...

Гляжу ему в глаза, он отворачивается, достает тетрадь... Не нравится мне этот странный вызов, хорошо бы увидеть, когда он вернется, не пропустить, посмотреть в лицо...

5

В таком помещении он еще ни разу не был — наверно, бокс: лавка, шагу не ступить, темновато.... Да хотя бы всегда здесь: месяц, три, год — только не туда, лишь бы не обратно!..

Дрожат руки, ноги, внутри все дрожит, болят пальцы, ноги в огне, он снимает ботинки, взялся руками за

ступни... Что же это такое, как могли такое позволить почему...

Его мешок рядом, но он и курить не может, сунуло было по привычке достать табак и отдернул руку, нельзя курить в боксе, вытащат, поведут обратно... Хотите, что угодно, только не туда!.. За что, почему мной так...

Дверь открывается.

— Выходи!

Старшина. Коренастый, рыжий, глаза странные...

— Оставь барахло.

— У меня тут...

— Сказано — без вещей!

Куда ж это, если без вещей... Значит, не назад, не камеру... Коридоры, лестницы, переходы, туннели... В больничку?!

Светлый линолеум, чисто, двери... Просто двери в белой масляной краске... Еще одна лестница, деревянная...

Старшина открыл дверь, что-то сказал, кивает...

Он входит. Светло, чисто, за письменным столом майор... Тот самый, из того страшного сна: черный, до синевы выбритые щеки, толстые руки на столе, поросли черным волосом...

— Садитесь... Тихомиров Георгий Владимирович.. Статья сто семьдесят третья... Что с вами случилось?

— Я... Я прошу вас... Я не могу находиться в той.

— Почему не можете?

— У меня... болит сердце, душно...

— Вы были на больнице?

— Был.

— Сколько там пробыли?

— Два... месяца.

— Как два месяца?.. — смотрит бумаги на столе. Два с половиной, почти три!.. — Вы в тюрьме или в санатории?

— У меня...

— Если не ошибаюсь, мы с вами уже видались?

— Не-ет... Я вас никогда не... видел.

— Не видел и... Не слышал?

— Я вас никогда не видел, никогда не слышал.

— Хорошо. Что произошло сегодня в камере?

— Не знаю... Я проснулся от того, что... горели ноги...

— Горели?

— Не горели, но... Я очень прошу вас, гражданин майор, не отправляйте обратно, я... У меня не хватит Л...

— Вот что, Тихомиров, в тюрьме камеру не выбирали, вы пробыли два с половиной месяца на больнице, я еще проверю — почему вас держали так долго? Вид у вас здоровый, давление нормальное... Проверим. Вы были в четыреста восьмой?

— В четыреста восьмой. Я прошу вас, гражданин майор, куда угодно, но только не...

— Я вам сказал, Тихомиров, вы будете в той камере, в которую вас поместят. Вы были вместе с Бедаевым?

— С Бе... Нет, там не было такого.

— Вы его не знаете, не слышали о нем?

— Нет, гражданин майор, не знаю.

— Хорошо. Что случилось сегодня в камере?

— Я лежал наверху, пытался заснуть, мне было душно, тяжело, потом заснул, а... проснулся от того, что... Засунули в пальцы бумагу и... подожгли...

— Кто?.. Кто это сделал?

— Я не видел, гражданин майор... Я никого там не знаю.

— Кого избили в камере? Кто избил?

— Я никого не знаю, ни одной фамилии.

— А если я вам покажу, узнаете?

— Боюсь, что нет, я.. там так много народу...

— Вам предъявлено обвинение в тяжелом государственном преступлении. Или вы считаете, что с вами будут нянчиться?

— Я понимаю, гражданин майор.

— Что вы понимаете?.. Тут вам комфорту недостаточно, там люди не нравятся... Прикажете оборудовать специальную камеру и подобрать людей?

— Я понимаю, гражданин майор, я прошу вас, я обещаю...

— Ладно, Тихомиров, мне с тобой надоело разговаривать. Пойдешь на спец, в... двести шестидесятую. Не знаешь Бедарева?

— Не знаю.

— Узнаешь. Буду вызывать раз в неделю. Все его разговоры запомнишь, когда уходит на вызов, когда возвращается — записывай. Понял?.. Смотри у меня, если что не так — будет тебе камера, вспомнишь откуда ушел. Понятно?

- Да, гражданин майор.
- Значит, ты меня в первый раз видишь?
- В первый, гражданин майор.
- Хорошо было на больничке?
- Хорошо, гражданин майор.
- И на спецу будет не хуже.
- Спасибо, гражданин майор...

6

— Серый, а, Серый — не спишь?

Поворачиваюсь. Круглолицый, тот что лежит рядом с Гариком, все называют его Наумычем, только по отчеству: лет под сорок, зам директора фабрики вторсырья, статья хозяйственная, взятка, еще не понял за что такая честь, почему не в нашей семье, а на воровском месте; не похож на еврея: светлый, курносый, круглолицый. Был разговор о его национальности, смеются: «Не поверил, что еврей? Во какие бывают!..» — Это Костя, вроде, похвастался. Сейчас Наумыч перегнулся через грузина, тот спит на спине, накрыл лицо полотенцем; дело к двенадцати, отошла проверка, подогрев, а мало кто спит, да и не собираются: за дубком играют, шумят, наверху совсем трудно понять что происходит, возле сортира толкотня...

— У меня к тебе деликатное дело,— говорит Наумыч,— Гарик попросил узнать...

Гарика я, все-таки, подкараулил, часа через полтора, гляжу, возвращается с вызова, идет быстро, видно всегда так ходит, напористо, лицо напряженное, а как поровнялся с моей шконкой — отвернулся. Что тут поймешь?

— ...У него суд в понедельник,— говорит Наумыч.

— Я знаю.

— Спроси, говорит, у Серого, он писатель.. Не напишешь ему последнее слово?

Вот оно, думаю, как...

— Не знаю ни его, ни его дела... Как написать?

— Расскажет, объебон считаешь.

— Если бы хотя неделю с ним пожить, поговорить, понять... Тут дело нешуточное, надо врубиться в человека...

— У нас тут один... Верещагин... — Наумыч кивает на верхнюю шконку, а я уже давно обратил внимание: сидит с краю, глядит на камеру.— Я говорит, художник,

член МОСХа, а попросили нарисовать голую бабу для календаря — не может. Видишь как...

Вон какие заходы, думаю...

— Ты скажи, Гарику,— говорю,— пусть напишет, как сумеет, а я отредактирую.

— Верно,— говорит Наумыч,— по делу. Завтра суббота, сварганите. Спи, Серый, привыкай...

Многовато для меня да и напридумывал нивесть что — не могу заснуть, гудит внутри, перепуталось — что было, с тем, чего не было, но ведь могло... Бесконечный день! Проснулся рядом с Борей... Какими счастливыми кажутся теперь дни, месяцы в той, моей камере, что мне до того кто такой Боря, его проблемы... Письмо из дома!.. Почему-то верю, что оно есть... Как было хорошо! Привычная, размеренная жизнь: Серега, Пахом, Гриша... Разом сломалось: рыжий старшина, лестницы-переходы... Жуткая камера! Разговоры, разговоры, разговоры... Вот она — тюрьма! Не дает покоя странный вызов — куда таскали моего благодетеля?.. «Огненного искушения...» — вспоминаю я.

Рядом со мной худенький паренек, а пригляделся — взрослый мужик: спокойный, улыбается...

— Не спишь? — спрашиваю.

— Днем отоспался. Пойду к ребятам...

— Погоди,— говорю,— кто этот дед с бородой?

— Чудак один. Художник... Вчера едва не придавили.

— За что?

— Полез не в свое дело. Хата непростая. Мой тебе совет — не лезь в чужие дела.

— Зачем мне, я и понять ничего не могу.

— Что понимать — дали место, сопи себе. Я бы тут весь срок... Ларек, дачки, тепло, спи да ешь...

— А тебе долго?

— До лета подержусь. Полгода уже.

— А много светит?

— Лет двенадцать.

— Не лишнего просишь?

— Меньше не дадут. Сто вторая. С особой дерзостью.

Быть того не может, не похож!

— Как же так? — спрашиваю.

— Молча. Что теперь про это, будешь думать — лбом об стенку. Та жизнь кончилась, теперь другая.

— Тебя как зовут?

— Иван.

— Расскажи, Ваня, я не из любопытства. Лежим рядом, может, и мне до лета.

— Здесь много с такой статьей. С другой стороны, рядом с Наумычем — Гурам. Аккуратней с ним... Кулаком в ресторане. Насмерть. За русскую официантку заступился — арабы, говорит, разгулялись. Лапшу вешает, но точно — сто вторая.

— А у тебя что?

— А у меня и того проще. Из Перова я. Коллектором работал с геологами: летом в поле, зимой гуляю. Пили два дня, а утром встали — Валерка унес пиво, поганец, запаслись с вечера, как люди, а он встал пораньше — и унес. Денег нет, трясет. Нашли бабу, похмелились. Еще одного встретили, приняли на грудь... Надо Валерку искать — так не положено, пили вместе, а он... Пошли к нему. Осень, тепло. Поднимаемся на двенадцатый этаж, звоним. Открывает мать. Давай, мол, Валерку. Выходит: чего, говорит, надо. Давай сюда. Вышел, а что с ним делать — бить, что ли? Скучно. Подошли к окну — открыто, ветерок. Подняли его, в окно — и отпустили. Я только тогда сообразил, когда в руках пусто...

— Ты что, Ваня?

— Лежи, Серый, спи, зачем про это? Надо было за ним. А нет — живи здесь. Другой жизни не будет.

Гарик подошел ко мне на другой день, я уже пригладелся: утром толкотня возле сортира-умывальника, неразбериха с завтраком, удивительно, как всем досталась пайка, сахар, миска баланды — вот где работа у шныря, крутись! Наша семья сидит на шконке у Султана: завернули матрас, шленки на железо, хлебаем; «аристократы» за дубком, «комиссар» поглядывает на них, морщится, завидует, туда ему, коммуняке, охота... Поверка: наверху сидят, свесили ноги, внизу стоят, каждый у своей шконки, корпусной считает, сбивается, начинает снова: «Нажрался, козел, глянь на его морду, налил глаза, считать не может...»

— Ну что, Серый, Наумыч передавал мою просьбу? — Гарик глядит на меня с усмешкой.

— А ты уже написал? — спрашиваю.

— Чего написал?

— Мы с ним говорили: ты напишешь, а я отредактирую.

— Если б я мог написать, ты мне зачем? В том и дело...

— Я тебя знать-не знаю? Ни тебя, ни твоих под-вигов.

— Давай поговорим, время есть...

Сидим на его шконке. Одноэтажная, спиной к ка-мере, здесь прохладней, воздух ползет вниз по черной стене в корявой «шубе», за решку привязаны мешки с продуктами, у каждой семьи свой мешок, за спиной грохот, крики, пытаюсь сосредоточиться, услышать...

— Мне бы для начала прочитать обвинительное,— говорю.

— Мозги пачкать,— говорит Гарик,— ни одного сло-ва правды, да и нет у меня, отдал адвокату. Ты лучше слушай...

Плутовской роман: грабеж в Иркутске, драка в поезде, три квартиры в Красноярске, генеральша в Свердловске: обчистил ее квартиру, а она за ним в Москву, и у ее подруги...

— Слушай, Гарик, тут не последнее слово — роман писать?

— Первая серия,— говорит Гарик,— там еще много чего.

— Так ты из Иркутска?

— Тебе не нужно, ты дело слушай...

А... в генеральше загвоздка, она его сдала, прирев-новала к подруге: роман о глупой генеральше, зачем ей, дурехе, ревновать, он и подругину квартиру взял...

— Ты во всем этом признался? — спрашиваю.

— А что признаваться,— смеется Гарик,— им все известно! Не все, на чем поймали. Мокрухи нет, тяже-лое телесное — сто восьмая, сто сорок шестая, сто со-рок пятая, двести шестая...

— Что же ты хочешь сказать в последнем слове?

— Чтоб заплакали: такой молодой, столько мог сделать полезного, а жизнь поломал — себе и людям, столько принес несчастий, год каялся, десять лет буду каяться, трудом искуплю, любая работа, любой приго-вор, чем больше, чем лучше, а лучше поменьше, моло-дая жизнь, все впереди...

— Постой, а то я заплачу.

— Давай, Серый, оформи, чтоб как песня...

Гляжу на него: незаурядный человек, в чем его си-ла? На вид хрупкий, а что-то звенит, сдержанная си-ла, как пружина, потому и камеру держит, смелость —

вот в чем дело, бесстрашие, готов до конца, ничего, никого не боится...

— Бумага тебе нужна, ручка?

— Бумага у меня есть,— говорю,— где бы сесть?

— На моей шконке... Камера!..— голос у Гарика негромкий, а сразу тишина.— Чтоб тихо было... Толик, придави соловья!.. Давай, Серый, у меня свои дела...

Не гляжу на камеру, а понимаю — с меня глаз не спускают. Ну, Вадим, как ты тут себя окажешь?.. Надо бы с ним побольше, поближе — кто он такой, не от себя писать, от него, а что я про него знаю, сколько правды в том, что рассказал, только что известно следователю, на чем попался, а там еще... Соблюдать правила игры, больше ему не надо, сейчас не надо, но ведь когда-то поймет... Сейчас не захочет услышать, ему бы только выскочить... Нет, трезвый человек, знает, выскочить не удастся, получить поменьше, надо десять лет, меньше не дадут... Десять лет, думаю, какой в этом юридический, правоохранный смысл, что с ним станёт эти годы, это пока в нем бурлит жизнь, сила, веселая энергия... А что еще, что главное, в таком человеке — привязанности, раскаяние, о чем-то сожаление? Что будет через десять лет, во что они его превратят, а ведь он не сдастся, будет бороться до конца — за что бороться, чтоб себя сохранить или — выскочить, а для того все средства хороши, любой ценой... Усвоит правила игры, он их уже принял, убежден, что выиграет, всегда выигрывал, не понимает, что изначально проиграл, что в этой игре выигрыша быть не может, только поражение, ему не объяснишь, не поймет, пока еще мало, вот когда сломают, а сейчас ему нужно только одно... Что ж, тогда те самые слова, спасибо полковнику, подсказал, мне бы не вспомнить, полковнику они не нужны, он жить не хочет, а этот готов на все, на любую ложь, в игре и не может быть правды... Значит, через меня эта ложь и двинется, но я всего лишь адвокат и у меня позиция моего клиента, я должен ему помочь — десять лет чудовищно, но двенадцать — это конец...

«У меня было время, чтобы понять, что произошло со мной. Спасибо тюрьме!..— я пишу быстро, уже не думая.— Год в тюремной камере — это не мало. Год — один на один со своей жизнью, со своей совестью. Триста шестьдесят дней и ночей я вспоминал и казнил себя, каждый день моей жизни стоял перед моими глазами,

они и сейчас передо мной... Граждане судьи, весь этот год — в тесноте, в шуме и смраде я думал о своей жизни, я судил себя строго и беспощадно. Мне нет оправдания, граждане судьи, теперь я знаю, как прав был писатель, сказавший слова, которые горят в моем сердце: надо жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, а я прожил свою жизнь без цели и смысла, приносил людям горе и страдания. Надо жить так, чтоб не жег позором стыд за содеянное, а мне горько и страшно вспоминать, что я наделал, что натворил, сколько слез пролито из-за меня. Я вспоминаю хороших честных трудовых людей, через их беду и несчастье я так легко перешагивал, они стоят передо мной: они трудились, а я воровал, они были бескорыстны и самоотверженны, а я, а я... Мне нет оправдания, граждане судьи! Этот год, граждане судьи, триста шестьдесят дней и ночей были самыми важными в моей жизни, у меня было время и я его не потерял даром... Моя последняя история в Москве, постыдное преступление, страдания, которые я принес доброй женщине, так хорошо меня встретившей и пригревшей, сколько слез она пролила!... Ваш приговор, граждане судьи, будет справедлив, я прошу вас только о справедливости. Ваш приговор будет строг, я заслужил любую строгость. Я прошу вас учесть, граждане судьи, что у меня никогда не было дома, я вырос без отца, без матери, у меня не было любви, семьи, детей, но... Я молод, у меня много сил и я отдам их все до конца, до последней капли, чтобы искупить вину перед Отечеством, перед теми, кто страдал из-за меня, перед вами, граждане судьи. Я убежден, у меня хватит сил начать новую жизнь, она началась для меня в тот час, когда за мной впервые закрылась тюремная дверь, но когда она передо мной через долгие годы откроется — поверьте, в нее выйдет другой человек. Эти страшные дни и ночи на тюремной шконке — целый год! — перевернули мое сознание, сотрясли меня, мне больно, страшно и стыдно за мою прежнюю жизнь и я заранее благодарю вас за ваш справедливый приговор...»

— Дашь сигаретку, Гарик?

— А как же, покурим... Пишешь?

— Да я уже написал.

— Ну да?.. Давай почитаем.

— Мой почерк не для чтения.

— Я — любой прочту... Да... Для ГБ выработывал?

— Для них.. Вслух прочту.

— Наумыч, иди сюда.— говорит Гарик.— Наумыч у нас голова, все сечет...

Читаю с выражением, даже в глазах защипало...

— Сила,— говорит Гарик.— Как это у тебя получилось?.. Писатель! И Островский в самую точку...

— Молоток,— говорит Наумыч,— не зря жуешь хлеб... Надо бы еще попросить расстрела...

— Хотел, кабы для себя — обязательно, а тут испугался, Гарика пожалел.

— Может попросить? — говорит Гарик.— По моим статьям нет расстрела, чего бояться?

— Перебор, обозлятся...

Самое смешное, что я доволен, радуюсь, меня распирает — вон оно тщеславие, на чем только не ловят нашего брата, на любом червячке — клюнем, сглотнем!.. Лежу на шконке, теперь законно, заработал, вспоминаю свои трескучие фразы, дешевую риторику, успех у Гарика... Наумыч поумней, поморщился — расстреляйте меня!.. Стыдно? Стыдно, конечно... А для себя написал бы?.. Странно, мне никогда не приходило в голову, что суд неизбежен — адвокат, конвой, последнее слово... Тоже Островский?..

Напротив, на верхней шконке — Верещагин: голова набочок, борода, чертит и чертит на листочке... Есть над чем подумать: он не захотел нарисовать им голую бабу, отказался, а я... Что ж, Островский — не голая баба? Эх, Вадик, Вадик... Какой я Вадик — Серый!..

Потянуло дымком. Возле окна, над шконкой Гарика торчит голова моего приятеля-шныря, дым валит в окно, оборачиваюсь на дверь: перед волчком встал лохматый Толик, загородил...

— Серый, давай к нам!...— это Наумыч.

Подхожу.

Гарик сидит на шконке, поджал ноги по-турецки, рядом грузин, Костя, Сева; Наумыч на своей. Шнырь ставит на шконку закопченную железную кружку.

— Начинай, Серый... — говорит Гарик.

Нельзя пить, вспоминаю я наставления, пока не будет своего... Им нельзя, а мне можно, гонорар, я человек профессиональный, заработал — пью.

Почти три месяца не пробовал чая, а такого никогда не пил: горячий, черный, густой...

— По два глотка,— говорит Наумыч,— передай дальше...

Заработал, думаю я, что же я заработал, у кого?..

— Как без меня жить будете, мужики? — говорит Гарик.

— Может, вернешься, — говорит Костя, — проси переводчика?

— Надоело, обдует ветерком, а там... — Гарик пьет чай.

— Надо решать... — говорит грузин, при мне он упорно молчит, мы сидим рядом, он отпил из кружки, мне не передает. — Ты уйдешь, а мы останемся...

— Решайте, — говорит Гарик, — насиделись на моей шее.

— Я решил, — грузин передает кружку мимо меня Севе, — как я скажу, так и...

— Пока я говорю, — Гарик забрал кружку у Севы, тот только поднес ко рту, дает мне. — Пей, Серый.

— Ты уйдешь, — продолжает грузин, — на меня повесят. Надо его придавить...

— Торопись, Гурам, — Гарик говорит спокойно, вот, наверно, в чем его сила... — много разговариваешь...

Надо смываться, думаю я, залетел не в тот вагон.

— Пойду спать, — говорю, — благодарю за чай-сахар.

— Иди-иди, Серый, отсыпайся, поговорим, время есть... — Гарик улыбается.

Следующий день был воскресенье, впереди Страстная неделя. Как в тюрьме говеть, был бы Серега, поговорили...

Встал до шести, сделал у решки зарядку, умылся до пояса, камера ночью гудела, теперь спят — как хорошо! Вытащил из мешка подарок Сереги — Правило... Если читать три раза в день, через неделю, пусть через две-три, буду знать наизусть, не страшно, когда отмотут... Как вы у меня мое возьмете!

Наша семья за завтраком в полном составе, главный инженер ПМК, Василий Трофимыч с нами, в субботу-воскресенье он свободен от процесса; ему за пятьдесят, уставший, в прошлом явно пьющий, неразговорчивый, мрачноватый. «Комиссар» меня сторонится, полковник помалкивает, Султан завел разговор об амнистии, Василий Трофимыч оборвал:

— Посидел бы в суде, посмотрел. Амнистия. Сто лет не будет.

— Сорок лет Победы! — горячится Султан. — Зачем говоришь, не знаешь, я воевал, депутат, у меня ордена...

— У тебя статья от восьми до зеленки,— говорит Василий Трофимыч,— ордена ишачкам повесят. Кто угостит табачком?

Мебельщик отсыпал на газетку, Василий Трофимыч скрутил и отошел... И у него, значит, внизу шконка...

Подхожу к нему.

— Не возражаете, присяду?

— Садись.

— Неужто два месяца в суде?

— Еще, говорят, четыре.

— Почему так долго?

— Нас тридцать человек, никто не торопится.

— Вы встречаетесь с адвокатом? — спрашиваю.

— Каждый день.

— Хороший человек?

— Я с ним три года. Знаю.

— Можно попросить его позвонить мне домой?

Глядит на меня: глаза у него тяжелые, больные.

— Не подумайте чего,— просто сказать: жив-здоров, перевели в общую камеру...

— Передам.

Достаю из-за пазухи пачку «дымка», Борин подарок, хранил до Пасхи, на Страстной курить не буду, если говеть, то...

— Это у вас откуда? — спрашивает Василий Трофимыч.

— Дружок подарил, когда уводили со спеца.

— А он где взял?

— Заначка, НЗ...

— Я второй раз в тюрьме,— медленно говорит Василий Трофимыч.— Первый — три года назад, в Бутырке. Отсидел полгода, а санкцию им больше не дали. Редкий случай, можно сказать, уникальный, что-то не сконтачило. Короче, выпустили... Успел похоронить жену — и обратно, сюда. Я к тому, что понимаю кой-что про тюрьму. «Дымок» — кумовские сигареты. Для нас нет в тюрьме.

— А может, вертухай подогнал?

— Как это вертухай подгонит — за красивые глаза?.. Эх, Вадим, мало ты еще каши съел. Три месяца сидишь?

— У него на больничке связи,— говорю,— амуры...

— Мое дело предупредить,— говорит Василий Трофимыч.— Я парочку возьму, не откажусь, а ты спрячь,

никому не показывай, не поймут... Адвокату скажу, я тебе верю...

Кое-что, мне кажется, я начинаю понимать про ка-меру... На ужин давали лапшу, на спецу бывала раза два в месяц, хорошая пища, если в нее еще масло, а если растопить сало... Первым делом шнырь загрузил дубок: во главе стола Гарик, рядом Гурам, Наумыч... Гурам пошептался со шнырем, тот кидает им шленку за шленкой — полный стол... Масла у нас нет, ладно — лапша и без масла хороша... Запахло горелым салом, чад, у решки дым, как в шашлычной, Гурам бегаёт от решки к дубку...

— Ничего нет выше принципов социальной справедливости,— говорит комиссар и смотрит на меня,— и нет ничего отвратительней, когда они нагло нарушаются.

— Социальная справедливость с неба не свалится, за нее следует сражаться,— говорит Василий Трофимыч.

— Нет, позвольте,— говорит комиссар,— закон ставит нас всех в равное положение...

— Вы в каких распределителях получали пайку?..— спрашивает Василий Трофимыч.— Или в очередях, по магазинам?.. Вам и аукнулась ваша социальная справедливость...

Камера гудит необычно, не могу врубиться...

— Заткни ему хайло, суке!.. — Гурам стоит возле дубка, рожа у него страховидная, обезьянья.

Чей-то фальцет:

— Совсем обезумели — супермены, скоты!.. Скоро пайку будут забирать!

— Верещагин,— говорит мебельщик,— будет потеха...

— В чем дело, шнырь? — спрашивает Гарик — и сразу тишина.

— Лапши не хватило,— говорит шнырь,— кто-то закосил.

— Как «кто-то»? А ты на что?.. Почему на дубке столько шленок?.. Гурам, тащи сюда сало...

Гурам приносит миску с кипящим салом.

— Разливай по шленкам... — Гарик вылезает из-за дубка.— Все, все выливай... Верещагин, ты кричал? Тебе не хватило?

Седая бородка у дубка: рубаха разорвана, лицо красное, перекошенное...

— Последнее дело, Гарик, когда последнее забирают — и на дубок, наведи порядок, а то...

— Что «а то», Верещагин? Бери лапшу. Вон ту, с салом.

— Мне ваше — не надо. Людям отдайте.

— Шнырь, кому не хватило? Сколько? — спрашивает Гарик.

— Десять шленок, — говорит шнырь.

— Забирай десять.

Гарик повернулся и пошел к своей шконке. Гурам еще стоит у дубка, глаза налиты кровью — со звоном бросает ложку об пол... За дубком никого.

— Вот вам урок политэкономии, — говорит Василий Трофимыч. — Предметный. Сказать честно, с вами не только разговаривать, и есть противно. Хорошо, я каждый день в суде...

В понедельник утром Гарик ушел в суд, вернулся перед подогревом и как только дверь за ним грохнула, крикнул:

— Все нормально, мужики, завтра приговор!..

Я лежал на шконке, он забрался ко мне.

— Давай пять, Серый, прочитал нашу речь — я знаешь как читаю! В зале захлюпали. Адвокат говорит: «Виктория!» Понял? Что доктор прописал... Прокурор запросил двенадцать.

— Ты что?..

— Договорено, будет десять, адвокат божится...

После подогрева Наумыч толкнул меня в бок:

— Гарик зовет...

Подхожу. Сидит один, мешок увязан, грустный...

— Собрался?

— Все, год прожил, считай, целая жизнь... Жалко, мы с тобой мало, а я бы хотел, не все про тебя понял.

— И мне жалко, хотел бы от тебя узнать побольше.

— Жалко-не жалко, — говорит Гарик, — все равно уходить. Я не боюсь зоны... Неужто обманут?

Пожимаю плечами.

— А десять лет... Через пять уйду, может раньше, год отсидел, четыре до полсрока... Видал, как я держу хату? Я и там сумею, надену повязку, все будет в ажуре.

— А не боишься?

— Чего мне бояться, кого?

— С ними лучше не играть, опасно, для них игра беспроигрышная, переиграют.

— Меня?.. Нет, Серый, меня никто не переигрывал.
— Тут другая игра,— говорю,— срок ты, может, и выиграешь, душу бы не потерять. В такой игре — душа ставка.

— Кто ставит?

— Те, кто заказывает музыку. И те, кто пляшет.

— Ты это серьезно? — Гарик сощурил глаза.

— Я так думаю, и стараюсь так жить. Не всегда получается, но... стараюсь. Я не могу с ними, всякий разговор — участие в игре. В их игре. А им только зацепить, возможности большие. Их вон сколько, а ты один.

— Ты всерьез, Серый, или шутишь, я тебя не пойму...

— А что тут понимать, Гарик? Мы с тобой друг друга поняли, верно? Ты наденешь повязку и будешь набирать очки — но ведь за чей-то счет, даром тебе ничего не дадут...

— Вон ты о чем... — говорит Гарик.— Ну... тогда я тебе все скажу. Откроем карты. Не боишься?

— А что мне бояться, я не играю.

— Ты знаешь, куда меня вызывали второй раз?.. В тот день, как ты пришел? В первый раз к адвокату, а второй...

— Не знаю,— говорю,— догадываюсь.

— Верно догадываешься, адвокату в тюрьме нечего было делать, мы с ним кончили. Приводят к куму... Не к тому, у которого я каждый месяц, я давно старший в хате, как что — вызывает: у кого ножи, иголки, кто гоняет коней, кричит с решки, варит чай... Жизнь идет. Они и без меня знают, тут в хате... Все схвачено, перепутано — для... контроля. Приходится, другой раз, и ножи отдавать, и иголки, у нас все есть — один нож отдашь, а два спрячешь. Им, на самом деле, ничего не надо, был бы порядок, а за порядок я отвечаю. Свои дела мы сами решаем. У нас пресс-хата — не понял?

— Нет,— говорю,— а это что?

— Желтенький ты, Серый, не сечешь. Надо, к примеру, такого как ты, научить, если у тебя шариков не хватает?

— Видишь, как я угадал, это и есть игра, для них беспроигрышная.

— Погоди, пока я не в обиде, ни разу не обременился... Короче, приводят к куму. Главный кум, майор, я его ни разу не видал, нас пасет подкумок, старлей...

— Черный такой? — спрашиваю.

— Майор?.. Черный, мордатый... А ты у него был?

— Нет, мне рассказывали. Руки волосатые?

— Руки?.. И руки волосатые, черные...

— Вон как я угадал! — мне стало весело.

— Чудик ты, Серый, жалко уходить, мы бы поговорили... Черный, волосатый, руки... К вам, говорит, привели Полухина? Привели. Ну и что? — спрашивает. А ничего, говорю, устроили хорошо, на нижней шконке, поближе к окну, в семью к хозяйственникам... Зачем, говорит, ты это сделал? А как же, по каторжанскому закону: в тюрьме третий месяц, статья серьезная, не мальчик... Дурак ты, говорит кум, кто тебя просил? Устрой ему для начала уютную жизнь...

У меня внутри захолонуло, и такая жалкая мыслишка: может, заботятся?

— Это как понять? — спрашиваю.

— Верно! И я его: как, мол, понять, хотя понял сразу, но тут нельзя ошибиться. Учить тебя, что ли, говорит кум, велосипед для начала, еще чего, не маленький, сообразишь, чтоб ему небо в овчинку...

— Ну и что ты решил? — спрашиваю.

— А как мне быть, Серый, — говорит Гарик, — ты сам подумай?.. Я тут год, все тип-топ, на зону пойдет характеристика, для начала — считай полдела, обещали — кум напишет! Десять, двенадцать лет, жить-то надо, а тут приказ главного кума...

— Не знаю, Гарик, я тут при чем, твои проблемы.

— Я тебе все карты, а думать за меня не хочешь?

— Мы по-разному думаем, — говорю, — и положение у нас, согласишься, разное.

— Это ты зря, я с тобой, как зэк с зэком... Наумыч, двигай сюда... — говорит Гарик. — От него нет секретов, он в курсе, с завтрашнего дня за старшего в хате.

— Наумыч?

— Надо кой-кого держать в руках, наломает дров, а кроме Наумыча некому... Я с ним о куме.

— Понял, — говорит Наумыч.

— Короче так, Серый, — говорит Гарик, — пиши завтра бумагу на имя кума: прошу о встрече. На поверке отдашь. Он сразу вызовет, тянуть не будет, а ты руби: жить в камере невозможно, народ отпетый, вали на меня — пугает, давит, бьет, что хочешь, чем страшней, тем лучше. Переводите в любую другую хату.

— Ты что, Гарик, я не хочу в другую?..

— Чудак! — смеется Гарик, — никуда они тебя не переведут, ты тут присох, им надо галочку поставить — им приказали, они дают, а там как хотите, у них своя игра...

— Я с ними не играю, а доносов ни на кого не писал.

— Что с ним делать, Наумыч! — Гарик злится. — Ты пойми, мне твой донос, как медаль в характеристику...

Может, они и об этом договорились, думаю, по тюрьме параша — Полухин стучит куму!..

— Нет, ребята, — говорю, — у меня другие правила, я с ними ни о чем не говорю — не могу... Решайте сами, жалко, конечно, я бы тут у вас пожил...

— Он не напишет, — говорит Наумыч, — не видишь его?

— Вот гад, — говорит Гарик, — если б кум меня утром дернул, до того, как я с тобой снюхался...

— А говоришь, Бога нет... — не могу не улыбаться, только на сборке мне было так хорошо!.. — Есть Бог, Гарик, в том и дело, не в куме, не в том, когда он тебя вызвал...

— Силен... но я, вроде, про Бога ничего не говорил? Бог тебе химичит?.. Хорошо тебе, а мне как? Вы тут останетесь, а мне на суд, на зону...

— Давай так, Гарик, — говорю, — я напишу завтра заявление врачу: мне душно, у меня астма, на спецу врач давал лекарства, у вас врач другой, пусть вызовет...

— Хрен с ним, с кумом, — говорит Гарик, — пиши, что хочешь.

— А может, отложат суд, вернешься?

— Едва ли, хотя жалко, я б с тобой поговорил, за тобой, вон какая сила... Перекурим это дело...

Достает пачку «дымка».

— Откуда у тебя? — спрашиваю.

— Кум дал. Любимые ихние сигареты. Кури...

— Благодарю, я завязал до Пасхи, у меня свои проблемы...

7

В ночь на Страстной Вторник в первый раз в тюрьме посетила меня бессонница. Я не слышал камеры, ничего не видел. Я другое узнал. Будто снова разорвалась завеса... Господи, шептал я, прости и помилуй

меня грешного. Воспомани, окаянный человеке, како лжам, клеветам, разбою, немощем, лютым зверем, грехов ради порабощен еси: душе моя грешная, того ли восхотела еси?..

Завтра на утренней службе читают... Как мало я знаю, как ужасно, бессмысленно, пошло прожил жизнь, но что-то запало, всплывает в памяти... Блудника и разбойника кающихся приял еси, Спасе... — шепчу и шепчу я.— Аз же един леностию греховною отягчихся и злым делом поработихся: душе моя грешная, сего ли восхотела еси?..

Во Вторник это и произошло, думаю я. Иуда разумом сребролюбствует... — вспоминаю я, и меня охватывает иной — священный ужас: разумом! Отпадает от Света, принимает тьму, соглашается с... ценой, продает Бесценного — и его ждет возмездие, оно неотвратимо: за предательство, лютая смерть... Избави нас, Господи, от такого,— шепчу я,— верою празднуем пречистые Твои страсти... Вот уже две тысячи лет, думаю я, в этот день, в эту ночь корысть губит Иуду, он принимает тьму, отпадает от Света, соглашается с ценой предательства — и его настигает возмездие... Избави меня, Господи, от такого, благодарю Тебя, Господи, Ты еще раз показал мне — в простом чуде, только что произошедшем со мной... Вон, лежит через шконку, несчастный, заблудший, погибающий человек... Что стоило вызвать его утром, до того, как рыжий старшина привел меня в эту камеру... Нет случая, думаю я, не может быть случайности, потому что и здесь, в смраде, все пронизано Твоим Светом... И мне кажется, я слышу сквозь мерзкий визг неусыпающей камеры, сквозь толщину осклизлых тюремных стен — шепот сестренки, голос Мити, племянника — я до сих пор не знаю его имени! — но и он лепечет, мальчик, родившийся в тот день и в тот час, когда меня уводили... Это они молятся обо мне, это их молитва услышана Тобой!.. Господи... — слышу я, и сквозь слезы, которые не хочу вытирать, узнаю шепот Нины: «Помилуй его, в узах сушаго, не дай отпасть от Света Твоего, Господи, не дай тьме безжалостной и мерзкой поглотить его, да не поддастся он никакому соблазну и искушению бесовскому, прости его, Господи, и помилуй за все прегрешения перед Тобой, как я простила его, Господи...»

— Господи Иисусе Христе, Боже наш,— шепчу я,— святого Апостола Твоего Петра от уз и темницы без

всякого вреда свободивый, прими, смиренно молим. Ты ся, моление сие милостивно во оставление грехов рабов твоих,— сколько их вокруг меня, шестьдесят, больше? — в темницу всажженных и молитвами того, яко Человеколюбец, всесильною Твоею десницею от всякого злаго обстояния избави и на свободу изведи...

8

Я все глубже вползаю в жизнь камеры, постепенно она перестает быть многоголовым чудовищем с сотнями ног и рук, бессмысленно рыкающим и смердящим, одно за другим выплывают лица, глаза, чудовище разваливается... Камера неуловимо изменилась за неделю... Неужто неделя — не месяц, не год?.. Пятница, думаю я, в пятницу меня и привели...

Гарик ушел во Вторник. Три дня, четвертый, за эти дни камера и изменилась...

Гарик ушел до подъема, вся камера стояла:

— Гарик! Гарик! Гарик!!

Мешок за ним нес Костя, Гарик проталкивался через толпу, со всех сторон тянулись руки...

— Гарик, Гарик, Гарик!!!

Он миновал дубок, но вдруг повернулся, пролез ко мне.

— Разбудили, Серый?..— глаза блестели, он был напряжен, звонок.— Здоров спать, с нервами в норме..

— Счастливо, Гарик, храни тебя Господь.

Он смолчал, порылся в кармане телогрейки и вытащил пачку «столичных», таких я давно не видел.

— Держи, пока будешь курить, не забудешь.

— Откуда? — не удержался я.

Он засмеялся:

— Будь спокоен, адвокатские. Не отравишься!

— Спасибо, Гарик,— сказал я,— я тебя не забуду. Нас не сигареты, другое связало.

Он хотел что-то сказать, махнул рукой и начал проталкиваться к двери. Я посмотрел наверх: Верещагин стоял на шконке, расставив ноги в рваных тренировочных штанах, на лице застыла странная улыбка...

— Не понять, за что тебя посадили, Серый,— говорит Сева.— Церкви у нас открыты, или ты... У меня был дружок, в институте, каждое лето ходили на байдарках, в Карелии, привозил иконы, там много, деревни брошены, заходи в любой дом... Толкал иностранцам, ди-

пломатам. Вломили срок. Сним понятно, а у тебя что?

Они сидят на моей шконке — Сева и Костя, отзавтракали, Василий Трофимыч ушел в суд, мои родственники меня сторонятся, вся камера знает о моих отношениях с Гариком, что-то для них это значит, понять не могу — что? Сева и Костя без Гарика стали свободней, казались молчунами, а тут завели разговор...

— Иконами я не торговал,— говорю.— Как бы тебе объяснить?.. Ты не ходил на Пасху в церковь?

— Нет,— говорит Сева,— бабка ходила. Родители — дипломаты, дома редко, больше за границей, а когда приезжают и у них гости, закрывают бабку в комнате, у нее иконы, лампада... Стесняются или боятся... Хотя чего тут?

— Боятся, им загранку закроют,— говорит Костя.

— Могут. Но в тюрьму за это не сажают?.. — у Сева лицо интеллигентное, а казался простачком.

— В тюрьму не сажают,— говорю,— да и родители зря боятся, можно предъявить бабку иностранцам — для колорита, они это любят. И политически правильно: у нас, мол, свобода совести, хочешь верь, хочешь — не верь.

— За что ж тебя, если свобода — говорить боишься?

— Я на спецу боялся, не хотел на общак. А дальше общака — куда?

— Хаты и на общеке разные,— говорит Костя,— но если ты у нас прижился, нигде не пропадешь.

— А что такого,— Сева не отстаёт,— я могу про себя рассказать кому хочешь, если охота.

— В том и дело,— говорю,— держать дома иконы, зажигать лампадку — пожалуйста, если соседи или родственники не возражают, а когда начнешь объяснять про веру — считается религиозная пропаганда, за это статья.

— Так тебя за пропаганду?

— Не совсем, тут еще хитрей. Ты, к примеру, будешь ходить к бабке, читать Библию, учить молитвы, начитаешься и станешь объяснять еще кому-то, а если умеешь писать, напишешь — статью или книгу, это считается пропагандой, могут посадить. Бабка промолчит, она божья старушка, детям боится перечить, на Пасху красит яйца, ходит в церковь, ставит за тебя свечи — никто ей слова не скажет. Но ты-то сидишь за веру, за то, что говорил о Христе? Я, скажем, не выдержу — и напишу: моего друга, верующего человека, посадили за

то, что он верил в Бога и соблюдал заповеди! А нам сказано: нет больше той любви, как если положить душу за друзей своих... Меня тоже посадят. Но уже по другой статье — за клевету на советский государственный и общественный строй: у нас нет гонений за веру — в газетах пишут, в Конституции сказано...

— Так у нас нет гонений или есть? — спрашивает Костя.

— Если посадили за веру — есть или нет?.. Сидят люди.

— Какая же клевета, когда правда? — говорит Костя.

— Старая история,— говорю,— и Христа распяли не за то, что Он был Богом, обвинили в политическом преступлении, в подрыве власти. Прошло две тысячи лет, ничего не изменилось.

— Как же не изменилось,— говорит Сева,— не знаю, что две тысячи назад, но сто лет назад у нас и царь был верующий, в тюрьму за веру не сажали... Или было?

— Верно,— говорю,— такого не было и быть не могло. Особенно, если тебе достаточно красить яйца и ни во что не вмешиваться. Но когда ты так любишь Бога, что не можешь пройти мимо несправедливости, готов умереть за своих друзей, ради Христа, тебя обязательно обвинят в политическом преступлении. А рецепт всегда один, при любом режиме — ложь.

— Ну а тебя за что,— не отстаёт Сева,— за пропаганду, кого защитил или ты... Бога любишь?

— Я написал книгу о человеке, который поверил в Бога, начал ходить в церковь, хотел жить по вере... — короче, как бывает в природе...

— А что с ним было?

— То же, что со мной — посадили.

— Силен,— говорит Сева,— выходит, сам себя посадил?

— Выходит, так.

— А чем кончилось,— спрашивает Костя,— освободили?

— Я не дописал, это вторая часть. Если выйду.

— Напиши про нас, Серый,— говорит Костя,— опиши нашу камеру и все, что тут...

— Про это написано много книг.

— Про нас не написано,— говорит Сева,— то давным-давно, а про нас...

— Знаю те книги,— говорит Костя,— я за них сел. У меня сто пятьдесят четвертая — спекуляция, а следователь пугал Лефортовым, я книгами торговал, теми самыми и... всякими. На меня много повесили: книги, марки, абонементы за макулатуру... А я в отказе, в глухом — молчу.

— Погоди,— говорю,— а ты знаешь Андриюху Менакера?

— А ты откуда его знаешь?

— Я с ним на спецу почти три месяца... Хороший малый.

— Хороший,— говорит Костя,— он меня и сдал.

— Погоди — как сдал?.. Он рассказывал: его следователь купил, прочитал показания... Ты, вроде, в чем-то признался, а он подтвердил... Я, говорит, не знал, что он в отказе...

— Врет,— говорит Костя.— Он меня вложил, никто его не тянул, еще на воле, когда первый раз вызвали. Дурак, не понимает, я его не здесь, так на зоне достану...

— Как же так, он переживал, о тебе самого высокого мнения... Погоди, конечно! Костя! Ты, говорит, поглядел на него и... отвернулся. А если следователь и тебя обманул?

— Ты, Серый, может, хороший писатель, надо почитать, но Гарик тебе верно вмазал — ни хрена ты в людях не сечешь. Гнида он, Менакер, дождется... Он думал, деньги даром достаются. Когда такие деньги, можно посидеть... Хотя, если восемь лет впяют... А следователь обещал, тут без обмана. Я знаешь как жил, Серый? Подъеду утром на моторе на Кузнецкий — только на такси ездил, мог купить машину, но зачем — ни выпить, ни... Выхожу из машины, а шестерки, вроде Менакера, встречают. Следователь говорит: ты, Ткачев — король черного рынка...

Ай да Костя, думаю, прав, ничего я в людях не...

— Книг, о которых ты говоришь,— продолжает Костя,— через мои руки столько прошло — любые деньги! Деньги не жалко, когда за книги срок... Кое-что почитал.

— А ты Сева,— спрашиваю,— тоже за книги?

— У меня разбой,— говорит Сева,— игра в детектив. Отец привез газовый пистолет, американский, надели маски, подъехали к одной знакомой... Там много можно было взять... Они легли... Не от пистолета, со страху,

а мы ничего не нашли, торопились... До дому не успели доехать — и на Петровку... Разбой с применением технических средств.

— Все-таки не понять, Серый,— говорит Костя,— в Бога ты веришь, книги пишешь, людей защищаешь... Бог тебя тюрьмой наградил — так?.. Что ж ты боишься?

— А чего я боюсь?

— На спецу общака боялся, здесь...

— Не боится один Верещагин,— говорит Сева,— у него крыша течет, он борец за правду. И Машка — того ничем не напугать.

— Кто такой? — спрашиваю.

— А ты не видал?.. Во-он, у параша, не отходит...

Я, и верно, не видел, разве всех разглядишь, особенно в первые дни... Дикое существо: длинный, нескладный, со свалянными, пегими лохмами, рваная рубаха, грязные кальсоны, сидит на ступеньке перед ватерклозетом, перебирает тряпки, на иссиня-бледном лице блуждающая улыбка...

— Телевизор украл,— говорит Сева,— А что ты, Машка, с телевизором хотел делать? А я хочу посмотреть — кто там у него внутри, может, дети... А зачем тебе дети? В жмурки играть...

— Что ж его тут держат?

— Был на экспертизе — и обратно. Бо-ольшой преступник... При Гарики его не трогали, теперь всякое может быть.

— А что он делает с тряпками?

— Спроси, он тебе объяснит. Костюм будет шить. Мне, говорит, мамка нашла невесту, костюм к свадьбе...

Когда они ушли, Иван, все это время лежавший к нам спиной, повернулся и поглядел на меня:

— Много болтаешь, Серый, а зачем — не понять.

— Мне все равно, я намолчался.

— Это мне все равно. Гарику надо было десять, боялся двенадцати, а мне меньше двенадцати не дадут. А какая разница — двенадцать или пятнадцать лет? У тебя какой срок по статье?

— Три года.

— А говоришь, все равно. Я двенадцать отсижу — выйду, если буду живой, а тебе станут набавлять. Никогда не уйдешь.

— Можно посмотреть, что вы рисуете?

Он поднимает голову. Глаза у него темные, как угли в красных белках... Отворачивается и продолжает что-то чертить, потом левая рука протягивает мне пачку листов. На меня он не смотрит.

Листки из ученической тетради в линейку. Синяя шариковая ручка... Портреты, портреты... Что-то знакомое, сразу не понять... Да это наша камера! Не камера, ее обитатели... Наумыч... Гарик... Комиссар... Костя... Гурам... Но — сюжеты!.. Доре!!

— Какой же это.... круг? — спрашиваю.

Он опять поднимает голову, в глазах — радость:

— Похоже?

— Пожалуй... Только, как бы вам сказать... Откуда вам может быть известно, что им уготовлено? Кому принадлежит Суд?.. А вы их уже осудили.

Черные угли вспыхивают, сверкают.

— Если там нет справедливости, ее вообще не существует. А она есть, есть!

— Чья справедливость?

— Зло должно быть наказано, если не здесь — там! Если ты соглашаешься со злом, не сопротивляешься, принимаешь зло — ты осужден, и тебя туда, туда, туда!..

— Вы говорите, как прокурор, откуда у вас право судить и вершить правосудие? Да еще не здесь — в вечности?

Он отворачивается от меня и обводит глазами камеру: конечно, это чистый ад, а если ты к тому же художник — Верещагин! — жаждешь справедливости и не можешь принимать зла, не хочешь с ним соглашаться... Тогда тебе остается выбрать для них круг...

— Они несчастные люди,— говорю я,— им хуже, чем вам. Для них все кончается этой камерой.

— А для меня?

— Вы предупреждены, знаете, что вам предстоит вечность — вечность в такой камере или вечность с Богом.

— Вам известно, что сегодня Страстная Пятница?

— Известно. Меня привели накануне Лазаревой субботы.

— Правильно. Именно в ту субботу вы и пили чай, сваренный руками Иуды.

— Ты сказал... Вам известно то, что неизвестно мне.

— Потому что вы боитесь себе об этом сказать. И они боятся. Они знают о вечности не меньше вашего. Душа знает. Они забивают ее в себе, как забьют вас,

если вы не захотите жить их жизнью. Вы и это знаете. Зло — свободный выбор, ничто не может заставить меня принять зло, если я того не захочу.

— В вас говорит ненависть, а потому вы не правы, вами движет обида — и тут вам ничего не понять.

— А вами движет здравый смысл, проще говоря, хитрость. Меня толкает сердце, я не принимаю никаких решений — я вижу скота и не могу изобразить его человеком, а скоту уготован ад. Я изображаю то, что вижу, не хочу солгать, а вы...

— Наверно, вы правы, — говорю я, и первый раз в жизни понимаю, какая это радость смирить собственное сердце.

Еще мгновенье он смотрит на меня, глаза блестят, мне кажется, я вижу в них слезы. Он протягивает правую руку:

— Захар Александрович Холюченко. Спасибо и... простите меня...

Наумыч остался на своей шконке, лежит рядом с Гурамом, место Гарика занял Костя Ткачев. Этого я понять не могу: в хате старший — Наумыч, никто об этом никому не говорил, а все знают. «Наумыч, — спрашивает шнырь, — как с уборкой?» — «А в чем дело, — Наумыч лежит на спине, руки закинута за голову, дымит сигаретой, — или у Машки менструация?» — «Значит, как было?» — уточняет шнырь. «До первого штрафа...» — роняет Наумыч.

Еще через день я увидел, как Толик забрал у Наумыча ворох белья и потащил к сортиру, шнырь опустил белье в ведро с горячей водой. Обычно горячую воду делят на несколько человек, в тот день шнырь к ведру никого не подпускал... «Мыло у вас есть?!» — крикнул Наумыч через всю камеру. «Пока есть, если что, скажем...»

И не стесняется, удивился я, пахана играет... Вечером шнырь варил чай, пили на шконке у Кости: кроме Наумыча — Костя, Сева, Гурам и Толик...

Еще через час я столкнулся с Наумычем у решки. Вечер был душный, за окнами погромыхивало — неужто гроза в апреле? Под окном хоть какой-то воздух, **подышать** перед сном...

— Не ответил врач? — спрашивает Наумыч.

— У вас, наверно, и врача нет, подохнешь, не узнают.

— Смотри, Серый, чтоб не раньше времени.

— Есть к тому причины?

— Много болтаешь, потому и оказался на общаке...

Но учти — это не конец.

— А что еще бывает?

— Мое дело предупредить, ты мужик грамотный, а нянек здесь нет. И шестерить тебе никто не будет. Учти, я не Гарик, он год крутился, а мне начинать с нуля... Зачем балаболишь с Верещагиным?

— С художником?.. Да он здесь лучше всех!

— Мы с тобой люди интеллигентные,— говорит Наумыч,— потому я с тобой разговоры разговариваю, а так бы... Не сечешь ситуацию в хате? Я тебя натаскивать не буду.

— Тебя вызывал кум? — спрашиваю.

— Нет еще. Но мне с ним будет трудней, чем Гарику. Сказать тебе честно, я думаю, кум от тебя отстанет — зачем ты им нужен? Они свое сделали, тоже не хотят шестерить... Если не подашь повода. Гляди, Вадим, я за тебя голову не подставляю.

— Мне не надо, спасибо, если не будешь темнить...

— Учти, Серый, если тебя другой сдаст, мне в минус: тебя на меня повесят. А мне зачем?

— Круговая порука?

— Нет, у меня другая жизнь. И была другая, и будет другая. Ты себе крест повесил — зачем, почему? Меня не колышет чего ты за это имел, а поверить я тебе не могу. У тебя крест, а у меня был партбилет в кармане.

— Неужто коммуняка?

— А как ты думал, если я пять лет замдиректора фабрики? Видишь, как я с тобой. Я тебе сказал, что Гарику неизвестно.

— Сомневаюсь, Гарик быстро считает.

— Не знаю, сосчитал или нет, разговора не было. Я тебе к тому, что ссориться с ними у меня нет расчета. Я их лучше знаю, от них не будет пощады.

— Спасибо, Наумыч, мы с тобой оба зэки и главное в нашем деле откровенность.

— Много хочешь, Серый, я и так слишком сказал...

Ночью Наумыч разбудил меня:

— Гарик подогнал коня,— и сунул в руку туго свернутую бумажку.— Пиши ответ, он под нами, на осужденке...

Камера гудела, как всегда. Я осмотрелся: на решке сидел Толик, у волчка шнырь...

Я развернул записку: «Дорогой Вадим! Меня, как положено, обманули, вломили двенадцать лет. Ты прав, игра беспронимательная, не для нас. Как тебе живется? Не забывай, что мне обещал. Будем живы, может по-видимся. Гарик». ... «Дорогой Гарик! — написал я. — Жизнь продолжается, нас не научишь добром и радостью, мы становимся хуже, для того и существуют страдания. У тебя все впереди, я в это верю. Спасибо за все. Держись. Врачу я написал...»

Я видел, как Толик на окне свернул мою записку, обвязал ниткой и она исчезла в темноте за решкой. Я заснул.

9

Я просыпаюсь от переполнившего меня ощущения счастья и радости. Мне ничего не снилось, или я забыл, не запомнил: что-то толкнуло меня, кто-то улыбнулся мне, прошептал в ухо, я не расслышал, не успел разобрать... Кто-то позвал меня и я уловил дрогнувшую, прошелестевшую нежность... Камера просыпается, ворочается, вскрикивает, вот-вот загрохочет, забурлит, уже прыгают сверху, поднимаются внизу...

Мне на самом деле хорошо или я хочу, чтоб мне было хорошо?.. Не знаю, но я открываю глаза и говорю себе сам: «Христос воскрес!» И что-то отвечает во мне, или я отвечаю в себе: «Воистину воскрес!» Это самое важное, единственно, что важно, остальное подробности, сюжет, детали: смрадная камера, в которой мне пока везет, другая камера, в которой будет хуже, третья, в которой станет совсем невмоготу, четвертая, в которой я... крикну, меня вытащат и бросят голым мертвым телом на ихнюю свалку... Или напротив: что-то произойдет, наши войдут в город — кто там на белой лошади?! железные двери в мерзких болтах распахнутся... Подробности, детали, сюжет.. А Он воскрес... Не все ли равно: то, другое, третье или четвертое — если Он воскрес!..

— Христос воскрес, Ваня!

— Воистину, — говорит Иван и улыбается. — Надо бы разговеться, Серый, крашеным яйчком.

— Надо бы. Ничего, за нас разговееются..

Достаю пачку «столичных»:

— Покурим, Ваня...

— Ишь ты, припрятал! С праздником... Знаешь, Серый, мне мать приснилась... К чему бы?

— Как приснилась? — спрашиваю.

— Не моя мать... Валерки. Я тебе рассказывал: мы позвонили в квартиру, она вышла на площадку... Вера Федоровна. Только она... другая — высокая, в белом платье, но она, Вера Федоровна!.. Смотрит на меня и говорит: «Я тебе, Ваня, носочки связала, ты их носи, не жалея, как проносишь, я еще свяжу...» Слышишь, Серый!.. «Вы бы лучше Валерке...» — а сам думаю: что же я такое говорю! А она отвечает: «Ему теперь не надо, ты у меня один остался, Ванечка...» Что ж это, Серый, разве так может быть? Я его... убил, а она мне носочки?

Сигарета крепкая, неделю не курил — плывет голова и все вокруг плывет...

— Не бывает, Ваня, а должно быть. Тебя Бог посетил. На Пасху — понимаешь?

— Как же она — простила?.. Разве может так быть?..

Глаза у него изумленные и лицо, всегда покрытое серой паутиной, просветлело.

— Христос воскрес, Ваня! — не могу понять: я сплю, мне снится или на самом деле мы лежим с ним бок о бок на шконке, курим «столичные» и говорим о... чуде?..

— Плачешь, Серый — своих вспомнил?

— Нет, — говорю, — я стараюсь о них не думать, я празднику радуюсь...

— Христос воскрес, Василий Трофимыч!

— Воистину, — смотрит на меня, глаза помягчели. — Целоваться не будем, здесь такое не положено.

— Покурим, Василий Трофимыч... — протягиваю пачку.

— Ну, Вадим, ты фокусник — из рукава?

— Адвокатские, — говорю — подарок. Должно быть у нас хоть что-то на Пасху...

— Христос воскрес, Захар Александрович!

— Воистину...

Глядит на меня сверху, улыбается беззубым ртом в седой бороде... Протягивает листок.

Той же синей шариковой ручкой на тетрадном лист-

ке в линейку... Окно камеры, разломанная решетка... Один за другим вылетают закутанные фигуры, ветер треплет волосы, одежду... Летят — их втягивает в окно!.. Внизу детским почерком: «ПАСХА»...

— Это вам,— говорит,— не возражаете?..

Дверь громыхнула как-то странно, необычно... Кажется, все тут кажется... Входит корпусной.

— Все — на коридор!

— Чего?.. С утра нажрался!..

— Все?.. Ха-ха!..

— Быстрей, быстрей!. Выходи!!

Еще два, еще три вертухая, помахивают дубинками...

— Быстрей, быстрей!

— Да вы что?.. Мы больные, какая прогулка? Не пойдём!

— Кому сказано?! Кто там лежит?.. Встать!..

— Что они — оборзели?..

На прогулку на общаке ходят обычно человек двадцать, дворники на крыше чуть больше спецовских, если пойдут все, там шагу не ступишь, так и будешь стоять в теснотище, пока прогулочный вертухай не отперет дверь. Не любят гулять в тюрьме: ночь без сна, днем тише, спокойней, можно полежать — кого-то выдернули на вызов, кого-то в суд, а если двадцать человек отправятся гулять — считай, пустая камера! Ложись на любое освободившееся место, вздремни, особенно когда нет своего места, валяешься наверху, ночью там и поворачиваются по команде с правого бока на левый... Ходят на прогулку одни и те же, берут с собой «мяч»: сошьют мешок, набьют ватой из матраса — фирма! И пронести «мяч» во дворик легко: запихнешь в штаны, за пазуху, вертухай внимания не обратит, глянет сверху, крикнет для порядка: «Прекра-атить игру!..» — и отойдет, зачем ему?.. Зимой хорошо играть в футбол — разогреешься, зато летом — пыль столбом, только отплевываешься. Большинство и не ходят, выдумывают различные резоны: нагляделся, мол, на природу, мне этого воздуху и даром не надо; у других соображения противоположные: тяжело видеть небо — в клеточку, глядеть сквозь проволоку, не нужна, мол, иллюзия свободы... На самом деле, отговорки, распускается человек, начинает сдаваться, не хочет ни в чем себя утеснить: надо одеваться, тащиться вверх по лестнице, мерзнуть или дышать пылью — не хочется делать ни

одного лишнего движения. И постепенно доплывает, не бреется, не моется — доходит. А вертухаям на руку — одно дело вести двадцать человек, другое шестьдесят, хлопот не оберешься. Да пускай совсем не ходят, зачем ему, вертухаю, эта прогулка!.. Нет, сегодня что-то другое...

— Сказано — всем выходить! — кричит корпусной.— Не тянуть — быстрее, быстрее!!

В камере уже десяток вертухаев с дубинками, в коридоре маячит старший лейтенант — тот самый кум, что ли?.. С кряхтением, ворчанием, бранью вываливаемся из камеры. Стоим у стены, вертухай выталкивают последних...

— Я больной, командир, температура!..

— Я тебя сейчас нагрее!.. А ну — выходи!!

— Что это с ними? — спрашиваю Наумыча.

— А пес их знает, бывает на праздники — чтоб все гуляли, сами себе усложняют жизнь...

— Выходит, признают Пасху?

— Кто о чем, а вшивый все про баню, — говорит Наумыч.— Договоришься, Серый, я тебя предупреждал...

— Все?! — кричит корпусной.— Давай, пошел!..

Какая тут прогулка?! Прогулка — по лестнице вверх, а нас потащили вниз... Лестница кончилась, переходы, коридоры... На сборку, что ли?

— Не иначе, амнистия, — говорю Василию Трофимычу, — спросить бы у комиссара... Так строим и пойдем по домам...

— Похоже, как корпусной вошел, я почуюл — запахло свободой... Густой запах...

Впереди встали. Решетка перегораживает коридор... Шепот, как рябь по воде — от решетки к нам, в конец:

— Шмон, шмон...

Уже видно: через решетку пропускают по одному, шмонают...

— Чего они ищут, Василь Трофимыч?

— А я не знаю, что на тебе.

— Сигареты...

— Те «столичные»? Отметут. Надо бы в камере оставить.

— Возьмите парочку...

Раздаю по одной, по две тем, кто ближе, оставил три штуки, две в носок, одну в карман.

Я уже у решетки.

— Руки, руки!..

Общупал... Тащит сигарету из кармана:

— Откуда у тебя такая?

— В коридоре нашел.

— Смотри как — я потерял, а ты нашел? Что ж сразу не отдал — привык воровать?.. Проходи, не задерживай.

Загоняют в отстойник, сортира нет, лавка вдоль стен, человек двадцать сели, остальные стоят...

— Чего это они, а, мужики?

— Чего-чего — шмон, вот чего.

— Какой шмон, они меня и не трогали...

— Не тебя, в хате шмон — не понял, деревня...

Вон оно что!..

— Может быть, Василь Трофимыч?

— Вполне. Они это любят, в праздники.

— Для издевательства?

— И для издевательства. Для порядка, скорей. В праздник каждый старается себя хоть чем-то порадовать: чай достают, бывает, водку, или брагу поставили.

— Как это — брагу?

— Сахару много, хлеб кислый...

— Какой же шмон в отсутствии хозяев — не по закону?

— В тюрьме нет закона...

— У меня колеса заныканы, собирал на этап — отметут!

— А мне вчера подогнали ксиву, в мешке...

— Станут они ксиву читать, они карты ищут.

— А у кого карты?

— У кого надо. Я вчера заточил ложку, острой бритвы. Может, не найдут в общей куче...

— Если полезут по мешкам, мы до вечера, присохли...

— Время к часу — без обеда, что ли?

— Стучи, кто там ближе!

— Шнырь, стучи в дверь — жрать хотим!..

Сколько это продолжается — час, два, три?.. Сигареты мы с Василием Трофимычем скурили, садим его табак. В отстойнике дым столбом, лиц не разглядеть...

Наконец дверь открывается.

— Выходи!

Идем медленно, тяжело, как после полного трудового дня, но — домой, могло быть хуже, раскидали б хату...

— Устроили прогулку, суки...

— А я знаю чего у нас — дезинфекция, клопы за-
жрали.

— Ладно тебе, когда дезинфекция, переводят в дру-
гую хату, у них резервная. Если сразу после дезинфек-
ции — сдохнем, клопу ничего, он залезет в «шубу»,
укроется, его оттуда не выковыряешь, а ты лапки
кверху...

— А ежели резервная занята — по всей тюрьме
клопы?

— Да хотя бы конец, надоело...

Вот и наш этаж, коридор, медленно втягиваемся в
приотворенную дверь камеры...

— Чего они там, давай шевели лаптями!..

Вертухан с дубинками глядят на нас: блудливые
ухмылки, довольны...

Наконец и я протискиваюсь в дверь, останавливаю-
юсь — что это?.. Как в детском калейдоскопе: дрожит,
кружится разноцветное марево... Камера — огромная,
всегда мрачная, закопченная — неузнаваемо измени-
лась... Что же это такое?.. Ветошь — белая, красная,
желтая, синяя, зеленая — и все вместе, перепутано,
вздыблено... Протираю очки, ничего не понять.

Сзади грохнула дверь — и камера взрывается кри-
ком:

— Суки позорные!..

— Твари!!

— Скоты, скоты, скоты!..

Шестьдесят матрасов брошены на пол, матрасовки,
подушки без наволочек, в воздухе плавают перья,
клячья ваты... Распотрошенные, вывернутые мешки с
барахлом — горы разноцветных тряпок: штаны, курт-
ки, сигареты, рубахи, белье, носки, тетради, свитера,
табак, листы бумаги... На полу раздавленные таблетки,
карандаши, ручки... И на решке болтаются разноцвет-
ные тряпки — не иначе, ногами футболили.

Шестьдесят человек кидаются к своим шконкам, ле-
зут наверх — все перемешано, разворочено... Разве оты-
щешь свое в этой свалке, нарочно трясли, выворачива-
вали подальше от места...

— Ну, коммуняки, дождетесь, падлы!!

Верещагин ползает под ногами, собирает тетрадные
листки в линейку, заштрихованные синей шариковой
ручкой... Садится на пол, прислонился спиной к шкон-

ке, в руке порванные, затоптанные листки из тетради, глаза, как угли в красных белках...

— Вот что надо бы запечатлеть, Захар Александрович,— говорю ему,— это уже точно круг ада. И название есть для вашей картины, ни у кого не было: «Шмон на Пасху»...

10

Всегда молчаливый, ненавязчивый, он сегодня чуть ли не назойлив. Я давно подумывал встать, пройтись, хочется поговорить с Верещагиным — таких людей давно не видел, а может вовсе не знал, поболтать с Костей — столько в нем жизни, азарта... Но этот так настырен, словно какая-то цель, специально не отпускает, задает новые вопросы... Мое место ближе к окну, сидит на шконке, загородил камеру.

— Никак не соображу, Серый, ты очень умно говоришь... Я получу свои пятнадцать — за дело, верно? Моему подельнику, Витьке, те же пятнадцать, пусть двенадцать, он помоложе — тоже за дело. Про Валерку что теперь говорить — где Валерка? Ему лучше нас всех, все грехи списали — так? А она, Вера Федоровна? Ей за что — а ведь ей хуже всех!.. Вот я о чем — почему так? Она лучше нас всех, а ей хуже всех — разве это справедливо?

— Нет,— говорю,— не справедливо.

— Видишь! А если не справедливо, что ж получается — Бог не справедлив?

— Получается, не справедлив... — нет у меня сил говорить с ним сейчас об этом! — Ты толкуешь о человеческой справедливости, а у Него она другая — Божья, и в ней все может быть наоборот: кум пьет коньяк, а мы с тобой чай без чая. А кум, с нашей точки зренья, свинья и ему не коньяк надо, а... Только еще неизвестно, что лучше — коньяк или такой чай, чем ему тот коньяк отыграется, а не в этой жизни, так в будущей...

— В какой — будущей?

— В том и дело, Ваня, если ты веришь в Бога, то веришь и в будущую жизнь, здесь она не кончится — ни у тебя, ни у Валерки не кончилась, ни у Веры Федоровны не кончится. Валерка свое прожил, ты и она проживете сколько положено, но главное у нас будет там — вечное, понимаешь? Здесь мелкие подробно-

сти — коньяк или чай без чая, парилка или пар без веника. Если Валеркина мать, как ты говоришь, такая замечательная женщина, ей и там будет хорошо... Хотя это опять справедливость человеческая, наша... Да и что ты про нее можешь знать, про Веру Федоровну, ты себя не знаешь, кабы знал, все у тебя было б по-другому... Но за твои страдания... Тут ты прав... За свои страдания она получит там такую радость, нам не снилось. Вот в чем Господня справедливость — не наша, не в нашей жизни.. А так, все было б просто: заработал трудодень — получил...

— Нет, погоди,— горячится Иван,— выходит, все равно — я или... Вера Федоровна? Я, к примеру, убил, а она...

В камере что-то происходит: шум, хохот, крики...

— Что там, Ваня?

— Да ладно тебе, ты вот что скажи... Я живу тут... этой жизнью, на этой земле — так? Откуда мне знать как надо... чтоб там... Короче, не прогадать? С кумом понятно, дураком надо быть, а чтоб, как ты говоришь, Богу...

— ...скоты, скоты!! — слышу я крик Верещагина. Я срываюсь со шконки...

— Не лезь, Серый,— Иван крепко берет меня за плечо.— Говорю тебе — не лезь, не зря держу...

Я вырываюсь, успеваю заметить, что Наумыч спит, завернулся с головой в матрасовку, я уже возле дубка...

Отсюда не разглядеть: плотная толпа у двери образовала круг, торчит голова Севы, шнырь... Верещагин стоит наверху, размахивает руками и кричит:

— Прекратите! Немедленно прекратите!

Его опрокидывают на спину, он задрогал ногами, двое уселись на нем, держат.

— Что там? — спрашиваю у того, кто ближе.

Тихий, бессловесный мужичонка, так и не удосужился узнать кто такой, стоит наверху, лицо красное, глаза блестят, подпрыгивает, бьет себя руками по бедрам:

— Ну дают! Ловкачи, артисты!..

Становлюсь на нижнюю шконку, ухватился руками за верхнюю... У двери, в кругу — Машка, залез в матрасовку, видна только лохматая голова, топчется, как медведь... Рядом шнырь с ведром... Гурам сидит на другом ведре, перевернутом... У Севы в руке свернутая из газеты труба...

— Команда подлодки «003», к погружению — готовьсь!.. — кричит в трубу Сева.

Машка ныряет головой в матрасовку.

— Задраить люки! — кричит Сева.

Шнырь ставит ведро, завязывает мешок веревкой.

— Погружение на-чи-най!.. — кричит Сева в трубу.

«Мешок» валится на пол.

— Прямо по курсу... — командует Сева. — Полный вперед!

«Мешок» рывками ползет по полу. Толпа хохочет:

— Ну дает — моряк!

— Прямо по курсу — не бойся!

— Не утопни, Машка!

— Ну, цирк!..

— Стоп, машина!.. — кричит Сева. — Противник на палубе — все наверх! Полундра!

«Мешок» тяжело садится, видно, как Машка крутится, пытается развязать веревку — а как ее изнутри развяжешь?.. Сева дергает за веревку, мешок развязался, появляется Машкина голова... И тут же шнырь выливает в мешок полное ведро воды.

Толпа ликует, захлебывается от хохота, кто-то наверху катается по шконке...

— Вылез!..

— Давай, Машка, выныривай!

— Стреляй по противнику, не промахнись!

— На палубу вышел, а палубы нет!

— Дурак, лодка под водой — куда вылез?!

Машка крутит мокрой головой, отплеивается, мычит...

— Молодец, Машка, — говорит Гурам, — бывалый моряк... Вылезай на сушу, командование награждает тебя за подвиг... Награда тебе, Машка... За муки, за героизм от благодарного отечества — невеста со склада! Хватит морячить, пора жениться!

Машка — мокрый, в сползших, прилипших к тощему телу, рваных кальсонах, в грязной майке, жалкий, дрожит от холода...

— Женись, женись!!! — кричит толпа.

— Давай, Машка, показывай, как будешь жениться, — важно говорит Гурам, — дело серьезное. Ночь уже, Машка, свадьбу сыграли, гости ушли, вино выпил — да? Ведро выпил — да?... Чего будешь с женой делать?

— Дай невесту поглядеть, — внезапно говорит Машка.

— А чего тебе на нее глядеть — нагляделся, не первый раз! Или — первый, не знаешь?.. Научим, Машка — сперва штаны снимай... Снимай, снимай, Машка!

Машка медленно стягивает облипшие мокрые кальсоны. Нагота его ужасна... Толпа на мгновение затихает.

— Вон невеста,— говорит Гурам,— разуй глаза, нажрался пьяный, бабу не видишь...

— Где, где?.. — спрашивает Машка, крутится на месте.

— Под шконкой,— говорит Гурам,— ищи лучше...

Машка опускается на колени, ползет к шконке, засовывает голову, влезает глубже, крутит задом...

— Давай, мужики, чья очередь?! — кричит Гурам.— Хватай его, сегодня всем можно!!

И тут сверху в круг сваливаются сразу трое — Верещагин и те, кто на нем сидели. Верещагин, видно, ушибся, он встает с трудом, хромотает, но тут же бросается к шконке, загородил Машку...

— Не смей! — кричит Верещагин.— Скоты! Да как вы...

Гурам медленно, лениво поднимается с ведра.

— Сейчас мы с тобой разберемся... художник... Ребята! И его под шконку — давай!! — кричит он, срываясь в визг...

Не знаю, как мне удастся пробиться через ревушую толпу, вижу перекошенное лицо Гурама...

— Без очереди, очкарик,— по дружбе? — ухмыляется он.

— Кончай балаган,— говорю я,— поиграли...

— Что?.. Ты, мразь, очкастая будешь мне, Гураму?

— Только тронь... — слышу я свой голос, успеваю заметить, как странно дрогнули рыжие глаза Гурама...

Между нами влезает Костя:

— Все, Гурам, представление отменяется.

— Да вы что — меня?! — Гурам в бешенстве.

— Расходись,— говорит Костя и оборачивается к толпе,— нагляделись, больше не подадут... Расходись!

— Дождешься, очкарик,— говорит Гурам,— я тебя достану...

Я лежу на своем месте, укрылся с головой, видеть я никого не могу. «Господи,— шепчу я,— прости и помилуй меня грешного, убери из камеры этого... человека... Прости мою несуразную просьбу, я не боюсь, но

лучше, если его не будет, всякое может... Прости меня, Господи, мне не к кому больше обращаться, только к Тебе...»

Полковник ушел до подъема. Накануне у него была встреча с адвокатом, заседание трибунала должно быть вот-вот, но день адвокат ему не назвал... Может быть, чтоб он не знал, или тоже хитрость?.. Никому нельзя верить. Полковник сдавал с каждым днем, глаза больные, затравленные, меня он сторонился, а тут подошел — с завязанным мешком, в телогрейке, в офицерских сапогах.

— Прощайте, Вадим, сегодня все... кончится.

— Начнется, Саша, тут чистилище.

— Для меня кончится, кажется я нашел... выход. Впрочем...

— Какой выход, полковник?

— Мне больше нельзя жить. У меня нет права.

— Это не в вашей власти, полковник.

— Только это у меня не отняли. У меня нет жены, нет сына. Но у меня есть честь. Я хочу, чтоб вы знали... Я ее не отдам.

— Какая честь, коли нечего есть, полковник?

Он странно глянул на меня.

— Я превратился в ничто,— сказал он,— я уже здесь, в... чистилище превращен в ничто — что будет со мной дальше? Десять, двенадцать лет — что со мной станет за эти годы?.. У меня только один выход.

— Это не выход.

— Может быть... — сказал он.— Если б мы встретились раньше... Теперь поздно.

— Везде есть люди, Саша, вы найдете людей, встретите людей... Будете искать и Бог вам поможет.

— Поздно... Вчера, когда я глядел сверху на эту... свалку, глядел и... Я понял: у меня уже нет сил ни на что. Меня нет — понимаете? Хватит. Я потерял себя и больше не могу...

Лязгнула дверь... Вертухай.

— Кто там судовые?!

Полковник схватил меня за руку:

— Прощайте...

Я дошел с ним до двери. Он не оглянулся.

На моей шконке чужой мешок, Толик сворачивает мой матрас.

— Ты чего тут? — спрашиваю.

— Мотай отсюда, Серый, твое место возле Султана.

— Это почему?

— Потому.

Оглядываюсь: Иван рядом — спит, Гурам — с другой стороны, спит... Наумыч сидит на шконке.

— В чем дело, Наумыч?

— А что?.. Тебе там лучше, вместе с твоей семьей.

— В чем, все-таки, дело?

— Храпишь, Гурам не может спать. А Султан тоже храпит, вам самое оно.

Не говорю больше ни слова: собираю мешок, свернул матрас, перетаскиваюсь к Султану. С одной стороны возле него шконка уже пустая — кого же кинули наверх?

Султан лежит рядом со шнырем, здесь толчея, сортир...

— Хорошо, — говорит Султан, — какой сосед! Вместе будем, я тебе храпну, ты мне храпнешь — поговорили!

Вон оно как, думаю, за все надо платить, а ты хотел и рыбку кушать, и... Как ты, Вадинька, с этим справишься, поглядим. Еще не то будет...

— Угодили в немилость? — комиссар усмехается.

Хлебаем «могилу» на шконке у Султана. Теперь нас четверо: Василий Трофимыч в суде, полковник не вернется.

— Почему немилость? — говорит Султан. — Вместе едим, вместе храпим, вместе...

— Не получился из вас вор в законе, — язвит комиссар, — много интеллигентских эмоций.

Отвечать ему я не хочу — да и что ответишь?

— Хотя странно, если по логике, — не унимается комиссар, — антисоветчина не может не привести к уголовщине...

— Почему бы нам не взять в семью... художника? — говорю я. — Полковник ушел, нас мало...

— Хотите, чтоб нас всех загнали наверх? Спасибо, хоть две шконки наши...

— Три, — говорю, — Василий Трофимыч тоже внизу.

— Я против, — говорит комиссар, — художник сумасшедший. Вы знаете какая у него статья?

Отсюда хорошо виден Верещагин: сидит как всегда,

голова набок, рисует... К нему подходит Толик, что-то сказал... Верещагин поднимает голову, поворачивается к окну, откладывает листочки и начинает неторопливо спускаться... Медленно, прихрамывая, идет мимо нас к окну, к первой шконке.

— Куда это он? — спрашиваю.

— Разборка, — говорит мебельщик, — Гурам сводит счета.

На первой шконке сидят Костя, Сева и Гурам; Намыч на своей. Верещагин садится рядом...

— Что за разборка?

— Суд по-ихнему, — говорит мебельщик. — В блатных играют.

Комиссар демонстративно отворачивается.

— Зачем расстраиваешься, — говорит Султан, — домой пойдем, на свободу — амнистия! Сам говоришь, всех отпустят? Разборка-мазборка, нас не трогают, не касается. У меня сосед хороший, он храпит, я храплю, да? Две недели храпим, поедем ко мне в Самарканд, дыни кушать, шашлык кушать...

У комиссара в глазах тоска, не поддерживает разговор.

— Советский власть — хороший власть, — продолжает Султан, — нам советский власть не мешает: дыня есть, барашек есть, хочешь кушать — кушай, не хочешь — пей вино...

Вижу: Верещагин дернулся, встал и так же медленно, хромя, пошел по проходу — мимо дубка, мимо нас, не смотрит. Подошел к шнырю, о чем-то говорят... Шнырь дает ему швабру... Верещагин подходит к Машке, тот у сортира, берет у него из рук тряпку, взял ведро, наливает.

— Что это он? — спрашиваю.

— Наказали, — говорит мебельщик, — будет убирать хату.

Я уже знаю: на общаке уборка не в очередь, убирают, кто проштрафился или такой, как Машка. «Шнырь» — должность добровольная, шнырем становится обычно тот, у кого нет передач, нет денег на ларек: с каждого ларька ему по два куска сахара, по пачке сигарет с семьи. Шнырь в хате, как завхоз, забот у него много — и самых разнообразных, а уборка дело другое, не на спецу, махнул шваброй — за десять минут вымыл. На общаке убирают не меньше трех-четыре раз на день: после завтрака, обеда, ужина и вечером.

Другой раз, утром — до подъема. Камера большая, грязь от шестидесяти человек отменная, пепельниц нет, принято — плевать, швырять окурки и спички на пол, в этом некий шик, пренебрежение к быту, а уборка должна быть особо тщательной, не похалтуришь — шестьдесят пар глаз смотрит, как убирают. Да один сортир вычистить — мне б на целый день хватило, так ведь не один раз!..

Верещагин набрал в ведро воду, вымыл тряпку, повесил возле сортира, взял веник, идет к окну... Все это медленно, подчеркнуто старательно — ни на кого не смотрит...

— Уборка!.. — слышу его голос. — Все по шконкам!.. А ну, подберите ножки!..

Метет...

Вижу: шнырь срывается с места к открывшейся кормушке. Слушает... Выпрямился, лицо странное... Идет к окну...

— Не ходить, — говорит Верещагин, — уборка...

Шнырь отодвинул его, подходит к первой шконке...

— Что? — слышу Гурама. — Какие вещи?..

Теперь Гурам — тяжело, грузно шагает к двери. Верещагин загородил проход, поднял веник...

— Пропусти его!.. — кричит Наумыч. — У него особое дело!

— Если особое... Тогда проходите, юноша.

В камере тихо. Гурам — рожа свирепая, у двери. Стучит.

Кормушка открывается:

— Чего надо?.. Собрался?

— Как собрался? Куда — собрался?

— Сказано — с вещами...

Кормушка лязгнула.

Гурам топчется у двери. Поднимает сжатые кулаки, стучит себя по голове:

— Ну, паскуды! Ну, мразь!.. Дождетесь!..

И тут меня охватывает ужас. Мысль о случайности, совпадении сразу отлетает, я не успеваю зацепиться — ее уносит вихрем. Горячий, огненный жар охватывает все мое существо... Естество, поправляю я себя. Какие еще нужны доказательства? Они никогда не были мне нужны, но я не знал, не понимал — уже зная и понимая, что Он здесь, рядом, что Он всегда здесь и всегда рядом! Так было на сборке, с Гариком... Нет, не так:

ужаса не было, мне было мало, я не знал главного, что открылось сейчас, в это мгновение, когда Он так открылся...

Господи, говорил Авраам,—вспоминаю я. И Он тут же отвечал: вот Я. Нет, было наоборот, вспоминаю я, Господь говорил: Авраам! И Авраам отвечал: вот я, Господи... Я не могу проверить, у меня нет текста, но, выходит, я знаю, он всегда со мной, с нами—тот текст, душа знает его сама в себе... Ужас—не текст, не книги, не знания, это реальность Его присутствия—рядом, в тебе, а Он всегда рядом, всегда в тебе... Но разве я стою такого ответа? Разве я—не Авраам, не кто-то из тех, о ком сказано: те, которых весь мир не был достоин... Разве я, с тем, что я есть и что есть во мне, могу рассчитывать на такой ответ—тут же, по первому слову?.. Что это—аванс? Мне его не выплатить. Рука—протянутая на пороге бездны? Но могу ли я протянуть свою и на Него опереться? На Его руку? В чем моя рука, в чем моя душа—разве я искупил грех, преступление пред Ним? Он простил—меня?.. А мои слабости, трусость, сомнения, колебания, корысть... Сегодня, вчера—а завтра, что будет со мной, кем буду я завтра? Мои оправдания перед собой?..

Жар невыносимей и Свет все ярче. Мне кажется, в какое-то мгновение я вижу себя, как не видел никогда: жалкого, затравленного, хитрящей и уползающей от самой себя—крысой... Он открыл мне Себя—и я увидел себя рядом... Господи, помилуй меня, у меня нет права ни на что, я не стою того, что Ты мне открыл по Своему неизреченному милосердию... Я не стою, Господи, я не удержусь, но... не уходи от меня, останься, я не смогу удержать Тебя, но хотя бы еще мгновение...

— Захар Александрович, давайте убирать вместе, вдвоем веселей, не говоря—легче. Вы сорветесь за неделю.

— Хотите отнять у меня мой приз?—говорит Верещагин.— Это моя награда, а вы к ней примажетесь?

— Тщеславие навыворот?—спрашиваю я.

— Они—люди,—говорит Верещагин.— Я думал, они просто скоты, а вчера понял—помраченные люди. Вы и научили меня, подтолкнули, когда усомнились в моем праве изобразить круг ада, который я им предложил, забыв о круге, который уготован мне... Я предста-

вил себе Бога, Христа, пришедшего в Иерусалим — в нашу с вами камеру... Не похожа? Вы думали когда-нибудь, что Он там увидел? То же самое, что видим здесь мы с вами, но у Него было другое зрение, другое видение... Господи, не вмени им этого, сказал первомученик Стефан. А они его убивали. И убили. Понимаете?.. Их победить можно только смирением, себя победить можно только смирением. Терпением скорбей, говорят святые...

Я гляжу на него во все глаза.

— Дайте закурить...— говорит Верещагин.— Я попробую, не знаю на сколько меня хватит, но попробую... Курить — тоже слабость, но Господь не мелочен, это Он простит, а вот если меня не хватит...

— За что вы здесь, Захар Александрович? Простите меня, если вам тяжело или не хочется, не надо, но я никого не хотел о вас спрашивать...

— За дело,— говорит Верещагин,— за то, что у меня не хватило сил терпеть скорби, не хватило смирения, которому хочу научиться здесь. Это никогда не поздно. А вы меня видите, судите сами — я ни на что не годен... За что? Банальная семейная драма, невозможность терпеть слабость другого, того, кто рядом, неспособность прощать чужую слабость. Собственная распушенность, позволяющая себе, что позволить нельзя. Распушенность, ставшая одержимостью, собственный нрав и характер, который ничем не удержать — и все позволено. Себя не остановить, человек сам не может себя остановить, когда не хочет остановить. Если Бог не поможет. Если Бог не захочет помочь. А верней, если мы не хотим Его услышать, не просим о помощи...

— Какую ж статью паяют за такую духовную слабость?

— Голова плывет...— говорит Верещагин.— Не надо было курить, позволяю себе чего хочу и что не положено... Статья мне уготована самая последняя — в том Последнем Суде, хуже нет, а я изображаю круг ада для других. Сочиняю пострашней — для других, не для себя... Здесь-то статья пустяковая — поджог собственного дома. Но ведь метафора, понимаете? Я сжег свой дом, а мне его дал Господь. Я уничтожил свое жилище, а Кто мне все дал? Книги, картины... Не важно, я их писал или другой... Иконы, которые собирал всю жизнь... Собирал, чтоб молиться или... Какая моя статья? Разве сравнишь с тем, что предстоит людям,

которые еще вчера казались мне скотами, и я множил собственное преступление, забыв о метафоре, о том, что именно я преступник перед Богом. Я — не они, с ними свой разговор, мне молчать о других... Простите меня, Вадим... Вы почувствовали, что Бог рядом, поняли, что произошло, когда стукнула кормушка и увели эту... Прости Господи, недочеловека?.. А кто он такой, что мы с вами о нем знаем?..

— Ты чего скис, Серый? Гонишь?.. У тебя все нормально, вот у меня, у нас... Считай, тебе повезло, кабы его не убрали, он бы тебя достал. Тут... Я б тебя в обиду не дал, но... всякое могло быть. Гарик держал хату, у него само получалось, а Наумыч не может — не на фабрике... Ты Машку, что ль, пожалел? Художника?.. Чего их жалеть — себя жалей, тут — джунгли, кто кого. Или ты, или тебя. Ты, выходит, интеллигент, а я думал — верующий. Верующему чего бояться, переживать — верно? Или ты за других? За других без толку, другому не сможешь, сам пропадешь. Тут тюрьма. Мне, думаешь, почему легко? Я и на воле так жил — как в джунглях, так и на зоне буду. Жалко не пришиб твоего Менакера, надо б на воле его достать, а я внимания не обращал — для меня он был мелочь. Я не пропаду, хотя, если вломят восемь лет... А тебе придется тяжело, сломать они тебя не сломают, вижу, а убить могут, спокойно...

— Костя, запомни мой адрес, — говорю я неожиданно для себя, — надо каждый час ждать, выдернут, не успею...

— Давай. Напишу твоим, а мне адресок твоей зоны. Может, ты еще выскочишь, слышал базар про амнистию? Тебе первому...

— Нет, Костя, долго объяснять... Если продержусь у вас, поговорим. Мне не светит. Ты через восемь лет выйдешь, а я...

— Полухин! — кричат от двери. — На вызов!..

— Видишь как, — говорю я Косте.

— Что такого? К следаку! Через час-два вернешься. Не забудь стрелкнуть сигареты...

И вот я снова в том же кабинете: окно без ресничек, светло, чисто, табурет привинчен, передо мной маленький стол, она — за письменным, на нем мои папки,

бумаги; то же платье-джерси, рыбы глаза... Все то же, но я не такой.

В рыбьих глазах блеснуло... Злорадство! И не скрывает, видать, за две недели общака меня крепко подобрало...

— Как самочувствие? — первый вопрос.

К такому я не готов.

— Зачем вы это сделали? — говорю.— Или вас тому учили?

— Вы о чем?

— Зачем вы перевели меня на общак?

— Я не имею к этому отношения. Администрация. К ней претензии. С вашей статьей на общаке не положено.

— Примите меры, если закон нарушен.

— Не по моей части...

Бросает на стол передо мной лист бумаги, ручку и газету... «Правда».

— Перепишите любую заметку.

— Зачем?

— Экспертиза почерка.

Беру ручку, подвигаю лист бумаги, газету... И тут меня бросает в жар: две недели общака — и я уже... готов?

— Вы что?..— говорю я.— Какой почерк?.. Я не отвечаю на вопросы, не участвую в следствии.

Она выходит из-за стола, останавливается против меня, в глазах откровенная злоба — не такая уж она «рыба»!

— Я буду вынуждена обратиться к администрации тюрьмы, пусть принимают меры.

Мне не по себе, я уже знаю: они могут все.

— Но это мое право,— говорю я не слишком уверенно,— отвечать на вопросы или нет, участвовать или...

— Нет у вас таких прав. Вы обязаны делать то, что я от вас требую.

— Я — обязан? Перед кем, кому — обязан?

Вот она спасительная злость, она сильнее страха!

— Вы взяли все мои рукописи, письма...— говорю я.— Вы забрали мой архив за все годы работы — а вам нужна экспертиза почерка? Вам мало почерка, который вы унесли в мешках?

— Подтверждаете, это ваша рука, почерк, ваши рукописи?

— Да вы смеетесь, что ли?..— говорю я в правед-

ном бешенстве.— А чьим почерком написаны мои письма, мной подписанные, мои романы — на них моя фамилия...

Она возвращается за стол, берет чистый бланк, пишет...

Мне как-то неуютно.

— Что вы пишете? — нелепо спрашиваю я.

Не отвечает — еще бы!.. Бросает передо мной исписанный лист протокола допроса.

— Подпишите.

Читаю «Вопрос: вам предъявляются изъятые у вас на обыске рукописи и письма. Они принадлежат вам, написаны вами? Ответ: Все изъятые у меня рукописные материалы: письма и рукописи — все это написано мной, моим почерком...»

— Да вы что?..— говорю я изумленно.— Я не отвечаю на вопросы, я сказал об этом в КПЗ, подтвердил на первом допросе в тюрьме... Мы говорили с вами без протокола...

Она длинно усмехается мне в лицо.

— Не будете подписывать?

— Конечно, нет.

Она перегибается через стол в своем джерси, берет за бланк. Я придерживаю его рукой... «Он останется в деле?»...— лихорадочно думаю я.

— Хорошо. Я напишу замечания на ваш протокол.

— Я сама напишу. Продиктуйте,— она схватила протокол.

Сейчас он порвется, понимаю я... На днях у нас бросили в карцер мужика, порвавшего на допросе протокол. На десять суток... В карцер я не хочу.

— Пишите,— говорю я и отпускаю бланк,— но я подпишу только в том случае, если все будет записано дословно.

Она снова усмехается.

— Пишите,— говорю я.— «Я дважды, в КПЗ и в тюрьме заявил, что отказываюсь отвечать на вопросы и участвовать в следствии, объяснил почему. Это зафиксировано в протоколах. Я подтвердил это сегодня, отказавшись участвовать в экспертизе почерка и объяснил почему. Следователь внес в протокол мои слова, сказанные не для протокола, нарушив права подсудимого. Я не отказываюсь от моих рукописей и всего, что написал, но я не участвую в следствии, считая его незаконным...»

— Все? — спрашивает она.

— Все.

— Подпишите.

Читаю. Все, вроде бы, верно. Читаю еще раз — а, пустяки. Наука. Нельзя расслабляться. Особенно с ней. Она, несомненно, в выигрыше, а я попался. Один ноль в ее пользу...

— Откуда ваша сестра знает, что вы на общаке? — спрашивает она.

— Сестра?

— Каким образом вы ей это сообщили?

— Мое пребывание на общаке — тайна?

— Меня интересует как вы передали информацию из тюрьмы?

Ай да Василий Трофимыч! А ведь не сказал ни слова, я думал — забыл, а спрашивать неловко...

— Вне камеры я общаюсь только с вами, — говорю я, — а вам известно, где я нахожусь — верно? Вы устроили мне общак, вы и передали об этом информацию.

— Мы будем расследовать и виновных накажем...

Голос у нее зловещий, а мне смешно.

— Жалко, — говорю я.

— Что жалко?

— Вас жалко, — говорю. — Перевели на общак, нарушили закон... Шестьдесят человек в камере, каждый день в суд, к следователям, к адвокатам... Как передана информация? Общак — не спец, а тюрьма движется. Прокололись...

Вот и мой выигрыш, думаю, мое очко.

Она уже нажала кнопку.

— Вам это так не пройдет, — говорит она.

Молчу. Сегодня я слишком много говорил.

— ...Запомнил адрес? — спрашиваю Костю.

— Ты что дергаешься, Серый? Все — нормально!.. Помню адрес, могу повторить...

— Ты сам сказал: «всякое может быть...» Они меня в покое не оставят, будут дотягивать, а я хочу... Через восемь лет ты выйдешь... Раньше выскочишь, я тебя вижу. Когда б ни вышел — придешь, так?.. Придешь и расскажешь. Я не того боюсь, что они меня забьют, боюсь оболгут, могут такое порассказать — через кого хочешь! Слабость, Костя, верно ты говоришь, веры мало, зачем об этом думать, когда Бог все про меня знает? А мне надо, чтоб не оболгали, важно, чтоб знали,

как я тут... Запомни, Костя, расскажи... Спроси сестренку, у меня есть... знакомая... Она раньше к нам не ходила, но сейчас, думаю, она — там.

— Так мне ей, что ли, про тебя рассказать, знакомой?

— Ей,— говорю,— ей обязательно.

— А как зовут, спросить про нее — как?

— Как зовут — не нужно. Если она там, ты увидишь, а если нет...

— Понятно,— говорит Костя,— любовь до гроба. Я думал, ты мужик, Серый, а ты... Никто нас не ждет, не надейся, никому мы не нужны, всякий за себя — и там, и здесь... Твое дело, не маленький. Адрес я помню, когда смогу писать — напишу, как выйду, по адресу... Но ты раньше выйдешь, ты их зря боишься, они тоже люди и работать не хотят. Работать при социализме никто не хочет, всем нужны деньги, а их только украсть можно. Ты пойми, Серый, мы сильнее. Они думают, как бы украсть, а мы — как выжить. Мы сильнее, потому как у нас ставка выше — украсть или выжить? Жизнь или деньги? Какой разговор! Они тебя еще раз-другой прижмут — и отстанут — чего они на тебе заработают? Начальству надо, а не им, они, как и ты на все глядят — хотя бы скорей кто из начальства подойдет. У вас кричали, когда по радио объявили, что этот...

— Кричали,— говорю.

— Вот видишь, и у нас кричали. Кто громче — экама чего бояться, у них ничего нет. А на воле шепотом или про себя — кому есть что терять. Они тебе сочувствуют, но виду не подают, боятся. Если им прикажут придавить — придавят, но если можно, они их обязательно обманут. Я, другой раз, гляжу на вертухая — зверь-зверем, а если рядом никого — нормальный мужик, ему хуже нашего...

Разговоры, гогот, кричать надо, чтоб услышал сосед по шконке, а тут, словно луч прорезал камеру:

— Жу-ли-ки! В баню!

Домашний, мелодичный голос — будто пропела.

— Андревна!.. — кричат со шконок.

— Вспомнила про нас!..

— Что ж ты, старая карга, три недели молчала?..

— Уймись, ее воля, она б через день мыла — голимая мать!

Возбуждены, радостны, как дети... Как не радоваться, за все время, что я тут, ни разу не было бани, ремонт, труба, говорят, лопнула, прорвало, а на улице весна, в камере душно, потно, липкая грязь забила поры...

— Давай, давай, командир! Собрались!..

Идем теми же лестницами, переходами, налегке, только белье — поменять, полотенце. Весело, знаем — куда. А впереди тот же говорок:

— Ах вы, жулики, скучно без бани?

— Скучно, мать, оно и с баней — скучно, а все веселей...

— Ничего, сынок, скинешь с себя грязное, вымоешься, свежее наденешь, считай — и грехов поменьше. Чистому и грешить не захочется.

— Я, мать, в бане работал, всегда чистый, а где оказался?

— Ты не ту грязь смыливал, тут другая баня. Я гляну в вашу здешнюю квартиру, плакать за вас хочется.

— Что ж ты, мать, говорят, двадцать пять лет служишь — все плачешь, не привыкнешь?

— Плачу, сынок, двадцать пять лет слезы лью — за вас, окаянных, переживаю, жалею...

— Благодарим тебя, мать, как тебя услышим, больше бани радуемся...

Подошли, сгрудились, пропускают по одному... Вот и она, у двери... Лицо круглое, глаза — круглые, нос пуговкой, улыбается... В беретике, а надо б ей — платочек, телогрейка... Кто ж такая, неужто из хозобслуги?.. Нет, какая хозобслуга, когда двадцать пять лет тут — служба!

— Кто такая? — спрашиваю Ивана, он рядом.

— В баню сопровождающая, ее вся тюрьма знает и она — всех. Андревна. Человек и в тюрьме может остаться человеком...

Та самая — моя первая баня! На спецу — выгородка, теснотища, а тут простор, красота! Изразцы, высокие потолки, парикмахерская... Значит, не только для вновь прибывших — и для общака! Гляжу: все расслабились, сняли напряжение — хотя бы подольше, хоть на час позабыть о камере!..

— Василий Трофимыч! А вы как тут оказались?

— Повезло. Судья заболел, отправили обратно — и прямо в баню. Мочалку дадите? Я без вещей, со сборки...

— О чем разговор! Ваш должник, Василий Трофимыч...

— Не понял?

— Следовательша сообщила: будем расследовать — кто передал информацию, что я на общаке. Не обманул: адвокат да и вы, Василь Трофимыч, не забыли!

— Плохо ее дело, когда такую ерунду лепит. Не обращайтесь внимания... Нужны ножницы?

— Давайте...

Кипяток, пар, крики, хохот, разрисованные тела, как в преисподней... И внезапно улетает радость... Прячусь от себя — за разговором, за попыткой понять того и этого, за неспособностью понять того... Но ведь теперь это моя жизнь — на годы, сколько таких бань впереди! Если повезет, раз в неделю, четыре раза в месяц, три года — тридцать шесть месяцев, сто сорок четыре бани... Отнять три месяца, двенадцать бань — сто тридцать две...

Душно, совсем ничего не видать — пар, а из меня весь вышел, вон как швыряет — то вверх, то вниз. Слабоват. Дух у меня, выходит, так тесно связан с... телом, что и не дух он вовсе, а...

Сто тридцать две бани — много, не вытянуть, а кому не три года — шесть, а кому — двенадцать? Сколько будет бань, если двенадцать лет?..

— Вы что, Вадим — сомлели?

— Надоело! — кричу. — Нету сил, Василий Трофимыч, терпение кончилось!

— Это вы напрасно... — голос его слышу, а не разглядеть, без очков совсем ничего не видно. — У вас сегодня счастливый день — из дома привет — это раз...

— Какой привет?

— А как же, если следователь дергается, значит, у вас все в порядке? Откуда ей известно, что дома о вас знают? Не иначе, к ней приходили. Стало быть, живы-здоровы, беспокоятся, дают на нее... Это раз. Второе, баня — разве не подарок? Счастливый день, Вадим. Поворачивайтесь, спину намылю...

— Выходи! — кричат. — Хватит размышляться!..

Держусь поближе к Василию Трофимовичу... Вот что значит спокойствие, в спокойствии — сила!

— Василий Трофимыч, рассказали бы, как ушли из Бутырки?

— Что рассказывать — отпустили, год подышал.

— Понять хочу, как это бывает — когда выходишь...

— Погоди, доберемся до хаты...

Сидим на шконке у Василия Трофимовича. Отобедали. Разомлели после бани, в чистом. Хорошо!.. Можно отключиться, позабыть хоть на миг — где ты и что с тобой. Этим «мигом» и держишься, кабы не он, совсем было бы невоготу...

— ...Я еще за месяц понял — не ладится у моего следака, — рассказывает Василий Трофимыч. — Через день на допросы, кричит, пугает... А чего ты пугаешь, думаю, ничего у тебя нет. И срок подходит, санкция кончается — полгода. Ну, это пустяки, думаю, формальность, подмахнут им санкцию-продление, поставят закорючку, жалко, что ли?.. А там совпало — сколока в ихнем департаменте, один другому на мозоль наступил. Короче, генеральный не продлил. Вызывает последний раз, злобный, не смотрит: расписывайся, завтра уйдешь под подписку, не радуйся, мол, я тебя все равно достану, упеку... А я поверить не могу, знаю их фокусы. Иду в камеру, ничего не понимаю, ничему не верю. И собираться не стал. На другой день, вечер уже, после подогрева было, спать собрался. И тут выдергивают — с вещами. Ну, думаю, в другую тюрьму. Я на Бутырке, а наши здесь сидели... Спускают на сборку — и в бокс. Закрыли. Час сижу, два, стучать начал. Открывай, кричу, мне на свободу! Я тебе, говорит, покажу свободу... Не знаю, сколько я сидел в том боксе, спать не могу, курю, не вынимаю. Выводят. Как оформляли, чего я тогда подписывал, не помню. Дали справку — бесплатный проезд в транспорте в день освобождения — и дверь открыли. Вышел на улицу: зима, ночь... Жена без меня квартиру поменяла, новый район, адрес знал, а никогда не был. Далекое. До шести утра ходил, пока метро не открыли. Лезу за справкой, а баба — контролер говорит: проходи, вижу откуда... Доехал. И жену успел похоронить...

— Да, — говорю, — для этого стоит сесть, чтоб выйти.

— Сесть каждый может, а выйти — через одного.

— Ты, Серый, на меня никакого внимания, а мне поговорить...

— Я к начальству не лезу.

— Ладно болтать — к начальству. Мы только двое со сборки, кореша... Как ты тут — обжился?

— Нет,— говорю,— трудно. Как ты три месяца продержался? На сборке ты, вроде, нервный был, а тут успокоился?.. Нет, не могу привыкнуть.

— А чего не попросишься? Переведут.

— Кого просить?

— Не знаешь кого — кума.

Глаза у него быстрые: глянут — и в сторону, лицо круглое, открытое, но глаза...

— Ты прости,— говорю,— у меня память плохая, я тебя на сборке помню, а имя забыл, все — «шнырь» да «шнырь»...

— Лева я.

— Слушай, Лева, с какой радости кум мне поможет?

— В его власти. Если попросишь.

— Я тебя, к примеру, попрошу о чем — сделаешь?

— Если могу — о чем разговор.

— А с меня за это ничего не возьмешь?

— Если нужда будет... Да я к слову, сам говоришь, трудно... Твое дело, Серый. Я тебя вот о чем хотел. Ты на спецу в какой хате — в двестишестидесятой?

— Там,— говорю.

— У вас был такой — Боря... Боря... Бедарев?

— Был.

— Что за мужик?

— Нормальный. Крепкий.

— У меня, понимаешь, какое дело... У него, говорят, возможность передать на волю. Канал, короче. А мне зарез нужно, подельник-сука под подпиской, гуляет. Кинуть ему кой-чего.

— А как ты его найдешь — Борю? Мы на общаке, а он...

— Моя забота, на спец я могу что хочешь. Тебе туда ничего не надо?

— Нет,— говорю,— кому?

— Мало ли, может осталось что, не успел получить, или ждал, а тебя выдернули, или...

— Я по другому делу,— говорю.

— Да?.. Мне бы канал на волю. Ты с ним передавал чего?

— Нет, у нас такого разговора не было. Чудно, шнырь, зачем ты ищешь такой длинный путь — на волю через спец? Ты бы здесь поискал — неужто поближе нету?

— Дальше верней,— говорит.

— А кто тебе сказал про Борю?

— Кто сказал, того нету.

— Чудно,— говорю,— я с ним два месяца, спали рядом, а о таком не слышал.

— Вон ты как со мной... Да я к слову, обойдусь...— в глаза не смотрит.— Ты, Серый, вроде, не дурак — или со мной не хочешь?.. Спал, говоришь, рядом, а ничего не видел?

— У меня очки слабые.

— Очки протирать надо, особенно в тюрьме... Как знаешь, Серый, прокидаешься... Скоро лето — не вытянешь, откинешь тапочки, тут такое будет...

— Лето и для тебя.

— Каждый за себя,— говорит,— обо мне особый разговор. И о тебе — особый.

Поздний вечер... Какой вечер — ночь, а спать не могу. Душно. Стою у стены, под решкой, воздух ползет по стене вниз, а на шаг отойдешь — нет его. Верно говорит: через месяц тут такое будет, откинешь...

— Загрустил, Вадим?

Наумыч. Этот глядит прямо в глаза. Спокойный...

— Я тебе, Наумыч, удивляюсь,— говорю,— не пойму, что ты за человек? Со мной один, с Гурамом был другой, с Верещагиным — третий. Кто ты на самом деле?

— Я выжить хочу, Серый, у меня одна забота, мне двенадцать лет светит, не твои три года. Ты Гарику проповеди читал, он на что волк, а тебя слушал. Мне твои байки ни к чему.

— Я прав оказался, обманули Гарика.

— За дело обманули, тебя жалеть не надо было.

— За меня, что ли?

— Может, не за тебя. Но если он тебя пожалел, он и еще мог сделать не то, что положено. Здесь не прощают.

— Я думаю, здесь такая же жизнь, как была и там, на воле. Кто здесь ничего не стоит, он и там ничего не стоил. Только здесь все сразу видно, а там, наденешь костюмчик, прикинешься...

— Кто ж здесь, по-твоему, чего стоит?

— Я думаю, в нашей хате Верещагин один и стоит. Василий Трофимыч, мой семьянин... А ты, Наумыч...

— Смотри, Серый, ошибешься. Если на Верещагина будешь ставить — пропадешь.

— Я в карты не играю,— говорю,— ни на кого не ставлю. Я гляжу на тебя и удивляюсь. Выжить все хотят, с кем не поговори — все об этом. Но какая цена за жизнь?

— Любая цена. Тут не торгуются.

— Эх, Наумыч, мужик ты умный, деловой, а мозги у тебя не на то крутятся... Ну что ты в блатного играешь — не получится у тебя. Как малолетка. Был у нас один на спецу, феню записывал в тетрадку. Зачем тебе?

— Ты знаешь, что значит держать хату? Ты еще беспредела не видел...— заводится Наумыч.

— А Гурам — не беспредел? Когда он выступал, ты в матрасовку зарылся — тебя не касалось? Верещагина наказал — за что?

— Здесь шестьдесят человек и все разные. Им развлечение нужно, если им куски не бросать — они и нас задавят.

— Организованный беспредел? — спрашиваю.

— Порядок,— говорит Наумыч.— У нас пресс-хата, тебе говорил Гарик?.. А я хату не выбирал, за меня выбрали. Над нами кум висит, а ты говоришь — Верещагин. Кого мне выбрать — Верещагина или кума? Посоветуй?

— Ты уже выбрал,— говорю,— зачем тебе мои советы. Ты думаешь, жизнь спасаешь, будто ее тебе кум дал, будто она в его власти. Нет, Наумыч, жизнью и смертью не кум распоряжается.

— Я эти байки от тебя слышал, мне не надо. Я тебя отсюда выживу, Серый, мне такой свидетель не нужен. За мной тут тоже глаза — не понял?

— Спасибо за откровенность, Наумыч. Хуже не будет.

— Еще не вечер,— говорит,— ты меня вспомнишь.

12

И я вспоминаю... Глаза у нее голубые, широко расставлены, светятся над скулами, как окна куда-то, прозрачные, не оторвешься... И я гляжу в них... Господи, какая радость глядеть и глядеть в такие глаза, погружаться и погружаться в их прозрачную голубизну. Чудо реальности существования другого, столь же реального, как ты сам — Господь живет в нем и открывает Себя в другом...

Глаза у нее зеленоватые, как ранняя листва, когда лес еще прозрачный, зеленеет на просвет, глядишь в них и не оторвешься, будто погружаешься в прозрачную тянущую зеленую бездну — и нет любопытства, только радость, что Господь одарил меня и этим...

Глаза у нее большие, в пол-лица, сейчас круглые, еще мгновение, они удлинятся — текучий, переменчивый, мерцающий овал...

«Послушай,— сказал я, и отчетливо помню свое удивление,— какого цвета у тебя глаза?»

«Ты дальтоник? — улыбнулась она. — Строишь и не видишь?»

«Прости, темно, не разгляжу...»

«Серые,— сказала она,— успокойся, глаза у меня серые, но бывают голубые и зеленые. Я не знаю почему, но...»

Глаза у нее, и верно, меняют цвет. И море меняет цвет, вспоминаю я, голубое под солнцем, оно зеленеет ближе к берегу, а наплывет облако — и плеснет серым. Я уже понимаю, Господь присутствует именно в другом, в том, кто не просто рядом, а кого ты понимаешь сердцем. Господь открывается в любви к другому. Господь в глазах того, кто стал тебе бесконечно дорог, не красотой, остановившей однажды — разве это была любовь? Господь открылся в ничем не заслуженном тобой доверии и незащищенности распахнувшихся перед тобой глаз, и если в черном бархате полного звезд неба Он — абстракция, умозрение, то в доверчивой беззащитности Он рядом — та самая реальность, которая может быть только Христом. Христос глядит на тебя — глаза в глаза, и это любовь, сострадание, разрывающее душу осознание своей вины перед другим...

Как в ликах икон, глядящих на тебя со стен церкви, как в лице Божьей Матери, в реальности струящегося добра и сострадания, в тайне, делающей тебя счастливым оттого, что она остается тайной.

Кто-то из святых сказал о двух разных путях действия любви, вспоминаю я. Она или источник страдания для осужденных за свои грехи, или радость — для блаженных. Для меня она горечь и боль, думаю я, свидетельство справедливости возмездия, не заставившего себя ждать. Я всегда искал своего в любви, которой хотел жить, но значит, это не было любовью? Свидетельством тому ярость и бешенство, захлестнувшее мне сейчас горло... Она рассказала мне не много, вспоми-

наю я, не успела или не захотела, но мне оказалось достаточно, засело во мне и сегодня болит почти так же остро, резануло и не заживает. Почему? — думаю я, какое мне дело до того, что было с этой женщиной, когда меня не было с ней, когда я ее не знал и она... «Я думал, ты мужик, Серый, а ты...» — сказал только что Костя. «Я думал, ты верующий, а ты...» — добавил он. Вот и вся правда, думаю я, простой малый, испорченный, как все, но не пропадет, ему я верю, видит и понимает больше меня.

Конечно, мне не хватает веры, думаю я... Что значит, «не хватает» — она или есть, или ее нет, хотя и это не вся правда, ее надо стяжать, она плывет и плывет к нам, волна за волной, наплывает, и следует каждый день, каждый час делать ей навстречу хотя бы один шаг, хотя бы полшага... Она растет в нас. Нас одарили верой в надежде, что мы отдадим ее в рост, а не прикопаем, чтоб предьявить, когда будет безопасно и выгодно. Простая история — и о ней нам сказано. Если б она жила во мне — вера, я б не думал сейчас о том, что случилось, когда я... Нет! Я не могу думать об этом, у меня не достает силы думать о своей вине, о несомненном несчастье, которое я принес другому, а значит, мое покаяние было не подлинным, не было принято, не стало освобождением, осталось мукой, и моя любовь только страдание, а я осужден. Я не могу не думать о том, что она мне рассказала в тот день, в тот вечер, в ту... ночь. О человеке, который глядел ей в глаза и тоже удивлялся, что они меняют цвет — под солнцем голубеют, зеленеют ближе к берегу, а наплывет облачко и они глестнут... Разве можно ненавидеть и мя, думаю я, оно принадлежит святому, оно дано в знак того, что носящий имя получает в нем, в нем наследует... А я не могу вспоминать это имя. И сейчас, корчась на шконке, придумываю ему — человеку, носящему то имя, один круг ада за другим, египетские казни, уготованные мне...

Голубые, зеленые, серые, рыжие, черные — шестьдесят пар глаз! Куда ушла любовь, согревшая меня на сборке, подаренная мне в надежде, что я смогу ее воспринять и сохранить в себе, сберечь, дать ей возможность во мне возрасти; рука, мне протянутая, держась за которую я был так счастлив в смраде и гоготе?.. Не было руки, не было любви, был надрыв и истерика, страх, заставший глаза. Куда б она делась, лю-

бовь, когда б она была?.. Ничего не было, кроме смрада и гогота, оскаленных морд и мерзости. Что Он увидел, придя в Иерусалим — такую же камеру, те же оскаленные морды, что слышал — тот же гогот? Он увидел другое. А я больше не могу. Видеть другое можно только глазами веры, глазами любви, а во мне вспыхивает, копится раздражение, разгорается злоба и ненависть, и я корчусь на шконке, как та горбатая крыса, со вздыбленной шерстью — мы увидели ее, подойдя к даче... Я больше так не могу...

Я уже не могу понять — все еще ночь, наступило утро, начался еще один день или... Все тот же смрад, гогот, толпа, как в троллейбусе в час пик, прыгают сверху, копошатся снизу...

— Полухин!.. — слышу я — ясно, отчетливо, а казалось, слов не разберешь, даже когда кричат в ухо... — Полухин! С вещами...

Конечно, сплю, думаю я, ночь. Еще одна ночь, а завтра еще один день...

— Доигрался, — говорит рядом Иван, — сказал тебе — не лезь. Говорил-говорил, держал тебя, зачем тебе было надо...

13

— Как, стало быть, тебя величать — Жора?

— Жора.

— Выходит, сам выломился из хаты?

— Я... не мог там, они...

— Так ты в какой был хате?

— В сто шестнадцатой.

— Твоя, Андрюха?.. Хотя ты давно оттуда...

— Кто там сейчас — татарин держит хату?

— Держит?.. Н-не знаю. Меня привели утром, я лежал наверху, не спускался, а... А вечером они... Я никого там не знаю.

— Чего они с тобой сделали?

— Пальцы подожгли... На ногах.

— Толик, наверно. Лохматый?

— Д-да, лохматый... И еще... грузин. Похож на гориллу.

— Гурам. Точно, горилла. Ну хата... Я тебе рассказывал, Боря. Они и меня хотели схватить, да подавились. А до того ты где был?

— В больнице.

- В какой хате?
- В четыреста восьмой?
- Где?.. Давно ты там?
- Два месяца, больше...
- Кто ж там есть?
- Баранов... Дмитрий Иванович. Он уже седьмой год...
- Верно. Еще кто?
- Еще... Андрей Николаевич, ходить не может, ноги отнялись... Ося, глухой... Прокофий Михайлович, помрет скоро... Генка... И этот, как его... Шурик.
- Смотри как, все на месте? А больше никого?
- Приходили, на день, на неделю... А эти все время.
- Что ж тебя два месяца держали — больной?
- Н-не знаю...
- А про Бедарева ты чего слыхал?
- П-про?.. Нет. Я ничего не знаю.
- Про морячка?
- Нет. Я ничего не знаю.
- Ладно. А как там старшая сестра, Ольга Васильевна?
- Н-не знаю.
- Как не знаешь? Нет ее, что ли?
- Е-есть... Укол мне делала, в первый день. А больше я ее... Заходила, но со мной она... Я ничего не знаю.
- Оставь его, Боря, пусть отойдет, видишь, какой...
- Да, не вояка. Статья сто семьдесят третья?
- Да.
- Много нахапал?
- Ничего я...
- Перестань. Отдыхай Жора. Тут тебя никто не тронет...

14

Значит, это и есть Бедарев, думает он. Голос узнал сразу, хотя казалось, сам он должен быть не таким, он и говорил с майором иначе, блатного играл. Тут он другой, артист... Что ж я должен за ним замечать? «Когда уходит на вызов, когда возвращается — записывать, разговоры запоминать...» Конечно, здесь хорошо, думает он, похуже, чем на больничке, простыней нет и кормят, надо думать, из того же котла, что там... Там!..— он с ужасом вспоминает ту камеру. Здесь нас пятеро!

Почему перевел сюда — пожалел, хочет добра?.. Здесь добра не хотят, не жалеют, я должен отработать, отслужить за «пожалел», за добро придется заплатить... Бедаревым. А почему бы не... Что мне до него, кто он такой?.. И он пытается вспомнить, сложить все, что о нем слышал, а он уже позабыл, зачем было вслушиваться, запоминать... Обрывки не складываются: морячок, рассказчик, гуляка, бабник... Как же, роман со старшей сестрой в больничке, с той самой, у которой что-то с майором... Его передергивает, когда он вспоминает белый халат, как натянутая перчатка, шприц в руке, как нож... «Если ты сболтнешь в камере хоть слово из того, что слышал...» — «Я ничего не слышал, я ничего не знаю, я ничего не...»

Он лежит возле сортира, после жуткой камеры, из которой он сегодня «выломился», все здесь кажется чудом: тишина, бубнит радио, кто-то вполголоса разговаривает, на выскобленном столе пепельницы-самоделки, на стенах картинки из журналов, чистота, ветерок шуршит бумажным пакетом на решетке окна... За это надо платить, думает он, за это нельзя не платить, даром такое не дается...

А почему «даром»? — думает он. Может быть, на общак, в ту страшную камеру он попал случайно, по недоразумению, кто меня туда сунул? Главврач, тихая мышка или еще кто-то — срочно понадобилось место, не согласовали, а я два с половиной месяца отлежал, хватит... Нет, не майор, он бы не стал, он сразу понял — ошиблись, не мог не понять, перед ним лежало мое дело, он знает, кто я такой, видел кто я такой, разве мое место с ними, с теми, кто копошится на той вонючей помойке... Перед ним лежало мое дело, думает он, и он видел, что я... коммунист, и он — коммунист, мало ли что случилось, оступился, со всяким бывает, но жизнь длинная, перемелится, мы не святые, забудется, здесь нужны люди, они везде нужны, а здесь больше, чем в другом месте, нужны свои, а я могу быть полезен — майор понял, он человек опытный, знает людей, видит сразу, а говорить впрямую, откровенно не мог, я в тюрьме и формально я преступник, а он — майор. Формально, а по сути...

В конце концов, это мой долг перед обществом, думает он, а я в нем не на последнем месте, перед партией, а она всегда права. Майор и это знает, и не мог поставить знак равенства между мной и ими, отребь-

ем... Бедарев настоящий уголовный тип, думает он, вспоминая, что о нем слышал, потому и опасен, и тем, что привлекателен — вдвойне опасен, силой, хитростью, и его следует обезвредить. Он и на воле был опасен, его изолировали, а здесь он опасен вдвойне, и я не могу не помочь майору, майор отвечает и за него, и за меня, за все, что тут, а если я откажусь, то сам поставлю себя на одну доску с ними, и следовательно будет прав, и судья будет прав, и на кафедре будут правы, и то, что со мной произошло — по ошибке, по недоразумению, потому что связался с бабой, которую давно надо было гнать — и с кафедры, и вообще...

Он переворачивается на живот и, уткнувшись носом в подушку, пытается исчезнуть, ничего не слышать, не видеть, не... Такое было однажды, вспоминает он, мне предложили выполнить долг перед... Я всегда говорил себе правду, а сейчас это мой долг. Перед обществом, перед партией и я однажды его... выполнил, сделал, что мне предложили, что не мог не сделать, не испугался, что кто-то не так глянет, не поддался слюнтявому чистоплюйству, и тот, кто мог принести вред обществу, партии, всему, что у нас... Исчез! С кафедры, из жизни... Где он сейчас?.. — думает он, и сползает с подушки, зарывается в матрасовку, и исчезает...

Вот он опять «зубовный скрежет»... За что?.. — думает он. Разве я был не прав? Мне сказали: я должен — и я рассказал. Мне сказали: я должен подтвердить — и я подтвердил. «Вы видели, как он передавал эти книги, рукописи — у вас на кафедре? Кому?..» — «Видел, знаю...» Но я, действительно, видел, почему же я должен был скрыть — соврать?.. «Вы слышали, как он рассказывал о... радиопередачах, клевету и сам клеветал?..» — «Слышал...» — «Когда это было?..» Но я, на самом деле, слышал, я помню когда это было, в тот день мы с ней... Почему я должен был скрыть?.. Господи... — шепчет он и не понимает почему «Господи»... Я же не знал куда его сунут, разве возможно представить себе что такое может быть у нас?! Но я сказал правду, ничего не придумал, никого не оговорил — зачем он держал у себя эти книги, рукописи, зачем их распространял, пересказывал клевету?..

Значит, и он попал сюда, думает он, его протащили по тем же камерам... Но ведь за дело! Я всего

лишь подтвердил, что было — должен был врать?.. Я не мог промолчать, не мог соврать, сказал правду и... И майор знает об этом, это есть в моем деле, а потому он понял, что я... свой и меня нельзя держать там, я нужен здесь, на меня можно положиться, я помогу, и это учтется, я свой, пусть со мной свели счеты, ошибся, по молодости, по глупости, за это и свели, подставили, потому что эта стерва только на словах с ним рассталась, потому и рассказал, подтвердил, а то бы с какой стати, какое мое дело — книги, разговоры, не знаю, не слышал, не видел, но я знал, она с ним не рассталась, эти разговоры для дураков, бабья ложь, она держалась за него, не ушла, они были вместе, готова была всегда остаться с ним, в любой день, где угодно, я видел, помню, меня не обманешь, не проведешь, как она глядела на него, как он глядел на нее, а я ее знаю, и эти ее глаза, не спрячет, — да они и не расставались, соврала, ей зачем-то было нужно, выгодно, надо было его наказать, у них свои дела, запутала меня, заиграла, подставила, никогда не забуду, как она глянула последний раз, когда я рассказал зачем меня вызвали и что я им сказал... А что я сказал — только то, что видел, что слышал, что было на самом деле!.. Ничего не сказала — поглядела и ушла. А потому это была ее месть, подлая бабья месть, свела счеты, а мозгов не хватило понять, что и ее потянут, меня потопит, сама залетит, тем более, муж уже здесь, никто не пожалеет, рады, что и она влипла, такой подарок, не ждали, не чаяли, что кроме идиотских книг и пустых разговоров, которым цена копейка, откроются деньги, настоящее дело, а по нашим временам, в самую точку, им того и надо, обмажут грязью, дураки были б, когда б не схватились, да уж надо думать, не пропустили случая, когда сам в руки, обмазали... Откуда у бабы мозги, хотя бы на два хода считала, думает он с яростью, ей надо счас, сразу, как стукнуло, а что будет завтра, она посчитать не способна, ей надо только одно, им всем надо одно и то же, все равно кто ее схватит, но я держал крепко, а было мало, надо еще, разве я соврал, я сказал правду, что было, зачем он ей, я повсрился, у нас, говорит, все кончено, мы чужие, я с ним давно не сплю, он мне не пара, я люблю тебя, только с тобой поняла, что баба, ты один... Говорила-говорила, болтала, а дошло до дела, до жареного... Пусть хлебают, думает он с ненавистью, расхлебывает, а я сумею, вы-

скочу, второй раз не ошибусь, мне и это зачтется, пойдет в плюс, хотела погубить, а спасла, теперь я...

Значит, майор знает, думает он, потому и вытащил оттуда, не за красивые глаза, я ему нужен, у меня защита, возьми меня за рупь-за двадцать, не выйдет, теперь у меня тот самый шанс, о котором думал, ждал, на который надоялся, не упустить, не сглупить — и я выскочу, буду держаться за майора, выберусь, жизнь не кончена, еще посмотрим, кто кого, погодите...

Я отсюда не уйду, думает он, из этой камеры меня не вытащат, буду держаться зубами, не оторвут, здесь я выживу, а там я пропал, любая цена, того стоит, все, что ни попросят, отслужу, в майоре сила, и в нем правда, это у них разговоры, слюнтявые абстракции, их бы сюда, в нашу шкуру, я видел только одну такую «хату», а майор знает все, всех, с ними нельзя иначе, это отбросы, он должен на кого-то опереться, а на кого, кроме меня?.. Правильный выбор, верный, и я не подведу, вытяну, отслужу — и он меня не забудет, зачтет...

15

— Слышь, как тебя — Жора?.. Кончай ночевать, поговорим. Что там на воле, ты два месяца, а мы по году. Давай свежачка... Слышь?.. Толкани его, губошлеп...

— Оставь, дай человеку очухаться.

— Да ладно тебе, очухаться, червонец вломят, наложится... Пусть про больничку потравит, как там моя краля...

— Я бы на твоём месте, Боря, помалкивал.

— На каком моем месте? Почему так?

— А потому.

— Эх, Пахом, мне с тобой заводиться лень, скучно, а ты меня заведешь...

— Не пугай, погулял над людьми, хватит.

— Вон как заговорил, смотри, я предупредить не стану.

Тихая камера, думает он, как бы тут хуже не было... Может ли быть хуже?.. Кто они такие? Та же мразь... Бедарев понятно, Пахом самый из них приличный, небось, тоже сто семьдесят третья. Горячий, задирается... А этот, здоровый бугай — был в сто шестнадцатой — Андрюха? Кто такой — убийца или похуже? А что хуже?.. Рядом лежит «губошлеп», совсем мальчишка, Гришей называют, издеваются, обещают «зеленку», а он

молчит, видать, больной — лицо мучнистое, забили они его... С кем бы поговорить, молчать тоже нельзя... догадаются. С Пахомом...

— ...у какого следователя? — слышит он Бедарева.

— Которому надо, — рубит Пахом, не отстаёт. — Ты кому отдал мое письмо, сказал, уйдет сразу. Куда ушло?

— Ответа ждешь? С почтой, начальник, перебой...

— Зря шутишь, Боря... Ты на кого работаешь?

— Я тебя последний раз прошу, Пахом, не трогай меня, доведешь... — У Бедарева голос скучный, не хочет говорить об этом. — Лучше нового раскрутим, может, человек... Хотя едва ли, откуда... Два человека тут и было, в этой хате, потому я и вас терпел, а так бы давно...

— Что давно? — спрашивает Пахом.

— Выломился бы, как этот... Жора. Зачем вы мне?

— А они тебе зачем были — те двое?

— Серый да Серега?.. Ты хоть знаешь с кем ты тут прожил? Они верующие люди, не тебе чета, коммуняке... С ними и поговорить, и научиться. Они и слушать умели, и сказать могли... Живые люди, а вы... Те не продадут, а от вас лизоблюдов...

— Почему же их отсюда вытащили?

— То-то и оно. Тебе, коммуняке, на спецу кейфовать, а ребята на общаке валяются, доходят...

— А тебя тут зачем держат — за что?

— Серому бы еще недельку... — Бедарев явно уходит от разговора. — Эх, кабы он задержался, хотя бы и на общак потащили, полегче бы было, повеселей... Ладно, Пахом, вижу, что мне шьешь, понял тебя, ох ошибаешься, а я не прощаю... Мне шьешь, а не знаешь: у меня письмо для Серого, из дому — понял? Как он его ждал, спать перестал, а я получил на другой день, когда его выдернули.

— Болтаешь, — говорит Пахом, — откуда у тебя может быть письмо, чем докажешь? Ты много чего обещал и не ему одному...

— Доказать?.. Ах ты, коммуняка, пес! Довел, сука... Гляди... Видишь?.. Кто болтает?

— Чего ты мне суешь? Тебе письмо... «Дорогой Боря...»

— Сестра Серого мне написала, сечешь? «Дорогой Боря...», а дальше ему. Соображать надо, не на партсобрании.

— Я его дел не знаю. Почерк надо знать.

— Не почерк? Разуи глаза...

— Кто это?

— Кто-кто! Сестра его, не слышал, он рассказывал: за ним пришли, а сестра в роддоме. Фотографию прислала, видишь, племяш... Два с половиной месяца.

— Мозги пудришь, Боря. Какой племяш— не похож. Объясни, как ты на тюрьму письмо получил— «Дорогой Боря!»... Кто тебе разрешил переписку, за какие заслуги? Новому пассажиру мозги пачкай, если его на больничке не научили, а нас не трогай. Мы тебя давно раскусили...

— Я себе сам удивляюсь...— Бедарев говорит тихо, видать, сжал зубы.— Месяц назад я б тебя сразу пришиб... Скучно мне, Пахом, и на тебя, падлу, глядеть тошно... Как получил письмо? Как твое послал, так и для Серого получил.

— Вот что я тебе скажу, Боря, понимай как хочешь, а лучше уходи отсюда... При всех говорю, пусть знают...— голос у Пахома звенит.— Мое письмо, которое ты у меня взял— у следователя, ясно тебе? Он его на другой день получил. Я тебе отдал, а ты... Кому ты отдал мое письмо— отработываешь, Бедарев? Верно тот мужик говорил, у тебя с майором шуры-муры, не с его бабой. А может, и с ней, и с ним— зачем нам разбираться, мы и так уши развесили. И с Вадимом ты игру играл, не верю тебе, его счастье, что ушел, лучше на общаке, чем с кумовской шлю...

— Ну, сука, получай, наприсился!..

Грохот, крик, звон...

Он садится на шконке... На столе, ближе к окну стопка оловянных мисок, половина рассыпана, звенят, прыгают по полу.. Пахом зажал руками лицо, сквозь пальцы течет кровь... Поднимается... Лицо страшное, залито кровью, на лбу вспух багровый желвак...

— Погоди, мразь кумовская...

Пахом перемахнул шконку, сцепились, катаются, Андруха бросается к ним, все трое сползают на пол...

Дверь распахивается...

— Встать!

— Опять ты, Бедарев?..

В камере три вертухая, корпусной...

— Переведи меня, командир,— Пахом размазывает кровь по лицу,— я с ним и дня больше не буду, убью. Лучше переведи— куда хочешь! На общак, на...

— Подсказывать будешь— куда?.. Собирайся..

Точно такая камера — зеркально такая же, а я, как переступил порог, понял — другая. Что в ней?..

Человек, конечно, существо удивительное, думаю, успеваю подумать. Во всяком случае, он странное существо. Я ненавидел все, что меня окружало — и камеру, и всех ее обитателей, даже с Захаром Александровичем не хотел говорить, Василия Трофимовича старался обойти стороной... А когда собрал мешок, стою у двери, дожидаясь, пока откроют, гляжу на камеру...

«Не робей, Серый,— сказал Костя,— не думай, не гони, адрес я помню, повидаемся...»

Захар Александрович потеснил в сторону, протягивает тетрадный листок:

«Вам,— говорит,— «Снятие с Креста...»

Может, он и примитивный художник, не знаю, и рисовальщик слабенький, а меня забрало: Божья Мать в камере — в нашей, что ли? — а на руках у Нее...

«Спаси Господи, Захар Александрович, не стою я такого...» — «Ладно, Вадим, всякое будет, встретимся...»

И Наумыч подошел:

«Не держи зла, Вадим, за жизнь боремся...»

«Прощайте,— и комиссар тут.— Слишком хорошо жили, может, вы правы — тюрьма нам на пользу».

Гляжу на них, на камеру, слезы закипели, такая тоска сжала сердце...

Куда теперь? Не обратно на спец, забыть, не видать мне спеца... Библиотечную книгу не отобрали — первый признак, что оставят на общаке, здесь своя библиотека, а у меня Диккенс, дочитал до половины, самое чтение в тюрьме... Снова общак, другая хата... Что они мне приготовили?

— Почему переводите? — спрашиваю вертухая, ползем по лестнице, безликий, не глядит.

— Мое дело вести тебя, а зачем-почему... Не все равно?

— Тебя бы вытащили из дома и неизвестно куда...

— Скажешь — дом! Как вы не подохните в таком дому...

Поднимаемся двумя этажами выше: такой же коридор, такие же пролеты между черными дверями... Остановил возле одной: жди, мол. У двери высокий, смазливый и одет прилично, в руке тетрадочка, видать с вызова.

— Из этой хаты? — спрашиваю.

— Ну.

— Хорошая камера? — бессмысленный вопрос, глупый.

— Нормальная, — спокойно стоит, домой вернулся.

— Давно тут? — не отстаю я.

— Три месяца...

Подошел вертухай, отпирает дверь...

Верно, зеркально похожа, но сразу ощутил — другая. Может, воздух почище, все-таки выше на два этажа, ветерок гуляет и... Вон что, на другую сторону камера, та выходила в колодец двора, против спец-корпуса, какой мог быть ветерок, а здесь в сторону воли... Первое, что понял, но что-то еще... Светлей, что ли?

Подкатывает в очочках, совсем еще парнишка.

— Откуда?

— Из сто шестнадцатой.

— Чего ушел?

— Ушли.

— Какая статья?

Объясняю...

— Я и не знал, что такие есть? Против... коммунистов?

— Как тебе сказать...

— Так и говори! Год сижу, кого только не повидал, а такого... Хорошо, что к нам, у нас хата в норме, а в сто шестнадцатой, говорят, беспредел...

— Нет, вроде.

— Давай к нам в семью? Ребяшня, скучно, хотя народ веселый, один к одному — пойдешь?

— У меня ничего нет, — говорю, — сегодня должны были передачу, но когда она меня разыщет...

— У нас свое, что есть, то есть... Стихи наизусть знаешь?

— Кое-что.

— Мне не «кое-что», хорошие, настоящие?.. Блока знаешь?

— Может быть.

— Перепишешь?.. И еще этого, как его...

Подваливает другой: попроче, бесцеремонный. Кивает моему любителю стихов... Оба отошли.

Понятно, думаю, поведут к местному начальству. Тоска...

И народ столько же, те же шестьдесят, не меньше,

такое же мелькание, гвалт, смрад, но что-то другое... Пока не возьму в толк.

Возвращается.

— С тобой тут хотят... Сам понимаешь. Значит, договорились, к нам в семью? Я — Олег...

Не солидно, думаю, не успел оглядеться, ничего ни о ком не понял, а уже в семью... Дураком надо быть...

Такая же шконка у окна. Трое... Красивый мужик, похож на цыгана, еврей, наверно: черные вьющиеся волосы, лицо живое, веселый... Грузин — глаза мягкие, сочувствующие, доброжелательный. И третий — бледный, безразличный...

— Садись, рассказывай, — говорит цыган.

— А вас что, ребята, интересует?

— Нам все интересно, — говорит грузин. — Олег.

— Вадим.

Олег кивает на цыгана:

— Ян... А это Петро... Тебя чего «ушли» из хаты?..

Вон как, дословно пересказал мой любитель поэзии...

— Не знаю, — говорю, — была история... Несколько дней назад. Как увели Гарика... Слышали про такого?

— Кто теперь за старшего? — спрашивает Ян.

— Наумыч. Он давно там.

— Знаю. Как он?

Внимательно смотрят, уже без улыбок.

— Деловой, — говорю, — подбирает вожжи.

— Тебя одного выкинули? — спрашивает Ян.

— Двоих. Вчера Гурама, сегодня меня.

— Не заладил с Гурамом? — спрашивает Олег.

— А ты его знаешь?

— Немного.

— И я немного, а мне хватило.

— Ладно, — говорит Ян, — мы не особый отдел. Ты лучше расскажи, какие книги писал?

— А вы откуда знаете, что я их писал?

— Мы все знаем, в один санаторий путевка.

— Расскажу. У вас, вроде, получше, чем там?

— Заметил?.. — Ян улыбается. — Мы с Наумычем подельники. На гражданке не общались, у него своя компания, а у меня своя... Коммунист, чего ты от него хочешь? Надо крутиться. Скучный мужик.

— Не то чтоб скудный, — говорю, — очень уж жить хочет.

— А ты не хочешь? — Петро, первый раз заговорил.

— Я б хотел человеком остаться.

— Вон как — в тюрьме и человеком? — опять Петро.
— А что тюрьма, заперли и дышать нечем, а не то же ли самое?

— Нет, — говорит Ян, — не сравнивать. Баб не хватает.

— А с бабой ты себя человеком чувствуешь?

— Мужиком. С бабой я мужик, а без бабы...

— А я думал, мужик сам по себе что-то стоит.
А если он только с бабой...

— Тебе хорошо рассуждать, — говорит Ян, — твоя статья три года, больше не тянет, а мне вломят двенадцать, выйду — уже не мужик и чем она пахнет забыл. Человек... Кому он нужен?

— С какими ты бабами имел дело? — говорю. — Если они в тебе не человека искали, а... Таких всегда найдешь. Тебе сколько лет?

— Сорок.

— Выйдешь в пятьдесят... Раньше выйдешь. У тебя тоже сто семьдесят третья?

— Она.

— У меня друг, — говорю, — под семьдесят, отсидел пятнадцать лет, в то еще время, когда социализм строил усатый, лучший друг физкультурников. Он мне рассказывал про их лагерь... Он там как бы законсервировался, в том смысле, который тебя заботит. Считаю, пятнадцать лет просидел в холодильнике, вышел свеженький и сейчас, в свои семьдесят лет... Что ты! Кем он был, когда взяли — щенок, а вышел... У него другие проблемы, другая беда. Вышел и захотел побольше успеть, добрать. Бога не увидел, не открыл в себе. А бабы... У Бога всего много и у тебя свобода, выбирай, что надо для жизни, но не ошибись — или станешь человеком, или погубишь себя...

— Вон ты какой интересный — писатель, — говорит Олег.

— Ян!.. — кричат сверху.

Оборачиваюсь. На верхней шконке стоит мужичонка, по виду — распоследний: рваные тренировочные штаны, рубаха клочьями, давно не брит...

— Слышь, Ян, меня на вызов дергают, дай свой батник, у меня следачка, не напугать бы...

— Ты бы рожу побрил, — говорит Ян.

— Рожка ладно, а рубаху...

— Штаны есть? — спрашивает Ян.

— Штаны есть, корочки бы...

— Бери, — говорит Ян, — висит на решке, вчера по-

стирал. И ботинки дам. Снаряжайся.

Э, думаю, не Наумыч, потому и дышится легче...

— Устраивайся, Вадим,— говорит Ян,— во-он шконка, тебя дожидалась.

— Как дожидалась? — спрашиваю.

— Один ушел сегодня, с концами. Петро хотели спустить с верху, но... Писателю почет...

Петро лезет наверх, на меня не глядит.

— Давай отдыхай,— говорит Ян.— Есть матрас?

— Есть.

— Мы еще один навалим,— другой Олег, маленький, крутится рядом, посверкивает оточками,— наш семьянин.

— Богато живете,— говорю,— такого не ожидал...

И тут слышу от двери:

— Полухин!..

Неужто уведут, ошиблись? Не туда пихнули, наклад-ка, слишком сладко для меня...

— Кто тут Полухин? Передача!..

— Давай,— кричит маленький Олег,— с новосельем!..

Расписываюсь, не глядя. В кормушку швыряют пакеты, свертки... Вижу: Митина рука — аккуратно, с любовью... Одному бы остаться, рассмотреть — каждое яблоко, каждый кусок сала... Нельзя, знаю порядки на общаке — никто не выказывает интереса к передаче, все в семью...

Олег таскает мои кульки на дубок... Кормушка хлопывается. Может, плюнуть на их порядки — посмотреть?..

— Вадим! — кричит маленький Олег, стоит у дубка, рука на моих пакетах.— Тебя за дубок приглашают, как решишь?

Вижу: с первой шконки глядят на меня — Олег, Ян, еще кто-то. Молчат. И в камере тихо, ждут.

— Кто приглашает? — спрашиваю.

— Кто за дубком сидит. Тебя хотят к себе в семью.

— Мы же с тобой...

— Так за дубок! — говорит маленький Олег с нажимом.

Совсем тихо в камере — такой почет новому пассажиру!

— Нет,— говорю,— мы договорились, какой дубок...

Вздыхает камера, будто волна прокатилась... Похоже, пока я выиграл. Пока.

Ощущение это, пожалуй, ни с чем не сравнимо. Я такого никогда не испытывал. Необыкновенная картина мне представилась, думаю я не своими словами... А иначе не сказать, не объяснить, не передать. Необыкновенная картина мне представилась... Да, именно так.

Я уже отметил: в полвосьмого вечера, после ужина, когда я забирался на свою шконку, третью от окна, солнечный луч прорывался сквозь решку, косо прорезал камеру и падал мне прямо в лицо. Багрово-оранжевый, он тянулся, как толстая веревка, сверху вниз, а вокруг вспыхивало дымное сияние. Он перебивал мертвенный свет, потрескивавших под потолком трубок «дневного света», и вся камера становилась багрово-желтой.

Луч косо падал от решки, дымно висел над дубком, проходившие мимо его перечеркивали, вспыхивая при этом смоляными факелами.

В этот час в камере спокойно. Часа два пройдет, пока начнется оживление перед подогревом — все загалдит, засуетится, и так до утра. В эту пору за дубком играют. Человек двадцать сидят за шахматами, домино, «мандавошкой». Голые по пояс, разрисованные и не разрисованные, поджарые, крепкие, освещенные ярким оранжевым сиянием, они необыкновенно красивы, я не могу оторвать от них глаз и меня не оставляет ощущение нереальности этой красоты, ее фантастичности. Я уже всех знаю: кто как тут оказался, что кому предстоит и чего от кого ждать... На самом деле, я ничего ни о ком не знаю: и оказались они здесь не так, как об этом рассказывают, и мои соображения о том, что с ними произойдет, сомнительны, а что от кого ждать — вообще невозможно предположить.

Теперь я понимаю, научился, четыре месяца в тюрьме не прошли даром, стоят нескольких лет на воле... Каких лет — десятилетий! Чему же я научился? — думаю я. Всего лишь тому, что человек говорит одно, думает другое, а поступает совсем иначе, что порой нет в его поступках ни логики, ни здравого смысла. или его странная логика и якобы здравый смысл противоречат моим о них представлениям? Но в таком случае, надо бы говорить не о ком-то, а всего лишь обо мне, оказавшемся неспособным вместить чужую логику?.. Едва ли чтоб сформулировать такого рода банальность следова-

ло платить столь высокую цену — тюрьма слишком дорогое удовольствие.

Что же произошло со мной за эти месяцы?.. — думаю я. Тюрьма сломала стереотип сознания, складывавшийся всю мою предыдущую жизнь, или, говоря проще — мои представления о том, что хорошо, а что плохо. Все мои представления о жизни — социальные, профессиональные, нравственные — да, и нравственные! — разлетелись, их не собрать, они не нужны здесь, оказались лишними, пустыми... Но значит, они вообще не были нужны, потому что не имели никакого отношения к живой жизни, а служили для организации внутреннего ли внешнего, но благополучия. Комфорта, — поправляю я себя жестко. Чтобы так или иначе организовать свой комфорт, я огородился частоколом слов и понятий — приличных, красивых... Ну а как же с нравственностью, я, все-таки, держусь, не захлебнулся, никого не предал, а вокруг... Господи, думаю я, что мне известно о ком-то, разве мне была хоть однажды предложена настоящая, высокая ситуация, в которой мне пришлось бы не на словах доказать, что я хоть что-то стою; разве Господь не огородил меня, не отводит удар за ударом, разве хоть что-то мое есть в том, что я еще не размазан по стене... О себе я кое-что понял, цену знаю и жаркий пот стыда заливает меня всякий раз, когда вспоминаю себя в том или другом случае. Об этом я не хочу, сейчас не могу, прости меня, Господи, я еще не готов...

Человек, совершивший уголовное преступление — преступник, думаю я. Об этом свидетельствует не только закон и не просто закон, но весь комплекс морально-нравственных представлений о жизни, они и сделали меня тем, кем я был. Каким-то образом я это узнал, усвоил, воспитал в себе, это вошло в мою жизнь и... И стало тем самым частоколом, которым я себя огородил... А человек, уголовного преступления не совершивший — не преступник?.. Простая мысль, элементарная логика, но она и лежала в основании нравственного фундамента моей предыдущей жизни, была частоколом, за ним всегда было тепло и уютно, комфортно... А солгать, думаю я, лежа на шконке и глядя на омерзительную камеру, светящуюся сейчас багрово-оранжевым сиянием... А прелюбодействовать, а не возлюбить ближнего, как самого себя, а не возлюбить Бога всем сердцем, всем помышлением?.. А не посетить узника в

тюрьме, больного — в больнице, а не накормить голодного?.. Евангельский императив, представлявшийся в вольной жизни литературно-мифологическим, а отрицание его или его необязательность, никак не преступным, обрел в тюрьме живую, единственно возможную реальность... А ведь это полное изменение сознания — его сокрушение!.. Сколько я говорил об этом, недавно, болтал... На спещу, когда объяснял и что-то внушал... Кому внушал, кому объяснял?.. Мне было хорошо, вспоминаю я, мне было слишком легко, меня раздражали, выводили из себя болты, вмятые в железную дверь, и я рассуждал, рассуждал, радуясь так легко доставшейся мне, вычитанной премудрости, ничего об этом не зная...

Человек внутренне сопротивляется такому слову сознания, думаю я, изменению предшествующего опыта, всего своего состава. Но в тюрьме — не может иначе. И если будет к себе внимательным, поймет, что весь его предыдущий социально-психологический опыт — исчез, испарился. Его самого нет, а потому и прежний опыт не нужен. Даже если не поймет, не осознает и внутренне будет продолжать сопротивляться... У него больше ничего нет. Нет ни положения, ни наработанного авторитета, ему не нужно образование, у него нет семьи, дома, ничего из того, что он собирал, копил, складывал, кирпичик к кирпичику всю свою жизнь. Богу было не просто пробиться к человеку сквозь наглухо запертые двери его жилища, коснуться души, загроможденной собранным за десятилетия богатством. Чем бы оно ни было — интерьером или, так называемыми, «духовными ценностями», удачами или горестями. Там гулял только дьявол, думаю я, ему все просто, он не заблудится в интерьере, найдет скважину, щель, лазейку — да просто позвонит в дверь и она для него широко распахнется...

Вот что такое тюрьма, думаю я. Не смрад и решка, не железная дверь с вбитыми, вмятыми в нее болтами с их омерзительной геометрией. В тюрьме человек открыт Богу... И дьяволу, думаю я, разумеется, и дьяволу, ему человек открыт всегда. Но в тюрьме бой честный, открытый, ничто не мешает и ни за что не спрячешься. Человек стоит в тюрьме ровно столько сколько он стоит. Ничто не мешает выбору, он более жесток, но и более прям.

Вот они передо мной — мои сожители, освещенные

сейчас фантастическим багово-оранжевым светом, такие, как есть — чем они защищены от дьявола, что в них открыто Богу?..

«Ты не хочешь о бабах,— сказал мне Ян,— тебе надо человека, зачем? Я не встречал, чтоб не хотели. Знаешь почему?.. Я просто скажу. Нет ничего слаще, веселей и — чтоб голова плыла, обо всем позабыть и себя... позабыть. Она и от водки плывет, но там химия, травишь себя и самому с собой скучно. А тут алхимия, игра... А ведь она, стерва, знает, что игра, знает, что я выиграю, но ей, может, и нужен проигрыш, да и как отличить, кто что выиграл, а что проиграл? Мне одно надо, а ей чтоб одно к одному. Но это не мои проблемы — мы ни о чем не договаривались, какие ко мне претензии? С бабой дружбы, как с мужиком, быть не может, тебе надо ее обмануть, даже когда она сама хочет и ждет, чтоб ее обманули. Она всегда играет, врет, она не так сделана, но в том и алхимия, а если мы были б из одного теста — зачем она? Я понятно говорю?»

«Понятно. А когда вспоминаешь здесь — тоже радуешься?»

«Как тебе сказать... Зачем вспоминать, кабы выпустили... Есть такие, был у нас, любил рассказывать, как жрал да чего заказывал: соусы, подливки, пока его один нервный не сунул носом в парашу... Не в том дело.. Я только раз накололся, последний, между прочим, забыл детское правило: не... где живешь, и не живи, где... Или работаешь. Один хрен. У нас была баба в министерстве, наша начальница... В Москве пятнадцать фабрик вторсырья, а она над нами, начальник управления. Хорошая баба, на все согласная, лихая. Мы с ней и в Ленинград на уикенд, и на юг, вроде, в командировку... Но свое дело знала, в смысле производства. Вызовет на ковер, кулачком по столу — что ты! Брала со всех, с каждого директора. Но это нормально, не для себя одной, сколько их там с ложкой, это нас по Москве всего пятнадцать директоров... Государственное дело. Но она, дура, брать-то брала... И с меня, не сомневайся, хотя мы лазили по таким хатам, притонам, любила, чтоб с говнецом. И это дело тоже любила... Положение, сам понимаешь, щекотливое, если с меня не брать — она, выходит, мне деньги платит, и большие, а я с бабами в финансовых отношениях не состоял — им не платил, и с них не брал. Но она, дура, что учуди-

ла: вела список! Привыкла к их поганой бюрократии. Ее и взяли со списочком. Сдал ли кто или случайность — какой мне хрен? Нас всех потащили, как сусликов. На Петровку. Там разговор короткий: где, когда, сколько — и в зубы. Но не могу я подтвердить. Спал с бабой и на нее... Хотя чую, все знает. А может на понт берет, у них свои фокусы? Мне в голову не залетело, мало, что у него в столе тот списочек, она ему все выложила, подтвердила — всех сдала! И меня, как и всех. Мы с ней год, больше, на таких качелях, дух захватывало... Следователь глядит на меня, вытаскивает список из стола — на, мол, кушай. Я и тут молчу. Баба есть баба, думаю, какие у нее мозги, хоть и в министерстве, но чтоб подтвердила, быть того не может!.. Дурак ты, говорит следователь, нам и без твоих показаний все известно, она все картинки нарисовала, но если б ты чистосердечно подтвердил, я б тебя выпустил, гуляй до суда и на суде б учли помощь следствию, а так я тебя зарюю. И зарыл.»

«И Наумыч через нее?»

«А как же, и он в том списке. Но я-то свое поимел, а он, коммуняка, на сухую... Скажешь, за дело, она за меня всем отомстила? Что она от меня видала плохого?..»

«Ничего не скажу, Ян, это только тебе понять.»

«А говоришь, им человека надо...»

«Ты на меня не держи зла, Петро» — сказал я.

«А что такое?»

«Занял твое место. Не знаю ваших порядков...»

«Не пойму, какое место?»

«Внизу, на шконке.»

«Какое у меня место? У меня лет пятнадцать будет, как из-под вышки ушел. Да и потом не уйти...»

Худой, лицо серое, хмурые глазки, никогда не улыбается.

«Здесь в хате все временные, уйдут. А я навечно.»

«Почему так?» — спросил я.

«У меня на роду написано. Не уйти.»

«Расскажи, Петро, я не из любопытства, мне понять, зачем люди себе жизнь ломают?»

«Кто ломает, над кем судьба шутит, а кому написано... Ты, к примеру, почему тут?»

«Я тебе рассказывал, у меня просто.»

«Верно. Сам напросился. Тебе не обидно, знал, никто тебя не тянул за язык. А у меня... Скрутить тебе?.. Кто так крутит, смех. У тебя руки не под то заточены...»

«Научусь».

«Меня мать из лагеря принесла...— рассказал он.— Тогда другая была зона, после войны. Статья знаменитая, Указ от седьмого-восьмого, до расстрела. Жрать нечего, дети помирали, она из колхоза раз притащила, другой... Увезли. И дети померли. А через пять лет вернулась и меня родила. Про отца не знаю, не говорила. Вон откуда пошло — кем он был, что на меня повесил, за какие грехи я ответчик?.. Первый раз меня из ремеслухи забрали, драка в общежитии, чужие ребята пришли по нашим девкам, а я сосунок, у них между ногами. Один сел на меня, крутит, ломает, я, видать, сомлел, он меня за волосы и об пол, а мне под руку гвоздь попался, двухсотка... Вогнал ему в горло по шляпку... Малолетка есть малолетка. Вышел, мать жива, мы из Раменского. Работаю, девка у меня... Да какая девка, что с ней делать не знал... На Новый год. Пьянка, патефон, свои ребята, девчонки, тоже общежития. А за стеной шабашники, чурки. Заваливаются уже ночью, мало своего, не хватило. Что с нами, сопляками? Расшвыряли, как котят, кореша мои поразбежались, гляжу, мою барышню прижали. Я-то не знал, за что подержаться, а они ученые, схватили... Короче, выбегаю, как был, без шапки — и домой. У нас сосед, отставной военный, охотник, билет у него был, двустволка. Влетаю к нему, они уже спят с женой, ружье на стене, сорвал, и коробку с патронами... Он брал меня с собой на охоту, недалеко ездили. Я у него вообще часто, он и матери помогал, по соседству. Хороший мужик. А тут, пока прочухался, штаны надевал — разве меня догонишь?.. Распахиваю дверь в общежитии, ничего не вижу — чего я тогда соображал? Они от меня, как тараканы по углам, а я из двух стволов. Заряжаю и палю, заряжаю и палю...

И что думаешь, опять вышел. Не скоро, правда, а что мне — молодой, мать ждет... Года три крутился вокруг Москвы, прописали. Еще год прошел, мать схоронил, живу себе... Специальность у меня — сварщик. Дежурная. Пью помаленьку. Сажу дома. Один. А тут поехал в Москву, кореш с зоны. Комнатушка, жена, двое пацанов, на Плющихе. Привез бутылку, у него бутылка. Сидим. Комнатушка три на пять, а квартира большая,

майор отставной занимает три комнаты, жена, собака. А я этих собак терпеть не люблю. Овчарка. Нагляделся. Не к нему ж, думаю. Позвонил, зашел, собака гавкнула... Заходит через час, майор: не очень, мол, шумите. Какой от нас шум? Жена кореша уложила пацанов, сидим, курить выходим на кухню... Опять заходит, без стука, как хозяин. Поздно, мол, чего он тут сидит, пусть сваливает, кто такой, где прописан? Я молчу, знаю, мне бы на него не глядеть, я таких майоров видал и откуда он сразу понял, не мой сосед-охотник, тот фронтовой, израненный, а этот боров-боровом, такие на каждой зоне, трясет, когда их вижу. Но тут — какое мое дело, верно? Кореша дело, а он с ним вежливо, отбредивается, вижу, боится, затравил он его: двое детей, стирка, ясное дело, выживает, закон всегда на их стороне, хотя б у тебя прописка и дети, а если еще меченый... Короче, слово за слово, только бы, думаю, не встретить, водку допили, я бы и сам ушел, полтора часа ехать, пока до вокзала, до дома... А тут заело — чего мне уходить, я у кореша, законно!.. А он в раж вошел, видит, молчим, боимся, на бабу кореша начал гавкать: на кухне развела грязь, блатные ходют, курют — разгону и из Москвы выкину... Он и сам был, вроде, пьяноват, хрен его знает, я его не нюхал. У меня в сапоге ножик, я не переодевался, заскочил в магазин за бутылкой и на электричку. У меня всегда в сапоге, чтоб отмахнуться в случае чего... Давай документ, майор говорит, а то я ментов вызову. Я и вытащил... «документ». А когда вытащил, посмотрел на него, на рожа да на брюхо — тут меня и затрясло... Распотрошил по самые эти... Да давай я тебе скручу, глядеть не могу, ты сыплешь больше!.. Место тебе... Какое у меня место!..»

«Ты меня пойми, Вадим, я не срока боюсь, что про это говорить-думать. Каждый день процесса — нож острый, а уже считай три месяца... Когда я гляжу на них, а они на меня... Василию Трофимычу что, он в Ногинске два года, турист заезжий: на выходные в Москву, пьянствовал, особенно когда жену схоронил — ему ни до кого! Он тебе рассказывал?.. А я родился в Ногинске, мальчишкой по улицам, в школе, дружки теперь инженеры, учителя... А сыновья, невестки, внуки... «Суд идет — встать!..» Я на них гляжу, они — на меня, а я — вор...»

У Виталия Ивановича лицо в мелких морщинках, светлые с проседью волосы и глаза светлые, ясные. На шконке у него всегда кто-то сидит, по делу или так, поговорить... «Виталий Иваныч, дай ниток, у меня пуговица полетела...»; «Виталий Иваныч, я к тебе за газеткой, чего они там брешут?..»; «Иваныч, со мной в шахматы!..» Мы с ним через проход. В первый день я только ноги вытянул, он приходит из суда: «Из какой хаты, сосед?.. Так ты с Василь Трофимычем?..» А у меня из головы вон, когда уходил, Василий Трофимович ксиву сунул, все камеры перечислил, где его подельники: обязательно, мол, на которого-нибудь напорешься, наша ПМК по всей тюрьме, помогут, если что... Василий Трофимыч главный инженер, а Виталий Иванович — прораб... На другой день возвращается Виталий Иванович из суда — мне приветы, пожелания из моей бывшей хаты, Костя обещал маляву подогнуть... Гляжу, и камера ко мне помягчела — что уж там рассказал Василий Трофимыч?.. «Что ж ты скрывал,— говорит Ян,— у тебя кликуха знатная — Серый!..» Намудрили, думаю, кум со следовательшей, сунули в общак, чтоб пострашней, а общак — не спец, вся тюрьма теперь меня знает...

Обвинительное заключение у Виталия Ивановича — два тома, по сто страниц каждый, Василий Трофимыч не показывал, а этот сразу сунул: почитай, мол, честно скажи, очень стыдно? А я никак не вчитаюсь, не продаться сквозь суконный следовательский штамп...

«Вот место,— Виталий Иванович показал страницу,— завтра на нем толочься да еще не кончат в один день, самая моя печаль...»

«А что тут особенного?..» — спросил я.

Обнесли ПМК забором: бетонные плиты, подогнали кран, трое рабочих, включая Виталия Ивановича, четвертый крановщик. Выписал Виталий Иванович, как прораб, тысячу двести рублей на всех, а по смете цена забору — сто двадцать.

«Больше тысячи украл», — сказал Виталий Иванович.

«Так ты людям заплатил?»

«По триста рублей на брата, а положено по три червонца».

«Виталий Иванович,— сказал я,— я в строительстве не смыслю, в финансах еще меньше, но какой дурак будет работать за три червонца? Да еще бетонные плиты...»

«По смете. Такие расценки.»

«У моего товарища дача,— сказал я,— он забор строил, не бетонные плиты и крана не было. Пятьсот рублей с него слупили. Нормально, говорит, не обижался.»

«Да!..— у Виталия Ивановича лицо просветлело.— Ты, правда, так думаешь или утешаешь?»

«Будто ты лучше меня не знаешь что почем,— сказал я.— Пускай не тебе будет стыдно, а тем, кто расценки установил. Я тебя слушаю, читаю... Да ты в своем Ногинске, где родился и вырос, не прорабом был, а ээком — не так, что ли? Горбатил на хозяина, как в зоне, он тебя обирал и тебе 37 копеек на день, чтоб не подох и на работу ходил. Разве можно устанавливать такие расценки для свободного человека? Жрать тебе надо, детей кормить, одевать... А потом за это в тюрьму? Пусть со стыда сгорают, кто поставил трудового человека в положение раба и преступника! Ты меня прости, а лучше в тюрьме, на зоне, чем в вашем ПМК — без вранья, вкалывай на хозяина, а там хоть трава не расти... Небось и сообразательства брал?»

«А как же, само собой.»

«И доска почета?»

«И доска почета. А теперь я, видишь, где...»

«Все нормально, Виталий Иванович, гляди на своих невесток, на внуков, ничего не стыдись, и они пусть на тебя глядят. Вернешься, встретят. Поймут, быть того не может, чтоб и внуки так жили. Пусть смотрят на тебя, знают — нельзя жить на воле, как в тюрьме...»

«Так-то оно так, Вадим, если говоришь, что думаешь. Головой ты думаешь, а у меня совесть болит. Я когда деньги выписывал — себе и людям, тоже мозгами шевелил, чтоб чин по чину, какая работа чего стоит, людей не обидеть. Верно, знаю, что почем, как закон обойти. Закон у нас, как нарочно, чтоб мимо него. Но то голова, а то... совесть. Что ж я на три червонца не мог бы прожить? Не подох бы! А хотелось, как все, никто не живет на три червонца. А зачем, как все? Я тут лежу ночью, не сплю... Разве я за всех, я о себе плачу, понимаешь? Жить, как все, а отвечать все равно за себя. Да не перед судом, хрен с ними — и с судом, и с невестками! Я привык, чтоб вокруг люди — дружки, внуки, а я посреди, как равный... А тут один! В камере один, ночью — один. Не голова — совесть, а я с ней один на один...»

«Ты, говорят, из Афгана, Сережа?»

«Оттуда».

«Давно?»

«Я тебе сказал, как встретились, три месяца тут.»

«Я не про тут, когда оттуда?»

«А я сразу, неделя не прошла.»

«Что так?»

«А тебе нужно — зачем?»

Высокий, смазливый, мелкие черты, глаза холодные, ко всему безразличные...

«Ни за чем, меня тоска берет на тебя глядеть.»

«А чего тебе — за меня?»

«Вернулся живой, жить бы начинать...»

«С чего ее начинать?.. С кем? Тут все чистенькие, спокойные, все по полочкам. Ничего не было, учишь, работай, как ты говоришь: начинай жить... Сестра, на два года младше, меня не стесняется, выходит утром в чем мама родила... А я их видел — понятно? И чистеньких, и грязненьких, и как сами ложатся, только живой оставь... Взял двоих, мне одной мало. Одна с нашего двора, я, говорит, тебя ждала. Дождалась, поехали. И кентовку прихватила. Вечером в кабак, потом взял мотор, таксер говорит: возьмешь в долю? А мне чего, поехали. Мы их за углом разок прижали, гаишник осветил, отбрехались. Давай за город, говорит таксер, только заправлюсь... Подъезжаем к бензоколонке, он вышел оформлять, а моя краля дверь открыла и выскочила. Ловить ее, что ли? Пес с ней, отогнали машину и эту... хором. Машина, теснота, наставили синяков... Я, говорит, не такая. Нам, говорю, любая-всякая сгодится. Стала канючить, мы ее выкинули. А что ей — убыло? Или она думала, я ее ночью в загс пригласил? Или она по подъездам марксизм-ленинизм изучала?.. На колонке нас засекли, запомнили, у меня с собой бутылка, он пьяный был, когда выходил... В Афгане меня бы никто не взял, не такие брали, а выскакивал... Надо бы пушку привезти, да видишь, домой торопился, папу-маму, сестренку повидать, счастливую жизнь завоевывал. Завоевал. Надо бы там остаться. Любой конец, а я в нем хозяин. А здесь всякая мразь надо мной куражится... Объяснил, успокоился? Или чего добавить?»

«Что с тобой дальше будет, если... слезами не отмоешь...»

«Слезами? Ты, дядя, не про меня. С этапа уйду. Я такое видал, от такого уходил... Чтоб я в этом ста-

де?.. Меня ничем не удержат, зубами загрызу, а уйду...»

Первые дни я его, вроде не видел, разве всех разглядишь — толпа. А потом смотрю, словно бы два центра в камере: один на первой шконке — Ян и вокруг него, второй у двери: сидят у стены под волчком, набьются, внизу вертухаю ничего не разглядеть. Яша. Лицо рыхлое, желтое, в крупных оспинах, приплюснутый нос, тяжелые черные глаза. Не слишком, скажем, приятный человек. А вокруг всегда народ: он рассказывает, смеется, за кем-то посылает, кто-то к нему бежит — дергает ниточки и вся камера кружится. Со своей шконки он не слезал, и ели там, «семья» у них, на первый взгляд, самая распоследняя...

Меня с ним познакомил Ян. На третий день.

«Иди к нам, Серый!»

Ян на Яшиной шконке, с краю, Яша посредине, поджал ноги.

«Ты, Серый, человек образованный, — сказал Ян, — можешь выдать справку — караимы, кто по национальности?»

«Крымские евреи, они давно в Крыму, с древности.»

«Понял?.. — засмеялся Ян. — А он говорит, хазары...»

«Может, и смешались с хазарами, — сказал я, — давно дело было, не знаю. А вам зачем?»

«Да он караим! Не хочет к нам, евреям!..»

«А ты был в Крыму?» — спросил меня Яша.

«Был, но... караимов не видел. Там и татар теперь нет. Увезли.»

«Куда увезли?» — спросил Яша.

«В Среднюю Азию.»

«А там ты был?»

«Не был.»

«Какое ж у тебя образование, если нигде не был и ничего не видал? Или у тебя диплом вместо образования?»

«Диплом. Увижу, когда повезут. Сверю с дипломом.»

«Не много ты повидаешь. Надо было начинать раньше. Меня с десяти лет возят. Я везде был и все повидал.»

«А что ты из клетки увидел? У нас был на спецу один, его в сорок пятом взяли первый раз, тоже говорил, везде побывал, все видел, а поговорить не о чем.»

«А чего ему с тобой говорить — о чем?.. Тебя, к примеру, повезут, ты куда будешь смотреть?»

«В окошко».

«Верно, куда тебе еще глядеть. Много ты в окошко из клетки разглядишь — верхушки у елок. А меня повезут, я на тебя погляжу, а потом буду рассказывать где был да чего видал.»

«Что ж ты у меня разглядишь?»

«Понял?.. — Яша повернулся к Яну. — Чего ты его ко мне привел?.. Образованный... Что он против меня?»

«Он за правду сидит, — сказал Ян, — ты аккуратно.»

«А мне за что б ни сидел. Чего он знает? Ты хоть когда видал книгу — Библия называется?» — это мне вопрос.

«Видал», — сказал я.

«Может, читал?»

«Читал.»

«Во как! Какие там первые слова?»

«В начале сотворил Бог небо и землю.»

«Гляди? Верно!.. Сколько там книг, в Библии?»

«Пятьдесят, в Ветхом Завете. А ты меня зачем спрашиваешь?»

«Хочу понять чего твое образование стоит. Про караимов ты читал... Какие ж они евреи, если их двести лет назад царица Екатерина освободила от еврейских налогов и в рекруты их не брали? А евреев брали.»

«Про это не знаю.»

«Откуда тебе знать... А почему такая к ним милость, если они, как ты говоришь, евреи?.. Они в Крыму еще до Рождества Христова — понял? Что ж они виноваты, что евреи Христа распяли — евреи, не караимы!»

«А ты в Христа веруешь?» — спросил я.

«Про все написано, — на мой вопрос Яша никакого внимания не обратил. — И про караимов тоже. Ты прочитал в книжке, а ничего не понял. Как и Библию прочитал, а про что написано, не знаешь. Ян — еврей, а спроси его, читал он Библию?»

«Я по другому делу», — сказал Ян.

«Думаешь, там история? — продолжал Яша. — Один царь убил другого, зарезал десять тысяч, у другого царя сын увел жену, третьему глаза выкололи, он свою силу на бабу променял... Там не история, не про царей. Там человек и Бог. Один человек, а в нем вся история. Бог смотрит на человека, а человек смотрит на Бога. Один видит Бога, а другой нет. Я гляжу на тебя и все вижу.

И как ты Бога на бабу променял, и как сына зарезал, испугался, как бы он у тебя бабу не увел. И как за деньги друга продал... Зачем мне твое образование? И в окошко глядеть не надо. Понял чего?»

«За что ты сидишь, Яша?»

«Пускай у кума болит голова. Тебе зачем?..»

«Ты с ним поаккуратней,— сказал мне вечером Ян.— Не простой мужик. Наверное, блатной, хотя не похож. Не пойму, зачем его к нам кинули? Ни во что не лезет, собрал шоблу и гуляет с ними... Я ему в первый день сказал — хочешь старшим? Я, говорит, тут долго не задержусь, а с кумом лишний раз не надо... Я тоже не долго, они меня выкинут, случайно влетел, убрали старшего, крепкий был мужик, лучше я, думаю, а то мало ли...»

Еще через день я увидел Яшу в другом качестве, он уже не богословствовал. Был в камере малый, Володичка, «наркоша» — неприятный, липкий, шушукался, откровенно-глупо льстивый и надоедливый. Сначала я его видел на шконке у Яши, потом он перекочевал к Яну...

Меня заставила очнуться тишина в камере. Я мусолил Диккенса, а тут вздрогнул от тишины... Яша стоит возле шконки Яна — первый раз при мне оставил свой угол, о чем-то говорит и Володичка тут, белый, даже синий. Яша взмахнул рукой и ребром ладони рубанул Володичку по лицу, кровь хлынула. Ян не шевельнулся. Володичка поднял было руку защититься, а Яша его еще и еще...

«Что это?» — спросил я Виталия Ивановича.

«Не лезь в их дела, ему есть за что. Ходит от шконки к шконке, разносит сплетни. Хотел сравнить Яшу с Яном. Темное дело, кум что-то затеял...»

Самый длинный в камере, здоровенный, пудовые красные кулаки, а добродушный: Вася, кликуха у него «Малыш». Мы с ним в одной семье, едим на шконке у маленького Олега. Малыш таскает миски, бестолково суетится, над ним потешаются, а он не обижается. «Не иначе тебя, Малыш, за ноги тащили, когда мать рожала, потому и длинный...» — «У меня мамка махонькая, — улыбается Малыш, — а бабку над столом не видно, говорунья, рассказывает, рассказывает...»

Малыш и сам любит рассказывать и все про чудеса: черти, домовые, вещие сны, приметы... Я и не знал, что

в Москве остались такие рассказчики. И не сказки, слу- чай из жизни.

Сидит на Олеговой шконке, вокруг наша семья. Малыш говорит, а все слушают, разиня рот.

«Я когда залетел, меня черт толкнул. Утром встал, штаны не успел натянуть, а кастрюлю шей опрокинул. Кто ее свалил? Я и близко не подходил, зачем мне? Бабка сварила, поставила на стол, с краю, я махнул ру- кой... Да далеко я стоял, как достанешь!.. Здоровая ка- стрюля, полведра. Бабка говорит: сиди дома, добра не будет, не иначе он про тебя чего задумал... Говори-го- вори, мол. А у нас на заводе получка. Выпили с ребята- ми, залез в автобус и задремал. Открываю глаза — темно, а ехать рядом, не пойму где едем. Вроде, Кремль, Красная площадь... Что за дела? Мне на шоссе Энтузиастов. Автобус, видать, круг делает... Рядом де- вушка сидит, птичка, книжку читает. Носик, глазки. Ку- да едем? — спрашиваю. На меня поглядела и опять в книжку. А глаза у нее, скажу я вам, не поверите — го- лубые-голубые, аж светятся. Гляжу, щека покраснела. Мы в парк, что ли, едем? — опять спрашиваю. А вам, говорит, куда надо? И голос такой... Сразу видно, не курит и ничего такого не употребляет. Редкая девушка. Где такую найдешь? Не на шоссе Энтузиастов... Я бы вас проводил, говорю, а то темно... Она покраснелась, поднялась, а тут дверь открыли — выскочила. Я за ней. Темно, а я вижу: бежит, стучит каблучками — от Крас- ной площади, мимо России, к Нюгина. У меня ноги длинные, я ее сразу догнал, не придумаю чего спросить, а она в сторону, я за руку, а в руке у ней сумка, дерну- лась и через улицу, а сумка у меня. Она бежит, я за ней, а навстречу мент. Рванул от него...»

«И про голубые глазки забыл?»

«Напугался, неожиданно выскочил. Он бы меня не догнал, я быстро бегаю, а тут наледь — кастрюля со щами, не зря! Поскользнулся... Он на мне сидит, черт, руки крутит, а у меня морда в крови... Дальше понят- но: выпимши, сумочка, а в сумочке три рубля денег, сту- денческий билет и книжка. Сразу оформили — хулиган- ка, первая часть. Она приходит на очную ставку-опозна- ние, моргает глазками и говорит: он ничего плохого не сделал, я сама виновата, от него побежала... А следак давит: по Москве хулиганство, в самсм центре, мы его оформили, а вы хулиганов защищаете, преступников. Если боитесь, говорит следак, мы его так упрячем... А

она говорит: мне бояться нечего, он выйдет, сам ко мне придет. И адрес дает. Живет на Сретенке. Я, говорит, на суде скажу, он ни в чем не виноват, зачем его держите? И книгу отдайте, библиотечная. А следак говорит: книгу к делу приобщили, как суд решит, тем более, так себя ведете. Тут она заплакала. Меня, говорит, из библиотеки исключат, я одну потеряла, а эта редкая, не купишь. Я говорю следаку: что ж ты, козел вонючий, над человеком измываешься, тебе не следаком быть, а надзирателем в фашистском концлагере. Отдай книгу, все подпишу, чего хочешь, чего не было... А она говорит: если так, не нужна книга, пускай исключают...»

«Ну ты даешь, Малыш! — Олег блеснит очочками. — У тебя... Как это, Серый, называется в литературе: конфликт хорошего с этим, как его...»

«Хорошего с отличным».

«Во-во! — смеется Олег. — Дальше следак вытирает скупую мужскую слезу — это обязательно, открывает дверь и вы — ты да голубые глазки мимо вертухаев, они вам честь отдают, а вы шагаете в загс подавать бумаги...»

«А что думаешь, — сказал Малыш, — выйду, обязательно женюсь. Адрес есть. Она дождется.»

«Яну дай адресок, — сказал Олег, — быстро оформит, дождешься...»

«Ты этим не шути, — Малыш сжал кулаки, — я тебе покажу адресок, свой забудешь.»

«Какая хоть книга?» — спросил я Малыша.

«Стихи, не то Марина Цветкова, не то...»

«Цветаева, — сказал Олег, — жених, поэзии не знает.»

«Может, и Цветаева, — сказал Малыш. — Я не читал. У нее все самое хорошее...»

Плывет камера в оранжевом, багровом свете. Я уже знаю, еще минут десять, луч переломится о решку — и исчезнет. Десять минут! Много это или мало?.. Плывет камера, ее обитатели, мои сожители и я вместе с ними. Куда?.. Еще немного, думаю я, что-то я должен увидеть, узнать — и тогда пойму...

Я закрываю глаза, а когда открываю — луча нет, мертвый «дневной свет» обнажает загаженное пространство, серые тела моих сожителей, братьев... Смрад еще гуще, невыносимей.

Ничего я не могу понять. Кто они, где мы и что это с нами?!

— ...Пожил мужик, ничего не скажешь, в свое удовольствие. Молоток!

— Пдавду говорят, в станице у него трехэтажный дом, проходная и вертухай у входа?

— Вертухай-не вертухай, а капитан из органов. Никого не пускал, хоть секретарь обкома на черной «волге».

— А если он бабу ждет?

— Капитан сам приведет, только скажи...

— Во дает! И пил, говорят, ящиками возили...

— У него катер под парами, мотор греется, хоть ночью — и поехали по всему тихому Дону, а там и бабы, и коньяк...

— Он что хотел, имел! У меня дружок в Ростове, рассказывал. Он, как помер, двум внукам оставил по «двадцатьчетверке», а третьему — «ладу» экспортную...

— За что ж третьего обидел?

— Хрен его знает, может, с его матерью не поделили.

— Умел жить, мне бы так! Да разве дадут, схарчат...

— К нему из Москвы один ездил — из министерства или писатель, а он его не любил. Тот приедет, а у него запой, неделю пил, когда начинал. Капитан докладывает: у ворот. А он кричит: «В будку его, суку!» Капитан говорит: «Будьте, мол, любезны, товарищ писатель, в будочку...» Отказываться нельзя, больше не пустит. А в будке кобелина, московская сторожевая. Залазит к нему и ждет, пока оттуда не пригласят...

— Неужель писатель?

— Имел он их! У него этих денег, всех мог купить, каждый год книги, на всех языках, по всему миру, одних премий, говорят, на миллионы... Он ему за будку столько отвалит, сам бы залез...

— Ну молодец! Пожил...

— А еще рассказывали, он в карты любитель.

— Во что ж играл — в преф, в очко?

— В дурака подкидного. Или в эту... в пьяницу.

— Да ты что? Какие ж ставки?

— Не в ставках дело, не в игре — там столик хитрый...

— Какой столик?

— Обыкновенный, ломберный.

— Ну и что?

— Приезжает, к примеру, из Москвы или из Ростова чин в больших погонах, писатель или еще кто. Встретил, выпили, поели. А теперь, хозяин, говорит, сыграем. Да я не играю. А у нас простая игра, народная, детская — в дурачки, без интереса. Надо уважить хозяина, будет рассказывать у кого был, что делал. Сам садится с женой, карты свои, ему известные... Да никто и не старается выиграть, жалко, что ли, когда без интереса! А проигрался под стол.

— Ну и что такого?

— Я говорю — столик хитрый. Снизу, в столешницу забиты гвозди, без шляпок. Залезешь под стол, вылезешь — лысина в кровище. А Шолохов: «Ха, да ха-ха!» Жаловаться будешь?

— Силен! Умел и нахапать и пожить!..

И тут я не выдерживаю... Второй день, как появились статьи в газетах о юбилее великого писателя, вся камера обсуждает: «Как жил человек!» Меня мутит, кручусь на шконке, заползаю в матрасовку, заткну уши — не могу!

Выпутываюсь из матрасовки:

— Про кого вы балаболите — свинья, не понятно? Русский писатель? Ты из Ростова, как там живут люди?..

— Да пусть подышают, ежели мозгов нету!

— Кто вы такие! — кричу я, себя не помню. — Чем вы тех лучше, кто за решкой, с той стороны? Не потому, что у вас статьи, это суд решает, у вас мозги, как у вертухаев! Отца-матери не было, в крапиве вас нашли? В коллективизацию, когда миллионы пухли от голода, деревнями подыхали, а другие миллионы в Сибирь, на смерть, он им — «Поднятую целину», а за нее миллионы в карман? А вас катают, как скот, еще не то будет — он хоть кого защитил, хоть раз сказал слово — великий писатель! А за то, что молчит — коньяк, бабы, катер, «двадцать четверки»! Кем восхищаетесь? Да мне и слушать стыдно...

— Ты что, Серый, опух с горя?..

— Это он за то, что «Тихий Дон» белый офицер написал! Офицера к стенке, а ему навар! Гуляй рванина!..

— Да не про деньги!.. — кричу. — Он русский писатель! Пусть бы семечками торговал, презервативами, водкой бы спекулировал — хрен с ним, не жалко, своя

совесть, свой суд будет! Но он совестью торговал, за ложь получал, за молчание, а других убивали...

— Ты серьезно, Серый, или дурака косишь? — это Ян.

— За вас стыдно. За себя, что живу с вами, ем вместе! Если тюрьма не научила, чем вас учить?..

— Замолчи, Вадим...— Виталий Иванович дергает меня за руку.— Ложись, хватит... Ты в тюрьме, не на пьянке. На зоне сразу схватишь срок, не выйдешь...

— ...Скучно мне, Серый, мне везде скучно.

— Это как?

— Да так. Я, думаешь, почему тут оказался? Со скуки. Ну, особенно не лез, не напрашивался, но мог и выскочить. Кололся. Не торговал, как этот... Наркоша. Мне деваться было некуда, понимаешь? Они тут... Да ты слышишь: пьянка, бабы, деньги — о чем еще разговор? Может, и я такой — но мне скучно, понимаешь? Дай, думаю, попробую колоться — мозги крутит, мог бы и заторчать... А потсм тюрьма. Я про нее много читал, но то книги, а где такое увидишь, пока сам не залетишь, верно? А месяца через три... Разве тут другое! Ты кричал: «Тюрьма научит!..» А чему она меня научит?..

Небольшого росточка, очки поблескивают, лицо еще детское, припухлое. Он сразу ко мне прилип, как я вошел в камеру и уже не отставал. Первый, кого здесь увидел и сразу уговорил в «семью»... А зачем? И мне не надо, сам сказал — «ребятня». Пристал со стихами, я переписал ему в тетрадочку Блока, Тютчева, «Гамлета», еще что-то. Я, говорит, хотел тебе показать свои стихи, целую тетрадку изписал, а теперь не буду, куда мне... В камере к нему относились не слишком хорошо, смущал его откровенный интерес ко всем без разбору, но я видел, интерес свой собственный, он искал в людях не то, что могло привлечь внимание кума. Кликуха у него — «Князек», наверно от имени — Олег. Занятный мальчишка, живой, смешливый, остроумный, начитанный, а тут такой разговор...

— Тебе сколько лет, Князек?

— Девятнадцать.

— Как же может быть скучно?

— Не знаю, Серый, одно и то же. Школа, институт, хотел стихи писать, печататься... Двадцать лет, еще двадцать лет, а потом? Ты, вот, скажи, зачем ты живешь?

— Я в Бога верую, мне известно з а ч е м.
— Скажи, когда известно.
— Здесь жизнь временная: двадцать, двадцать — и все.

— А потом?

— А потом жизнь вечная.

— Здесь, как, вроде, в следственном изоляторе, а там вечная зона, без срока?

— Или зона, или жизнь с Богом. Вечно.

— Про зону понятно. А как с Богом... Я в тюрьму полез со скуки и не жалею, на воле я боялся к окну подойти — выпрыгну. А что будет там, с Богом?

— Ты почему стихи любишь, Князек?

— Как тебе сказать... Другой раз, смысла не понимаю, особенно, когда стихи хорошие. Чем лучше, тем трудней понять. Музыка слышу, а она всегда... грустная, за душу хватает, а светло...

— Верно, похоже на то, что нас ждет там. Скуки не может быть. Какая скука, если все, что в тебе есть хорошего, чем слышишь музыку, когда и смысла не понимаешь — расцветет, а пустота, грязь — уйдут. Ты чистый будешь, летать будешь, Князек!..

— Ты так думаешь?

— Я в это верую.

— Я, как собака, Серый, понимаю, а сказать не могу. Меня что-то держит, не пускает. Да и какая музыка, разве тут стихи — послушай, воют, рычат... Ты сам не выдержал, сорвался, закричал, думаешь — я тебя не понял? А что толку? Ты и на воле так закричал. Тебя посадили. Здесь закричал — дальше потащут, а разве хоть кто услышал?

— Ты услышал, мне достаточно. Кричать не надо, верно. Слабость, но когда возьмет за горло... А что будет дальше, только Бог знает. Как решит, так и будет.

— Выходит, тебе не скучно?

— Мне тебя трудно понять, Олежка... Скука от чего?.. От пустоты, а ты, вроде, не пустой малый. У всех бывает, у одного раньше, у другого позднее. Чего от тебя Бог хочет, что Он о тебе решил? Чему хочет научить? Наверно, это распушенность, тебе ничего делать неохота. Не только руками, ты и мозгами не хочешь шевелить. Думать лень, потому и скука. Музыка ты способен услышать, а это не каждому дано, а понять о чем речь — не можешь. У тебя привычки нет работать, трудиться — верно? А чтоб понять себя, услышать в себе

Бога... Это труд, до пота. До кровавого пота... К другим лезешь, а что ты сможешь понять, если себя не знаешь? Попробуй разобраться, понять себя? Скучать уж точно времени не останется. Я думаю, это грех, такая... расслабленность. Так ты, и правда, в окошко выпрыгнешь, сдуру, а что потом?..

— А что потом?

— Вечная зона. А тебе предлагают — вечную жизнь.

— Вон как?.. Слушай, Серый, я тебя зря к нам в семью заташил, тебе за дубком было б лучше...

— Какая разница, я тут едва ли задержусь.

— Учти, на тебя глаз положили, меня спрашивали, как бы с тобой сойтись... Через меня.

— Кто спрашивал?

— Стас. А выходит, я виноват. Подставил тебя...

На нижних шконках темновато, забираешься, и верно, как в пещеру, глядишь оттуда на толкотню в проходах между шконками и дубком: тусовка. Никогда не кончается, ни днем, ни ночью — кто-то, куда-то, зачем-то... В глазах рябит. И в «семье» поднадоело: Олег и Малыш, с ними хоть поговорить, им я нужен; еще трое совсем чужие: один по хулиганке, сам ли к кому полез или его зацепили, разное говорит, не поймешь где правда, Дима. Сидит четвертый месяц, по матери скучает: «Придет с работы, кассиршей в магазине, сядет у телевизора, не включает, пока меня нет, и чаю не согреет, ждет, хоть до полночи...» Второй — Толяня, полгода здесь, история вовсе нелепая. Залетел после работы в пивную, кружку успеть, уже закрывают, народ выходит, а он пробивается к стойке. «Все! — кричит буфетчица, — гони его, отпускать не буду!..» Два ее прихлебателя выбросили Толяню и по шее добавили. Возле дома было, его там все знают, пошумел, а куда деваться, пошел домой. Здоровые лбы, лучше не связываться. А через пять дней за ним приехали, надели наручники и увезли. На Петровку. Обвинение в убийстве. В другом районе, и не был там никогда, пьяная драка в пивной, проломили мужику голову кружкой, милиция приехала — концов не найти. А найти надо — в Москве, середь бела дня убийство. Не шутка. Подвернулся Толяня. В пивной был — был, драка была — была... Нет, мол, не было драки, выбросили меня и все... Тебя, мол, выбросили, а ты человека убил... Месяц на Петровке — и в тюрьму, оформили. Приходит адвокат закрывать 201-ю: ты, говоришь,

возле дома был, ты где живешь? В Лефортове, возле церкви пивная... Но убийство на Масловке, ты был там? Я им говорил, они не слушают... Адвокат попался неуступчивый, завелся, дело отправили на следствие еще до суда, но Толяня уже никому и ни во что не верит, лежит целые дни, едва уговоришь поесть...

Третий — Стас... При мне больше молчит, но вижу, именно он старший в семье. Вторая ходка, отбывал где-то на Урале, в камере недели на две раньше меня. Худощавый, чернявый, когда сидит и то чувствуется скрытая, раскручивающаяся сила. Сдержан, ни во что не лезет, ни с кем, кроме своих семейных, приглядывается. Но — никак не молчун. Как-то подошел, он рассказывал ребятам о зоне — такие байки, куда Зиновию Львовичу, тот, верно, ретро, а этот... Этот был лабухом в кафе «Лира», на Пушкинской. Всего полгода погулял...

— Ты, Серый, вместе с Борей Бедаревым на спец? — спрашивает Стас.

Во как, думаю, в лоб, без подходов.

— Был у нас такой, — говорю.

— Я его знаю, полгода назад на общаке, на третьем этаже. Потом он косанул в больничку и на спец... Кенты с ним?

— А чего ты спрашиваешь?

— Я на тебя гляжу, худо тебе придется. Надо обратно на спец. Да не на спец, на волю...

— А что ты за меня переживаешь?

— Мужик ты хороший, не для тюрьмы.

— А кто для тюрьмы?

— Я про тебя говорю, чего дергаешься? Ты знаешь, что у Бори баба на больничке?

— Откуда мне знать, я там не был.

— Не простая баба, она тут всем крутит, все может.

— А мне-то что?

— Боря хочет тебя вытащить — понял?

— А ты откуда знаешь?

— Ты, Серый, мужик хороший, а сопляк против меня. Об том не спрашивают — как, откуда... У Бори денег — море.

— Каких денег?

— Бумажных. Ты видал его тетрадку?

— Какую тетрадку?

— Толстую, где у него письма? От старшей сестры?

— Не знаю, — говорю, — тут у всех тетрадки.

— У него в переплете заныканы, по полстольника.

Больничку они купили, тебя через день-другой вызовет врач. У тебя астма, так?.. Лето придет, ты тут крикнешь.

— Я не пойму, Стас, чего у тебя о том болит голова?

— Я дело говорю. Давай ксиву для Бори, ждет от тебя. Все будет в ажуре.

Не могу понять — примитив всегда сбивает с толку.

— Напиши чего сам хочешь, — говорит Стас, — на спец или сразу на волю?

— Ты меня, Стас, за мальчика держишь?

— Я тебе говорю, а ты решаешь. Не стал бы, когда б не знал. На спец они тебя, считай, вытащили, но этими деньгами они кого хочешь купят, хоть кума. За тобой слово.

— Подкоп сделают? — спрашиваю.

— В дверь уйдешь. С вещами. Пообещай: больше, мол, писать книги не буду. Что хотел, все написал. Чего тебе стóит?

— И за это еще деньги платить — Борины?

— А ты на волю не хочешь?

— Я, Стас, спать хочу, ты не заметил, я после подогрева в матрасовку — и на воле.

— Может, ты на амнистию рассчитываешь? — говорит Стас. — Зря, Серый, не про таких, как ты...

Вязкая бессмыслица... Она страшней всего, потому что глупа, нет в ней ни логики, ни резона — зачем он завел со мной этот разговор? Неужто рассчитывал, что клюну на такого червячка? Передам ксиву и они меня, а заодно и Борю... Зачем? Но и в такой бессмыслице, чернухе — должен быть хоть какой-то смысл, своя логика: кто-то задумал обо мне, где-то назвали мое имя, перекладывают мою карточку с одного стола на другой... А что происходит с Борей?.. Я уже стал забывать о нем: исчез, канул, как остальные... Нет, тут будет иначе, чувствую, сюжет не закончился, отыграется, не зря заверчен, должно аукнуться — самое глубокое и сложное переживание в тюрьме, самые странные, особые отношения...

Деньги — это бред, глупость, дешевка. Быть не может у него денег, откуда? Да и кого можно купить в тюрьме — пачку чая у вертухая, сигареты, бутылку водки? Больше не купишь — зачем такая дешевка? Ошело-

мить, запутать, запугать?.. Что же правда в таком диалогическом разговоре?..

Амнистия, думаю я, вот она правда. А ведь бросил вскользь, в самом конце, между прочим... Они уже знают, администрация знает, кум знает, им должны сообщать заранее, чтоб успели подготовиться... Неужто — меня? И я вспоминаю, что слышал за эти месяцы: Пахом, комиссар, кто-то еще и еще... А вдруг, верно — меня?.. Если по логике, по здравому смыслу, пускай для понта, чтоб купить, запутать, сбить общественное мнение — у нас и на западе? Восстановление справедливости, изживание произвола, нарушений законности... Мы говорили, все молчали, а сейчас начинают — в газетах, по радио, пусть робко, вполголоса, но начали! Что ж, самое оно — нас... По справедливости, думаю я, пусть имитируя справедливость, по политическому расчету — разве нет тут логики? А вдруг хочет... добра?.. Нет, скорей, как в «Борисе Годунове»: «Я ныне должен был восстановить опалы, казни — можешь их отменить, тебя благословят, как твоего благословили дядю...»

Амнистия должна быть вот-вот, думаю я, не сегодня-завтра... Об этом и разговор, для того и начал, в том и цель. Завтра амнистия, а сегодня я отдам ему для Бори ксиву — и меня потащут дальше, будут смеяться в лицо: что ж ты, Полухин, себе добра не захотел, поторопился, пошел бы на волю, а теперь болело, тюрьму захотел купить, вот тебе новое дело, не отмоешься — взятка, сто семьдесят третья, пусть попробуют тебя защищать, один раз купили с дружкой больничку, первая часть, второй раз на волю, вторая часть — с восьми лет до расстрела! Напиши, не будь дураком, лохом, не отказывайся, кому нужна твоя принципиальность, она только глупость, никто не узнает, не буду, мол, больше — и уйдешь на волю...

Не выпустят, думаю я, ни за что не выпустят, амнистии не может не быть, а меня замотают, затаили, следовательно озлилась, с Аликом сорвалась — озлели. Или Боря — сам запутался, меня путает, а на него у кума зуб...

Вязкая черная жижа заливает глаза, разум, я барахтаюсь в своих выкладках, соображениях, забыл с чего начал, в моих рассуждениях тоже нет ни логики, ни здравого смысла, я снова и снова прокручиваю разговор со Стасом, в нем совсем ничего нет, кроме наглой глупости, но тем он и страшен — бессмыслицей, тем и

безнадежен, что не понять зачем, а значит... Что же они задумали?..

— Слышь, Вадим — слышишь?!

Поднимаюсь на шконке, сразу не выпутаться из матрасовки... Рядом Виталий Иванович, высунулся в проход, глядит на дверь, а там толпа колышется под репродуктором...

— Да тихо вы, суки! Не слышать!!

— Что там, Виталий Иваныч?

Не отвечает... Толпа начинает расходиться.

— Отговорили!.. Завтра утром...

— Да ничего там не было!

— Как не было — статьи перечисляли...

— Лапша, мозги крутят...

— Доживем до завтра, услышим!

— Завтра пиво пить!

— С воблой...

Виталий Иванович оборачивается, глаза блестят:

— Амнистия, Вадим, сегодня в суде говорили, но никто толком не знал. Сегодня-завтра. Выходит, объявили...

— А что говорят, Виталий Иваныч?

— Никто ничего не знает, говорят, самая большая за все время — юбилей Победы! Как тридцать лет назад — помнишь, когда Сталин крякнул...

Никто в камере не спал этой ночью, когда утром я вылез из матрасовки, все так и сидели, в тех самых позах. А я почему спал?.. Надоело, слишком много, перенапрягся — да пошли они все! Но первая мысль, когда открыл глаза — сегодня! Спал, ни о чем не думал, но крутился в голове рассказ Василия Трофимыча: вызвали с вещами — а ведь тоже не верил, не надеялся! И в отстойник, в бокс, курил сигарету за сигаретой, вывели, выдали справку для бесплатного проезда в транспорте... Открыли дверь и... Я выхожу — выхожу! Ночь, темно, иду переулками, не был тут никогда, не знаю в какую сторону, лучше не спрашивать, мало ли что — вернут! Иду прямо, во-он свет блеснул — улица... Может, взять машину, дома расплачусь?.. Сначала в церковь, таксер подождет, войти, поставить свечечку, упасть перед Распятием, встречу кого, расплачусь с таксером или до дома... Какой таксер, церковь, ночью выпустят, все закрыто, проплутаю переулками до утра, до метро, достану справку, а контролерша посмотрит на меня: «Не надо справки, проходи, вижу откуда!..» И вот я в метро...

И в камере о том же, видать, всю ночь о том же:

— Что ж они, сразу всех?

— Всех нельзя. Если сразу изо всех тюрем — что ты, сколько тыщ, разве выпустят, побоятся! В первый день мы такое натворим...

— У них прав нет держать после амнистии!

— По статьям, по категориям...

— Пять лет назад, к шестидесятилетию была, перегнали в отстойники, держали две недели, а жрать не давали. Тюрьма сняла с довольствия — кто будет кормить?

— Мы бы двери вышибли!

— Ладно брехать... В ту амнистию никто не ушел.

— В ту не ушел, а сейчас — всех. Ему нужно, этому... Власть взял, надо показать себя! А как лучше показать — для народа?

— Какой народ, дура! Они про нас думать забыли!

— Верно! Он себя покажет... Перетравит нас этим... дустом — и по новой... Справедливость, законность!..

Я уже наслушался, еще на спецу — Боря, Пахом, Андрюха... Перетирали эту тему до тошноты. Отмахивался, не хотел слушать, знал, не для меня, а тут чувствую — завели! Их-то не выпустят, думаю я, зря надеются, зачем они, давно про них позабыли, а вот меня... И по справедливости, и для понта, и для престижа, и для политики, и в традиции, по «Борису Годунову» — прочли ему, подсказали: «Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды, теперь ослабь, из рук не выпускай...» Все сходится!..

Радио молчит. В последних известиях — ни слова, в обзоре газет — ничего...

— Виталий Иванович, может, не было, спутали?

— Было, Вадим, сам слышал...

Стучит кормушка, бросили пачку газет. Кидаются, хватают, где моя «Известия»?.. Вон она в чьих-то руках...

— Читай, сука! Не грамотный, что ли, читай!

— Серому отдайте, его газета...

Строчки прыгают в глазах, вот она... Маленькая статейка, две колонки... А что много писать, если всех! Отпустить и весь разговор!.. Ничего не пойму...

— Читай, читай вслух!..

Читаю, не могу врубиться в смысл, убегает, общие слова... Пошли номера статей, знакомые, чужие... Как петлю набрасывают, вытащил ногу, только руку выпу-

тал, а нога в другой петле, снова ногу высвободил, теперь руку повязали, а тут сверху накидывают, за горло... Вот она, моя статья!.. «Кроме...» К р о м е!

— Ты что, Серый, давай читай!

— Читай сам, не хочу...

Рядом со мной — Генка Барсуков, пришел со мной из сто шестнадцатой хаты, самый мерзкий в камере — акробат из госцирка, клеил девочек у центрального телеграфа, предлагал номер в цирковой программе, отвозил в однокомнатную квартиру без телефона в Орехово-Борисове, в ванной для них цирковая юбочка, прозрачная, из ванны поочередно, а он отбирает — годится-не годится... Пятнадцать «картинок» в деле. Это Генка порвал протокол у следователя, оболгали его, добавили две «картинки», каких не было. Вернулся из карцера — страшный, оброс за десять суток, втянуло, руки дрожат, а так здоровенный малый, жилистый, каждое утро перед завтраком ходит на руках вокруг дубка... Я на него смотреть не мог, не мог преодолеть гадливость, не отвечал, отворачивался. Сейчас он рядом, держит мою газету грязными лапами...

Кладу ему голову на плечо, закрываю глаза...

— Ты что, Серый?.. — поднял небритую рожу от газеты.

Вот оно братство, думаю, оно не в общем деле, не в общих заботах, радостях-печалях, тут подороже — общность судьбы, какая разница, кто из нас хуже-лучше, кто разберет...

— Ну, отпустили?

— Дождались!

— Во суки?!

— А ты думал — чего тебе?

— Да у нас в камере никто не выйдет?

— Захотел! Когда было, чтоб отпустили!..

— Коммуняки!..

— Пошли они со своей газетой!..

— Амнистия!..

У Генки вырвали газету, рвут в клочья, топчут ногами...

— И ветеранов не выпустят? Хрен с нами, но — ветеранов!

— Ну гады, подождите, я с вами посчитаюсь!..

— Резать их, жечь! По-гу-ляем!..

— Что с тобой, Серый? Неужели верил, отпустят?

— Завели, бес поймал. Хуже нет, когда ловишься на такую дешевку, за себя стыдно...

— Забудь. Тебе, я гляжу, скучно в семье, переходи за дубок?..

Сидим у Олега, его шконка возле окна, против Яна, по другую сторону дубка. Он мне сразу понравился, но я уже боюсь людей и первому чувству перестал верить. Ничего в людях не понимаю. Боюсь говорить с ним, так он мне нравится... Густая шапка русых волос, носатый — грузин из Сухуми. Был барменом в московском ресторане, в Москве у него жена, квартира, а все остальное в Сухуми. Кликуха у него — «Князь». Тот Олег — Князек, а этот — Князь. Веселый, легкий человек, на себя не тянет.

— Выйдешь, — говорит, — увезу тебя в Сухуми. Отойдешь, все забудешь, я тебя так спрячу, никто не найдет.

— В горах, что ли?

— Зачем в горах, и море будет рядом, и речка, а никто не найдет. Хочешь — пиши, живи, как хочешь.

— Запомни мой адрес, Олег, выйду-не выйду, а к моим придешь, расскажешь.

— Если тебя не будет, племянника увезу. У меня яхта, пусть ходит под парусом. А выйдешь, уйдем в Турцию.

— Нет, — говорю, — здесь интересней. Где такое увидишь?.. Зачем они нам и мы им — зачем?

— Так думаешь?

— Я так живу. Долгов много. Надо рассчитаться.

— Тогда выйдешь. Если долги не отдал, надо выходить. Не на племянника их вешать?

— Верно, — говорю, — мои долги на мне. Вот у меня и дело на всю оставшуюся жизнь — рассчитываться.

— Нормально, Серый, — говорит Олег, — когда так решил, ничего с тобой не сделают. Когда человек хочет отдать долги, он их отдаст. Перейдешь за дубок?

— Перед ребятами неудобно и... Стас подумает...

— Плюнь, я на себя беру. Поговорю, они у меня не пикнут. А Стас... Попомни мое слово, он у нас будет за старшего. Увидишь, недолго осталось. Я за ним давно замечаю... Яна уберут, он им не годится: когда нам хорошо — им всегда невыгодно. Вот и будем вместе, а в случае чего, и выкинут вместе. Вдвоем всегда веселей. Договорились?..

...Я больше не могу, у меня нет сил, их много, а я один, я путаюсь и сбиваюсь, не могу вместить, мне не хватает, пошло через край, хлынуло из ушей, изо рта, из носа, в глазах мелькает, кружится, звенит... Кто они, что в них, что происходит с ними, с каждым из них — кто они и кто я? Я не могу больше!

Господи, думаю я, прости и помилуй меня грешного... Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя... Отче наш, думаю я, у меня ничего нет, кроме Тебя, у нас ничего нет, кроме Тебя. Я прошу Тебя, Господи, я умоляю Тебя, Боже мой, о всех о нас, и о тех, кто помнит о Тебе, и о тех, кто забыл о Тебе, и о тех, кто Тебя не знает, не хочет знать — но и у них больше ничего нет, больше никого нет, а то, что есть, на что они рассчитывают, надеются, их только погубит...

Иже еси на небесех, думаю я. Ты рядом, Господи, Твои небеса близко — они здесь, в этой страшной камере. Ты дал мне возможность об этом узнать, ощутить, почувствовать Тебя рядом, для того я, по милости Твоей, и попал сюда, я это знаю, понял — Ты всегда здесь, всегда рядом. Ты вырвал меня из мира, которому у меня не было сил сопротивляться. Ты знал это лучше меня и решил за меня.

Да святится Имя Твое, да придет Царствие Твое, думаю я. Как только я произношу Твое Святое Имя грешными устами, я слышу Тебя, Господи, Твое Имя в каждом из нас, стоит только забыть себя, о себе, увидеть Тебя в другом. Я помню, как Ты шел ко мне из алтаря, ступив легкой ногой на облако, плыл в голубовато-золотистом свете. И с тех пор Ты со мной, Господи, Ты не оставил меня. Ты всегда рядом, знаю, чувствую, понимаю — Твое Царство и здесь, в смраде и ужасе этой камеры.

Да будет воля Твоя, Господи, яко на небеси и на земли. Земля стоит только небесами, Господи, только Твоя воля держит весь мир и нас грешных и недостойных, не дает нам пропасть. Но если Ты захочешь, Господи, поможешь, коснешься нас, мы сможем подняться... Сам я ничего не могу, только с Тобой, только Тобой, Господи, Боже мой!

Хлеб наш насущный даждь нам днесь, Господи. Пайку, которую Ты даешь нам — мы им за нее ничего не должны, власти не должны, тюрьме не должны, это

Твоя милость, Господи, Твой хлеб, и с Твоей помощью, с Твоей благодатью он станет для нас хлебом насущным, Твоей милостью станет нам причащением Тела Твоего, Господи. Если мы принесем покаяние, если сможем понять — и не разумом, всюю кровью, сердцем, всем составом естества, что мы ничто без Тебя, что у нас не останется сил — ни у самых сильных, ни у самых мужественных, ни у самых жизнестойких. Ничего не сможем, если Ты не дашь нам Своей небесной силы, хлеба насущного, осознания своего ничтожества и греха, нас съевшего.

Остави нам долги наши, Господи, яко же и мы оставляем должником нашим... Прости нам, Господи, наши долги, наш грех пред Именем Твоим Святым, перед людьми, в которых мы забыли Твое Имя, прости и помилуй, Господи, научи нас, научи меня, Господи, оставить должником все, что они мне должны! Я и сейчас, и здесь, трепыхаясь в Твоей Руке, грешу и грешу судом над другими, свожу счеты, Господи — помоги и помилуй меня, ради покаяния моего...

И не введи нас во искушение... У меня нет сил, Господи, я не выстою пред искушением, снова паду, если Ты не поддержишь, не спасешь меня, если попустишь врагу рода человеческого снова и снова играть со мной... Я слишком легкая добыча для него, я не могу без Тебя, ничего не смогу без Тебя. Избави меня от лукаваго, Господи, запрети ему, я весь пред Тобою, Ты знаешь меня лучше меня самого и у меня ничего нет без Тебя...

Вот мой последний грех, Господи, он и здесь мучает меня, нераскаянный грех, помоги мне избавиться от него... Разве можно ненавидеть и м я, думаю я, разве можно, столько узнав о себе и своем недостоинстве, поняв всю меру собственного греха и своего долга перед человеком, в котором я не увидел Бога — продолжать множить свой собственный грех длящейся ненавистью, обидой, сведением счетов с несчастным, не знающим о Тебе?.. Ему еще хуже, Господи, я должен ему сострадать, его понять, хотя бы перестать его ненавидеть! Научи меня любить того, кого я так ненавижу! Прости и помилуй меня за все, Господи...

Имя, думаю я... Разве и м я, то, которым я про себя называю его, повторяя, твержу запекшимися от ненависти губами, разве это его имя? Детское прозвище, сокращение, кличка, кликуха. У него есть подлинное, на-

реченное при рождении, пред которым я... Как же я забыл, как мог забыть!.. И я вспоминаю все, что знаю, собираю по крупицам,— из прочитанного, услышанного — и он возникает передо мной: юноша, воин на белом коне, Ангел небесный с копьем в руке и ноги коня попирают змия... «Господи Боже мой!..—вспоминаю я слова молитвы того, кто на три дня был брошен в ров с негашеной известью, после колесования, перед тем, как обули его в сапоги с раскаленными гвоздями, перед чудом воскрешения им мертвеца из гроба, перед...— Господи Боже мой!—сказал юноша-воин посреди истязаний.— Услышь молитву раба Твоего, призри на меня и помилуй меня. Избавь меня от потворств супротивного и дай мне соблюсти до конца моей жизни исповедание имени Твоего Святого. Не оставь меня, Владыко, за мои грехи, чтобы не сказали мои враги: «Где Бог его?..»

Святой отче Георгий, моли Бога о нас, о мне недостойном, окаянном и грешном...

Глава четвертая
БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК



Что меня ташут обратно на спец я не верил, а потому разговор с врачом пропустил мимо ушей. Я только понять не мог, почему спустя два месяца после моего заявления (для Гарика я его написал, надо было хоть что-то придумать, неловко, да и обещал ему...) врач вдруг обо мне вспомнил... «Полухин, к врачу!» — грохнула кормушка. Удивился, а все развлечение — пройтишний лишний раз по тюрьме, а когда открыли дверь, увидел, как блеснули желтые глаза Яши, провожавшие меня: «Думает, к куму, не иначе... А может, и верно, к куму, с какой стати к врачу?..»

По тюрьме мне пройтишний не удалось, кабинет врача оказался в нашем коридоре, через две камеры.

Да какой он врач, думаю, нормальный вертухай, и халат не надел, лень ему, на тракториста похож, чумазый, вроде, и соляркой потянуло, в зубах сигарета...

Лепила привел меня, застрял в дверях. «Помог бы, Вася,— говорит,— болею.»— «Мешать не надо,— говорит «тракторист»,— или белое, или красное. Чему тебя отец учил?»— «Тому и учил,»— говорит лепила. «Погоди,— говорит «тракторист»,— и с химией разберемся... У тебя чего?— это мне вопрос,— на что жалуешься?..» А я, было, и о заявлении позабыл, и о чем в нем писал не помню, два месяца прошло, да и без толку, разве у такого получишь, ничего не даст... «Астма,— говорю,— с детства. Мне бы теофедрин...»— «Ты бы героину попросил,— говорит лепила,— во наглость какая!»— «А мне на спецу давали. Зачем тогда спрашиваете, если лечить не хотите?»— «Уйди, Генрих,— говорит «тракторист»,— я тебя позову.»— «Мне не продержаться, дал бы чего.»— «Я тебе счас дам...»

Лепила ушел. Я не знал, что он «Генрих» — лепила и лепила, но мразь отменная. На спецу фельдшерами молодые девчонки — и улыбались, и аналгин давали, и соду, и горчишники (из них горчицу делают в камере — и на хлеб), а этот зверюга даже валидол заставлял класть под язык при себе. Откроет кормушку, металлическим штырем раздавит таблетку прямо на откинутой железной полке, смахнет в грязную лапу — и в рот. Да и редко давал хоть что-то, рывкнет: «Не санаторий, обойдешь-

ся! Следующий...» Мужики говорили, он с зоны лепила, когда его смена и не просили, все равно не даст.

«Тракторист» поглядел на меня сквозь дым от сигареты: «Астма, говоришь... Душно, стало быть?» — «Душно», — удивился я. «Летом не то будет, сдохнешь. Тут не такие крикают, валяются, со шконок, как мухи... Куришь?» — «Курю.» — «Правильно, свой дым полезней. Шестьдесят человек в камере?» — «Шестьдесят.» — «Будет восемьдесят, ты и дня не продержишься, а будет обязательно...»

Смотрю на него во все глаза — кто такой, что ему надо?

«Стало быть, астма, — говорит, — в камере шестьдесят человек, все курят и дышать тебе нечем... Ты где жил на свободе?» — «В Москве, в центре.» — «Всегда?» — «Всегда, родился тут.» — «Про чего ж ты писал, чего тут можно увидеть?» — «А что мне надо видеть?» — «Как люди живут, чем деньги зарабатывают, как хлеб растет. Или ты думал, булки на станках нарезают — и в магазин?» — «Я про себя писал, не про булки.» — «Про себя?.. Про тебя мне не интересно. Я в Москве три года, а про себя, и что помнил, позабыл. Но я бы мог... писателем. В деревне проснешься, выйдешь, продышишься, ухо к земле — слышать, как трава растет. Вот о чем писать.» — «А кто вам не дает — пишете.» — «А как, с чего начать?» — «Так и начинайте: проснулся, вышел, поглядел на небо, на солнышко, встал на коленки, перекрестился — и про свою жизнь.» — «Про свою... А кому она нужна, чего у меня такого было?» — «Да уж наверно, побольше, чем у всех, если... Променять такую красоту на тюрьму? Меня сюда притащили, а вы, выходит, своими ногами. Или кто неволил?..» — «Вон ты какой! Верно, писатель. Правильно тебя посадили, может чего стоящее напишешь... Давай-ка, писатель, переходи на спец.» — «Как... переходи?» — «А так. Согласен на перевод?» — «Не знаю, у меня место хорошее, близко к окну. Не так душно...» — «Гляди, твое дело. Как сам говоришь, неволить не станем. Только учти, меня больше не увидишь, уйду. Пока своими ногами. Но летом ты крикнешь, запомни. И... бани у вас на общаке полтора месяца не будет. Ремонт, трубы лопнули... Ты об этом молчи, я тебе, чтоб знал, а им не надо, все равно не помочь, чтоб паники не было. Так как — согласен?» — «Я не пойму, зачем вам... мое согласие?» — «Чтоб базара не было: таскают туда-сюда, а ты не хочешь...»

Вон оно что! — думаю, — может, на воле шум подняли?

«А в какую хату?» — «Какая тебе разница, пять человек, народ солидный, не то что тут, шелупень». — «Я подумаю, сразу не сообразишь.» — «Думай. Полчаса хватит? Завтра меня тут не будет.» — «Хватит», — «Генрих!.. — крикнул «тракторист». Лепила вошел. «Отведи его обратно.»

Мы вышли в коридор, у меня голова кругом — что за разговор, что они задумали? Ни одному слову не верю.

«Дал героинчику?.. — спрашивает лепила. — Ишь, чего захотел. Ты и с героинном подохнешь. Видал я таких жмуриков...»

В камере я сразу подошел к Олегу. «Чего думать, — сказал Олег. — Соглашайся. Тут тяжело будет. Яна выкинут не сегодня-завтра, Стас на его место, а меня на суд. Плохо тебе придется.» — «Чего же они задумали?» — «Плюнь на них. Сейчас для тебя лучше, а там поглядишь...»

Позвали к кормушке. Не лепила, «тракторист». «Надумал?» — «Надумал.» — «Ну и правильно. Собирайся, сейчас за тобой придут...»

Нет, про спец, я не думал, не поверил. Перегорела во мне надежда, что хоть когда-то может быть лучше — только хуже, другого не жди... Правда, библиотечную книжку отобрали, значит, не общак.

Вниз, вниз тащит, и лестницу спецовскую — знаю я ее! — ту самую, как в старом доходном доме, мелькнула сбоку, у меня даже душа заныла, и ее прошли. Мимо...

— Куда меня? — спрашиваю.

Вертухай и ухом не повел.

На сборку, думаю, куда еще. И сразу в отстойник, вроде, и в нем я был, а может, похож, сколько таких...

С матрасом, подушкой, одеялом, мешок с барахлом... Не успел оглядеться, сзади грохнула дверь. Закрыл.

Темновато в отстойнике, пусто, надо ж, как пощастливилось, хотя бы побыть... Нет, сидит один, не разглядел сразу, засуетился, обрадовался, что никого. Под самой решкой, скукожился — холодно, что ли?..

— Батюшки!.. Вот так встреча! Ты живой? — спрашиваю.

Глядит на меня, моргает.

— Не узнаешь? — говорю. — Плюсквамперфектум...

— У-у...—мычит.— Как же.. И вы, значит, тоже...

— Что «тоже»?

— Живой,— криво усмехается, жалко.

Я бросил мешок, матрас, сажусь рядом на лавку.

Четыре месяца, думаю, почти пять... Крепко его помяли, как из мясорубки. Что в нем осталось — а было ли хоть что?

— Ты откуда такой? — спрашиваю.

Не отвечает, глаза напряженные, бледный, губы дрожат.

— Закурим? — говорю.— Или ты бросил?

— У меня нет, все, что было...

— А у меня много, поделимся.

Достаю из кармана пачку «примы». Мне и Олег дал, и Князек, и Ян — хорошо прощались, как братья...

Жадно затягивается, видать, давно без курева.

— Что ж с тобой случилось — ты где был эти месяцы?

— Меня со спеца вытащили, а куда дальше, не знаю.

— Я тоже не знаю. Но я с общака... Кто ж из нас Счастливых, а кто Несчастливых?

Молчит, не принимает шутку. Или не понял?

— Ты в какой камере был на спецу? — спрашиваю.

— Я?.. В двести шестидесятой.

— В ка-кой?.. Давно ты там?

— Два месяца.

— Вон как. А до того где был?

— На больничке... Нет, это сначала, потом — на общак.

— В какой хате?

— Н-не помню, я там один день...

— А что случилось?

— Зачем вам? Плохо стало. Душно. Народу много, драки.

— И сразу на спец?.. Как же тебя перевели?

— Перевели...

— Говорить не хочешь. Твое дело. У тебя какая статья?

— Сто семьдесят третья.

— В институте работал?

— В институте.

— В каком?

— В МАИ.

Вон как сходится, думаю. Надо с ним аккуратней, напугается, ничего не скажет.

- Давно тут сидишь, в отстойнике?
- Только что, перед вами.
- Следовательно вызывает? — не отстаю я.
- Два раза, тянут.
- Ты один по делу?
- Здесь один. Еще на Бутырке.
- Женщина?
- Женщина.

— Ладно,— говорю,— мне не надо. Кто ж остался в двести шестидесятой? Я там два с половиной месяца, как тебя вытащили на сборке перед шмоном — помнишь? Тебя значит на больничку, а меня в двести шестидесятую.

— Там сейчас... пятеро.

— Боря Бедарев там?

У него в глазах ужас, даже сигарету выронил.

— Ты что? — спрашиваю.

— Н-не знаю.

— Что — не знаешь?

— Я больше не могу,— говорит.

— Да что они с тобой сделали, что ты всего боишься? У нас с тобой общее, начало, самое страшное здесь — сборка, она нас связала. Может, я тебе чем помогу, ну... советом, еще чем — что ты в такой панике?

— Не самое страшное,— говорит.

— Что — не самое страшное?

— Первый день, сборка. Дальше было хуже.

— Где? — спрашиваю.

— На больничке. На общаке. И на спецу. То есть... на больничке легче. И на спецу. Но... Не могу больше.

— Тебя как зовут? — спрашиваю.

— Георгий.

— Георгий?..

У меня мелькает смутная мысль, я ее сразу отгоняю. Слишком много совпадений...

— Жора, значит?

— Я никому не верю,— говорит,— они со мной...

— И я никому не верю, что из того? Но людьми-то мы остались? Какая мне в тебе корысть?

— Не знаю,— говорит,— может...

— Ты сам себя загоняешь, загнал, а тебе жить надо. Да сколько б ни дали, все годы — твои, все кончается и срок кончится. Зачем ты себя... У тебя остался кто на воле?

— Остался... Нет, я теперь ничего не знаю...

Не получается из меня утешитель, да и зачем мне, мы в тюрьме, не в богадельне, здесь каждый за себя...

— Значит, Боря там,— говорю,— еще кто? Пахом там?

— Пахом ушел. Они с Бедаревым не... заладили.

— Вон как! А у тебя что с... Бедаревым?

— Послушайте...— говорит он,— я вижу, вы порядочный человек, я здесь таких не видел. Я не могу больше... Все эти месяцы, каждый день меня... обманывают, мучают. Я себя потерял, они меня забьют— понимае-те?

— Нет, не понимаю. Мы с тобой в одной тюрьме, пришли вместе. Я только в больничке не был, в тех же камерах.

— Они меня... запутали.

— А ты плюнь! У тебя своя жизнь и срок будет свой! Все равно будет, отсюда не выйдешь. Но здесь, учти, ни от кого, кроме мелочей, ничего не зависит, а у тебя впереди жизнь, не мелочи. Знаешь, как говорят: на воле страшно, могут посадить, а здесь чего бояться— уже посадили!

— Хорошо бы нам вместе,— говорит.

— Может быть. Мне и с Борей было хорошо. Сначала хорошо, потом плохо. Что он тебе сделал?

— Он все время что-то придумывает, я не понимаю... Бывает, как зверь, с ним что-то случилось...

— Что?

— Не знаю... Его не поймешь.

— Не надо мне,— говорю,— я про Борю и так все знаю, а что нет... Не в подробностях дело, мы с ним два месяца спина к спине, на одной шконке.

— Ему нельзя верить, ни одному слову, не поймешь на кого он...

— Ты сам сказал, здесь никому нельзя верить. И тебе нельзя, и мне— нельзя. Что ж, мы должны грызть друг друга? Зачем тебе верить-не верить? Посадили— сиди. Мы скоро полгода здесь, осталось меньше, а там зона— письма, небо, работа, книги, чай будем пить...

— А если опять на... общак?

— Ну и что с того, ты ж там был?

— В том и дело, что был.

— В какой ты был камере? Хоть кого-то запомнил?

— Один похож на... обезьяну, кавказский человек. Другой... старик, борода седая, художник...

— В сто шестнадцатой?!

— В сто шестнадцатой, верно. А вы... знаете?

— Я там месяц... Погоди, меня и привели сразу после тебя? Рассказывали, один выломился... Верно! Из больнички, коммунака, интеллигент... Так это ты и был?

— Не знаю, может быть.

— «Велосипед» устроили?

— Да, этот с бородой ввязался, ему голову проломил.

— Мы с тобой по одним и тем же хатам, друг за...

— Бермудский треугольник,— говорит,— здесь все так.

— Какой... Бермудский?

— Очень просто, им так легче, проще. У них сетка — понимаете? Скажем, по три, по пять камер в сетке, в ячейке. Они и тасуют — из одной в другую, чтоб самим не запутаться. А нам и не надо больше, нас все равно закружит...

— Ловко! — говорю.— Кто ж это — кум придумал?

— Н-не знаю, наверно.

— Черный такой, руки волосатые?

— А вы... его видели?

— Нет, но слышан. Значит, «Бермудский треугольник», а кум крутит эту карусель? Емко...

— Вы не станете на меня... ссылаться?

— Кому «ссылаться»? Да что с тобой, опомнись!.. Послушай, Жора, скажи мне... Ты знаешь такую... Да нет, едва ли, у вас много народу, большущий институт...

— Какой институт?

— МАИ. Разве что, случайно... Лаборантка, не знаю какая кафедра... Нина?

— Ни-на? — переспрашивает он.

И тут вижу — кровь хлынула ему в лицо, красные пятна, на лбу пот...

— Ты ее знаешь? — спрашиваю.

— Если это она. Нина... Щапова.

— Щапова?! Нина. Глаза у нее... голубые, большие, в пол лица. А бывает... зеленые.

— Она не работает в институте. Ушла. Два года назад... То есть, перешла на другую кафедру, на полставке...

— А почему ты... покраснел? — спрашиваю.

— Это она... За нее.

— Что — за нее?

— Наказание. Мне. Видите как... интересно...

Первый раз глядит на меня. Что-то в нем сдвину-

лось, возникло, чего раньше не было. И глаза отвердели, вот уж не думал, что осталось хоть что-то...

— Скоро пять месяцев, как я здесь,— говорит,— а мне в голову не приходило.

— Что не приходило?

— Спасибо вам, вон как бывает, услышишь от кого-то, о чем-то, а получается — о себе.

— Не понял.

— Возмездие,— говорит он.— И Бедарев что-то плел о возмездии, я не слушал, не надо было. А тут! обо мне. В самую точку. Услышал. И эта... баба, что сейчас на Бутырке, пусть она сука последняя, а как тяжело ей, и ее муж, где он, может, и он тут, и вся история, которую следовательно разматывает, а что разматывать, ясно... И все на что я здесь нагляделся, на себя раньше всего... И зона, о которой вы говорите... Все за нее. За Ни-ну. Я виноват перед ней. Я ее обманул.

2

Я уже у дверей камеры почувствовал — плыву. Бросил мешок, прислонился к стене и закрыл глаза, боюсь хоть как-то себя выдать... «Не может быть,— стучит в голове,— так не бывает, здесь не может быть случайностей, накладок...»

Открыл глаза — рядом никого. В другом конце коридора стоит мой¹ вертухай — о чем-то еще с одним, отсюда и голоса не слышно. И ничего не слышно — мертвая тишина.

Собрался с духом, поднимаю голову: прямо против меня железная дверь камеры — «260»...

Он просто не знает — куда, нет распоряжения, потому и бросил в конце коридора, чтоб не таскать по всему этажу, сейчас выяснит, поведет дальше...

Посмотреть бы, отодвинуть щиток глазка... Боря не боялся, когда ходили в баню — двумя этажами ниже, спецовская баня, комнатуха на четыре соска с предбанничком, Боря всегда шел сзади и шелкал глазками всех камер по пути... Он не боялся, а я робею. Когда страх — нет свободы, думаю. Если боишься потерять хоть что-то, — ты уже не свободен, а я все время боюсь потерять, и сейчас, знаю, понимаю — быть того не может! — а все жду, вдруг...

Чудеса начались сразу, как только меня выдернули из отстойника. Миновали один поворот — и спецовская

лестница. Та самая! Пусть бы третий этаж, думаю, пусть четвертый... Еще выше... Неужто пятый, мой?! Пятый последний, выше нет, там крыша, а все не верю... Отпер дверь, вывел в коридор... «Стой»,— говорит. И пошел вразвалочку в другой конец, обратно.

Пусть рядом, думаю, пусть в другом конце — один коридор, общие дворики на крыше, одна баня. Можно написать на двери во дворике, на стене в бане, можно покричать на прогулке... А зачем, думаю, что за сентименты в тюрьме — зачем он мне? И я вспоминаю глаза Жоры, взгляд, которым он меня проводил, что в нем: надежда — на что? — найденный выход — какой? — а может — отчаяние? Что я ему мог сказать, ничего не хотел говорить, здесь каждый решает сам, да и как помочь, если не просит...

И тут вижу: оба идут — «мой» вертухай вразвалочку, второй звенит ключами. Подошли, на меня не глядят... А я все не понимаю, он уже дверь открывает, а я стою у стены, ничего не могу по...

— Чего ждешь — особого приглашения?

Сейчас кто-то их остановит, нелепо думаю я, кто-то придет, позвонит... Разве может быть, чтоб заранее не распорядились, не указали камеру? Все у них продумано...

— Ну!.. спишь, что ли?

Его равнодушие и заставляет меня опомниться. Я хватаю мешок, матрас, делаю два шага — и сзади гремит дверь...

Потом мне казалось, я преувеличиваю свои ощущения: просто растерялся, никак не ждал, заставил себя забыть, что возможно сбыться тому, что и хотеть не решаешься, о чем не позволяешь себе мечтать... Нет, ничего я не преувеличил, так и было. Даже не радость — счастье было таким полным и... зрелым, ни с чем не сравнимым... Да и с чем его было сравнивать? Чем я бывал счастлив в той прежней, навсегда ушедшей жизни?.. Полнотой любовного чувства? Но разве не примешивалась всегда к той полноте ложка дегтя — страсть, хорошо, не похоть, щекочущий укус самолюбия, страх утратить свободу... Может быть, радость удачи, осуществление выношенной мечты, сделанной работы? А что ее кормило, ту удачу, на чем она выросла, не на тщеславном чувстве — смог, сделал, доказал, удивил... Мне подумалось однажды, как просто с нами, со мной: сидят два бесенка, из самых рас-

последних, замызганных, канцеляристы в том департаменте, скучно им, не интересно, все заранее знают, слишком легко, даже азарта нет, обрыдшее дело, канцелярщина. Сидят в загаженном, мерзком отстойнике, играют в кости. Один — блудник, второй — тщеславец. Бросают кости на кого-то — на меня они бросают! И тот, кто выигрывает, получает в тот самый момент безраздельное право... На меня получает право. И меня швыряет — туда или сюда. И я захлебываюсь, выигранной кем-то из тех «канцеляристов» «радостью», падаю ниже, сползаю еще на одну ступеньку. А они ухмыляются. Или перестали ухмыляться: скучно, слишком со мной легко, игра для них беспроигрышная. Но у них такая работа, вот и придумали развлечение, хоть какое-то разнообразие — кости. А я на качествах — туда или сюда.

Даже церковь, думаю я, которую открыл для себя, увидев однажды рядом с домом, на той самой улице, по которой бегал мальчишкой, гулял юношей, проходил по своим делам, не видя, вполне взрослым человеком... Но однажды что-то во мне щелкнуло, вошел... Вошел ли? Чем стали для меня счастливые слезы — в полумраке, потрескивании свечей, а в их мерцающем свете лики икон, никогда прежде неведомый запах, падавшие в душу слова молитвы, взмывавшее ввысь и заполнявшее все вокруг пение? Непостижимое чудо прикосновения к неведомому, к тайне?.. А что она, что в ней, кроме моих сладких слез и томления духа — опять для меня, чтобы взять, присвоить себе и это? Кроме того, что уже было, что успел схватить, прибрать к рукам, приспособить, что делало меня тем, кем я был. Или казался. Чтоб не быть, а казаться. Для себя, только для себя одного. Разве хоть что-то я знал — о Христе, и войдя в церковь, открыв ее рядом с домом, на той самой своей улице, прочитав три десятка книг и споря до хрипоты с такими же, как я, уцепившимися за нее, за церковь, не зная, не понимая, не ведая куда мы пришли? Что я знал о Христе?..

Я стою в дверях и гляжу на камеру...

Я знаю здесь каждый... предмет, они навечно врезались в память, в душу — первая камера, как первая любовь... Кто это сказал? Кто надо... Во мне сказалось однажды, здесь.

Но это потом. Или сразу. Как обвал: непостижимое чудо возвращения домой, о котором не мог мечтать.

— Серый?..— говорит Боря.

Тихо говорит, шепотом, стоит у раковины...

— Вадим! — кричит Гриша.— Вадим!! Вадим!!!

— Тихо...— говорю,— вытащат, это... накладка.

Но Боря уже опомнился, взял себя в руки, он, и правда, растерялся, меня увидев. Как же он изменился! Опухшее лицо, длинные баки, бледный...

— Вернулся, вернулся! — кричит Гриша, прыгает вокруг.

И он изменился: рыхлый, опустившийся... Что с ними?

В камере еще двое: один спит, укрылся с головой, второй сидит на моей шконке у окна: голый по пояс, в татуировке.

— Я знал, ты вернешься,— говорит Боря.— Но не думал, что к нам. Что на спец — знал, но что в эту камеру...

— Погоди, может, вытащат,— все еще не верю.

— Перестань,— говорит Боря,— такого не бывает.

— Скелет в очках,— говорит Гриша,— откуда ты, не кормили два месяца?

— Да нет, вроде, кормили...

Выходит, и я изменился...

В камере светло, открыты окна (а когда уходил, были вторые рамы), «реснички» проржавевшие, разогнуты, солнце катит в камеру, перебивает «дневной» свет под потолком, ветерок, и я вылезаю из ватника, стаскиваю сапоги...

— Да у вас можно жить!

— Все,— говорит Боря,— пока ни о чем не будем, отдышись... Я тебе сейчас покажу... Нет, потом...

Он и говорит иначе — неуверенно, суетливо.

— Садись... Да не возись ты с мешком! Сыграем в «мандавошку» — не разучился?..

Гляжу на него: если б не знал, что это... Боря...

Развязываю мешок, достаю кусок сала, сухари, сигареты — Олег поделился всем, что у нас оставалось.

— Купец вернулся,— говорит Боря.— Видал?..— он оборачивается к малому на моей шконке.— Познакомься.

Малый встает. Босиком, на плечах шевелится живопись:

— Артур. Твое место?.. Освобождаю.

— Ладно,— говорю,— я тут где только не лежал.

— Давай, давай, я не надолго.

У него движенья мягкие, кошачьи, глаза острые. Такого еще не видел.

И тут еще один вылезает из-под одеяла, четвертый... Андрюха Менакер!

— Серый?!..— кричит.— Живой! Откуда?

— С общака...— смотрю ему в глаза, надо сразу, не тянуть.— Из сто шестнадцатой,— говорю.

— Вон как?..— Андрюха тянется за сигаретами.

— Костя говорил о тебе,— уточняю я.

— И ты поверил?

— Поверил.

Он тоже другой — Менакер. Или у меня зрение стало другим? У каждого свое, но два месяца тюрьмы — для всех два месяца тюрьмы, а у них перед тем еще по полгода.

— Что он тебе говорил? — спрашивает Менакер.

Он пожелтел, мышцы, прежде буграми гулявшие под розовой кожей, обвисли, и шкура не розовая, серая.

— Что ты сука, сказал Костя, заложил его еще на воле.

— Да пошел он! Дождется, мы с ним встретимся...

— Вот и он говорит — «встретимся».

— Чего он тебе лапшу вешал! — кричит Менакер.— Меня на Лубянку потянули, они и взяли... Не прокуратура, как его! Когда стали получать «марки» из Франции, ГБ сразу сел на хвост... Я тебе рассказывал — не помнишь? Он думает, чистенький ходил? Король черного рынка! Они его, как облупленного знали, мне все документы под нос — чего он тебе мозги пудрил?

— Ты меня спросил, я ответил. Будешь знать. А кто из вас кого сдал, не мое дело.

— Отстань от него,— говорит Боря.

— Ты послушай, Боря, что он мне лепит! — горячится Менакер.— Он, видишь, что на меня вешает?..

— Сказано, отстань,— говорит Боря,— он тут зачем? Да пошли вы все... Еще Пахом вязался...

— Где он? — спрашиваю.

— Вытащили, больно умный... Ладно, гляди, чего тянуть... Узнаешь?

Чувствую, камера напряглась — Боря, Гриша, даже Менакер, завалившийся было на шконку — и глядеть на меня не хочет! — и он напряжен, ждет; даже Артур глядит с любопытством.

Но я-то знал... Почему, каким образом я мог знать, что увижу, что именно это и ждет меня, если

случится чудо и я вернусь?.. Так может быть только в тюрьме: все так напряжено, такое таинственное поле создает это напряжение, что ты знаешь о том, что никак знать не можешь!

Я держу в руке фотографию: запеленутый младенец, месяца два... Конечно, мне его не узнать, как узнаешь, когда не видел да и что тут можно увидеть! Но я вижу руку, на которой он лежит, и руку я знаю. Я вижу кусок стены, угол, и кону... И икону я знаю.

— Спасибо,— говорю Боре,— я знал, что... это увижу.

— Узнал? Твой?.. Ну...— у Бори дрожат губы.— А этот фраер, свинья кричал здесь... Слышали, что он кричал? Не Серого, не похож!.. Я на него еще погляжу...

— Пахом говорил, не похож? — спрашиваю.

— Хрен с ним, и думать не хочу об этой мрази,— говорит Боря.— Вот тебе еще подарок... Что скажешь?

Он протягивает исписанный листок.

И я отворачиваюсь, отхожу к окну, мне не по силам.

Стена под решкой, когда-то коричневая, давно черная, в одном месте выбита штукатурка — рваное белое пятно, известка, и я вспоминаю: каждое утро открывал глаза, видел это пятно и каждый раз «фигура» была другой...

«Дорогой Боря! — читаю я: смешной детский почерк не слишком старательной ученицы.— Мы так скучаем и так беспокоимся о тебе! Как твое здоровье, нужны ли тебе лекарства, напиши, постараемся достать и передать. Мальчика называли Вадимом в честь его дяди, он будет похож на тебя, я в это верю, он и родился в тот самый день и в тот самый час. Он хороший, послушный и здоровенький, мне не трудно, не беспокойся, Митя все время со мной, а когда его нет, приходит Нина...» Подчеркнуто, подчеркнуто!.. Я закрываю глаза, потому что внезапно строчки сливаются передо мной... Потом я начинаю сначала: «Дорогой Боря! Мы так скучаем и так...» Дальше! «...приходит Нина. Мы с ней подружились и она мне помогает, сидит с Вадиком, если мне надо в магазин или куда. Она хорошая, огненного искушения, говорит она, не чуждайтесь, как приключения странного, и сидит с малышом. Это она, конечно, шутит, ты понимаешь, потому что говорит, ей сидеть с ним одно удовольствие. И мы тоже не чуждаемся и тебя очень любим, так что ты не беспокойся, видишь, я не одна, у нас дома двое мужчин и нас с Ни-

ной двое. Вадик хорошо спит, а когда не может уснуть, я включаю ему эфир и он с радостью слушает музыку о своем любимом дяде, даже когда наш старый проигрыватель сильно трещит. Целую тебя, дорогой Боря, лишь бы ты был здоров и делал, что должен делать, а все остальное будет, как быть должно, и мы будем за тебя радоваться, как поется и как любит в шутку повторять Нина. Целую тебя, твоя сестра Марийка. П. С. Помнишь, я тебе говорила, какой Митя хороший, но ты еще не знаешь, он такой, как ты, и я его тоже очень люблю.»

— Я знаю,— говорит Боря,— мне рассказывали о тебе: стоит под решкой, у стены, дышит...

— Кто рассказывал?

— Когда таскали к следователю, мужик в отстойнике: есть, говорит, у нас один писатель... Хреново было?

— Сам знаешь, ты рассказывал про общак. Так и было.

— Суки! Но я знал, тебя оттуда заберут на спец, но не думал, что сюда! Я и надежду потерял увидеться, а мне надо! Тебя вытащили, а через день Ольга отдает письмо... Да переведи его на больничку, говорю ей, придумай, возьми своего майора за...! А у нее не выходит. А тут этот... Пахом...

— А что случилось? — спрашиваю.

— Полез не в свое дело. Пес с ним... Тут вот что. Кум унюхал, в хате стучат... Сколько я их повыкидывал, надоело, перед тобой один был...

— Кто такой?

— С больнички, фраер... А может, не стучал, может, Ольга болтанула лишнего по бабьей глупости... Короче, месяц проходит, другой пошел, а ты все там... Неужель мы ничего не можем, думаю. И тут тебя в другую хату на общаке... Знаю — на четвертом этаже.

— Меня о тебе спрашивали,— говорю,— и в первой хате, и во второй. И больничку ты купил, и канал у тебя на волю, и денег полная тетрадка...

— Кто спрашивал?

— Кумовские ребята. Шупали.

— Да пес с ними, главное — ты здесь! Теперь все лето вместе... Слушай, Серый, у меня верный канал, пиши ответ, видишь, ждет, как получил, так и передам. Ольга законтачила с моей сеструхой, а та с твоей. Они вместе...

— Кто вместе? — меня озноб прошиб: вон куда влез!

— Моя Валька с твоей сестрой. У них общие дела — про детей. Валька беременная, потом расскажу, у них свои разговоры — бабьи дела. Мне Ольга говорила. Я с ней два раза в неделю, железно — у нашей врачихи, у Лидки...

— Что-то ты гуляешь, Боря?

— Чего — гуляю?

— Зачем ты в камере, при всех? Письмо, фотография... Он все о тебе знает.

— Кто знает?

— Кум. Не зря ко мне вязались на общаке.

— Брось, Серый, хуже не будет, только лучше. Я ей верю! Она без меня — ни шагу, а майор у нее, как... на аркане.

— Не пойму я тебя, Боря, такой битый мужик, а говоришь, как... мальчик.

— Эх, Серый, поговорил бы я с тобой, все бы тебе рассказал! Нам бы с тобой на воле...

Мы лежим на нашей шконке, я на своем, воровском месте, у окна, Боря повернулся ко мне и говорит, говорит... И об Ольге, как они встречаются на нашем пятом этаже, в задней комнатке у врачихи, вертухай шастает мимо, а ничего не видит; как однажды лейтенант-подкумок зашел к врачихе брякнуть по телефону, а Боря в задней комнате, все, влетели, подумал Боря, а Ольга поставила его за дверь, чтоб не видно, сбросила халат, стоит в чем мама родила и дверь открыла, вроде случайно... Лейтенант увидел и... «Что ты, он, пес, чуть с ума не сошел, разве ему такое показывали! К нам потом заходит Лидка, ну смеху, мне пузырь спирта — и пошел!..» «Она меня вытащит, — сказал Боря, — вот увидишь, с такой бабой куда хочешь, сколько я повидал ихнего брата, а не знал, что такое бывает, за все муки награда...» «Конечно, — сказал Боря и поглядел как-то странно, — кума ей тоже надо держать, без него ничего не сделать, а чем держать, она меня, другой раз, просит, мне ей тоже надо помочь, что ж за все самой... Ладно, я с ним посчитаюсь...»

Я слушаю его в полуха, не нужно мне, я думаю о том, что я здесь, что это произошло, случилось — после ужаса общака, а в ушах у меня еще гул тех камер, а перед глазами все еще... А под подушкой фото-

графия, письмо, и я знаю — не один, и они там, на воле — не одни...

— Слушай, Серый,— говорит Боря,— письмо я вытащил из конверта, не фраер, мало ли, когда тебя увижу... Чтоб знать, короче. Кто эта... Ни н а?

— Родственница дальняя, не в Москве живет, наверно, в отпуск приехала.

— Откуда? — спрашивает.

— Из Пензы, она в ЖЭКе работает, диспетчером.

— Да?.. Нет степени доверия, Серый, я с тобой вон как, а ты со мной...

— Я у нее как-то был в Пензе, летом. Мы на речку ездили, рыбу ловили, а потом в камышах уху варили на костре.

— Какая ж там речка, в Пензе?

— Припять. Или что-то в этом роде.

— Ну-ну,— говорит,— понятно. «Огненное искушение», о котором ты тут с Сергеем балаболит, «странное приключение» — это и есть рыбалка с бабой в Пензе? И «эфир» — в Пензе, который про «дядю» играет?

— Хорошая у тебя память, Боря, цепкая. А что с Сергеем?

— На общак вытащили. Он не такой, как ты, не боялся. Он в Бога верил, а ты на воду дуешь.

— Не будем ссориться, Боря,— говорю,— я так рад, что вернулся, не надеялся, думал никогда. Теперь мне ничего больше не надо. Давай спать.

— Тебе не надо, у тебя, когда и не было ничего, спал. Небось, и на общаке не маялся? А мне много надо...

Прямо надо мной решка. Сквозь отогнутые железные полосы «ресничек» проглядывает небо. Оно все еще светлое — луна, что ли, или над Москвой вечное зарево? Гуляет ветерок, прохладно. В камере тихо, и мне кажется, я задохнусь от радости и счастья. После грохота и мелькания, после смрада и потного ужаса, постоянного — из дня в день, из ночи в ночь, непрекращающегося, не способного перестать — всегда!

«Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного,— повторяю я про себя и гляжу на светлое небо между ржавыми полосами «ресничек». — Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете...»

И они возникают передо мной, как на движущейся

ленте конвейера: Гарик, Верещагин, Наумыч, Костя, Иван, Яша, Олег, Ян, шнырь, Машка, Петро, Стас, комиссар, полковник, Василий Трофимыч, Султан, Князек, Малыш, Виталий Иванович, Афганец... Как они там, что с ними сейчас, что будет завтра?.. Господи, помилуй их и спаси,— шепчу я,— не забудь! Изведи, Господи, из темницы душу мою! Помилуй, Господи, всех, с кем сподобил мне пробыть эти месяцы, от уз и заточения свободы и от всякого злаго обстояния избавь! Только Ты, Господи, можешь помочь им — если помог мне, если не оставил меня, не забыл обо мне! Не забудь и о них, Господи, прошу Тебя, Господи, умоляю Тебя, Боже мой!..

3

— Подвинься, Гриша, давай полежим, я тебя потрогаю...

— Ты что, Артур! Отстань от меня!

— Да ладно тебе — «отстань!» Не я, так другой.

— Пусти руку, ломаешь!

— Я тебе и ноги перелوماю.

— Да отстань ты от меня... Пусти, больно!

— Заладил... А мы тихо-оночко, это спервоначалу больно, а потом...

— Пусти!

— Куда ты торопишься... недоделанный? Время есть, не бойсь, не шлепнут, а за твои пятнадцать лет... Зубами? Чистая баба! А мы в ротик подушечку... Сперва подушку, потом... Подержи его, Андрюха!

Я вылезая из матрасовки, задремал после обеда. Боря ушел на вызов. По ту сторону дубка — возня, сопение...

— Вы что, ребята? — спрашиваю.

— Целку из себя строит... Может, придавить тебя, суку? Только спасибо скажут...

— Уйди, слышь, уйди!.. Закричу.

— Напугал... Держите его, на всех хватит!

— Перестань, Артур,— говорю,— что ты в самом деле?

— Да пошли вы все! Связываться лень, чистая богадельня. Давно бы отпетушили, сам бы ложился. Скоро год здесь — так? И никто ни разу не попробовал?

— Прекрати, Артур,— до меня дошло.— В своем уме?

— Не в тюрьме, что ли? Или, думаешь, тебя на зоне баба ждет? Такие и будут... Да его еще на осужденке под шконку загонят, в воронке — хором, а уж на пере-сылках, в столыпинах!.. Ты думал, с девочками можно, а с тобой — нет?.. Да кто вы тут — недоделанные или у вас не стойт?

— У нас этого не будет, — говорю.

— Если я захочу — не будет? Ты — против меня?

— А что ты со мной сделаешь?

— То же самое.

— Не выйдет, — говорю, — утихни.

— Да я тебя сейчас... схавая, сука!

— Не блажи, Артур, ты тут один — не проходит.

— А ты, Андрюха, что скажешь? — спрашивает Артур.

— У меня своих дел по самую эту, — говорят Менакер, — я в чужие не лезу.

— Что у вас за хата! — кричит Артур. — Этот вас пасет, через день к куму, а вы молчите, глотаете? Да он под тебя сидит, писатель, ослеп с горя?.. Я думал, на спецу отмокну, курсак набью, а на вас поглядишь — с души воротит!.. Да пусть он задавится, недоделанный, нужен он мне, еще и жрете с ним — ему недолго осталось! Не дрожи, мразы!

— Утихни, Артур, — говорю. — Чего ты сорвался?

— Мало ты, Серый, понюхал, не показали, погоди. Думаешь, я таких не знал? Во Владимире не такие сидят? Валерку Буковского знал?

— Володю Буковского, — говорю.

— Валерка. Все знают. Гремит. И по радио, и... Валерий Буковский. Они, понимаешь, на что клюнули — он и его кореша? Им канал на волю — позарез. А где найти — к нам, передайте дальше. За чай почему не передать. Не жалко. Они подгоняют ксиву, а кум слышит... Как узнал, его дело. Они нам чай и кума нам чай...

— Отдали?

— Что отдали?.. Чай мы у них забрали, у Валерки, и у кума забрали, а... Зачем отдавать — ничего у нас нет, никто не подгонял, какой с нас спрос?

— Сколько ты раз сидел, Артур? — спрашиваю.

— Я всю дорогу сидел. И сидел, и выходил, и убгал. Я и сейчас уйду. Хотел дураку память оставить. Пожалеет... Мне б с тобой, Серый, на воле встретиться я б тебя научил.

— Чему? — спрашиваю.

— Свободу любить. Сидишь пять месяцев, а желтенький.

— Откуда ж ты убежал, Артур?

— Откуда не убежал, спроси! Последний раз с суда. Маленько не доехал. Подгоняют воронок... Здесь, на Каланчевке, горсуд. А за нами сразу другой. Развернулся и — боком. Я выпрыгнул, мой мент еще в дверях, гляжу — раз в жизни бывает! Думать нечего — под воронок и пошел! А там толпа, к вокзалам — не будет пес стрелять по толпе! Бегу, себе не верю — воля! Что думаешь — ушел!

— И долго ты гулял?

— Месяц. На хате накрыли, на чужой. Я и зашел случайно... Да знал я, что туда не надо! Из-за бабы горим... Слышь, Серый, ты писатель, должен понимать: баба — человек или кто?

— Думаю, человек.

— А хрен мне в том, что ты думаешь! Я тоже думал, ты человек, назудели — такой-сякой, я тебе место уступил, лежи, не жалко, а ты сопишь в две дырочки — какой от тебя толк? У Валерки Буковского чай был, а у тебя и того не возьмешь... Отдай тапочки — у тебя и сапоги, а я босой? В отстойнике, как вели сюда, отдал судовому, его передо мной полосатые разули...

— В сапогах жарко, — говорю.

— Тебе жарко, а мне колко. Не научили тебя, чего с тебя поиметь... Хотя Бедарев имеет. Эх, имеет он с тебя, Серый!

— А ты откуда знаешь?

— Знать не надо, в наличности. Он чем хвалится: письмо для тебя хранил, получил через... Что он вам, дуракам, травит, развесили уши! Не понял, откуда письмо?

— Не понял, — говорю.

— Что ж ты его не спросил?

— А я никогда не спрашиваю, захочет, расскажет.

— Он тебе расскажет, как же. Осужденный Бедарев, ежу понятно. Ему и письма, и передачи, и свидания. То ли худо? Он и обдeldывает дела. Свои и чужие. Думает, игра двойная, всех об... А не поймет, не с теми сел играть... Они из него дешевку сделают, не отмоется. Он и на парашу попадет, погоди... «Дорогой Боря!» — пишет тебе сеструха, так? Что думаешь, кум того письма не читал?

— Откуда мне знать. Пусть читает, Боре письмо, не мне.

— Отвечать будешь — «целую, Боря»? Так напишешь?

— А ты хочешь за то чай получить?

— За что получить?

— За мое письмо.

— От кого получить?

— От почтальона.

— Я б с тобой поговорил, Серый, я могу научить, у меня не заржавеет, да не ко времени, меня сегодня-завтра уберут, я тут лишний. Здесь все стучат! Андрияха — вон сидит, зубами щелкает, не стучит? Если он на воле со своим кентом сводил счеты, что ты тут от него хочешь?

— Не мели, Артур, — говорит Менакер.

— Сосунки-первоходки! Кто из вас чего стоит, чтоб пачку чая перевесил? Ты пожалел недоделанного, думаешь, если его кум попросит, он тебя не заложит? Кум ему такую хату устроит, голову из параша не вытащит, застрянет до суда, а на суд понесут, ногами не дойдет. Не заложит?

— Что тебе надо, Артур?

— Ничего мне от тебя, писатель, не надо, а чего надо, ты не можешь — нету и не научили. Скучно мне, Серый. Я почему, думаешь, бегаю? От скуки. Теперь дело есть — посчитаюсь. Сучонка думает, сдала, наматывают срок! Не получится по-ихнему, уйду. Погляжу на нее. Она, видишь, с ментом спуталась... Да не с ментом — майор с Петровки. А мне того и надо, корешу помочь, на то и майор с Петровки, а она вон как сыграла — меня подставила. На ее хате взяли.

— Похоже, — говорю.

— Что похоже?

— Все похоже, — говорю, — и всё похоже.

— А я о чем? Я их перевидал, это на зоне караул — и на такую мразь полезешь, а я был и на поселении. Работенка — дневальный в душевой. И жил в душевой — малина! Смена идет после работы — по три часа ждут, а бабы норовят проскочить, когда никого. Наломаются за день, в грязи по уши — на картошке, в свиарнике, замерзнут... Да она за это душ!.. «Цену знаешь?» — спрашиваю. Все знают!

— Очень похоже, — говорю.

— Да что похоже — ты про чего?

— Про майора, про кореша, про бабу. И все прочее. Тоска, Артур, я бы тоже убежал, но я быстро не могу. Догонят.

— Тут не ноги нужны, голова. И хотеть надо.

Борю привели поздно, мы уже отужинали. Он ничего не сказал, ни на кого не поглядел, разделся и полез в матрасовку.

— Есть не будешь? — спросил я.

— Что-то у них меняется, — сказал он мне вполголоса, — темнят, не пойму чего хотят.

— Ты о чем, Боря?

Я сидел на своей шконке, он лежал. Опухшее, и без того пожелтевшее лицо, казалось черным.

— Он от меня того хочет, чего я ему... Если она и теперь не... — он замолчал.

— Ты у кого был, Боря?

— Пашка приезжал, кореш из управления. Никак с Генкой не разберутся. С Бутырки — на Петровку, с Петровки обратно. Еще чего-то на него повесили. Надоело. Хотя бы конец.

— Ты говорил, все лето вместе?

— Мне говорили и я говорил. У них, видишь как — сегодня одно, а завтра...

— Да у кого у них?

— Давай, Серый, письмо, пока не поздно. Через день пойду к Ольге, передам, а что дальше, не ручаюсь. Сам видишь, хата неживая, так не оставят...

— Деловые! — крикнул Артур. — Кончай заседание! У нас тюрьма или вокзал? Поезда ждете? Все поезда ушли, больше не будет... Слышь, Боря, бунт на корабле!

Боря не ответил... Таких глаз у него я не видел — тусклые, пустые... Да он болен! — подумал я.

— Есть предложение, урки, — не унимался Артур, — кончать недоделанного, хватит ему коптить небо. Мы тоже люди, можно сказать, граждане, хотя и лишённые, должны, по силе возможности, участвовать в общественной жизни... Обществу польза, тюрьма лишняя пайка, а нас раскидают. Все развлечение, не ждать поезда.

И опять ему никто не ответил.

— Одному, что ли, идти на дело? — вопрошает Артур, лежит, уперся ногами в верхнюю шконку; как сжатая пружина.

— Значит, одному, ладно. Но и вы, суслики, не от-

мажетесь. Готовься, недоделанный! Приговор известен, сроки обжалования давно прошли, помиловки не будет... Молчишь? Бывает, редко кто поет песни. Молись, если умеешь... У нас, урки, демократия, ставлю на обсуждение как его кончать. У кого какие предложения?..

Я поглядел на Бору: глаза закрыты, лоб в испарине.

— Нет предложений. Так и запишем. До демократии не доплыли. Научим. Прошу обсудить мое предложения... Или повесить недоделанного. На его матрасовке. Самое гуманное, быстро и без хлопот. Или сперва раздавить, что ему лишнее и больше не понадобится, а потом повесить. В зависимости от поведения. Если покается — повесим, не покается — сперва раздавим. За тобой слово, недоделанный! Или общество чего хочет добавить?

— Смени пластинку, Артур,— не выдержал я.

— Слышь, Боря, я говорил, бунт на корабле, интеллигенция путает карты. Когда их просят, они молчат, не хотят быть вместе с народом, а когда народ и без них обойдется, тут они вылезают — и нам дайте! Чего тебе дать, писатель, давить или вешать?

— Я тебя предупреждал, Артур, ты один, не выйдет.

— А Боря? Неужто с желторотыми? Откажется от борьбы за законность, за справедливость, пойдет с интеллигенцией, с недоделанным? Тебе слово, Боря!

И опять Боря не ответил. И глаз не открыл.

— Что бывает на корабле, когда капитан выходит из строя?.. Беру на себя! Командую флотом! Недоделанный! Снимай штаны, предъяви, что будем давить!..

Гриша вылез к дубку. Бледный, налитые кровью глаза, на толстых губах пузырится пена.

— Дождались! — Артур спустил ноги и приподнялся.— Понял неотвратимость наказания?

Гриша метнулся к двери, схватил «восьмерку» — бачок для стирки, и завизжал:

— Убью, убью, убью!..

— Андрюха!..— крикнул я и бросился к Грише.

Оторвать его от бачка мы не смогли, вцепился, мертвую. Так, с бачком и уложили. Андрюха сел ему на ноги.

Артур сидел на шконке и смеялся.

— Общество включилось. Раскачались. Сейчас совместно приступим к казни. Начинай, писатель!..

— Уходи, Артур,— сказал я,— тебе тут не жить.

— Это как понять? — Артур явно развлекался.

— Нас четверо, а ты один.

— Двойка тебе по арифметике, писатель. Одно дело писать, другое — считать... Неделанный — покойник. Андрюха на крючке, он в чужие дела не лезет. А капитан отсутствует по уважительной причине, кум его обидел. Обманул. Да и где он, наш капитан?.. Ка-пи-тан, улыбнитесь!.. А с тобой мы поговорим. Или ты четверых против меня стоишь?

— Хватит выступать, Артур, — сказал Менакер, — надоело.

— О! Це дюже гарно — жиды заговорили. Пора я нам переходить от слов к...

Я и головы не успел поднять, Менакер перемахнул дубок, рванул Артура за руку, крутанул и бросил на пол. Руку он не отпускал.

— Пусти, падло! — заревел Артур.

— Еще хочешь? — спросил Менакер.

— Пусти руку!!! — орал Артур.

Менакер отпустил его, подошел к умывальнику, тщательно вымыл руки и подчеркнуто долго вытирался полотенцем. Опавшие, как мне показалось при встрече, мышцы на руках, ходили под кожей буграми.

Артур молча собирал сумку.

Распахнулась дверь: корпусной, два вертухая.

— Что происходит?

— Забирай, начальник, — сказал Артур, он уже завязал сумку. — Задавлю, хуже будет.

— Почему бачок не на месте?

— Стирка, — сказал Менакер, — белье собираем.

— А этот что лежит? — корпусной кивнул на Боря.

— Большой, — сказал я, — пришел с вызова, плохо ему.

Корпусной подошел к Боре, сбросил одеяло.

— Что такое?

Боря открыл глаза. Может, он, правда, ничего не слышал?

— Заснул... — сказал Боря, лицо черное, неживое.

— Что тут было? — корпусной обвел нас глазами.

Никто ему не ответил.

— Кучеряво живете. В такой камере — пятеро! Завтра все пойдете на общак, там освежат.

— Меня хоть в карцер, — сказал Артур. — Забери отсюда, начальник, хуже будет, за себя не ручаюсь!

— Значит, ничего не было, все довольны, а этот просится в карцер? — опять спросил корпусной.

Артур шагнул к двери. Так и шлепает босиком.

— Где ботинки? — спросил корпусной.

Я снял тапочки и бросил к двери.

Артур повернулся ко мне, подумал и сунул в них ноги.

— Не отмажешься, писатель, — сказал он, — встретимся. Расплачусь. Получишь сдачу. За тапочки.

Утром за нами не пришли. Не пришли и вечером. А когда так же спокойно кончился еще один день, мы решили, обошлось. Два дня в тюрьме очень много.

Без Артура в камере стало совсем хорошо. Беспокойство исходило от человека, «скучно» ему было, а чего-чего человек не сочинит, когда скучно и ничто его не сдерживает.

Четверо в камере на шестнадцать человек, конечно, «кучеряво». Мы это понимали, но, может, не раскидают, пугал, добавят человек пять, пусть десять, не страшно, если держаться вместе, кого хочешь перемелем. Хорошо нам было, а мне первый раз так спокойно. Да и знали мы друг друга очень близко, все равно что родня.

Боря к утру отошел, признался, что болело сердце: «Поплыл, мозги набекрень, устал, сплю мало...» Про Артура он ничего не спрашивал, я так и не понял, слышал он что-то или правда был в беспамятстве.

Гриша первый день совсем не вставал со шконки, мы его не трогали, а еще через день и он отмок. Успокоился.

И Андрюха повеселел. То, что я сказал про Костю, явно выбило его из колеи, и ему было важно, что в истории с Артуром он не сплоховал.

На второй день Грише принесли передачу, а в ужин Андрюха закосил две миски гороха. «Нажарим сала с горохом...» — сказал Боря.

Мы и гуляли в этот день всей камерой, и Борю вытащили — да его б одного не оставили, не положено. Припекало солнце, на небе ни облачка, возле трубы на крыше поднялась березка, дрожали зеленые листья... Летом и в тюрьме веселей: нет промерзших стен, не замечаешь ржавой сетки над головой — как не радоваться, если небо улыбается?..

— Ты чего в сапогах? — спросил Боря.

— Привыкаю. Три года ходить.

— Уйдешь, Серый, не будет тебе срока.

— Почему так думаешь?

— Носом чую.

— Вот и на общаке чуяли, пока амнистию не разнюхали.

— То и оно, что был ты на общаке, а теперь где?

— Бермудский треугольник, сегодня здесь, а завтра...

— Какой еще треугольник?.. Пиши письмо, не тяни, надо твоих успокоить. Валька обещала, сестра ждет... Пиши, что хочешь, а подпись — «Боря». Она поймет.

— Она, может, и поймет, а зачем, если через Ольгу?

— Не верю я ей до конца. Для меня сделает, а если еще о тебе... А так отдаст Вальке и вся печаль.

— Ты говорил, она и для меня постарается?

— Ничего я не говорил, делай, что сказано, мало ли...

Письмо я и сам хотел написать — предупредить. Что если у них там дружба? Могли клюнуть, шутка сказать — связь с тюрьмой! Обрадовались, размякли, не подставить бы Митю! Варианта было три: или Боря не врет и передаст письмо с Ольгой, или он, на самом деле, осужденный, переписка ему разрешена, а Ольгу придумал, чтоб не объяснять как пойдет письмо. Или вариант третий — все это задумано кумом: проникнуть к сестре, подставить Митю или прозвать, что я хочу передать на волю... Надо написать так, чтоб не только кум, но и Боря не понял, только Митя и сестренка.

Вечером мы «жарили» клопов. Боря придумал. Если жарить сало, вертухай унюхает, они теперь к нам особо внимательны, приведет корпусного — раскидают! А под «дезинфекцию» пройдет и сало.

На общаке с клопами бороться бесполезно, ничем не выковыряешь из «шубы». «Да их тут миллионы!..» — сказал один узбек, только привели, с ужасом глядя на шевелящиеся стены. На спецу проще, «шубы» нет, клопы гнездятся в железе шконок, в раковинах, трещинах, и после такого тотального прожигания дней десять можно спать спокойно, а еще через десять дней, когда подушка к утру становится красной — начинать сначала.

Мы посбрасывали матрасы на пол, скрутили жгуты из газет, зажгли «факелы» — и началась охота. Через полчаса в камере дым стоял столбом, ничего не было видно, мы ползали под шконками, находили новые и

новые гнездовья, клопы погибали с жарким треском, мы настигали их полчища на стенах, на полу...

— Одновременно, сразу! — командовал Боря. — Со всех сторон, чтоб не переползали... Навались!

Вертухай только раз открыл кормушку:

— Что за пожар?

— Клопы зажрали, от вас не дожدهшься...

Кормушка захлопнулась.

— Давай, Андрюха, разводи печку, — сказал Боря.

Менакер располосовал свою матрасовку, пошел черн^{ый} дым, я сидел на полу возле окна...

Еще через полчаса миски с кипящим салом, со шкварками стояли на столе, дым постепенно вытягивало в открытые окна, можно было перекурить.

Общее дело всегда сближает. А если оно для себя, самими придумано и польза несомненна... А тут и ужин нас дождался — свой, собственный!

Гриша выдал каждому по красному помидору, вывалил печенье, разрезал два яблока. Он угощал и был счастлив.

— Еще бы выпить, — сказал Менакер.

Сало вылили в холодный густой горох, ели из одной миски.

— Меня учил один хмырь... — начал Боря. — Чего смотришь, писатель, хлебай!

— Стесняется, отвык, — сказал Гриша.

— В большой семье еблом не щелкают, — хмыкнул Менакер.

Нам и без вина было хорошо!

— В Крестах было, — продолжал Боря, — подогнали передачу, а мы вдвоем. Нажарили сала, сели. Он наливает чай из фаныча в кружку, пошептал, поплевал, покрестил... А теперь, говорит, закрой глаза, сосредоточься и вспомни, когда последний раз выпивал. В точности вспомни: где, с кем, что на столе и — чтоб вкус во рту загорелся... Опрокинул — и окосел!

— Может, попробуем? — предложил Менакер.

— Не выйдет, — Боря отбросил ложку и вытащил сигарету. — У меня и тогда не получилось, хотя поддакивал — берет, мол... А может, и он врал, для понту. А может, такой... восприимчивый? А бабу, спрашиваю его, нельзя... вспомнить? Плевое дело, говорит, но смысла нет — штаны мокрые, а руки пустые. А если, мол, очень хочешь, попробуем...

— Похоже, — сказал Менакер и мне моргнул.

— Что похоже? — покосился на него Боря.
— Артур тут у нас выступал на эту тему.
— А куда он делся? — спросил Боря. — Не видать его?

— За бабами послали, — сказал Менакер.

— Вытащили его, что ли?

— А ты не слышал? — спросил я.

— Так вот, он тогда и начал рассказывать... — Боря мне не ответил. — Тот мужик до Крестов сидел в другой тюрьме, не то под Псковом, не то под Выборгом. Тюрьма, говорит, маленькая, по-семейному, полный беспредел, только что камеры закрыты, а так живи как хочешь. Бабы в том же коридоре через стену. Перестукивались, коней гоняли, а пришел один, вроде Артура, заядлый, ему мало, давай стену ковырять...

— Быть того не может, брехал тебе «восприимчивый», — сказал Менакер.

— Было, было, я и от других знаю...

Гонит и гонит Боря свою байку, слышал и я похожее, а может, и на самом деле было, чего только не бывает в таком гиблом месте. Но ведь не просто так рассказывает, зачем-то...

Как же мне написать это письмо, думаю, чтоб никто ничего не понял — ни Боря, ни кум, никто, кроме...

А в «семейной» тюрьме уже известку и мусор выбрали, спустили в сортир, кирпичи вынимают, полезли один за другим, а потом бабы — одна за другой...

«Бойтесь данайцев, — пишу я, — помнишь, Митя, мы с тобой так клопов величали? Вредные твари, заползут, угнездятся, не выкуришь. Данайцы, дары приносящие, а от тех даров ребенку зараза, не заболел бы малыш да и взрослым вредно...» Ничего не могу придумать умнее. Поймет ли Митя?

— Тут и началось в том бардаке большое чувство, хотите верьте, хотите нет, — травит Боря. — Девчонка, восемнадцать лет, целочка, никого к себе не допускает, они ее и так и эдак, и шалавы ее уговаривают, а она ни в какую, выскальзывает. Никому. Нет, так нет, без нее хватает, потом, мол, пожалеет. Но глаза-то у нее есть, у дуры, нагляделась, не один день, не одна ночь. А она молодая, кровь играет... Всем дали сапоги, а мне не дали сапоги — дайте мне сапоги! Короче, сама себе выбрала. Самого заядлого, кто кашу заварил. Как отбой, они на шконках у себя навалют одеяла, куртки, вроде, спят, а сами лезут, те или эти. А к утру по ха-

там. Хорошо жили и воли не надо. Она дождалась, как все под утро расползлись — и в дыру, к нему на шконку. Разбудила. Я, мол, к тебе. Дрожит, первый раз. А зачем ко мне, спрашивает, почему раньше не хотела? А я, мол, тебя полюбила, без любви не могу, а теперь на всю жизнь и на зоне найду, и после зоны будем вместе... И еще много чего, и стихи ему шепчет. На всю жизнь, надо чтоб крепко, говорит ей, а то забудешь, стихи — хреновина. К тому же у нас семья, все общее, как в коммунизме — так что не обижайся, учись свободу любить... И они ее всей хатой, до проверки, тут не до того, чтоб об вертухаях вспоминать, такая началась любовь, летали... Накрыли их, конечно... Ты чего, Серый — записываешь?

— Зачем ты, Боря, всякую мерзость придумываешь?

— Я рассказываю, как дело было, как он мне...

— Скучно ему, — говорит Менакер. — Артур от скуки и Боря от того же самого. От того они и «вспоминают».

— Чижики вы желторотые, — говорит Боря, — об чем еще травить в тюрьме?.. Я давно за тобой замечаю, Серый, ты со мной не хочешь об чем у тебя душа болит. Монаха косишь? Не получается из тебя монаха, больно ты... закрученный. А почему молчишь? Не иначе у тебя краля-недотрога... Они все одинаковые, Серый, можешь мне поверить, всего и надо три приема, первый не прошел, второй-третий применишь — не ошибешься, все будет в ажуре. Вы оба чокнутые с Менакером, тот про жену страдает, поговори с ним, все об одном — не дождется его! А как думаешь, Менакер, неужто она тебя ждать будет? Восемь лет? Еще теща зудит... Что они у вас деревянные, ваши бабы? Кабы деревянные, вы бы сами к ним не полезли! А твоя, Серый, Ниночка из Пензы... Или и дальше лапшу будешь вешать?

— Не болтай, Боря, — говорю.

— Эх, Серый, себе портишь и... мне не поможешь. Из вас губошлеп самый нормальный, даром что шиза с рождения! Кабы у него крыша не текла и не полез куда не положено... Кончат губошлепа, задавят, недолго ему...

— Не ладно с тобой, Боря, — говорю, — если все, что мелешь, сложить... Не пойму, что ты несешь, смысл-то какой?

— Так ему дружок в Крестах об том и толковал, — влез Менакер, — штаны мокрые, а руки...

— Да разве я вам об том толкую!..

Какое у него странное лицо стало, думаю, черное, глаза в красных прожилках, трясет его...

— ...Вы и понять меня не можете! Где вам... Уходить вам отсюда надо, вот я об чем! Если себя не жалко, сам себе срок мотаешь, чистеньким хочешь остаться... Перед кем ты красуешься, Серый, кто об том узнает? Ты бы... Да вы оба с Менакером! Вы бы о своих бабах подумали— как им на воле, сладко? Долго они без вас прокантуются? Особенно, если чего стоят— подберут, не заржавеет! Не один, так другой, а если вместе, хором?..

Вон ты о чем, думаю, вон какие пошли заходы!..

— ...Если она молодая, из себя ничего, прикинутая, если в ней кровь играет, а заступиться некому...

— Какие у тебя предложения,— спрашиваю,— о чем ты, Боря, ежели без лишних слов?

— Думать надо, соображать, извилины у тебя, а не пшенка. Не петухом индейским кукарекать, видал я таких петухов— и на гражданке, и на зоне. Долго ли они кукарекают? Уходить отсюда— понятно? А для того ничего не жалко, а если ты о ком жалеешь, тем боле. Не о себе думать! Религия твоя чему тебя учит?..

— Какие мы все скоты,— неожиданно сказал Менакер,— несчастные скоты, последние. А ты, Боря, всех несчастней...

— Я-то? Ты про меня?

— Спекся ты, Боря,— продолжал Менакер,— я полгода наблюдаю, вышел из тебя пар. А какой орел был.

— Не каркай,— сказал Боря,— еще не вечер.

— Ночь, однако, спать пора,— сказал Менакер.— Сегодня твой день, Григорий, ты хозяин, тебе и убирать.

— Ты это сделай, сделай...— шепчет Боря.

Мы лежали на шконке, тихо в камере, вроде, спят ребята.

— Да что делать-то, Боря, не пойму?

— Написал письмо?

— Написал.

— Давай сюда, завтра дернут к врачу, передам...— он дважды сложил письмо и сунул в карман.— Тебя завтра на допрос потянут, увидишь. Не завтра, так через день. Начинай говорить, не молчи, хватит, доказал, чего хотел...

— Что я должен говорить?

— Чего хочешь — не молчи! Уйдешь, я знаю. Ты книги писал? Написал? Что ты с них имеешь, с тех книг — ни денег, ничего! Не хочешь, не отказывайся. Что делал, то, мол, и делал, а больше не буду. Ты и не хотел больше писать, сам говорил? Так? Завязал. Понял?

— Пожалуй, Менакер прав, плохо тебе, Боря, ты не такой был, а сейчас...

— Вот что, Серый, я тебя попрошу об чем... Последний раз, запомни. Я тебя так никогда не просил.

— Что, Боря?

— Напиши ей письмо... Ольге?

— Какое письмо?

— Последнее. Те твои письма, учти, она наизусть знает, все помнит — повторяла... Последний раз напиши: помру, мол, чувствую, не могу больше. Или голову расшибу, или... Не знаю, задавлю кума. Блядь буду — задавлю! Не жить нам вместе на свете... Вызовет еще раз — не сдержусь! Я не болтаю. Я больше не могу! Ты меня понимаешь, Вадим, слышишь?..

— Хорошо, — сказал я, — напишу, а дальше что?

— Она сделает, сумеет, если захочет, она все...

Утром меня разбудил дождь. Брызги летели сквозь решку, гремело по железу.

Каким ужасом и... мерзостью кончилось недолгое счастье моего возвращения в камеру... Мне и подниматься не хотелось, хотя бы и день не начинался. Наверно, так и должно быть: тюрьма — не дом родной.

Мы похлебали «могилу», напились чаю. Боря не вставал, видно заснул под утро. Менакер был мрачен, разговора не поддерживал. Зато Гриша ожил, подкладывал куски из своей передачи — смешной, трогательный... губошлеп. Вот кто несчастный человек!

Брякнула кормушка.

— Бедарев, с вещами!

Мы оторопело поглядели друг на друга. Почему-то казалось, такого никогда не случится.

Я тронул Борю за плечо.

— Тебя с вещами.

— Чего?.. С какими вещами? К Лидке, что ли?

Он вылез из матрасовки, закурил. Посидел, подумал, долго плескался у умывальника...

Дверь открыли.

— Готов?
— Готов, готов,— сказал Боря,— пошли.
— С вещами, сказано,— вертухай стоял в дверях.
— Спутал, служивый,— сказал Боря,— с вещами не пойду.

— Как не пойдешь?

— А так. Молча.

Вертухай грохнул дверью.

— Может, в больничку, Боря,— сказал я,— на тебя поглядеть, сразу положат.

— Больничка! Он меня близко не подпустит. Забыл?..

Опять открылась дверь, вошел лейтенант, подкумок.

— В чем дело, Бедарев?

— Никуда я не уйду из хаты.

— В своем уме? Собирайся!

— Он болен,— сказал я,— не видите?

— А вы тут при чем?.. Смотри, Бедарев, хуже будет.

— Хуже не будет. Некуда,— сказал Боря.— Допекли.

— Попомнишь,— сказал лейтенант.— Пошли без вещей.

— То другое дело...

Боря положил в карман пачку сигарет, спички, посмотрел на меня, похлопал по карману, в который вчера положил мое письмо, махнул рукой и пошел к двери...

Все молчали.

— Как понять? — спросил я Менакера.

— Раскидают хату, сначала его, потом за нами. Боря свое отыграл, здесь не нужен, а из нас суп не сварят.

— А я радовался, домой вернулся...

— Распустил губы,— сказал Менакер,— забыл где находишься? Мало тебе позавчерашнего, с Артуром?

— Хорошо было вместе. Жалко.

— Я на него глядеть не могу. Накушался.

— Может, вернется,— сказал Гриша,— не первый раз уводят, ему все сходило, всегда было как он хотел...

— Нет,— сказал Менакер,— он им надоел. Сыграл в ящик.

— Но за вещами-то придет!.. Увидимся,— сказал я. Я сел за письмо. Что-то отчаянное было в последней

Бориной просьбе, не мог я ему отказать! Или он купил меня тем, что она помнила мои письма наизусть? Как страшно он меня просил!..

«Радость моя! — писал я. — Пишу тебе последний раз, нет у меня больше сил — понимаешь? Нет! Если мы не можем быть вместе, вдвоем — только вдвоем! — я не могу жить. И не хочу жить. С самого начала, в ту нашу первую ночь, когда я тебя увидел, когда я нашел тебя, а ты меня, когда я поверил тебе... Я не могу не думать о тебе, я живу только тобой, тем, что помню, а я помню все, каждую встречу, каждое слово, твои губы, твои руки... А потому *делить* тебя не могу. Понимаешь? Не могу, не хочу и не буду. И ждать больше не стану. Прости меня и не забывай обо мне... Тебе последнее дыханье и мысль последнюю мою...»

Я писал, не думая, слышал отчаянный Борин шепот и... Что это со мной было? Что говорило во мне, кем я был?.. Не иначе, тем самым... мужиком в Крестах.

Через час дверь распахнулась. Вертухай.

— Где тут вещи Бедарева? Соберите.

— А сам он где? — спросил я.

— **Матрас в матрасовку. Подушку, одеяло. Все.**

Он прикрыл дверь.

Ребята собрали Борин мешок. Завязали. Какое-то предчувствие сжало мне сердце. Я сунул в жестянку из-под табака написанное письмо. На отдельном листе написал: «Господи, молю Тебя о всех, которых я, грешный, опечалил, обидел или соблазнил словом, делом, помышлением, ведением и неведением. Господи Боже! отпусти нам наши взаимные оскорбления, изжени, Господи, из сердец наших всякое негодование, подозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может препятствовать любви и уменьшать братолюбие... Храни тебя Господи, Боря!» И запихнул жестянку в мешок.

Дверь снова открылась.

— Кто-нибудь тащите мешок, — сказал вертухай.

Гриша с мешком и матрасом вышел за дверь...

— Чудно. Верно, Андрюха? — спросил я.

— С ним всю дорогу чудно, — сказал Менакер.

Гриша вернулся через полчаса.

— Чудно! — сказал он, будто слышал нас. — Спустили вниз, но не в сторону сборки, а на осужденку. Я поставил мешки возле камеры, вертухай засунул меня в шкаф. И двух минут не прошло, открыл, а мешков нет! Выходит, его на осужденку?..

Менакер оказался прав: еще через день всех нас вытащили из камеры. Конечно, глупо было думать, что забудут, такая скученность в тюрьме, а мы втроем, как баре, добавить нам кого-то значило бы оставить хозяевами положения, так камеры не строят, в том и кумовской замысел, чтоб ничего случайного, не им задуманного. Но не хотелось, ох, как не хотелось уходить из дома, из — два шесть ноль! Да и куда уходить? В том и дело, что катил нам только общак, спец — награда, а нам за что, только наказание, но куда денешься, обещал корпусной. Потому, пока мы тащились с пятого этажа вниз, с вещами, матрасами, подушками, одеялами, со всем своим скарбом, а барахла в тюрьме с каждым месяцем становится больше, отдавай-не отдавай, а с новой передачей прибавляется, да и жалко отдавать, все сгодится, научился ценить всякую тряпицу, коробочку, грифелек, это таким надо быть битым-стреляным, чтоб понимать — все лишнее в тягость, на этапе задавит, на зоне все равно отберут, но не просто решиться, только получил, пахнет домом, будто видишь как складывали, разглаживали, подбирали, сколько в каждой такой ненужной тебе тряпке тепла-заботы... Да и как не нужно — все в дело, поди достань в тюрьме!..

Ползем вниз. Июнь кончается, жарыща, нацепили что влезло, чтоб легче тащить — свитера, телогрейки, пот заливает глаза, и не глядел бы на милую сердцу спецовскую лестницу — большее ее не видать, как все глупо сложилось, что поделаешь, а о том что ждет и думать неохота, только общак, больше ничего не светит — толпа, духота, смрад, и так день за днем, другого теперь не жди.

Вот и сборка, отстойник. Грязь, темновато, вертухай закрыл дверь — и опять мы втроем.

Может, только я дергаюсь? Ребята спокойны: Менакер бросил в угол мешки, устроился на лавке, курит; Гриша увязывает рюкзак, упаковывает, как в дальнюю дорогу...

— Гляди, как повезло, Вадим! — улыбается Гриша, — как знал, торопился с мешком — во какой!..

В последнюю передачу ему подогнали рюкзак — все ремни срезаны, ни завязок, ни пуговиц, ничего не положено! Неделю возился, распорол, перекроил, сшил из

старой матрасовки ляжки, я глядел и завидовал — мне бы такой! Но сейчас-то откуда у него силы радоваться, ему хуже всех, что с ним дальше — без нашей камеры, без Бори — плох ли, хорош, знал Гриша, он всегда защитит. Что же его, все-таки, держит, думаю, сила или глупость, а может, болезнь?..

— Жалко, Серый, мы с тобой мало,— говорит Менакер,— сколько потратил времени на эту... И называть не хочу. Ты со мной не как раньше... Косте поверил?

— Поверил, ты и не отрицал.

— Как не отрицал, я тебе объяснил?.. Ладно, разве в том дело кому из нас ты поверил? Я не держу на него зла, он хороший малый... А как дальше жить?

— В каком смысле?

— Ты теперь битый экз,— сказал Менакер,— наглядился за пять месяцев. Как пришел, с тобой говорить было бесполезно, ничего не сек. Но тюрьма никого не учит, только калечит. Ты говорил с ними — у нас, на общаке, хоть кто собирается жить по-другому? У всех одно: попался, дал маху, не туда пошел, не с тем, не так закурковал, баба заложила, кент сдал, впредь буду умней, спасибо — научили, второй раз не залечу, теперь знаю что почем... И дальше: как обмануть, не подлететь, словчить, украсть, чтоб шито-крыто — наука! А у меня разве так?.. Я всю жизнь знал — только на себя надейся, на свои руки, на свою голову... Но разве здесь голова нужна, руки? Я только раз попробовал — идут живые деньги, почему не взять, а мне они позарез... Да не деньги, мне бы свой дом, квартиру, пусть комнату, одну, но свою... Крыша мне нужна! Чтоб я — хозяин, с семьей, сын у меня — понимаешь?

— Ну и что? — спрашиваю.

— Я тебе говорил,— Менакер бросил в угол сигарету,— я не хотел, не мог ждать, чтоб это все к старости, когда жена станет злобной клячей, как теща, когда ее изъест проклятый советский быт, за каждой тряпкой, за табуреткой — драться! Я хотел сейчас, сразу, не дожидаться ихней милости. Хотел жить, как положено человеку, не быдлу, а здесь — нельзя, понимаешь — не получится! Ты говорил — возмездие, Бедарев запомнил, болтал-болтал, а для него пустые слова, разве его научишь, всех сожрет ради собственного брюха. А мне не надо чужого, я хотел жить как человек, а тут, пойми — невозможно!

— Что невозможно?

— Жить по-человечески невозможно. Только красть. А я не хочу красть. Короче, пусть дадут восьмерик, отмотаю, не боюсь я ни зоны, ни Кости, ни кума. Отработаю, выйду и...

Он замолчал и поглядел на Гришу.

— Ты чего?..— спросил Гриша.— Поверил, могу заложить?

Менакер махнул рукой и повернулся ко мне.

— Они меня достали еврейством, я и не думал никогда. В паспорте я русский. Но может, верно, еврей?

— Зачем тебе?

— Правильно,— Гриша растянул в ухмылке толстые губы,— я бы на твоём месте давно сообразил.

— И этот понял, даром что щенок. Уеду я отсюда, Вадим, больше не хочу. За восемь лет воды много утечет. Но если жена уйдет — пусть уходит, если сына не отдаст — что я могу поделывать? А если останется, выдержит — я их увезу. Ты пойми, Вадим, ты сам говорил, хотя о другом, а я запомнил — разницы нету, здесь все сразу видно, а на воле не поймешь, сколько лет надо, чтоб разобраться! Советская власть в тюрьме — самая рассоветская, это на воле не понять, обмажут патокой, мы ее всю жизнь лижем — сладко! До смерти не разберем. А здесь кроют, не стесняются, на патоке экономят — оно и видно! Из говна соорудили эту власть, лизни — не захочешь... Здесь нельзя жить, Серый.

— Где — нельзя?

— В нашем гребаном отечестве. Ни русскому — нельзя, ни еврею — невозможно, ни татарину — сожрут. Но русскому и татарину куда деваться — живи, хлебай говнеца с патокой, радуйся, что живой, а еврею — мотай, еще подсвистят. Не так, что ли? У меня сил хватает, а там я сам себе хозяин. Там руки нужны, а здесь их ломают, там голова нужна, а здесь мозги повышибают, трухой набьют — и все довольны... Ты знаешь, о чем я подумал, когда Артур начал бухтеть, а потом Боря завел свою волюнку — понял зачем он ее завел?

— Вроде, понял,— говорю.

— Ему нас надо было раскрутить, а у него не получилось. Он и решил: на бабе они точно поплывут, у него мозги только на это настроены, а кум давит, ему от Бори давно никакого прока, место занимает, кантовался всю зиму, а место дорогое, надо платить, а ему нечем. Но ведь, с другой стороны, верно?

— Не пойму, Андрюха, ты о чем?

— С человеком можно сто лет рядом, с женой в койке — всю жизнь, а ничего про нее не узнаешь, особенно когда любовь. Деньги, тряпки, она на тебя глядит, ты на нее не надышишься — что тут поймешь, кого обманывает и того не понять? А за восемь лет зоны цена определится, тут без дуры, высокая проба. Жестковато, конечно — и для них, и для нас, но не мы выбирали, за нас решили... Потому, если она выдержит, если я выдержу, если силы будут-останутся, если...

Брякнула кормушка. Молчит.

— Чего надо? — спрашивает Менакер.

— Обедать будете, жмурики?

— Давай, давай!.. — Гриша кинулся к кормушке.

— Сколько вас?

— Давай больше, утром не пожрали. Чего у тебя?..

Гриша таскает шленки с горячими щами.

— Мужики, последний обед, сейчас сала нарежу...

И вот мы хлебаем последний наш обед, а я все не могу понять, почему они так спокойны, а меня колотит? И щи, вроде, погуще, чем у нас, на второе горох, такая редкость, две лишние шленки, ребята едят, облизывают ложки а я не могу, сохнет во рту, не проглотишь. Мало меня учили, слаба моя вера, никуда не годен. Не все ли равно — спец, общак, что нам еще придумали? Отстойник или дача на взморье, разве дело в интерьере? Или я все еще жду поезда?.. Верно он сказал, давно ушли наши поезда.

— Ешьте, мужики, — угощает Гриша, — мамкино сало. Купит на рынке, чесночком нашпигует... Чуешь, Андрюха?

— Нормально, — говорит Менакер, — запомню твое сало... Я вот о чем, Вадим, ты и сам о том говорил, помнишь, как пришел, через месяц было?.. За все воздастся, не в этой жизни, так в другой... Помнишь?

— Ну.

— А будет, ты точно знаешь — она будет?..

Открывается дверь. Вертухай.

— Менакер!.. Есть такой?

— Есть, — говорит Менакер.

— С вещами.

— Дай похаваю, — говорит Менакер.

— Давай. Только быстро.

Менакер берет кусок сала, хлеб и... кладет обратно.

— Вот так, Вадим, не договорили...

И вот мы тащимся дальше, на сей раз нас двое. «Я знал, будем вместе...— засмеялся Гриша, когда нас вывели.— Что-то я соображаю!» А что он мог сообразить, болтает, как вычислить кумовские ходы — высшая математика!.. Нет, обшак едва ли, не станут они рисковать, дорого обойдется... И я с ужасом представляю себе Гришу в каждой из двух камер на обшаке, в которых побывал... Но коли нас не разделили, мы вместе, выходит, и меня не на обшак...

Пошли новые переходы, туннели — в этих я еще не был.

— На малолетку, знаю эту дорогу...— шепчет Гриша.

— Ты чего, какая малолетка?!

Ничего нет в тюрьме страшней, наслушался рассказов про малолетку!.. Но мы причем?

— Там спец, на малолетке,— шепчет Гриша,— две или три камеры спецовские, у нас был мужик оттуда, рассказывал, они и гуляют внизу, где больничка...

Туннель выводит на площадку, пахнет свежей краской.

— Давай наверх,— говорит вертухай.

Лестница чистая, стены только покрашены, блестят.

— Куда ведешь, командир?

Не отвечает.

Прошли второй этаж — дверь распахнута, ремонт. Третий этаж, четвертый... Нежилые?

— Новый корпус, командир? — спрашивает Гриша.

— А вам интересно? — вертухай остановился на площадке. — Или думаешь, на волю?

— Далеко идти? — спрашиваю. — Тяжело с мешками.

— Шагай. Или тебе лифт подать?

Миновали пятый этаж — на крышу, что ли? Ползем дальше. Жара, солнце ломится сквозь решетку на площадках...

— Точно новый корпус,— говорит Гриша,— я видел, когда водили в больничку через двор, видно стройку.

— Прекратить разговоры!

Мы уже на шестом. Чисто, пусто, вроде, и тут никого... С меня течет, очки запотели, ноги дрожат.

— Заходи...

Маленькая камера, две двухэтажные шконки... Нет, еще одна, у двери — на шесть человек. Пусто. Кафель-

ный пол заляпан свежей краской, сортир за кафельным барьерчиком... Мы — вдвоем!

— Ну, Вадим, такого не бывает!

— Погоди,— говорю,— какой-то подвох...

На дубке две новые шленки, две кружки, две ложки. Ведро под крышкой — теплый желтоватый чай...

— Да нас ждали! — хохочет Гриша. — Люкс!

Открывается кормушка.

— Одеяла возьмите.

— У нас есть,— говорю.

— Молчи! — шипит Гриша. — Давай, давай — берем!

— Распишитесь за вторые одеяла,— говорит кормушка.

Одеяла новые, только со склада, пушистые.

— Да это санаторий! — кричит Гриша. — Ну дела...

Распаковываем мешки, Гриша обследует камеру. Открывает окно... За решеткой только что наваренные густые «реснички». Ничего не видно. Гриша забирается на подоконник.

— Серый! — кричит он. — Улица!

Пролезаю к нему: между решеткой и «ресничками», сбоку, узкий зазор, виден кусок улицы, прошел трамвай...

— Если вытащить кирпич,— говорит Гриша,— представляешь, какой будет обзор?

— А это что? — спрашиваю.

По решетке змеится заизолированная проволока.

— Может, слушают — не зря строили, продумано?

— Тебе всегда что-то кажется, радоваться не умеешь... Погоди! Понял!

— Что понял?

— Читал последние газеты?

— Какие еще газеты?

— Фестиваль через неделю, так?

— Зачем он нам?

— Иностранцев пол Москвы, а Боря говорил — о тебе по радио пятый месяц базар. По ихнему радио. Иностранцы обязательно в тюрьму, куда им еще? А им тебя — глядите! В новом корпусе, в новой камере, под новым одеялом! Понял? Для тебя все!

— Не болтай, Гриша.

Открывается кормушка.

— Давай шленки.

Лапша.

— Дай еще две,— просит Гриша.

— Подставляй, не жалко,— шлепнул по второму половнику.

— Мы тут одни, что ли? — спрашивает Гриша.

— Не, еще есть...

Сидим через стол. Гриша достает масло, сало, конфеты.

— Улыбка Будды...— говорю.

— Чего? — распустил губы Гриша.

— Была такая история на Бутырке, очень похожая. Давно было, но разве у них хоть что-то может измениться? Перевели эков в новую камеру, вымыли в бане, одели в чистое и выдали по полной шленке. Только ложки забыли.

— Что ж они без ложек не управились?

— Управились. Настоящие были эки.

— А Будда причем?

— На фестиваль приезжал... Нет, быть того не может! Едва ли ты угадал, но... похожая история.

На другой день чудеса продолжались. Спали мы по-королевски, пушистые одеяла были у нас пледями, мы лежали на нижних шконках у открытого окна, между нами дубок, курили, пили теплый час с конфетами, болтали за полночь; еще через день у меня должна была быть передача и мы сочиняли невероятные гастрономические сюжеты. И библиотека нас ошеломила: давали по две книги на человека, а в других корпусах хорошо если доставалась одна на троих, там не выбирают. Здесь я углядел два тома Диккенса, упросил Гришу взять «Жизнь Арсеньева» и Блока: у меня руки дрожали, когда библиотекарьша сунула книги в кормушку. И радио мы включали и выключали. Сами!

Но главное ошеломление ждало на прогулке. Дворики на крыше, лестница рядом с камерой, нас завели, сзади грохнула дверь, а мы так и остались стоять у стены... Жарило солнце, освещало розоватый свежий камень, правильные квадраты, и стены розоватые, из того же камня — и простор!

— Перебор,— выдавил я,— как бы, правда, кое-кто не пожаловал...

— Погоди, не то будет! — смеялся Гриша.

Вернувшись с прогулки, мы обнаружили шахматы, шашки, домино... Мы глядели друг на друга и бессмысленно улыбались.

В такой камере хотелось разговаривать. Сначала я поглядывал на решку со змеящейся по ней проволокой, потом махнул рукой — а что они услышат, если и слушают?

— Кабы не тебя жалко, — сказал Гриша, — но если б вдвоем, оттянуть тут мои пятнадцать лет, я б согласился.

Я подумал, что, пожалуй, тоже согласился бы, хотя пятнадцать лет многовато.

— Если не расстреляют, — Гриша поглядел на меня.

Я промолчал, суд у него должен был быть через день, разве оставят вместе, заберут губошлепа прямо с суда и на осужденку, больше не увидимся, а кого сюда сунут? Вот и останусь в этой золоченой клетке неведомо с кем, про общак тепло вспомню...

— Представляешь, — говорит Гриша, — адвокат у меня баба, а она за меня! Ты, говорит, забудь о расстреле, дураки тебя пугали, будем добиваться больницы, совсем уйдешь...

— Не слушают адвоката в суде, лучше не рассчитывай.

— Едва ли. Хотя... Я и не хочу в больницу, пусть зона, только бы... Зачем меня Боря пугал, ты как думаешь?

— Не знаю. Я не могу его понять, для меня он... А ты что о нем думаешь?

— Мало ли что я думаю. Наверно, ты прав. И Пахом был прав, и этот... Артур. Какое мое дело, я от него только добро видел, забили бы меня, когда б не он. А что стучит... Видишь, мне и это на пользу.

— Ты убежден, что он на них работает? — спросил я.

— А что мне, Вадим? Разве я кому судья? Ты и сам... Первые дни и ты меня сторонился, глядеть не мог, отодвигался. Заметно было, не скроешь. И Пахом... Хороший мужик, понимаю, а на меня зверем. Они бы меня сожрали, в первый же месяц кончили, когда б не Боря... Да и Боря, если б его не за тем держали... Отрабатывал!.. Не хочу об этом. Ты мне вот что скажи, Вадим, — как мне жить?

— Так и живи, себе не прощай. Другим прощай. Если можешь, если силы есть. Мы должны прощать. Не можем не прощать. Особенно за себя. Мы говорили с тобой, с этого и начали — разве я отодвигался?.. Хотя тебе заметней. Но ты подумай, что будет с Борей,

что ему предстоит — здесь и... Иудин грех. Знаешь, что это? Видел каким он уходил?

— Черный был. Допекло. Может, отойдет на этапе?

— Не отойдет. Ни на этапе, ни... От того, что с ним произошло, так просто не уйдешь, ничем он этого в себе не задавит. Вылезет, в самый неподходящий момент обнаружится. Не позавидуешь ему, как бы ни сложилось. Пусть никто не знает, не узнает, само будет в нем жить, пока...

— Что «пока»? — спросил Гриша.

— Не знаю, не могу я об этом говорить...

Через день Гришу повели в суд. Странно он ушел, так не бывает: взял тетрадочку и шагнул за дверь. «Попробую без вещей...» — шепнул он мне. Вертухай не сказал ни слова. Значит, вернется. В любом случае вернется. Странно это было, но, по всей вероятности, и в такой странности идея — держать нас вместе и после суда, если не расстрел, вернут в камеру, он будет писать кассацию, ждать ответа два-три месяца, не меньше. Какая-то их хитрость. Но что могло быть лучше нашего положения? Остаться в такой камере вдвоем еще два-три месяца!

Непостижимо было и то, что когда за Гришей закрылась дверь, меня оставили одного. Я тихонько лежал на шконке, читал, не понимая ни одного слова, курил, а когда стукнула кормушка и мне принесли передачу... Первый раз за все эти месяцы я рассматривал каждый предмет, принимался, узнавал и, мне показалось, что-то понял. Потом развернул новенькую телогрейку и увидел вышитые на внутренних карманах кресты... И рюкзак мне подогнали — новый, с обрезанными ремнями. Я тут же попросил иголку и принялся шить, сверяя с рюкзаком Гриши... Может, Господь подарил передышку?

Гриша вернулся поздно. Я успел много: пришел лямки к рюкзаку, гулял в одиночестве посреди розоватых камней на крыше, одного меня водили в баню — душевые номера на первом этаже, горячей воды — залейся. Только пива не дали и махровых простынь. Удивляться мне надоело, а пугаться не хотелось. Пошли они со своей хитростью!..

— Давай к столу, — сказал я и вывалил свою передачу.

— Завтра, — сказал Гриша, — все завтра. И речь прокурора, и адвокат, и мое последнее слово. И приго-

вор. Я и завтра не возьму вещи. Попробую. Они должны знать — понимаешь? Заранее. Если расстрел... Если прокурор попросит... Даже если приговора еще не будет, меня сюда не вернут, наручники и... Придут за вещами, ты поймешь...

— Поешь, можешь не рассказывать.

— Одного везли...— он взял сигарету, зажег спичку и положил сигарету обратно.— Одного в пустом воронке, а рядом набили, как сельдей, в другую машину. А меня как короля. И конвой, когда туда ехали, со мной по-хорошему, клетку не запирали, угощали сигаретами, байки травили, Москву показывали... Застревали на каждом перекрестке, народищу! Конвой только на девок глядит, говорят, теперь голые ходят, под платьем ничего... Это когда туда. А когда обратно... Когда в зале наслушались — обвинительное и... все остальное... Я думал, они меня пришибут. Когда обратно везли.

— Что «остальное»?

— Я не мог глядеть на мать. Она вошла, а я говорю судьбе: «Пусть она уйдет, я не буду при ней.» Она ушла, я сел и... понимаешь, не могу голову поднять. Судья спрашивает, прокурор спрашивает, адвокат подсказывает, я стою, а...

— Кто еще там был?

— Три девочки с матерями. Остальные не пришли. Повезло, сказала адвокатша, лето, каникулы — на даче, в лагерях... И еще наш комсорг из института. Требовал расстрелять и чтоб суда не было — не надо говорит, все ясно. Судья на него рывкнула, оборвала. Представляешь, Серый,— адвокат баба, прокурор баба и судья — баба! Я своим ушам не верю — судья за меня! Или я что-то не понял? Когда стала меня спрашивать, конкретно, тут я на нее поглядел. Она меня спрашивает, а я — молчу. Я только фамилию назвал, год рождения, а так — молчу. Что я могу сказать, Вадим? Ты подумай — что я им скажу? Судье и... Я даже тебе не могу... Нет, тебе я скажу, я давно хотел, не получалось. Тебе обязательно, ты поймешь... Этого нельзя говорить...— сказал он шепотом и поглядел на меня.

— Что, Гриша? — спросил я.

— Помнишь наш первый разговор? Ты пришел в камеру и тебя положили рядом со мной возле сортира? Другого места внизу не было — помнишь?

— Помню.

— Я тогда отмахнулся, я об этом и думать не хотел, не то чтоб разговаривать. У меня все силы уходили, чтоб их не слышать — ни Борю, никого. Но ведь так все время, все месяцы, с первого дня!.. Я дураком был, меня спрашивали и я рассказывал. А они — расстрелять, «зеленка», мы бы сами!.. Я не хотел показать, что боюсь. И не боялся. Перестал бояться. Страшней, чем было на Петровке, когда привезли... Такого уже не будет. Остальное мелочь. А тут... День за днем, месяц за месяцем... Потом ты пришел. Я на тебя глядел, слушал... Помнишь, ты перекрестился, когда первый раз сел за стол?

— Да,— сказал я.

— А когда ты ушел, я с Серегой разговаривал, старовером. И я понял... Ты не думай, я крещеный, меня отец крестил. Он давно не живет с матерью, они разошлись, мне пять лет. Потом отец стал брать с собой летом в отпуск. Он... веселый мужик. Один раз были мы в Карелии, там брошенные деревни, пустые разграбленные церкви... Один раз пристал к нам дед с бородой, священник. Кто он, чего там оказался — откуда мне знать, наверно, лет десять было. Только помню, они с отцом ночью пили, разговаривали, а утром отец говорит: тебя, мол, крестить надо. А зачем? Всякое может быть, а если ты будешь крещеный, нам всем легче. Я не понял и сейчас, наверно, не пойму. Но что он меня крестил, тот дед с бородой, помню, и крестик повесил, я его выбросил, когда надел пионерский галстук. В старой церкви — только стены, на одной висела икона, обсыпанная. Знаешь, когда обсыпаются?

— Где это было? — спросил я.

— Не помню, где-то в Карелии. И вот ты послушай, я давно знаю, заметил... Помнишь, Артур говорил, что ему скучно, он оттого и бесится, бегаёт, в тюрьму залезает. И Боря об этом, и многие тут. Скучно им. Ты обратил внимание?

— Обратил,— сказал я.

— А ты понимаешь что это?

— Может быть,— сказал я.

— Когда тебя... толкает...

— Что толкает?

Мы сидели на шконках, между нами дубок, за окном стемнело, дневной жар уходил в открытое окно сквозь решку, сквозь почти сплошные «реснички». Гриша первый раз прикурнул и теперь дымил непрерывно.

— Мы жили в коммуналке,— говорил Гриша,— я нагляделся на баб... Хотя ничего особенного, коммунал, как коммунал, старый дом на Сретенке. Зайдешь к кому в комнату... Да не в том дело, что барахла много, а как они живут! И скандалы, и чему радуются, и блядство — скучно! И разговоры, разговоры — на кухне, по телефону под дверью. Мне все было скучно — и в школе, и в институте... Я жить хотел, понимаешь?.. И у отца, когда он брал меня с собой в отпуск, и у ко-стра — песни, разговоры, с бабами по кустам... Не мог я, понимаешь, Вадим?

— Понимаю,— сказал я,— только ты не договариваешь.

— Я хотел жить не так, как они живут, а как я и сам не знал. И себя не знал...

Он замолчал, будто поперхнулся.

— Ты чего, Гриша? — спросил я.

— Да ничего! Не верю я, что болен, и врачи врут. Читал я их книги, все понял, там и понимать нечего. Может, я хотел того же, что Артур, а смелости не было, силы не было. Но, знаешь, я думаю, и он того не хочет, это... не он, понимаешь?

— Нет,— сказал я,— теперь я тебя не понимаю.

— Я никому не говорил, а тебе скажу,— Гриша был бледен до синевы.— Давно хотел, а... не мог. Когда я ходил на свои... прогулки, ждал у лифта и... Когда они подходили — в фартучках, с бантами, глядели на меня, а я открывал лифт и... Понимаешь, в чем тут дело?.. Я молчал.

— Ты меня поймешь, я знаю, я никого не могу обидеть, у меня не получится, если и захочу, нет у меня на то никаких... Это был не я, понимаешь? Не я. Я не знаю кто это был и почему я им оказался, но знаю точно и если бы можно было доказать и объяснить — я бы доказал и объяснил. Это был не я, ты слышишь?

— Слышу,— сказал я,— я тебя понял.

— Ты и не мог не понять. Но разве я могу сказать об этом судье? Или девчонкам, их матерям, комсorgh, которому надо меня расстрелять, конвоем — они меня затоптать готовы! Даже адвокату — один на один? Да и зачем говорить, разве дело в том какой будет приговор?

— Тебя надо было остановить,— сказал я.— Не знаю каким образом, но... Вот тебя и остановили.

— Боря считает, что меня надо было убить. И он

бы меня убил, если б ему не обещали, что он будет тормозиться до лета в тюрьме. Видишь, как все просто?

Утром он ушел, и опять без вещей.

И еще целый день я оставался один. Мне было так спокойно, что я перестал удивляться. Лежал на нижней шконке, курил и смотрел в окно сквозь густые «реснички». Неба видно не было, голубело между ржавым железом, даже облачка не различить. Почему им скучно, думал я, всем скучно — Артуру, Боре, Грише, был еще паренек на общаке — Князек, и ему скучно. Скучка — это однообразие, думал я, — монотонность? Дьявол однообразен, хотя бесконечно «развлекает». Отвлекает, — уточнил я. Скучно с собой, а потому хочется отвлечений. Если ты будешь слушать себя, научишься слышать себя, то откроешь в себе... Бога. И тогда сможешь узнать Его, глядя в небо, на тихую гладь озера, понимать в том, как дерево одевается листвой... Тихое небо не может быть скучным — оно красиво, ты глядишь в него и слышишь себя, а потому слышишь... Бога. А грозное небо? Оно — страшно. Но и оно красиво, потому что и в нем ты понимаешь Бога. Значит, кому-то надо тебя отвлечь от такого слышания и понимания. Понятно кому. Но, значит, одному Он Себя, тем не менее, открывает, а другому нет? Быть может, в награду за то, что однажды ты отказался отвлечься, сказал — «Нет!», не впустил в себя тьму, душа очнулась и ей открылась красота, которую, узнав, ты уже будешь беречь, понимая, что ничего не может быть прекрасней и выше, что любое самое заманчивое отвлечение только обман, тебя толкает и ты отдаешься, теряешь волю, тебя уже тащит, ты хочешь еще, больше, никогда не наешься и никогда не напьешься, а он хитер и неутомим в своей хитрости, это его работа, и если ты сделал шаг в его сторону, тебя уже не остановить. Все просто, думал я, особенно просто будет после тюрьмы: лежать в траве и глядеть в небо... Просто лежать и просто глядеть. Без решетки, без запертой, обитой железом двери. И знать, что можешь встать, спуститься к реке, сесть под деревом и глядеть... Но разве его нет в траве, возле реки, под деревом, разве он хоть когда-то оставит тебя в покое и разве ты сможешь быть хоть когда-то в себе уверен? В себе — нет, думал я, только в том, что Бог

тебя не оставит, защитит, спасет, только в Нем надежда... Только в Нем. Себя я уже знал.

Привели Гришу поздно, поздней, чем накануне. После ужина. Я уже со страхом глядел на дверь: откроется, войдет вертухай за его вещами... Он был опять другой... Решительный. Нагловатый. Веселый... Неужто веселый?

— Чего? — спросил я.

— Пятнадцать лет,— Гриша прошелся по камере, стуча сапогами.— Воронок набили — по всему городу, по судам. Жарища, течет со всех... Кем набили! Трояк, четыре года, поселение... Только у одного семерик... Мелюзга! Похаваем?

— С матерью говорил? — спросил я.

Он бегло глянул на меня и отвернулся.

— Завтра свидание... Все спрашивают, всем интересно, как в институте на экзаменах: «У тебя чего?» Я как отрежу: «Пятнашка!» Только zenки таращат... Ладно, Серый, теперь мне море по колено.

На свежевыкрашенной зеленой стене против сортира прибиты крюки — вешалка. Гриша подошел поближе, взялся за крюк и — отломил.

— Спятил? — спросил я.

— Увидишь. Я давно придумал, если вернут в камеру...

Он пошире открыл окно и полез на решку.

— Не валяй дурака, Гриша,— сказал я.

Он возился на решке, гремел железом, скрежетал...

— Черт! Сорвался...

— Что ты там делаешь? — спросил я.

— Кирпич сорвался... Ну, если кому повезло...

— Прекрати,— сказал я.— Выкинут из камеры. Давай поживем спокойно.

— Спокойно не получится, Серый. Не вяжись ко мне...

Я схватил его за ногу, стащил с решки.

— Хватит, Гриша, пока я здесь, этого не будет.

— На сегодня хватит. Утром поглядим. Темно, ничего не видать...

Он говорил без умолку полночи. Рассказывал о себе, о женщинах — с яростью: «Они на меня не глядели — никогда! В упор не видели. Знаешь, как они смотрят? Глаза намазанные — синие, зеленые, рот красный...» О чем-то еще, противоречил себе в каждой очередной истории. О том, как любит старую Москву, пе-

реулки, знает каждое дерево на бульварах, а за деревьями каждый дом: «Вот что мне не скучно,— не бабы, не вся эта мерзость! Москву я сохраню в себе, не заберут — моя! Хочешь, пойдем по бульварам, в первый месяц, когда ты пришел в камеру, мы «ходили»? Пошли с любой стороны, откуда хочешь — давай со стороны Таганки до поганого бассейна?.. Я не отвечал, а он называл и рассказывал о каждом доме, о том, где, у кого и с кем там бывал, где можно посидеть, поесть, где вкусней и лучше, где купить мороженое... «Или, знаешь, Серый, давай пивка, а? Холодного? Или нет, нам с тобой по стакану коньяка — и пошел!..» Да ничего он никогда не пил, не пробовал, едва ли хоть что-то съел, кроме мороженого!.. «Я знаю, кто меня толкает,— говорил он,— и знаю — это был не я. А куда мне было деться? Но теперь все, теперь они со мной ничего не сделают. Ты говоришь, меня надо было остановить? Наверно. Они говорят, меня надо было убить. Может быть, и так. Я не боялся, а потому меня оставили жить. Но теперь я им не поддамся, никому не поддамся — ему не поддамся!.. Вы все боитесь и ты, Серый, боишься. А я, а мне... Пятнадцать лет! Кто еще столько схватил? Пахом — не больше десяти, восьмерик он схватит! Боре — четыре года красная цена, щенок! Про тебя говорить нечего, уйдешь прямо из тюрьмы. «Сколько дали?» — спрашивают: в воронке, на сборке. «Пятнашка...» А у них в глазах, знаешь что? Что ты, Серый! «У-у!..» — говорят.

Утром он не поднял головы и во время проверки. Да какая у нас проверка: открыли кормушку, корпусной глянул и ушел. В одиночестве я съел завтрак, выпил чай; лежал и читал Бунина.

Наконец, Гриша встал, сполоснул физиономию, поковырял кашу и закурил.

— Давай, Вадим, какой у тебя телефон? Передам матери. Она позвонит, все, что хочешь...

— Как же ты передашь — одни, что ли, будете?

— Не могут, кто боится, а я никого... Давай в шахматы?

Он расставил фигуры, глаза, как и вчера, шальные.

Я выиграл сразу, хотя всегда играл плохо. Он надул толстые губы, снова расставил фигуры, «зевнул» раз, другой, побелел и опрокинул доску.

— Читай свою книжку, Серый,— и полез на решку.

За окном грохотало, весь корпус, кроме шестого

этажа, был нежилой, с восьми утра начинался грохот — стройка.

— Гляди, Серый!

Я выглянул через его плечо: улица, трамвай, люди, под нами плавала стрела крана.

— Еще один кирпич! — крикнул Гриша.— Крановщик подаст стрелу — передавай что хочешь! А если еще выломить, перелезем на стрелу — далее везде! Помнишь, Артур рассказывал — с суда ушел!

— Не мели, Гриша. Слезай.

— Отстань... Доковыряю кирпич, а там поглядим.

— Слезай! — я схватил его сзади за рубашку, стащил с подоконника.— Или будем вместе, или уходи!..

Он не успел ответить. Дверь распахнулась, в камеру влетел вертухай, за ним корпусной. Вертухай проскочил между нами, высунулся в окно — и повернулся с кирпичом и крюком в руках.

Корпусной присвистнул, взял кирпич и вышел.

— Все,— сказал я,— доигрались.

— Да по-шли они! Так и было, вон как строят...

— Я не ответил. Больше всего мне хотелось его избить, даже жалости не было.

Дверь снова открылась.

— Выходи,— сказал корпусной.

— На свидание, что ли? — спросил Гриша.

— На свидание.

— Тетрадку возьму.

— Можешь без тетрадки.

Гриша взял тетрадь, карандаш. Он был совершенно спокоен...

— Давай телефон,— шепнул Гриша,— пиши...

Я даже глядеть на него не мог от злости.

— Что возишься? — сказал корпусной.— Заждались.

— Дурак ты, Серый,— сказал Гриша.— Все вы чего-то боитесь! Все ладно, но ты? А говоришь, в Бога веришь. Ни во что вы не верите. Слабаки!..

Через полчаса дверь с грохотом распахнулась и майор с лошадиным лицом ворвался в камеру. «Тот самый — по режиму...» — вспомнил я.

— Тюрьма не научила?! Да я... Да я вас всех!..

— Что вы кричите? — сказал я, мне было все равно.

Он прошагал к окну, выглянул.

— Почему открыто окно? Кто разрешил?!

— Жарко,— сказал я.

— Жарко?! Будет холодно, обещаю... Сегодня мы кой-кого проверим на силу духа...

Он метнулся из камеры.

— Распустили! — кричал он за дверью. — Я покажу им!

Я начал собирать вещи. Хорошо, успел с рюкзаком, ничего нельзя откладывать в тюрьме...

Дверь снова распахнулась.

Этот майор вошел иначе. Спокойный, черный, как жук, черные, внимательные глаза скользнули по мне. Он пролез мимо дубка, тяжело оперся на подоконник, грузно поднялся... Я смотрел на его руки, густо поросшие черным волосом...

«Он, он!» — понял я. Руки я угадал. Но он был совсем другой, неожиданный.

Так же грузно, тяжело он слез с подоконника и поглядел на меня поверх дубка. Я не вставал.

— Что тут произошло? — спросил он.

И голос был не таким, как мне «слышалось». Скорей вкрадчивый, чем властный.

— А что произошло? — сказал я.

— Вы считаете, все нормально?

— Увели, а куда не сказали.

— А кирпич? — спросил майор.

— Кирпич?

— Да, кирпич из стены.

— Верно, дежурный вынул. Я не понял зачем.

— А это что? — майор ткнул волосатым пальцем в вешалку с обломанным крюком.

Я привстал и посмотрел на вешалку.

— Что с крюком? — повторил майор.

— А... не обратил внимание. Отломился.

— Понятно, — майор глядел на меня с нескрываемым любопытством. — Сила есть, ума не надо. Стальной крюк отломали.

— Едва ли стальной, сталь нынче дорогая.

— Что ж вы так оплошали, — сказал майор, — взрослый человек, серьезный, солидный... Не могли его остановить?

— Не понял, — сказал я.

— Все вы поняли. Дали бы ему по шее. Покрепче. И вам было б лучше. И ему на пользу.

— За что? — спросил я.

— Ваше дело. Впрочем, каждый сам выбирает.

К вам у нас нет претензий, а вот к вашему... Не понимают люди, не хотят жить по-человечески.

Он глядел мне в глаза, даже пригнулся над дубком.

— Недоразумение,— сказал я,— пожалейте мальчишку.

— Так думаете?.. Ну, ну.

Он вышел.

Гриша вошел тихо, пар из него явно вышел. Сел на шконку, взял ручку и написал на газете кругом детским почерком:

«Они слышали каждое наше слово. Они сказали, больше мы с тобой никогда не увидимся. Они...»

Он бросил ручку и сказал:

— Десять суток карцера. Сейчас уведут.

Я молчал.

— И свидание было,— сказал Гриша.— Мать плачет, ничего не понимает. А что я ей скажу?.. Прости меня, Вадим, все из-за меня...

Дверь открыли.

— С вещами. Оба. На коридор.

— Я никуда не пойду,— сказал я.

— Как не пойдешь?

— Это моя пятая камера. Хватит.

Вертухай закрыл дверь.

Гриша молча собирал вещи. Я пытался вспомнить о чем мы тут с ним болтали? «Каждое слово...!» — написал он. Вот она «улыбка Будды». Улыбнулась.

«С тобой какой майор разговаривал — черный, волосатый?» — написал я.

«Он,— написал Гриша,— главный кум. Тот самый, о котором, помнишь, Боря...»

Вошел еще один майор. Третий за сегодняшний день. Сколько же их в тюрьме?

— В чем дело? Почему не подчиняетесь?

Я сидел, а он стоял надо мной. Холодные глаза, брезгливо сжатые губы. С таким не договоришься.

— Это моя пятая камера. Никаких причин переводить меня нет. Не пойду. Доложите начальнику тюрьмы.

— Я дежурный помощник начальника следственного изолятора. Здесь я распоряжаюсь. Мы можем переводить вас хоть каждый день. А вы будете подчиняться. Начальника тюрьмы нет.

— Не пойду,— сказал я.

— Ну что ж, наденем наручники. Поведем.

Наручников я не хотел. Но и на общак не хотел.

— Хорошо,— сказал я,— передайте начальнику тюрьмы, когда появится. На суде я заявлю, что на меня оказывали моральное давление. Психологическое давление. Физическое давление. Расскажу о каждой камере, в которой был. И о наручниках. А завтра напишу прокурору.

— Ваше право,— сказал майор.

Мы тащились с шестого этажа нагруженные, как мулы. Барахла стало больше, прибавилась моя передача, а сил почему-то меньше. Майор, корпусной и вертухай шли сзади, вполголоса переговаривались. Мы молчали.

Нас завели на сборку, запихнули в узкий коридорчик. С одной стороны одноглазо глядел ряд боксов. Вертухай открыл две двери рядом и кивнул.

В таком я уже был, как же, когда первый раз вели со сборки. Тогда нас запихнули в такой бокс троих. Я не мог понять, как мы смогли поместиться. Матрас я кинул под ноги, мешок на колени. С меня текло. «Что же сейчас на общеке?»

— Вадим! — услышал я через стену. — Как все плохо, как я сорвался! Зачем? Что это со мной?..

— Прости меня, Вадим,— говорил Гриша через стену,— вот я и тебя подставил. Видишь как? Меня толкает, я толкаю тебя, а ты...

— Я не толкну,— сказал я,— я Бога боюсь, а ты расхвастался: никто, никого, а ты всем... Тебе и показали.

— Прости меня, Вадим,— повторил Гриша.

— Бог простит,— сказал я.— К Нему обращайся, не ко мне. Он поможет, а больше никто.

— Я еще... побарахтаюсь,— сказал Гриша,— я еще попробую. Может, я еще сам, я теперь..

Было слышно, как рядом скрежетнул замок.

— Выходи...— услышал я.

— Прощай, Вадим! — крикнул Гриша— Вспоминай!

— Ладно, Гриша,— сказал я, глядя перед собой в железную дверь бокса,— все проходит и это...

— Сколько дадут карцера — чирик, не меньше? — услышал я Гришу.

— А ты думал, чего заработал? — ответил вертухай.

— Пой, сука! Пой..

— Уйди, говорю... Отпусти. Больно!

— Не хочешь петь?.. Повторяй: я признаю, что продал родину... Признаю, продал план советского завода за..

— Менты!!

Я ничего не могу понять?.. Всего пять дней меня тут не было! Пять дней назад нас увели из — нашей камеры, из — два шесть ноль! Ее не узнать... Микрообшак: сизый дым, смрад, гвалт, толпа... Толпа!

Сзади скрежетнула дверь. Закрыли.

— Вадим?! Откуда...

— Выхватываю знакомое лицо из кучи, густо облепившей дубок:

— Пахом!.

Очки, лицо отвердело, подобралось. Другой. Но тот же — тот самый!

Бросаю мешки, шагаю ему навстречу, а он уже выбирается из-за дубка:

— Вадим, Вадим!!

— Откуда ты сюда свалился?

— Третий день... Набивают камеру, сам видишь... Ну не думал!.. У меня место рядом свободное, будем вместе.

— А где ты?

— Да вон, второе место на первой шконке — мое!

Следующая за ней шконка, крайняя. У самого сортира лежит коротышка, сжался, скукожился, завернулся в одеяло. Возле него блестят черные железные полосы — шконка пустая.

— Отлично,— говорю,— сейчас раскатаю матрас...

Пролезаем на шконку к Пахому. У него подомашнему: полочка, на ней табак, нарезанные листочки газеты, раскрытая исписанная тетрадь...

— Сочиняешь? — спрашиваю.

— Я теперь клязник, я их добиваю, добыю! Пишу, пишу... В прокуратуру, в ЦК, в «Правду». Я их выведу на чистую воду... Слушаешь радио?

— Мне и без радио весело.

— Зря. Надо слушать. Тебе особенно. Всем, кто соображает. Что ты! Каждый скажет, такого не было. Но я их лучше знаю. Увидишь, обязательно проверется.

Проколется! Одна шайка. Но — когда? Вот в чем дело. Это и интересно.

— Зачем время тратить?

— Погоди, поговорим! Не так все просто, тут от отчаяния — и хитрость... Ладно, вместе! Прокололся кум, недодумал!.. Слушай, давай к нам в семью?

— В какую семью?

— А у нас тут две семьи и двое бесхозных.

— На спецу? Вы что?

— Приглядишься... — говорит Пахом.— Миша! Мой кореш к нам, не возражаешь?

— Ну... если ты... Давайте сюда.

Здесь, и верно, общак, думаю...

Миша — конопатый, желтый, черные глаза сощурены.

— Давно здесь? — спрашивает.

— Пять месяцев.

— А с Пахомом где снюхались?

— Мы тут аборигены. Видишь, вернулся. Погулял на общаке и сюда. Пять дней на новом корпусе и обратно.

— На новом корпусе был?

Этот вопрос с другой стороны дубка: роговые очки, нагнул по-птичьи голову, седоватый...

— Шесть этажей,— говорю,— чистота, свежая краска, вторые одеяла, библиотека — по две книжки на рыло, душевые номера, как в Сандунах, а дворики из розового камня — Сочи!

— Гебевский корпус,— говорит еще один, золотоволосый красавчик лет двадцати пяти в шикарном спортивном костюме, это он крутил руку узбечонку, когда я вошел.— Точно знаю, они, для себя строят, тесно в Лефортове.

— Вполне вероятно,— говорю,— похоже.

— Большие камеры? — спрашивает Пахом.

— Маленькие, а на шесть человек. Нас было двое, а если набить, на общак захочешь.

— Что ж тебя оттуда выбросили — или сам захотел? Это седоватый, в очках.

— Двое нас было. Помнишь, Пахом, губошлепа?

— Неужто не пришибли? Вот мразь... Сто семнадцатая, четвертая часть! Да я его б сам... — Пахом сжал кулаки.

— Пятнадцать лет схлопотал,— говорю,— ладно тебе, начнем по своему разумению устанавливать спра-

ведливость, а потом будем жаловаться — закон не соблюдают... Получил срок и загулял. Полез на решку, выворотил кирпич, наболтал, язык что помело, а там пишут...

— Я говорю — Лефортово! — кричит красавчик. — Мне бы твоего соседа, я б с ним разобрался...

— С вами хорошо, — говорю, — и прокурора не надо... Так что, берете меня в семью? Кто у вас еще?

— Мурат, мой приемыш, — говорит Миша. — И Гера. Вон, на первой шконке.

Мурат — тоненький узбечонок, лицо с нежным пушком, как у девушки, улыбается. Гера — сырой мужик лет под сорок, суетливый, с красным, будто обваренным, тупым лицом.

— Тогда, Пахом, принимай мой вклад, — выкладываю из мешка продукты, мы с Гришей едва их начали.

— Видали, — говорит Пахом, какого нашел семьянина?

— Что ж ты, если он тебе кент — обнимался с ним! К кому ты его подкладываешь? — это Миша говорит.

— Рядом будем. Или плохо? — говорит Пахом.

— Соображать надо. К кому кладешь?

— А что такое? — спрашиваю.

— Ложись, — говорит Миша, — завтра вся тюрьма будет знать. С кем тебя положили, а ты лег.

Я оборачиваюсь на пустую шконку: коротышка съезжился, лежит на самом краю, носом к сортиру.

— Мурат! — говорит Миша. — Давай наверх, освободи...

— Конечно! — улыбается во весь рот Мурат, — давно хотел наверх. Весело!

Вон какие порядки в нашей старой камере!

Утром я проснулся и мне показалось, все понимаю, обо всем догадался. Я лежал на первой шконке, на месте Бори Бедарева, на бывшем моем «воровском» — Гера. Места у них у всех, как я понял, случайные, ни о чем не говорят — кто первый пришел, захватил, что получше. Только складывается камера. А кто ее складывает?..

Через проход от меня — Петр Петрович, седоватый, в очках; рядом красавчик Валентин. Эти двое — вторая семья. На другой стороне Миша и Пахом. Коротышка один у сортира. И наверху двое — Мурат и некто, кого я до сих пор не видел. Вчера ни разу не спускался —

может, ночью, когда я спал? Лежит носом в подушку, вроде, спит. «Кто такой?» — спросил я Пахома. Отмахнулся... Какая ж толпа, думаю, всего девять человек. Разберемся.

Что, все-таки, за история с новым корпусом, думаю я, зачем они меня туда сунули, почему выкинули и — обратно?.. Почему обратно, можно понять: с Гришей накладка, неожиданность, одного оставлять не положено и смысла нет — молчать буду, ничего не узнаешь, да и слишком шикарно. На общак не решились, я твердо обещал написать прокурору и заявить в суде. Подействовало, майор поверил. Зачем им? А теперь на что жаловаться — вернули на место. Понятно. А зачем позели в новый корпус, в чем тут загадка? «Пересменка», некуда было деть, пока сложится камера? Или идея другая — «улыбка Будды»?.. Такая тоска разгадывать их фокусы — мое какое дело! Все тот же рога-тый, думаю, начнешь крутиться в им предложенном колесе, голова пойдет кругом, ослабнешь, и то, что рядом, не разглядишь. Тут и проколешься, того и надо. Вот в чем игра. Я считал — следственная тюрьма это борьба со следователем, он тебя будет дожимать, щупать, проверять на вшивость... А тут... Я забыл о моей красоте, видел два раза за пять месяцев! Все происходит в камерах, они меня и без следствия достают, чужими руками размажут...

— Как хорошо в тюрьме!... — слышу я и переворачиваюсь.

Петр Петрович. Тренировочные рваные штаны, чистая маечка без рукавов. Лет пятьдесят. Стоит возле шконки, закинул руки за голову, потягивается. Лицо безмятежное.

Похож на бухгалтера, подумал я вчера — тихий, внимательно-вдумчивый... Нет, инженер средней руки. А сейчас гляжу — что-то неуловимо-иное: острые глаза, широкий крепкий подбородок, тяжелые складки у хищного рта... Кто ж такой?

— Пробудился? — спрашивает. — Здоров поспать, нервишки в норме. А вчера гляжу, дергаешься. Не нравится в тюрьме?

— Как тебе сказать...

— А чего не сказать — хорошо! Кормят, спать дают, гуляют, в бане моют, работать не надо. Или скучаешь?

— Бывает, — говорю.

— То-то я гляжу... Семья?

— Семья.

— Чудной вы народ, интеллигенты. Тут у тебя решетка, верно. Дверь закрыли. А там — ни решетки, ни запоров — семья... Или у тебя была свобода?

— Дело вкуса,— говорю.

— Да ладно тебе! Вижу, лишнего не скажешь, а все одно дергаешься. Гонишь?

— Тебе видней.

— Я тебе вот что скажу...— сел на шконку, наклонился ко мне, жилистый, руки в наколках, а грудь чистая.

Какой он бухгалтер!

— Поторопился, малый. Только вошел в камеру, не огляделся, чего ты мог скумекать? И сразу в семью, харчи отдал... Кореш у тебя. А что с корешом? Плохо ты тюрьму знаешь, сегодня человек один, завтра другой. Не промахнись.

— У тебя какая ходка? — спрашиваю.

— Шестая, на особняк плыву. Года четыре вмажут, пусть пять, больше не возьму, а там поглядим.

— И не дергаешься?

— Законное дело, передышка. Ежели я полгода прогулял, а год — много, я так живу, тебе не приснится. Не обидно отдохнуть, хоть и на особняке.

— Ты по какому делу? — спрашиваю.

— По квартирному. Дело неторопливое. Изучаем, приглядываемся, а когда созреет... Горячка не годится, по наколке. Или скажешь, с моралью не ладно?

— Как тебе сказать...

— Стеснительный... Погляди с другой стороны. Они копили, откладывали, на мыле сэкономили... Едва ли, конечно. С такими скучно заводиться. Мои клиенты народ шустрый, у самих рыло в пуху... Ладно, пускай твоя правда — трудовой народ. Сколько копили — год, десять лет? Приобрели, рады. А я забрал. Обидно, да?.. Переживают, слезы льют. Жалко человека, тем более, если женский пол... А меня не жалко? Полгода в тюрьме, месяц на пересылках — и на зону! Год, другой, пятый... Кому хуже?

— Ловко.

— Справедливо! Ущерб материальный или, как говорится, моральный. Что перевесит?

— Меняй профессию,— говорю,— тебе судьей служить.

— Скучно, надоест копать в дерьме. Мое дело

почище... Ты приглядывайся, это тебе не книжки писать...

Камера просыпается. Пахом встал у решки на зарядку: брюха нет, втянуло, крепкий еще мужик. Миша в сортире, водные процедуры — болеет, что ли? Мурат улыбается, всех приветствует — тонкий, стройный, чернобровый... Мой сосед Гера сидит на шконке, бессмысленно лупит глаза; когда я засыпал, слышал его рассказы: мясник в магазине, а подрабатывает в крематории на разделке трупов: «Деньги большие, а работа плевая, не барана разделать, и спирту залейся...» Когда б не моя счастливая способность спать в любой ситуации, они бы меня заколебали!

Коротышка недвижим — что за фрукт? И еще один, неопознанный — наверху. Так и не видал... Красавчик Валентин — вот кто не нравится, беспокоит: такая наглость в парне — здоровый, мордатый, холеный. А перед Петром Петровичем лебезит, заискивает...

Нет не много я еще понял.

И с Пахомом разговор вчера был тяжелый. «Я видел Борю Бедарева», — сказал я. «Ты?.. — покраснел, на носу и под очочками блеснули капельки пота. — Мне б он встретился, гад... Ты знаешь, что он...» — «Знаю, Менакер и Гриша рассказывали. Я и без них понял. Он отдал фотографию и письмо.» — «Твои? И письмо, и фотография?..» — «Мои.» — «Ну, не знаю...» — «Оставь его, ему хуже нашего. Мы за свое получим... Или не за свое, но это наша ситуация. А он и за нас.» — «Таких надо давить, — сказал Пахом. — Если таким прощать, жить нельзя. И того, кто прощает... Тебе говорили, как он меня сдал?» — «Я его видел неделю назад, он уже за все платит.» — «Перестань, дешевая игра, тебя только ленивый не купит, всем веришь, такие, как он...» — «Ладно, Пахом, — сказал я, — не хочу о нем, без того тошно...»

За завтраком у меня кусок не лезет в горло. Вчера не дошло, не врубился.

Наша семья возле «телевизора». В торце Миша, содной стороны я с Пахомом, напротив Мурат и Гера. Миша режет сало... Оглядываюсь на Пахома: очочки блестят, губы сжаты, сопит. В чем дело?.. У Миши рука толстая, играет заточенной ложкой, а куски... Вон оно что! Зачем же ты полез в семью, коли так? Сам полез и меня потащил?

Чуть подальше расположились Петр Петрович и

Валентин. У них скудно. Сала нет, режут засохший сыр из ларька.

Неопознанный наверху не шевелится, а коротышка на своей шконке, спиной к нам, носом к сортиру, ковыряет в миске ложкой...

Тоска!

— Разбудили бы человека к завтраку? — киваю наверх.

— Саня! — кричит Мурат. — Какаву подали!

Неопознанный перевернулся, дрыгнул лапой, шевельнул грязными пальцами, лица не видно.

— Потом...

Живой, думаю. Голос хриплый, как из бочки...

На общаке «семья» естественна: шестьдесят человек, как иначе прокормиться, а здесь, когда нас всего девятеро... Не мое дело, только пришел, сразу необразишь...

Мурат собрал шленки, потащил к умывальнику. Пахом дуется на меня за вчерашний разговор. Сижусь у Миши на шконке. На полу, у окна стопочка книг. Военные повести, две книжки «ЖЗЛ», роман о Батые... Лесков!

— Никто не читает, — говорит Миша, — себе беру. Чтоб не... отстать. Самое страшное — выйду с зоны, отстал.

— От чего отстал?

— Мне сорок пять, выйду — за пятьдесят. Кем буду?

— А кем ты хочешь быть?

— Гляди... — достает из-под подушки конверт, вытаскивает фотографию.

Цветная. Большой телевизор, «стенка» с посудой, хрусталь. В кресле средних лет женщина. Усталая, отцветшая, с вытертым постным лицом. Нет, не узбечка — еврейка? Старомодное платье, бусы на морщинистой шее. С двух сторон девочки лет десяти, двенадцати. Кружевные платица. Похожи на мать.

— Мои, — говорит Миша. — Дом в Ташкенте. А я бывал месяц в году, не больше. Одесса, Воронеж, Москва... Дело. Сам понимаешь — дубленки... В Москве у меня баба, квартира, машина. И в Одессе машина... Ясно? Приглядел под Москвой дом, в этом, как его... Звенигороде... Короче, ошалел от денег, я им счет потерял. У меня-то они ничего не нашли. А к матери заглянули, тоже в Ташкенте, триста сорок тысяч хапнули.

— Не мог подальше спрятать?

— Я уже не соображал, позабыл где живу. Ошалел...

— А чего ты здесь? Если Ташкент...

— Сначала в Ташкенте, потом в Лефортово, на раскрутку... Там бы пришибли. Теперь сюда...

— Много подельников? — спрашиваю.

— Обещали — уйду от вышки, понял? Обещали десять лет. Твердо. Если бы обманывали, они б меня сюда не перевели. Еще месяца три, потом в Ташкент. Там и суд будет. Со следователем нормально, поняли друг друга. Похоже, выкрутился. Если десять лет — что я там не договорюсь? Раньше выйду! Главное... Короче, жить буду. Вот и не хочу... отстать.

— Как же ты отстанешь, у тебя вон какое сражение, тем же самым занят — продаешь, прикупаешь? И товар подороже — не дубленки. За один день столько переживешь, раньше бы на год хватило. Не так?

— Не понял. У них кино, телевизор, любые книги. А у нас тут с тобой?

Поднимает голову, в карих глазах злоба:

— Куда лезешь, падло?! К дубку... На парашу, мразь!..

У дубка коротышка: короткие ноги, длинные руки, альбинос — белые ресницы, свалывшийся пух на голове, лицо изжеванное, как мятая перчатка... Хватает миску, только что поставил на край дубка, и семенит к сортиру.

— Кто он? — спрашиваю.

— Мразь, а твой кореш хотел тебя к нему. Ума палата... Некрофил, сука! Его тут во всех камерах... Сюда сунули, чтоб оклемался. Пришел позавчера, в руках шленка.. Видал дурака? Со своей посудой ходит, вместо паспорта, чтоб не обознались. Если он нашу шленку тронет, уьем...

— А этот? — киваю наверх.

— Подонок. Мать зарезал.

— Как... мать?

— Ножом. Не камера — обиженка! Их бы в другой хате...

Катится жизнь в моей старой камере. Что-то я не ощущаю ни любви, ни радости — или на общак попротиться?

— Гера! — кричит Красавчик. — Слышал новость?

— А чего?

Гера на своей шконке, вынимает из мешка барахло, складывает и пихает обратно. И так три-четыре раза на день.

— Пошли работать, Гера. Не надоело матрас пролеживать? На овощную базу. Я мешки таскать, разгружать, а тебя кладовщиком.

— А зачем мне? Чего я там не видал?

— Твое дело. А я подышу, на людей погляжу... Мне автомат надо, позвонить. Ты дверь прикроешь, покараулишь.

— Автомат?.. — Гера застыл на шконке.

— Бросишь монету — «алё»...

— Где я две копейки возьму?

— Где хочешь. У меня есть... Не сообразишь, как позвонить? Учить тебя?

— А он у них работает?..

Геру позарез надо позвонить, он и мне вчера все уши прожужжал. Связаться надо с волей, подельник у него гуляет, еще один кореш его сдал, а третий все может, но ничего не знает, надо сообщить... Хоть какой канал на волю — все отдаст!

— Твое дело,— жмет Красавчик,— я завтра заявление. Через два дня на базе.

— А возьмут? — сдается Гера.

— Чего тебя не взять? Продавец, квалифицированный кадр. Или ты лапшу вешаешь, что в магазине работал? Мне могут отказать, грузчиков хватает, а тебя точно...

— Как писать? — Гера уже готов.

— Продиктую... Вот тебе бумага... Мурат, дай начальнику склада ручку... Пишешь?.. Начальнику СИЗО от... Как твоя фамилия?.. Имя-отчество, статья... Заявление. Написал? Прошу разрешить работать кладовщиком на овощной базе. Обязуюсь справиться... Подпись. Ставь сегодняшнее число. Седьмое июля. Готово?.. Завтра отдам на поверке. Мое и твое.

Камера замерла.

— Писатель, не хочешь с нами?..— говорит Красавчик.— Погуляем, себя покажем, подышим...

— А сам ты написал? — опоминается Гера.

— Само собой. Это тебя надо уговаривать.

Гера ожил. Еще раз слушаю его историю: кто его сдал, кто вытащит, кто в управлении, кому надо дать у кого взять... Был бы автомат, все успеет.

Утром на поверке Красавчик отдает заявление.

Одно. Корпусной не поглядел, сунул в папку и грохнул дверью.

Часа через два дверь распахнулась. Корпусной.

— Кто тут Пигарев?

— Я,— говорит Гера.— Я Пигарев.

— Писал заявление?

— Писал.

— Кладовщиком собрался?

— Справлюсь,— говорит Гера.

— Уважил. Благодарность тебе. Кем служил?

— Продавцом.

— На повышение хочешь? Продавцом проворовался, а кладовщиком не будешь воровать?

— Я докажу,— говорит Гера,— я ни в чем не...

— Кто тебя подставил, мудака? — спрашивает корпусной.

— Чего?..

— Если ты еще раз такое напишешь, пойдешь в карцер. Там нужны кладовщики. Ясно?

Дверь закрылась, камера взрывается гоготом. Гера не сразу понимает, что произошло. Потом грустно улыбается:

— Крепко вы меня...

Красавчик неутомим, а Геру, как говорит Пахом, только ленивый не купит.

В тот же вечер Гера ходит по камере, демонстрирует ботинки: на одном подметка отвалилась, на другом вот-вот...

— Мне бы иголку потолще...

— Потолще! Тонкая есть, ломаешь. Не дам...

— Дурак ты, Гера,— говорит Красавчик.— Ты в тюрьме. У кого надо просить?

— У кого?

— Пиши заявление начальнику. Тебе не для баловства, для дела. Босиком ходить нельзя, так? Придется выдавать со склада. А себе тоже надо. Короче, невыгодно.

— Неужели дадут?

— А куда они денутся? Новые будешь просить, подумают, с тебя запросят. Знают чего у тебя просить... А тут сам. Или им плохо? Пиши, только подробней: какие ботинки, зачем иголку, какую... Да что ты иголкой сделаешь?

— А чего просить?

— Чего-чего! Не сапожничал? Шило надо? Нож.

Что ты без ножа сделаешь?

— Разве дадут? — сомневается Гера.

— А куда денутся? Чем сапожничать — пальцем?

— Напильник... — подсказывает Петр Петрович.

— Верно! — подхватывает Красавчик. — Напильник, первое дело. Какой сапожник без напильника? Мурат, давай ручку!

Гера, как замороженный, берет лист бумаги, ручку...

— Пиши! — Красавчик висит над ним. — Начальнику СИЗО от Пигарева, имя-отчество, год рождения, статья... Заявление... У меня развалились ботинки, ходить не в чем... Размер какой? Размер сорок третий. Для ремонта необходимо... Написал? Ставь две точки... Да не так, дура! двоеточие. Где ты учился, кладовщик!.. Сапожный нож... В скобке... Валенки ты серый, продавцом работал! Скобку ставь, а в скобке пиши: острый!.. Сапожный нож, острый, напильник, шило, большую иглу, толстую... Вроде все. Пиши! Обязуюсь выполнить ремонт добросовестно в два дня...

— Я за один управлюсь.

— Пиши два. Один дадут. Всегда проси больше. Может, еще кому понадобится. И напильник сгодится, и нож, и...

В камере гробовая тишина, только Мурат булькает.

Корпусной ворвался через полчаса после проверки.

— Пигарев! На коридор!!

— Дратву забыл вписать! — кричит Красавчик. — Попроси, если не успели выписать...

Вернулся Гера часа через два. Бледный, злой, ни на кого не поглядел. Лег на шконку, завернулся в одеяло.

— Не дали напильника? — спросил Красавчик. — А мы думали, решку спилим...

Еще через день все лежали после завтрака, ждали прогулку. Вижу, Красавчик шепчется с Муратом, тот жмет на «клопа», кормушка шлепнула. Мурат что-то спрашивает у вертухая.

— Пигарев... — говорит Мурат. — Гера!

— Чего надо?

— Тебя... С вещами.

Гера вскочил со шконки, засуетился, хватается мешок, вываливает барахло... Садится, руки опущены, лицо несчастное.

— На общак, — говорит Красавчик, — доигрался.

— За напильник он расплатился, — говорит Пахом. — Спроси, Гера, может, ошибка?

Ему явно жалко Геру.

— Чего уж,— безнадежно говорит Гера,— пойду на общак. И там люди живут... Все ты, ты! — кричит он Красавчику.

— Надо мозгом шевелить,— говорит Красавчик,— будешь ученый. На общаке тебя не так заиграют.

Гера начинает складывать вещи, чуть не плачет.

— Дадите сала? — просит он Мишу.— И табачку...

— Отбой, Гера,— говорит Пахом.— Развязывай мешок...

Мы начали разговор с Пахомом на прогулке, в жарком дворике, но он уже не мог остановиться и когда вернулись. Миша ушел на вызов, мы сидели на его шконке, спиной к камере, тут, вроде, самое безопасное место. Пахом сильно изменился за эти месяцы: раздраженный, колючий — на пределе человек.

— Не верю я им, Вадим, никогда не поверю. Ни одному слову! Если выпустят — и тогда не поверю. Не выпустят! Если только с говном смешают, если себя размажу, кончусь, тогда — выходи! Ты думаешь, их слова от того, что опомнились, правда им нужна, мафия мешает? Не хотят они правды, и из мафии им не выскочить. Счеты сводят. Один подход, другой вылез, укрепиться надо. А как укрепиться — неужто правдой? Разве она для того? Тут безнадежно. Он молодой, шустрый, дождался своего часа — выскочил! А дальше что?

— Посмотрим, не гони картину.

— Мне не надо смотреть, нагляделся.

— Ты же надеялся — зимой? Амнистию ждал... Вчера сказал — тебе интересно? А выходит, все наперед знаешь?

— Мало ли что я говорил. Говорить все горазды. Сколько себя помню — одни слова. А хоть что обернулось делом? По делам гляди!

— Что мы отсюда увидим?

— Здесь все видно. Как в капле, вся ихняя лживая природа... Я читаю газеты, слушаю радио. А потом меня дергают к следователю... Что ж он не те же газеты читает? В том и дело, все знает, но он с молоком усвоил — слова словами, а дело делом. Меня посадили — надо дотянуть. Или ему правда нужна, справедливость, закон, моя судьба его заботит? И дотянуть ему надо не меня, это так, по ходу, а чтоб я других

вложил, чтоб в его игре пешкой. Вот ему что надо!.. Пять месяцев они меня катают, сперва у них было старое мышление, теперь новое, а хоть что изменилось, не один хрен? Они сами тем словам не верят, повторяют, как попки, а хотят, чтоб мы им поверили! И мы поверим?.. Я тебе рассказывал про хозяина Москвы? Столкнулся я с ним однажды, помнишь?.. Мафия из мафий, к нему все нити, он и главным мог стать. Я б не удивился. Про него все знают. А что с ним дальше? Убрали? Нельзя не убрать. Мешает. Чему — правде? Новому мышлению? Как бы не так! Ты погляди как его убрали? Герой труда, вторая золотая звезда, бюст на родине — с почетом и благодарностью на заслуженный отдых! А ему здесь место, на шконке, у параша. Почему, думаешь? Из гуманизма, из старой дружбы? Нет там ни дружбы, ни гуманизма. Страшно, что заговорит, вот в чем «мышление»! Чего бы ему было терять, окажись в тюрьме, на суде? А он столько знает, так со всеми повязан...

— Может, ты... торопишься, видишь, как все серьезно. Сначала укрепиться, а потом...

— Что — потом? Укрепляться на лжи, на том же самом поганом вранье, два пишем, три прячем? Для дураков, от которых нам зерно нужно, не растет у нас, машины, мы их делать не способны. Для них!.. Ладно, дураков обманем — разве в том выход? Ты думаешь, чем люди живы? У нас, не где-то там? Ты же людей не видал, не знаешь! Никто не работает, не хотят работать. Понятно тебе? И не будут, как перед ними не стелись. И знаешь, почему? Лень, думаешь, спились? Нет, малый, тут инстинкт срабатывает — себя сохранить, душу спасти, народ, нацию... Если, конечно, осталось, если есть чего спасать. Не хочет мужик участвовать в этой лживой каше. Чем ты его заставишь? Это и есть сопротивление, посильней бунта, революций — что ты с ними сделаешь? Скажешь, рабское сопротивление, трусливое? А знаешь, какая в нем сила? Этого им не преодолеть, не переломить, не справятся. Они — чужие, понимаешь, как марсиане? Говорят, говорят... И чтоб после семидесяти лет вранья мужик им поверил? Да пошли вы все!.. Я давно знал, а теперь точно, отсюда хорошо видно. Они, кто сидят в креслах...

— Да кто они? — прервал я его. — А сам ты кто? Или ты работяга — разве не лез в кресло?

— Лез,— сказал Пахом,— потому и знаю, мне и

аукнулось. Возмездие, как этот гад повторял. Я потому и попал, что лез. Но я не в кресло, я хотел работать... Я землю люблю — можешь ты это понять? Я думал, если работать, себя не жалеть, если все будут работать и не будут себя жалеть... Что я один, что ли, такой?

— Какой — «такой»?

— Нормальный мужик. Люблю выпить... Но мне работать хотелось, я думал, хрен с ними, что они врут и набивают карманы, особо не пообедем. Будем делать дело и все само, как-то там... А видишь, как вышло: дураки, которые хотели дело делать, все здесь. Тысячи, тысячи людей! А миллионы, они пальцем не шевельнули нам помочь. И правильно — кто мы для них? Те же марсиане. Чужие. Не всех, конечно, дураков посадили, и на воле хватает, а тюрьма по ним плачет.

— Тут вот какое дело,— говорил Пахом.— Они всем мозги запудрили... Первый раз, что ли? Кого мы только не обманывали! Их только ленивый не обманет, зажрались, зажирели. Я запад имею в виду. А почему, думаешь? Они хотят, чтоб их надули, им так легче, лишь бы спать сладко, а что будет завтра — им про то думать спокойно. Тут знак другой, а смысл тот же. Такие же умники, как наши. Но разве мы от того выиграем, хоть и обманем? Ни хрена мы не выиграем, все уйдет в слова, в брехню, в хвастовство. Ты знаешь, что такое общественный продукт?.. Я не ученый, а так тебе скажу. Нас, считай, триста миллионов, шестьсот миллионов рук... Вот я и думал — какая силища! Но как ты заставишь эти руки работать? Под пулеметами не работают, косят... Жрать надо, понятно. Любому мужику нужна пайка. Для себя, для бабы, для детей. Вот он и забьет гвоздь — за пайку. Но разве от того гвоздя чего построишь, в масштабе страны, я имею в виду? Надо десять гвоздей забить, тогда сдвинется, пойдет дело. И сила на то есть, и время, и хватки не занимать. Но чтоб мужик забил для них десять гвоздей? Да по-шли они, пусть сами забивают! Как он им поверит, чем они нашего мужика застрашают или купят, чтоб он захотел на них работать?.. Семьдесят лет заливали страну кровью — материк, чуть не треть суши. Семьдесят лет уваживали по той кровушке ложью — что на той земле вырастет? Ничего не растет. Я тебе рассказывал про отца — и его кровь там. Но я, видишь, каким дураком был — по делам и мука. Но чтоб мужик — а их миллионы, стал забивать им гвозди? Нет.

Они тех обманут, кто обмануться хочет, кому есть что терять. А нам терять нечего, все забрали. А душу мужик не отдаст. Может, он того не понимает, не сказал себе, слова не нашел, а знает — только в том его спасение. Забил гвоздь, получил пайку — и прощайте. Слов наслушались, а дела нет. Ты мне прочитай из газеты хоть одно слово правды, чтоб там не было хитрости, чтоб я ему поверил, чтоб знал — для меня, не для дяди, которому есть что терять, а потому страшно...

— Ладно, Вадим, хватит, — сказал Пахом. — Ты сам все знаешь не хуже меня. Осторожничаешь. Меня боишься?

— Тебя нет, — сказал я.

— Я и перед тобой виноват, — сказал Пахом, — подставил. Не надо было тебе в семью... Такой гад... Хрен из Ташкента. Опять, как у них: знак другой, а... Нахал, а переварить не может. Думаешь, у него все забрали? Жизнь он спасает — не понял? Уже купил, не сомневайся. За чужой счет. Всех заложил, кого смог, а здесь дорабатывает. Через день на вызов. Не один он тут, гляди лучше. А я и глядеть не могу. Липкий, грязный... Видал, что он в сортире делает? Геморрой у него. А потом — нам сало? Режет и кроит...

— Что с тобой, Пахом? На людей кидаешься...

— На каких людей? Да я б его...

Ночью меня разбудил душераздирающий крик. Я вылез из матрасовки. Только Неопознанный и Коротышка на шконках, остальные за дубком. Играют.

— Что такое? — спрашиваю.

— У соседей, — сказал Петр Петрович. — Постучи в кормушку, Валька. Что там?

Красавчик жмет на «клопа».

В коридоре голоса, топот... Кормушка брякнула. Красавчик сунул в нее голову.

— Чего надо? — спрашивают из коридора.

— Валидола, — говорит Красавчик, — тут у нас...

— Я тебе накидаю валидола! — кормушка захлопнулась.

— Из хаты... Напротив нас. Потасили...

Красавчик прижался ухом к кормушке.

— Точно, жмурик. Удавился, что ли?.. Откачают и в карцер.

Пахом пролез ко мне, сел на шконку. Курит.

— Чего не спишь? — спрашиваю.

— Вот и я так, Вадим... Я не пойду на зону. Если будет приговор... Мокрое полотенце — и под шконку. Хорошо бы кто свой рядом. Прикроет...

Игра за дубком продолжается: Миша с Муратом — в шахматы. Петр Петрович с Валентином — в шашки.

— Как ты сало режешь, гад?! — кричит рядом Пахом.

Глаза под очочками бешеные, стучит кулаком.

— Ты погляди, Вадим, как кройт, сука!

— Спятил с горя? — говорит Миша.

По виду спокойный, а побледнел.

— Все,— говорит Пахом,— сыт, накормил. И друга подставил. Ты бы руки мыл, когда в жопе ковыряешь. Нет у нас больше семьи — понял?

— Мы не неволим,— говорит Миша.— А ты, Гера? Мурата он не спрашивает.

— Не-не знаю,— тянет Гера.— Нет, я с... Пахомом.

— Ну и благодарим. Верно, Мурат?

Мурат молчит. Розовеет, как красна девица.

И Петр Петрович молчит. Валентин порывается что-то сказать, Петр Петрович кладет ему руку на плечо.

— Проколешься, Пахом,— говорит Миша,— пожалеешь.

— Ты меня не пугай,— Пахом вот-вот кинется на него.— За тебя, что ли, буду держаться? Мне с тобой и говорить западло, не то чтоб есть... Что скажешь, Вадим?

— По мне, и семьи не надо. Девять человек в хате. Какая еще семья?

— Что ж ты, писатель, с некрофилом будешь хавать, с петухом? — спрашивает Миша.

— У меня чина такого нет — людей делить.

— Во как! А ты, Петрович? — говорит Миша.

— Зачем меня спрашиваешь? Или я на твоё сало гляжу?..

Полный бред. Три семьи за дубком. Коротышка на своей шконке, у сортира. Неопознанный Саня валяется наверху. Нежилая камера. Мертвая.

Утром Миша уходит на вызов. Валентин опять вяжется к Гере, ломает руки Мурату... Нет, тут я не вытану.

Миша вернулся быстро, пролез к себе, разложил на шконке свежие газеты, сигареты с фильтром...

— Видишь? — говорит Пахом.— Понял?.. Завтра меня выкинут. Договорился... Ладно, пролетели. Давай в «мандавошку»? Боря оставил тебе карту? :

— Скучаешь? — спрашиваю.

— Хорошо было. Жили, терлись друг об друга...

Утром, как по писаному, брякнула кормушка:

— Костров! С вещами.

— Во как,— сказал Пахом,— и не стесняется, гад, хотя бы выждал денек-другой для приличия... Терпеть будете?

Никто ему не ответил.

Он собрал вещи, натянул сапоги, телогрейку.

— Все Вадим. Знаешь, где моих искать, расскажешь...

Дверь за Пахомом грохнула.

Пытаюсь приручить Мурата. Самый тут симпатичный, хотя и шестерка у Миши. Студент, приехал из Самарканда. Отец купил любимому сыну золотой аттестат, устроил в Москве в институт культуры, снял отдельную квартиру; деньги, посылки, бухарские халаты... Парень загулял — долго ли в Москве да при таких возможностях! И попался по-глупому, дружки подставили. Потом потащили по камерам. В одной ему едва не выломали золотой зуб, в другой... Он и в карцере побывал, намыкался. Миша его сразу пригрел, подкармливал — свой, узбечонок, на всякий случай. Славный мальчишка, а без царя в голове. Целые дни рисует интерьеры в будущем своем доме: мебель, магнитофон, телевизор, видео, бар... Книг не читает, в институте он только девчонок перебирал... Но с ним хоть поболтать можно.

— Расскажи про Самарканд, Мурат!

— Хорошо у нас. Красиво. Горы, тепло, все растет, а... Скучно. Шашлык, вино, любые фрукты, у отца денег полный карман — чего хочешь. После тюрьмы я бы хотел домой. Отогреться, поесть, а через месяц, через два... Не жить мне там. Как я вернусь — увижу отца?.. К нему все с уважением, а я... в тюрьме. У нас младший сын — наследник. Я — младший. Погубил отца

— Почему же скучно? Что такое... скучно?

— Не знаешь?.. Скучно, когда нет чего хочешь.

— А чего ты хочешь?

— Чтоб красиво, чтоб девочки, чтоб...

— У тебя это все было.

— Было... А я хочу всегда. И не как у нас дома. Как в Москве! В Москве никогда не скучно.

— Но за это надо платить?

— Заплачу,— говорит Мурат.— У нас деньги не переводятся. И советской власти нет. Там возьму, сюда приеду.

— Ты же говоришь, перед отцом стыдно? Разве ты деньгами платил — отцом расплатился!

— Я и не хочу туда, не останусь. Скучно. А у вас... хороший город. Большой. Все есть. Чего захочешь — бери.

— Эй, Нефедыч! А ну, вставай.

Красавчик-Валентин лежит на шконке, задрал ноги, ему тоже, видать... скучно. Он с краю, у двери, а Коротышка — у другой стены, возле сортира.

Коротышка встает.

— Давай к кормушке,— командует Валентин,— рылом к хате. Докладывай, Нефедыч, не все в курсе, а всем надо. Кто такой, с чем тебя, падлу, хавают?.. Чего молчишь?

Коротышка моргает мутными глазами в белых ресницах, на мятом лице откровенный страх.

— Сперва разминка,— распоряжается Валентин,— ты у нас спортсмен, в натуре, так? Постой-ка на голове.

Коротышка засучил рукава, руки у него длинные, жилистые. Ухнул и перевернулся, встал на голову, дрыгнул короткими ножками, вытянулся и замер.

— Сила!.. Стой. Докладывай. Фамилия, статья...

— Нефедов... — говорит с натугой Коротышка, лицо налилось кровью.— Павел Германович... статья сто вторая...

— Вертайся! — командует Валентин.— Какая ж у тебя сто вторая? Все рассказывай. По порядку, как дело было?

— Было и было... — голос у него неожиданно тонкий, писклявый.— Мать говорит, сходи к тете Паше, материна сослуживица, розетку ей надо поставить. Пошел, чего не пойти. Она на Октябрьском поле, далеко...

— Какое далеко, считай, центр...

— Не центр, а мне из Чертанова. Поехал...

— А ты можешь — розетку?

— Я электриком в ЖЭКе. Мое дело. Всех делов на полчаса, с проводкой.

— Молоток! И за то тебе сто вторая — за розетку? Или, что ты ей поставил? Ты с кем говоришь, Нефедыч, с прокурором?

Коротышка затравленно глядит на камеру.

— Зачем тебе?

— Чего?.. Зачем? Ах ты пес! Тебя просить надо?

— Не за розетку, — Коротышка вздыхает. — Она мне бутылку поставила. Красного. Я белое не пью, а красное уважаю. Она не пьет, тетя Паша. Выпил, долго ли? Гляжу, телевизор... Новый купила. Для него и розетка. А на телевизоре антенна. Усы. Комнатная. Я ее заматал в тряпку и пошел...

— Антенну?

— Антенну.

— Куда ж ты ее понес?

— Домой. Телевизор есть, а антенны нет. Нам надо.

— А она тебе дала?

— В том и дело. Я, говорит, себе купила. А нам?.. А где ее достанешь?.. Я ей объяснил, как тебе, а она пихаться... Я ее этими... плоскогубцами по башке. Разок ударил, она повалилась. Гляжу, вроде, неживая. Померла. Я ее в эту... ванную затащил, все с нее содрал и воду напустил. Вроде, потопла.

— Горячую пустил или холодную?

— Чего?

— Какую воду пускал, спрашиваю?

— Не помню, мало до верху не дошла. Закрыв кран и ушел.

— С антенной?

— Ну. Зачем она не отдавала?

— А дальше что?

— Мужик попался. Недалеко от ее дома. Продай, говорит, да продай. Привязался. Я и продал.

— Сколько взял?

— Червонец.

— Что ж дешево? Говоришь, достать нельзя?

— У него не было. Червонец, говорит, один.

— Что с червонцем сделал?

— Вина купил. Бутылку. Красного. Матери осталось.

— А дальше что?

— Тебе зачем... дальше?

— Давай, давай, Нефедыч. Чистосердечную. Не вилай. Знаешь, что будет, если скроешь?

— Знаю, — говорит Коротышка. — Я к ней опять

пошел, к тете Паше. На другой день. Телевизор у нее остался. Новый. А ей теперь зачем? Тем боле, без антенны?

— Ты ж продал антенну?

— Продал, а телевизор остался. Зачем ему стоять без дела?.. Пошел, открыл дверь...

— У тебя ключ, что ли?

— Нет, у меня ножик. Я любую дверь открою.

— Ну открыл — и чего?

— Чего-чего! Взял телевизор, замотал в скатерть...

Дай, думаю, погляжу, может, плавает?.. Зажег свет, а вода ушла. Сухо. Она лежит, как живая, вроде спит...

— И что?

— Голая она, без ничего...

Мерзкая ухмылка скользит по жеванному лицу Коротышки:

— Ну, у меня... аппетит проснулся, я ее...

— Хватит, Валентин,— не выдерживаю я,— оставь его!

— Писатель?! — вскидывается Валентин.— Ты не в богадельне, в тюрьме. Или думаешь, мы кто такие?.. Продолжай, Нефедыч. Все, выкладывай. Что дальше было?

— Ничего не было. Мент возле метро: откуда несешь, где взял?.. Чего я ему скажу? Вот телевизор, вот я... Он не слушает, не верит. Повязали и... к тете Паше.

— Ладно,— говорит Валентин.— Поверим тебе. Двирай сюда. Будешь мне сапоги чистить.

Коротышка берет сапоги, несет к умывальнику.

— Чем будешь чистить?

— Тряпкой, чем еще?

— Языком, падла! Языком вылизывай, понял меня!

— А меня ты понял? — я встаю со шконки: хватит, не жить мне тут, пожил! — Оставь его в покое.

Валентин лениво поднимается...

— Ложись,— говорит Петр Петрович.— Утихни. Ну!

Валентин глядит на Петра Петровича, ворчит под нос, укладывается на шконку.

— А ты, парень, больно нервный,— говорит мне Петр Петрович,— не перегрейся. Он верно тебе сказал, тут тюрьма...

Как только Пахома увели, Петр Петрович стал ко мне особо внимательным. Без навязчивости, но цель

несомненная — сблизиться. Играем в шахматы, о том, о сем. Но это первый разговор напрямую.

— Надо его отсюда выкидывать,— говорит Петр Петрович.

— Кого?

— Засранца ташкентского. Глядеть тошно. Твой ко-реш сразу разглядел. Зачем нам?

— Мне и без него тошно.

— Еще кой-кого... Почистить. Если хочешь знать, самый опасный не он. Дешевка. Хуже всех мой... комсомолец.

— Валентин?

— Угу. Таких бойся, от них самая беда. И в тюрьме, и на зоне. Пока его обломают, он столько наворотит... С малолетки ушел — чему он там научился? Дома у него — залейся, а потому никак не врубится кто чего стоит. И себе сам назначил цену. Высокую. Таких надо давить, но с умом... И этого ублюдка уберем.

— Образцовую хату подбираешь?

— Зачем мне, как говорится, лишние переживания? Мне ладно, я привычный, а ты дергаешься... У тебя, парень, скоро... большие изменения.

— Почему ты решил?

— Понимаю кой-чего.

Вечером его потянули на вызов. Время было неурочное.

— Куда это тебя? — удивился я.

— К адвокату. Недолго осталось.

— Закрываешь дело?

— Я его давно закрыл. Тянут.

— А что за адвокат — свой или казенный?

— Я с ним не первый раз.

— Можешь попросить... позвонить мне домой?

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я с ним сперва перетру...

Утром на вызов ушел Миша.

— Ну, деловая хата,— подумал я вслух.— Министерство юстиции...

Гера рядом завозился, закашлялся и пробурчал:

— Хотя бы обоих увели.

Я, как всегда, выходит, последним соображаю.

Вернулся Миша довольный, опять принес свежие газеты и сигареты с фильтром. После конфликта с Пахомом первый раз обратился ко мне:

— Хочешь «Литературку»? Свежая.
Складывает барахло. Мешок у него здоровый. Год сидит, набралось.

— Инвентаризация? — спрашиваю.

— Тюрьма, порядок, первое дело.

Еще через час стукнула кормушка:

— Катунин, с вещами!

Мише и собираться не надо — все сложено.

Я поглядел на Петра Петровича. Спит, закрыл лицо полотенцем.

Первый, подумал я.

Вечером вытащили Коротышку. У него совсем ничего нет. Скатал матрас, взял в руку миску и засемянил к двери.

— Смотри, если кому дашь, убью! — крикнул Валентин.

Двое, думаю, кто третий?

Валентин лежит теперь на месте Миши, у окна, рядом Мурат, спустился, дурак, вниз. Валентин уговорил и нещадно его мучает. Только и слышно: «Пой, гад!..»; «Повторяй за мной! Я...» Господи, прошу я, пусть третьим будет он...

Утром за ним пришли.

Такого я еще не видел: Валентин заметался по камере, кричит, размахивает руками...

— Кто меня сдал?! Ну дождетесь... Нефедыч?! Ну, если Нефедыч!.. Убью, убью!.. А... Вон кто — Ташкент!.. Петрович, скажи, неужели на общак?

— У Геры спроси, — сказал Петр Петрович.

Валентин согнулся, взял мешок и медленно, шаркая, вышел из камеры.

Чистая дьявольщина плывет над камерой, вползает в душу, дергает каждого и каждый отвечает — сам идет навстречу, бежит навстречу, пытается спрятаться, скрыться — куда? Где тут спрячешься? Одному скучно, другому страшно, третий ищет выгоду, четвертый — мало ли что, на всякий случай, пятый — как бы не было хуже, шестой — перетопчемся! Седьмой... Душно. И сил больше нет.

— Хорошо в тюрьме! — слышу я Петра Петровича. — И воздух чистый! Давай, Вадим, в шахматишки...

И тут я вздрагиваю: сверху спускается Неопознанный, Саня.

Когда-то, видно, здоровенный, толстый, сейчас обмякший, давно небритый, опухший, свалывшиеся, спутанные волосы... Страховидный мужик. Лет под сорок.

— Что с тобой, Саня,— говорит Петр Петрович,— не иначе снег пойдет посреди лета? Или еще чего.

— Сам сказал, воздух чистый. Продышусь маленько.

Он садится к столу, подвинул миску с оставшейся от обеда, застывшей кашей.

— Мурат! — говорит Саня,— не в службу, а в дружбу, достань мою пайку из телевизора. Не знаю где там у вас чье.

Разломил пайку, круто посолил...

— Верно говоришь, Петрович — хорошо в тюрьме!

— Живой,— одобрительно кивает Петр Петрович.— Ежели оклемался, нарисовал бы чего путевое, а то сарай-сараем. Хоть бабу голую.

— Я не по этому делу,— говорит Саня, рот набит, зубы у него белые, крепкие.

— А ты по какому?

— Тебя могу нарисовать. Только не обижайся... Мурат, если ты ко мне такой добрый, дай тетрадь — во-он, с краю.

В тетради стопка листов. Пейзажи: дворик на крыше, деревцо возле трубы... Портреты, потреты... Наброски. Профессионально. Смело... А вот и наши... Пахом, Гера...

— А это кто? — спрашиваю.

— Не узнаешь?.. Я сперва думал, ты с ним снюхаешься. У меня серия — «желудки» называется. Личности нет, одни желудки! Видал, как он жрет? Я потому не слезал, лучше не глядеть...

Пожалуй, Мишина суть. Она у него именно в желудке.

— Ты у кого учился, Саня?

— Училище кончил. Театральный художник.

— Я не о том. Кто твои учителя?

— Учителя?

— Ну, скажем... Сезан, Ван Гог или... Суриков?

У него загораются глаза, сквозь желтизну, густую бурю щетину брызнула краска.

— Я тут полгода... Первый раз слышу человеческие слова... Сезан...

Глядит на меня удивленно и неожиданно светло, во весь белозубый рот, улыбается:

— Не Сезан. Скорей, Лентулов. Или... Фальк, может быть.

«ЧТО ХОЧУ, ТО ДЕЛАЮ»

Пьеса в трех актах.

Камера на восемнадцать человек. Два окна — «решки». Между ними шкаф — «телевизор». Стены покрашены коричневой краской. У двух стен двухэтажные железные нары — «шконки». Посреди камеры — стол, «дубок». Сортир слеза от двери — ватерклозет, завешанный тряпкой на завязках. Справа от двери — вешалка. Рядом глазок — «волчок». И над сортиром волчок. Железная дверь с вырезанной в ней «кормушкой» украшена вбитыми в железо болтами — шесть болтов в ряд, шесть рядов, образующих правильную геометрическую фигуру.

Нижние шконки застелены: матрасы, одеяла, подушки, Верхние накрыты пожелтевшими газетами.

В камере шесть человек. Пятеро лежат внизу, шестой наверху.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ — под пятьдесят, невысокий, крепкий, седоватый — вор в законе.

МИША — сорок два года, еврей из Ташкента, сидит уже год, ждет суда, несомненно «кумовской».

ВАЛЕНТИН — двадцать пять лет, сидит за изнасилование, человек неуправляемый.

МУРАТ — двадцать лет, узбек из Самарканда, студент, запутали дружки, сидит за мелкое воровство.

ГЕРА — сорок лет, продавец-мясник, сидит за взятку, робкий, недалекий.

САНЯ — тридцать восемь лет, художник, вторая статья, убил мать.

И еще:

СОНЯ — девятнадцать лет.

ШЕСТЕРО ЕЕ СОКАМЕРНИЦ.

(Герои раскрываются, естественно, в диалогах).

Акт первый. ПРИКИДКА

В камере новый «пассажир» — **ВАЛЕНТИН**. Он только пришел, но уже через час вся камера,

прежде тихая, бурлит. ВАЛЕНТИН — расторможенный, распушенный, избалованный, неглупый. Красавец. Он сразу понимает «сюжет» камеры: скрытую силу П. П., прочное положение МИШИ. Вяжется к слабым — ГЕРЕ и МУРАТУ.

САНЯ в жизни камеры никак не участвует. Лежит наверху.

ВАЛЕНТИН: Скучно живете, урки! Дохлая камера. Что мы — не живые? Посадили — пропали? В бардаке — вот где жизнь! А мы бардак не сляпаем?

Рядом, за стеной женская камера. Первым делом Валентин пытается наладить с ней связь: перестукивается. Вечером закидывает «коня» — пошла почта! «Девочки» включаются активно, им тоже скучно, они будто ждали сигнала — наконец-то! Ситуация вспыхивает пожаром. Пошли «сеансы» — один мерзее другого, письма читают вслух, камера гогочет, всю ночь идет гульба? «всухую».

Утром Валентин делает фантастическое предложение: пробиваться к соседкам — всего одна стена! Он так настырен, убедителен, азартен — с ним соглашаются. П. П. пассивен, Миша уклончив, Мурат полностью во власти Валентина, смотрит ему в рот, Гера на подхвате.

Саня лежит наверху, как бы отсутствует.

Отламывают ручку от бачка — «восьмерки», делают нож. Работают ночью — под шконкой, мусор высыпают в сортир. Все невероятно возбуждены. «Девочки» ждут, активно сочувствуют.

Акт. второй. РАСКРУТКА.

Ночь. Вынут кирпич. Пробились!

ВАЛЕНТИН: Здравствуйте, девочки-воровки! «Девочки» кидают сигареты, им — конфеты, яблоки. Треп!.. Валентин — герой новой ситуации. Принимается решение: расширить отверстие.

В соседней камере — семеро. Пожилая «дама», остальные — от восемнадцати до тридцати.

Лихорадка в камере доходит до степени кипения.

Ночь. Вынуто еще три кирпича. Первым лезет Валентин, за ним Мурат. Возвращаются через час и до утра камера слушает их невероятные

рассказы. «Девочки» экстра класса — валютчицы, воровки, убийцы. На старую гримзу внимания никто не обращает.

МУРАТ: Ну бабы! Урюк...

Следующей ночью в камере появляются три «девочки». Партнер у них, кроме Валентина и Мурата — П. П. Сцена — сентиментально-омерзительная.

Следующая ночь. Пятеро «подружек».

П. П. уламывает Мишу — его необходимо «повязать». Гера давно согласен. Сцена еще более отвратительна.

Заходит разговор о шестой сокамернице. Она наотрез отказалась от участия в «развлечениях». Валентин ею особенно интересуется.

ВАЛЕНТИН: Девочка в норме... Сонька золотая ручка!

«Подружки» против нее: гордячка, недотрога, блядь.

Следующей ночью Валентин ее заманивает: «Боишься?» — «Я никого не боюсь!..»

Она свободно ходит по камере, ей все и все интересно. «Оставайся». — «Не хочу». — «А я хочу» — «Я делаю только, что сама хочу... Кто там у вас наверху? Больной?..» — «Оставайся, не пожалеешь...» — «Я бы одна всем вам дала, блядушек бы навсегда позабыли.» — «Считай, столковались!» — «Надо иметь подход, мальчик...»

И тут Саня, который, как выяснилось, все видел и слышал, взрывается: «Коммунисты вы, а не урки! Все принадлежат всем — вот ваша идея! У вас ничего своего, в крапиве родились, все разменяли! Ублюдки...» — «Ты с какого... сорвался?» — спрашивает Соня. «Кто ты такая?! — кричит Саня. — Отца-матери нет! Лица у тебя нет, одно... поганое гузно!..» — «У меня все чего надо, такие, как ты, душу отдадут, лишь бы я показала... А у тебя... что? Мать у тебя? Ты ж убил свою мать, паскуда!» — «Я себя убил, — говорит Саня. — Меня нет. Я мертвый...»

Ночью, когда «десант» мужиков пролезает в соседнюю камеру, Соня приходит к Сане поговорить. Они говорят подолгу, все более свободно, рассказывают друг другу о себе. У Сони статья сто пятнадцатая, часть вторая: «заведо-

мое заражение другого лица венерической болезнью»; два месяца ее лечили в тюрьме, через месяц пойдет на этап, статья до трех лет... Однажды, заговорившись, она не успевает выскочить к поверке, Саня надел на нее свою меховую шапку, а пьяный с утра корпусной не заметил подмены.

Акт третий. ЭПИЛОГ.

«Дама», оскорбленная, что «заявок» на нее так и не поступило, грозит сдать всю «малину». Решено несколько дней подождать, затаиться, Миша обещает «уладить» по своим «каналам»: «даму» сплавят.

Именно в эти ночи Саня сближается с Соней. Они разговаривают через дыру под шконкой. Их диалог — главное в пьесе. Убийца и блудница.

«Ты хорошо рисуешь, можешь делать деньги. Но... не понять, что это?» — «Я рисую себя.» — «Себя? Это... ты?» — «Я рисую только себя...»

«Как ты мог это сделать?» — «Это не я, понимаешь?» — «Нет, не понимаю. Кто убил твою мать?» — «Ты думаешь, когда предложила спать с ними со всеми — это была ты?» — «А кто же? Я всегда делаю, что хочу. В том и жизнь. Делать, что хочешь» — «Жизнь в том, чтоб не делать того, что хочешь.» — «Ты говоришь так, потому что мертвый. А я свободна. Я и в тюрьме свободна.» — «Свобода в том, чтоб отказаться делать, что хочешь.» — «А меня ты хочешь?» — «Н-не знаю. Я мертвый.» — «Я про то и говорю. Мертвый не может быть свободным. Он труп. Потому ты меня и не хочешь.» — «Ничего ты не знаешь. Что делает человека... трупом? Живым трупом? Он думает, что живой, а уже смердит. Но... мертвый может восстать. Вот в чем свобода. Если ему покажут, если он увидит себя... трупом. Увидит и задохнется от омерзения к себе. А ты себя не знаешь, не видала. Тебе не показали...» — «Не понять. Чокнутый ты... Что мне могут показать — меня? Кто мне покажет? Себя я знаю.» — «Ты ничего не боишься?» — «Нет. Я и смерти не боюсь.» — «Это не самое страшное... Тебе бывало кого-нибудь жалко?» — «Старика. Я разделась, а

он захлюпал. Не может.» — «У тебя есть друзья?» — «Когда есть деньги, есть и друзья.» — «Ты когда-нибудь... страдала?» — «А как же. Меня обокрал один пидераст. Украл колготки и... А я тогда была пустая.» — «Ты сейчас говоришь правду?» — «С какой стати? А ты разве сейчас не врешь?» — «Мертвые не врут. Им не надо. Им ничего не надо.» — «Зачем же ты со мной разговариваешь?» — «Я бы хотел тебе помочь.» — «Зачем?» — «У тебя впереди жизнь, а у меня ее уже нет.» — «Даже если ты, как говоришь... восстанешь?» — «Если это случится, то не здесь, а в другой жизни.» — «Про это говорят в церкви. Ты в это веришь?» — «Да.» — «Я бы тоже хотела, но не знаю как. Я могу все, что хочу, а... Как это у тебя получилось?» — «Я здесь полгода и полгода мне показывают... меня. Я... ненавижу себя.» — «Мне тебя жалко. Как... того старика.» — «А мне жалко тебя. Ты делаешь, что хочешь, он делает, что хочет. И все тут делают, чего хотят. Как это может быть?» — «Кто смелый, тот и получает.» — «Не ты этого хочешь. И получаешь не ты.» — «Кто ж тогда?» — «Что хочу, то делаю... Будете, как боги, сказал... Про это не рассказать. Не объяснить. Сама поймешь.» — «Когда?» — «Может, скоро, а может, нет. Как Бог решит...»

Следующей ночью, когда Саня уснул у себя наверху, Валентин с «девочками» втащили связанную Сою в камеру, раздели ее и распяли на шконке. Теперь вся камера «повязана» — все, кроме Сани.

«Дама», воспользовавшись отсутствием сокамерниц, бросила в кормушку записку.

В камеру врываются вертухан.

Саня, проснувшийся от шума в коридоре, от крика Валентина: «Спалились!..», спрыгнул вниз раньше, чем распахнулась дверь. Он один возле Сони, остальные расползлись.

Дыра под шконкой открыта.

КОРПУСНОЙ: Кто это сделал?

САНЯ: Я.

Саню уводят».

Еще одно утро, думаю я. Сколько их уже было здесь? Шестой месяц, почти шесть. Ближе к двумстам. Мало. Если посчитать срок, пусть три года, набегит за тысячу. В чем тягость такого утра, думаю я, одного из двухсот, из тысячи — в однообразии или... Вот-вот заблажит опостылевший гимн, небо брызнуло полосками сквозь реснички, тянет прохладой, сколько разговоров, чтоб не закрывать окно, бояться в тюрьме воздуха, холодно им, какой холод летом, не убедишь, кабы Петр Петрович неожиданно не поддержал, ни за что не дали б, дыши смрадом... В нем и тягость, думаю, не в однообразии еще одного такого утра, одного из двухсот, а в том, что знаю, стоит встать, наткнусь на внимательный, вприщур глаз, следит за каждым движением, зачем ему, что можно скрыть в камере, все на просвет, а ждет, проколюсь, а мне не в чем, и придумать не могу, или ему скучно, на что ему глядеть, не на стены, не в небо сквозь реснички, это мне салаге... Чужая душа потемки, думаю, я и себя до конца не знаю... Что лучше тишины в такой камере, свежо, ветерок тянет от решки, а на общаке сейчас, и в такую рань, уже гвалт, дым клубами к потолку, а тут нас пятеро, хотя бы еще одно такое утро, вспомню, пожалею, потащут дальше, поднимут ли, опустят, а сегодня мой выигрыш, успеть, пока спят, пока никого, пока я один, тихонько встать, зарядка, умыться, помолиться на светлые полосы сквозь реснички, и коль успею, пока молчит соловей над дверью... Еще рано, ночи короткие, успею... Не опоздать! Спрыгнуть с платформы, через рельсы, по тропинке вдоль железной дороги, один поворот, второй, третий, до тупичка, повалившийся забор, сгнивший почтовый ящик... «Щаповы». Толкнуть калитку, по заросшей травой дорожке, крыльцо, лестница скрипит, гремит под каблуками, тише, осторожней, постучать негромко, не напугать...

— Слышь, что я надумал,— говорит рядом Гера, и он, значит, не спит, и он меня караулит,— у тебя срок подходит? А тебя не дергают, сечешь?

— Что — секу?

— Они тебя выпустят, слышь?

— С какого перепоя?

— Полгода у тебя, они дня не могут лишнего, было

б продление, давно б знал, потянули, а тебя нет. Точно!

— Ладно тебе, они все могут.

— Как я раньше не подсказал, Пахом давал УПК, у него переписано в тетрадке — точно!.. Телефон запомни, позвони, как выйдешь, скажешь, тут я, а они меня тянут, чтоб я сдал Федотыча, им меня мало...

Дверь открывается медленно, скрипит... Стоит на пороге, щурится от света, разбудил, рано приехал, первой электричкой, пальцы придерживают халат у горла, нежный подбородок, теплые губы, а в глазах изумление, слезы — и все покатилося: дверь, лестница, деревья, забор, тупичок, третий поворот, второй, первый, рельсы, платформа, поезд, закинула голову, нежная шея, горят слезы в опущенных густых ресницах...

— Мусор вы-но-сить! Заспались, ворье!..

Сломал утро, так и надо, упустил одно из двухсот, из тысячи, не вернуть, пожалею... Полгода, сказал он, верно, осталась неделя. Да знал я, помнил, а зачем думать — продлят. Но... должны вызвать, оповестить, положено... «Скоро... изменения», — сказал Петр Петрович. Зря не скажет — чтоб проникся к нему, поверил, следит за каждым шагом, отрабатывает, за каждый мой шаг ему...

За каждый шаг и за каждую мысль, думаю. Вот я и получил сейчас за то, что сорвался, хотя запретил себе, знаю — нельзя, но... дразнит, подбрасывает: похоть, страсть, любовь — что правда, что на самом деле, а что я хочу назвать... Называю! Обман или самообман? Дальтонизм — органика или внушение, самовнушение, путать черное с белым, зеленое с бирюзовым, а глаза у нее меняют цвет: зеленые — среди деревьев, в путанице ветвей и листьев; когда она глядит в небо — голубые, а в то серое утро плеснули серым... Значит, серое утро — не сон, явь? Правда. А за нее надо платить, расплачиваться, цена настоящая, не выдуманная, реальность и цена реальная, не берется с потолка, в зависимости от ситуации в ЦК или ЧК, конвертируемая валюта, и, как настоящие деньги, она или есть, или ее нет — по карману мне такая правда? Правда есть всегда, думаю, не мне она принадлежит и не тебе, не я и не ты ее открываем, мы можем ее принять или от нее отказаться, в том и наша свобода, она присуща нам с рождения, подарена Богом, ею не могут благодетельствовать в зависимости от соображений высоких ли, низких, экономических или политических; на что жаловаться, если сам

отдал, кто мог отнять у меня, у тебя, у нас свободу, правду, отнять, извратить, использовать, сами согласились, сами отдали, разменяли, извратили — пеняй на себя. Как и ложь, думаю, только в нас самих: страшно, еще не пора, преждевременно, а потому промолчать, затаиться, затухнуть, сохранить в себе, зарыть в землю, а придет срок — вот она, сберег, возьмите, чуть припахла землей... Правда? Нет ее, улетела, погляди при свете дня, перепачкал, заляпал землей... Своей собственной ложью заляпал — страхом, корыстью, расчетом. Разве это правда? Погибель. Он верно сказал — шесть ходок, большой университет, такой пройти, все будешь знать о себе и о мире, первый раз не постичь, о себе чуть-чуть, справился со страхом, не мало, конечно, но... только начало премудрости. Верно сказал — здесь свобода: за решкой, за железной дверью с мерзкой геометрией, разве я был свободным под открытым небом, в путанице переулков, на заросших травой дорожках, на скрипучей лестнице, глядя в залитые слезами глаза, что меня тащило — первая электричка, платформа, рельсы, поворот, еще поворот, еще, дорожка, лестница, дверь — вспухшие от сна губы, руки, пальцы у... Свобода или рабство? Не мог отказаться, а знал — нельзя. Решка, железная дверь — разве они мешают остаться собой, не принять, не впустить в себя... Текучие, переменчивые глаза, вбирают и небо, и зелень, и серое утро... Утро? Значит, было утро?.. Вот и правда, думаю я, вот и... свобода. Вот и моя ложь — вот оно... возмездие.

Она глядит на меня — не я на нее, она, камера — черными стенами, решкой, вбитыми, вмятыми в корявое железо двери болтами: шесть рядов по шесть болтов в каждом — тридцать шесть глаз. И два волчка. Глядят из коридора. И здесь глядят, вприщур. Не спрячешься, не скрыться... Что мне скрывать — себя? Себя ладно, себя не жалко, себя я и должен дотянуть, дожать, выскрести, чтоб ничего не осталось. Со мной все понятно, но есть... и меня, они всплывают в памяти, в сознании — затереть навсегда, выжечь — с первого дня знал, и думать запрещал! Ничего у меня нет, не было, никого не знаю, только я, я один со своим дерьмом, больше ничего, никого! Для них каждое имя — дело. Книги, рукописи — сколько ушло дымом? Пахом сказал, семьдесят лет заливали землю кровью, уваживали ложью, но ведь и... пеплом — про то он не думал, не знает, не надо ему! Никогда не вернуть книги, рукописи, стихи,

мысли — ушли в землю. Может, ими и... прорастет — болью, отчаянием, страданием, мужеством, чистотой, высотой горения духа, правдой, Истиной... Что я вчера пришел сюда? Шесть месяцев катают, знаю!.. Раскрутка! Борины рассказы, в первые недели, на этой вот шконке и рассказывалось: укол в вену, вливание — и тебя понесет, потом сам не вспомнишь, а не удержать, все выложишь... Пугал? Его дело, его проблемы, а я и тогда не был один, помнил, знал: когда же поведут вас, не заботьтесь, как и что отвечать, как и что говорить, не оставлю тебя и не покину тебя — что сделает тебе человек?.. Но если так — только так! — то и это мое искушение — для меня благо? Не зря попушено кружиться в собственной мерзости: чтоб не вспоминать, не думать, забить в себе, выжечь... Так лучше, так для меня важнее, спасительней, я такой же, как и они, мы вместе, вот моя судьба: и к злодеям причтен.

— Чего маешься, парень? Опять гонишь?

Петр Петрович. Сегодня с утра смиренный, тихий. Очень внимательный.

— Чего ты вчера... в тетрадке — к суду готовишься?

— Чтоб не забыть, затрется. У меня статья... умственная.

— Кабы у тебя другой не было.

— Какой другой?

— Несолидная твоя статья. Ты малый серьезный, вон как с тобой носятся, а статья для тебя... стыдная.

— Кому стыдно?

— До трех лет! Кабы так, тебя б давно оприходовали, а они, видишь, держут.

— Ну и что?

— Другую вмажут.

— Сто семнадцатую?

— Чего захотел. А шестьдесят четвертую не желаешь?

— Сам придумал? — спрашиваю.

Глядит на меня вприщур, ох, не простой мужик, битый, верченый... Что ж так дешево прокалывается — выкупается!

— Знаешь такую статью? — спрашивает.

— Слыхал, мне не по чину.

— Скромный ты у нас. А я почитал между делом, очень подходящая. А неподходящая — натянут. Я в квартиры заглядывал из любопытства — разве я родине изменял? С моралью не все ладно. Своя, как говорится,

кухня. Нашенская. А у тебя вон чего... «Оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР»...

— Я тут с какого боку?

— Иностранные господа — ты с ними Вась-Вась, а каждый из них — кто?

Глядит на меня вприщур, ждет. Подожди, и мне не к спеху. Боря был поумней. Тоньше.

— Думаешь, не дадут три года, расстреляют?

— Расстрелять-не расстреляют, а конфискация в статье предусмотрена. Вот они на что тебя тянут.

— Жалко, мы с тобой кореша, — говорю, — заглянул бы ко мне в квартиру по ихней наколке, почистил, им бы меньше досталось.

— Есть чего?

— Эх, Петрович, я про сапоги, а ты про пироги...

Как же мне могло залететь в голову, что они оставят меня в покое? Так и буду переходить из рук в руки, от одного поумней, к другому — попроще, а цель одна — дотянуть, размазать, не выпускать из виду, сорвусь, не сегодня, завтра, не выдержу, через месяц, через шесть — зачем им торопиться?! У каждого своя крыса, думаю, ее не может не быть. А собственная душевная каша — не крыса? Проколюсь, сам себя выкуплю! Потому они не спешат, кончится срок — продлят, дождутся чего хотят: затрепыхался — готов!

Простота, думаю, заглянул бы ко мне в квартиру, успокоился... Неужто они придумали? Поняли, расстрелом едва ли напугают, соображу, что липа, не то время, грубовато, кабы сперва размазали, всему бы поверил, на все согласен... Да и как не согласиться — миллионы не верили, когда им предлагали матушку 58-ую! Разум не воспринимал, логика не вмещала — за что? Липа, шантаж! Но ведь... убедили. Как не убедиться, когда правда — вне разума, помимо логики и здравого смысла. Тогда нельзя было не поверить, а сегодня — сначала размазать, 64-ая — не 58-ая, другой опыт. Пока не вышло со мной, да и не очень старались, нечем хвастаться; вяло, незаинтересованно, как на колхозном поле. Вот они и придумали: попробуем конфискацию... Прокололись. И думать об этом не стоит. Нелепость.

Пожалуй, с Герой следует поближе, думаю, чтоб перебить себя, выскочить из закручивающего меня колеса. Гера... И робость его, и беззащитность... Кто помирней,

тот и виноват. Волки всегда выигрывают. В их волчьей игре. Слабый человек, простоватый, но ведь и трезвость в нем, а надо ж, как запугали мужика, а может, сам полез, куда кроликам не положено? Кого у нас больше — таких кроликов, или тех, кто хоть кого схарчит, только попади на зуб? Жалко, нет статистики, кроликов, пожалуй, больше. Но разве Богу нужна статистика? Каждая душа стоит целого мира, кролик ли он, волчище...

— Ты не печалься, Гера,— говорю,— тут не конец, даже не середина, самое начало. Нам все на пользу — и тюрьма, и Валентин-Красавчик.

— Научили, верно.

— А так бы присох в магазине, ни себя не знал, ни того, чем мир мазан.

— Думаешь, выйдем?

— А как же. Для того и учат.

— Я давно собирался уехать,— говорит Гера.— У меня бабка в деревне. Бабка-не бабка, тетка. Под Переславль-Залесским. На земле жить — вот чего хотел. На себя заработаю, а другого не надо.

— Верно! Если чужого не надо, своего Он тебе всегда даст.

— Кто... даст?

— Господь Бог. У Него всего много. И деревни, и огороды. И куры-животина. И бабку-тетку найдет. Чужого не захочешь, а чего для души надо — все даст.

— Так считаешь?

— Я в это верую. Знаю — так и будет. Попросишь — получишь. Что тебе на самом деле нужно. Для тебя, для души.

— Я, Вадим, видел, как ты... дернулся, когда я рассказывал про деньги... В крематории. Думаешь, не знаю, что человек не... говядина? Разве в той глине — душа?

— Тебя для того и выдернули оттуда, чтоб понял.

— Тяжелая наука,— говорит Гера.

— А как ты думал? Срок большой-малый — только срок, а у тебя впереди...

— Расскажи, Вадим! Мне надо знать, не ошибиться!..

Какие простые слова, думаю, а до поры — мимо! Но стоит размять человека, любого человека, отнять у него лишнее, ненужное, только мешающее, путающее ноги-руки, сознание, душу, сердце — и он уже готов понять слова, от которых еще вчера отмахивался. Готов

впустить в себя, им открыться... Что же они с нами сделали, чего нас лишили!.. Опять они, будто не мы сами...

— У меня к тебе дело, Вадим. Погляди свежим глазом, как вроде, ничего не знал. Да ты и на самом деле не знаешь? Первые месяцы я тут... Мертвый — понимаешь? Мне было все равно. А сейчас думаю, даже если не докажу, если замотают, убьют — совесть будет чистая. Перед собой. Все, что мог, сделал. Ты понимаешь в чем они меня?..

Побрился, глаза блестят, лихорадит его, а мужик здоровенный.

Листов двадцать, с двух сторон исписал. Почерк крупный, не слишком грамотен...

— Ты прямо Илья Муромец, — говорю, — тот тоже лежал-лежал, а потом слез с печи, взял...

— Почитай, скажешь. Эта гидра пострашней, чем у Ильи Муромца. Там двенадцать голов, а здесь сколько? И отрастают... Они меня так замотали, я уже не дергался. Понял, не вылезу. А когда услышал — на суде, что они говорят, поглядел на отца... Когда стал говорить... Я не думал, что смогу говорить! А видишь, услышали, отправили доследовать. После суда я три месяца думал, лежу наверху и каждую минуту разматываю — весь тот день, каждый шаг... Прочти, не хочу, чтоб заране, как бы ничего не слышал...

— Ты мне скажи, Саня... Мы вдвоем. Ты... убивал мать?

Желтое лицо пошло красными пятнами, а глаза... Тень прошла, как облачко.

— Вон ты как меня... Не убивал. Я бы не мог. Прочти.

Жуткая повесть о... Мите Карамазове из Наро-Фоминска. Но в Скотопригоньевске Митя сам все запутал и всех запутал, каждый факт — палка о двух концах. А через сто лет кому нужен второй конец у палки — один есть и за глаза хватит, зачем искать, все ясно! И Фетюковича нету, извели Фетюковичей за семьдесят последних лет. И присяжных нет, кивала заместо присяжных, они все скушают. И телефон в кабинете у судьи. Начальству в Наро-Фоминске видней кто преступник, а кто нет. И был бы Фетюкович — неужто станут слушать? Тоже невидаль — Фетюкович!.. Но зачем им Саня, с ним что за счеты?

Пожалуй, не повесть, роман о времени. И начало ему

чуть не сорок лет назад, когда отец героя вернулся с войны, родился Саня... Намыкалась Аграфена Тихоновна в прифронтовом, послевоенном Наро-Фоминске, отцвела, высохла, скучно с ней бравому офицеру; не большой город Наро-Фоминск, а нашлась помоложе, веселей, богаче. Въехал отец героя в просторный дом, стоит на краю города, на развилке: большая усадьба, сад-огород, в самый раз директору школы, а что с моралью, как говорит мой сокамерник, не все ладно, кого это когда останавливало?..

Зачем мне, думаю, тащить ниточку издалека? А Сانه зачем? Тем более, какое дело суду до его корней-связей, разве там завязано, оттуда нож? Вот и кивала о том же...

Подняла Аграфена Тихоновна мальчонку, здоровенький, смышленный, кончил школу, поехал в Москву, художник. И нет ей дела до бывшего мужа с его садом-огородом, с войны дождалась, а тут не переждешь. И жизнь тяжелая: не дом — избенка, как не в городе, огородик — лук-огурцы, картошки своей на зиму не хватает, а паренек, даром что смышленный, трудный. А разве бывает легким, если художник? Высокое искусство, честолюбие, водка — а денег нет. То приезжал по субботам-воскресеньям, топориком помашет, молотком постучит, поправит, подтянет, а тут совсем вернулся, не светит ему Москва, а Москве никто не нужен. Поселился в старой баньке на огороде, ни за топор, ни за молоток не взялся; темновато, а ему света хватает. Замажет холст, перевернет на другую сторону. Снова перевернет — и на том же самом холсте. Пристроился в клубе: намалюет рекламу, неделю пьет, а пропьется, за холст, за краски... Обычная история, классика. И чем дальше, тем реже за краски, чаще — за бутылку. Жениться надо парню, а кто пойдет за пьяницу, за нищего. Пропащий мужик.

Однажды постучался в баньку прохожий. Со своей выпивкой. Загуляли. Саня бегает в магазин, а Степа крошит огурцы на материном огороде. А кто такой Степа, Сане не нужно — какое его дело? Первый раз пришел поздно ночью, на огонек; через неделю опять завалился. Гуляли три дня. На четвертый приходят к Сане из клуба: новый фильм, давай рекламу. В самый раз получилось, пора кончать гуляние. А Степе мало. Мать плачет, нет сил думать о том, что происходит в баньке. Дотолковались: купит Саня последнюю бутылку — на

ней пошабашат. Саня бежит в магазин, оттуда в клуб, возвращается, выпили бутылку, утром Саня вылил на голову ведро воды, намалевал рекламу и пошел к матери.

А ее нет. Где ей быть? Дверь открыта. В магазин ушла? Подождал, походил по дому. И тут увидел: подпол, вроде, не так закрыт, крышка сдвинута, не вплотную. У них так не бывает. Открыл, спустился по лесенке...

Дальше Саня не помнит. Побежал по улице, кричит, рвет на себе волосы: в подполе мать — изрезана, залита кровью.

Взяли Саню, взяли Степу. Кто такой?.. А, старый знакомец! Известный человек, два раза оттянул сроки, жил неведомо где, скрывался от надзора, а за два дня до того, как появиться последний раз у Сани в баньке, нашли Степину мать — и тоже в подполе, и тоже изрезанная. На другой день Степа признается: свою мать он убил, денег не давала, а у нее были, нашел. А Аграфену Тихоновну они вместе с Саней. Тоже денег не давала. Надо похмелиться, а она не дает. Саня, мол, ударил, а Степа ему в руку нож.

Трудно поверить очевидной истине пинкертонам из Наро-Фоминска, Саню с детства знают, кореша: пьяница, верно, бездельник, знаем, но чтоб мать, Аграфену Тихоновну?.. Выпустили Саню. Он похоронил мать, справил поминки, а через неделю его снова взяли — и с концами.

Мрачная, пьяная история. Свидетелей нет. Два человека и труп. Один одно, второй — другое.

А причем тут отец, сад-огорд?.. Стоит дом бывшего директора школы, а ныне пенсионера, на краю города, на развилке, сад-огород одним боком спускается к речушке, другим к оврагу. Хорошее место для уединения. А чуть подальше еще один дом — в два этажа, третий мансарда, веранда застекленная, веранда открытая, подземный гараж, службы. Хозяин дома — советская власть в райцентре. Асфальтированное шоссе летит мимо сада-огорода, а к двухэтажному особняку не подъехать: речушка, овраг, сад-огород — не подобраться; объезд далеко, мост строить, дорого, да и будет бить в глаза — шутка сказать, персональный мост! Куда проще спрямить дорогу через сад-огород, залить асфальтом — прямо к подземному гаражу. Нормально. Потолковала советская власть с бывшим офицером, бывшим директором

школы, ныне пенсионером. Ни в какую, он и говорить не желает: ни деньги ему не нужны, ни квартира в городской пятиэтажке. Еще, мол, раз придешь, спущу кобеля. Жили бы на проклятом западе — поджечь, купить гангстеров, а у нас развитой социализм, не ихний распад. И тут судьба шлет подарок: сын бывшего директора школы родную мать зарезал! Под такое дело можно не только сад-огород скovyрнуть — вон из партии, из города, не порти нам картину победившего социализма!

И заработала следственная машина. А что работать — все ясно: спился, связался с рецидивистом-извергом, тот во всем признался... А Саня бормочет, ошеломлен, раздавлен... Чем раздавлен — страхом наказания, его неотвратимостью, чем еще! И не слушают, что бормочет. Это уже не говоря о том, что истина следственная ли, судебная всегда относительна и не может быть абсолютной. На том и стоит наше правосудие. И правосознание, кстати. Не забыли открытия Вышинского, на нем воспитаны, вскормлены, выросли, возмужали — как забудешь, разве устарело?

Зарыли Саню. Но, видно, переборщили с «относительностью истины», как уж сляпали дело, если суд после трех дней показательного процесса отправил его на доследование, а Саню обратно в тюрьму? Редко такой брак в столь очевидном деле при полном взаимопонимании с властями. Тебе же хуже, сказал Сане следователь, так бы натянули пятнадцать лет, а теперь разменяем, сам захотел... Но главная Санина победа не в доследовании — отец поддержал, поверил, вот в чем надежда, она и дает силы: не один, ему верят, потому он и опомнился на своей шконке, шаг за шагом восстановил тот роковой день, уже не только за себя, за мать борется, отца защищает. Вон на что замахнулся: истина ему нужна, не может она быть относительной, только абсолютной, требует настоящего следствия, объективного суда, для которого всякое сомнение — в пользу обвиняемого, для которого ничего нет выше принципа — одного невинного освободить важнее, чем осудить десять виноватых.

Но это принципы, теории, они хороши в книжках, а тут реальность: Наро-Фоминск, правосудие, заквашенное на открытиях Вышинского, правосознание, для которого только властям принадлежит последнее слово в решении судьбы человека. На одной чаше весов теория и принципы, а на другой — пьянствовал, тунеядец, реци-

дивист-изувер с его чистосердечным признанием. И отец-гордец с садом-огородом... Нет вещественных доказательств? А кровь на Сане — не доказательство?

С той крови Саня и начал свою защиту. Малевал рекламу, напоролся на гвоздь в старой фанере, внимания не обратил, а по профессиональной привычке обтирать руки об штаны, и обтирал кровь с пальца — моя кровь, не матери! И что палец порезан — стоит в протоколе. И еще одна подробность, он на ней заклинился, с разных сторон поворачивает: подельник-изувер утверждает, что дал ему в тот последний день деньги на две бутылки и они их выпили, а Саня говорит — купил одну, потому что больше решил не пить, и деньги вернул. И свидетель есть — продавец в магазине, она помнит! Зачем ему было требовать у матери деньги, он знал, деньги есть — были! Требовать из сиротской материнской пенсии, а когда не дала — убить?!

Митя, Митя Карамазов бьется за истину в уголовном процессе, забыл, что судьба его в руках советского правосудия, советской юстиции, советского закона, который все семьдесят лет пылился в рамочке под стеклом, которому никогда дела не было до человека, и сегодня не замечают, что тут прецедент, тем более дорогой, что все против обвиняемого...

Хорошо написал, убедительно, четко, и экспертиза за него: «нет возможности утверждать, что кровь на штанах обвиняемого принадлежит пострадавшей». Нет возможности утверждать! И следствие записывает такую экспертизу в актив обвинения...

Я проснулся от того, что меня мазнуло по лицу жестким. Кто-то выбирается из прохода между нашими шконками... Саня? Обогнул дубок и полез наверх...

Разбудил, гад. Целый день мучил кошмар от его записок, ночью кровавая каша перед глазами и утром опять он?..

Я перевернулся и посмотрел в окно: небо между ресничками чуть-чуть светлело. Рано. Зачем он спуускался — сигарету стрельнул? Сигарет у нас уже третий день нет, курим табак, но у меня под матрасом, не достал бы, да и не похоже на него, чтоб без спроса. Накануне мы долго разговаривали, он объяснял, что не вошло в жалобу. Я-то поверил ему, но слишком много водки в деле, да и зачем следователю возиться, а тут все надо сначала, перечеркнуть столь блистательно за-

вершенную работу... Адвокат нужен, сказал я ему, настоящий — смелый, азартный, для которого такое дело — карьера, путь к успеху. Журналист нужен, который громыхнул бы сенсацией: детектив с психологической, социальной подкладкой — по Достоевскому и Короленко. Но где сегодня адвокаты, где журналисты? Достоевский сто лет как помер, а Короленке за статью в защиту как бы уголовную статью не впяли.

Рядом со мной шконка пустая. Петр Петрович моется, разделся до пояса, вижу только его спину. Гера и Мурат спят. Что ж эти двое да в такую рань? Саня обычно не встает до поверки, корпусной тянет его за здоровенную лапу, Петр Петрович поднимается пораньше, но чтоб первым...

Впрочем, не так уж крепко это меня занимало: одному не спится, другой полез к нему за спичками или еще за чем. Не потерять бы еще одно утро. Утро, утро — вот что дороже всего. Быть одному! Если хочешь писать, каждый день должен быть похож на предыдущий, монотонность нужна — до скуки, как лошадь по кругу, иначе не выйдет, я всегда это чувствовал, не формулируя, знал, а потому боялся и не хотел любой перемены, так и здесь — оставьте меня в покое, хотя бы на час, мне бы додумать, до...

После завтрака Петра Петровича потянули на вызов. Я лежал и смотрел, как он собирается. Он надел чистую рубашку, пиджачок, положил в карман сигареты — пачку! а у нас, кроме табаку... Поднял подушку... Поворачивается ко мне.

Я даже заморгал. Он уставился на меня: глаза под очками вприщур, острые, жалят... Отвернулся, со злостью швырнул подушку, завернул матрас, сел на шконке и в упор глянул на меня.

— Ты вот что, парень... — начал он.

Открылась дверь.

— Вахромеев! Долго ждать?

Петр Петрович сплюнул на пол — никогда с ним такого не было! — и вышел из камеры.

— Что это с ним? — подумал я вслух.

Сверху спустился Саня, ходит по камере, руки за спиной. Потом пролез ко мне, сел напротив на шконке Петра Петровича.

Он менялся день ото дня: живой, явно неглупый, с юмором. И глаза открылись. Нашел точку, становится на ноги.

— Такое дело, мужики,— громко говорит, ко всем обращается.— Или мы рискнем, себе докажем, люди мы, а не камерная шваль, или уже сейчас заявим: останемся кроликами, сожрут — заслужили. А сидеть нам всем, отсюда не уходят. Кому больше, кому меньше, а всем долго.

— Мне лучше всех...— сказал Саня,— легче. Меня они отсюда едва ли выкинут, остерегутся, в другой хате пришьют с такой обвинилровкой, не зря создали условия...

— А Нефедыч,— спросил я,— его пожалели?

— Ну и пес с ними,— отмахнулся Саня,— стало быть, и мне, как всем. Короче: где твоя тетрадка, Вадим?

— Какая... тетрадка?

— В которой пишут. В которой ты позавчера...

— А тебе на что?

— Испугался! Дорожишь тетрадкой?

Вот и приехали, думаю, а я все ждал, на чем меня...

— Что у тебя за заходы, Саня?

— Покажи тетрадь, Вадим... Да не бойся, не возьму!

— Как ты возьмешь, если я ее тебе не дам?

— Тьфу! — говорит Саня.— Мы с тобой время теряем, а не знаем, много его осталось или нет?

Я вытащил из-под шконки рюкзак, развязал. Третьего дня, верно, я писал в тетрадке, потом сунул в мешок..

Сверху не было. Я пошарил поглубже, прощупать не смог и вывалил содержимое на одеяло.

— Не ищи,— сказал Саня,— вот она.

Он вытащил тетрадь из-за пазухи:

— Твоя?

Я ничего не мог понять.

— Значит так, Вадим,— сказал Саня.— Я за эти месяцы належался, считай, на весь будущий срок выпался. Просыпаюсь рано, все об одном. Сверху хорошо видно, пристрелялся. Сегодня гляжу, наш пахан не спит, глаза без очков, дай, думаю, схвачу на карандаш, очень меня его личность заинтересовала. Открылся. Рисую, поднял голову, а его нет. Приподнялся, а он в твоём мешке шурует. Вытащил тетрадь — и под подушку.

— Сегодня утром? — спрашиваю.

— Я сразу сообразил — вызова ждет. Терять время

нельзя. Он пошел мыться, я тихонько слез и... Успел.

— Спасибо, Саня. Шустро.

— Я открыл тетрадь, не обижайся. Не знаю, дорога она тебе или нет, и сколько ты в ней себе намотал. Но тебе не надо, чтоб знали, что ты... Короче, учти, он так не оставит, шмон нам обеспечен... Давай по делу, Вадим. Зачем тебе рисковать?

— Верно, — говорит Гера, — пусть дураками будут.

— Они бумаг не трогают, — подал голос Мурат.

— Заткнись, интерьер! — сказал Саня. — Твои не тронут, хоть по стенкам развесь. Рукописи не горят, Вадим, голова нужна и руки. Не пропадет. Главное, чтоб им не досталось...

Жалкая моя «пьеска» догорала в бачке, когда дверь открылась и новый пассажир шагнул через порог...

Нет, я его не сразу увидел... То есть, увидел, но... Не о том я думал, успел додумать: горит моя «пьеска», уходит дымком... Рукописи не горят, быстро думал я, они сгорают, когда Бог того хочет, допускает, а когда нет... Значит, дело не в случае, не в Петре Петровиче, не в Сане, не в том, что один для кума, а другой для... В том, зачем я ее написал. Оправдать свое существование здесь, профессиональный навык, вычленив из всей этой мерзкой каши нечто, что даст возможность понять...

Я беру кусок глины, мну ее, разминаю — и вот она камера. Мои сокамерники... Они или я? Та же глина, думаю я, разве меня не мнут, не разминают, не... Оправдать свое существование здесь? Зачем?.. Тщеславие, самолюбие, корысть... Бездарно написал — вот оно самолюбие. Современно, талантливо... гениально! Вот оно тщеславие. Сенсация, такого ни у кого еще не было, чернуха — тираж! Вот и корысть. Но разве — талантливо, сенсация, тираж стоят хотя бы что-то рядом с тем, что я сподобился здесь увидеть, что мне показали? Что же я увидел?.. — быстро думаю я.

Я мну кусок глины, завораживаю себя, моего читателя... Чем? Моей правдой? А что в ней? Но я попытался «сгустить», найти в этой мерзости... Хорошо, пусть правда. Моя правда. Разве я смог, набросав мою жалкую «пьеску», увидеть в них, в каждом из них, в мерзости, которую я зафиксировал... Ладно, я — не смог, это моя проблема... Нет, не просто моя! Бог, сотворивший небо и землю, не в рукотворенных храмах живет, сказал в Ареопаге апостол. Он не требует служения рук

человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Он Сам дал всему жизнь и дыхание и все — «мы Его и род». Одно дело, искать Бога — а только для того мы существуем, где бы ни были, другое, думать, что Его можно найти в глине, камне, золоте, тираже, получившем образ от вымысла. В каждом из них живет Бог, быстро думаю я, не важно, знают они о том, забыли о Нем или не хотят о том думать, а я попытался... Потому здесь нет случая, думаю я и вдыхаю дымок, струящийся из бачка, всего лишь еще один урок мне, благодарю Тебя, Господи...

Итак, жалкая моя «пьеска» догорала в бачке, когда дверь открылась и новый пассажир шагнул через порог. Такого я еще не видел: двухметрового роста, широченный, в заграничном, не по сезону, пальто, клетчатых брюках, с мешком и сумкой из «Березки». Матрас у него был под мышкой.

— Будем знакомы, — сказал он, как и следовало ожидать, с заграничным акцентом, — имя для вас трудное — Арий я, зовите Аликом... Просторно живете. Я, пожалуй, с краю. Рост не позволяет в середине...

Он раскатал матрас на свободной шконке у стены, рядом с местом Петра Петровича.

— Откуда такой... явился? — спросил я.

— С особняка, — охотно ответил он.

Все четверо мы уставились на него с почтением. «Полосатых», с особняка я еще не видел.

— Как же это тебя... к нам?

Он устроил себе место, сел ко мне, вытащил сигареты.

— Налетайте. Но учтите, пачка последняя. Табачком угощу.

— Табачок у нас есть, — говорю, — но почему тебя сюда?

— Сегодня утром раскурочили всю нашу хату. Мы внизу, под вами.

— Двести восемнадцатая? — спросил Гера.

— Она. Появился у нас... Нет, давно, я месяц назад пришел с Бутырки, он уже был. Композитор... Нот не знает.

— Коля? — вырвалось у меня.

— Точно. Знаешь его?

— Был у нас. Я с ним начинал полгода назад.

— Композитор, как я балерина. Оперу сочиняет. Ре-

бьята знали, что он стучит, побили разок-другой, а он не обижался. Отряхнется и за свое.

— Может, не он, — усомнился я, — вроде, не такой...

— Может, не он. Шуму от него много, коней гонял, внизу, на третьем этаже барышни-венерички. В доминошный покер любитель... Душа общества, а все мимо.

— Он, он! — сказал я. — Точно, Коля! Шмаков?

— Шмаков. Проигрался два дня назад, его прижали. Ушел, вроде бы, на больничку, а утром всю хату — кого куда. Меня к вам.

— У тебя какая ходка? — спросил Гера.

— Я, братишка, сижу с сорок шестого года. За все время лет пять, а может, шесть погулял, а так бес-сменно...

— Сорок лет! — ахнул Мурат.

— А с Бутырки тебя почему? — спрашиваю.

— Давайте, ребята, по табачку, а сигареты приж-мем для вызовов. У меня сигареты будут, а пока приж-мем, верно?..

Красивый мужик. Очень красивый. Светлые прямые волосы, квадратный подбородок, глаза широко расстав-лены, стальные, движения неторопливые... И такая уве-ренная, спокойная сила. Доброжелательный.

— Такая, ребята, история в Бутырках...

Брякнула кормушка. Обед.

— Вот что, мужики, — сказал я. — Я в этой хате ста-рожил, давайте восстанавливать старый порядок. Я как пришел сюда, такой был желтенький, такой пуганый — ничего не понимал, натерпелся страху на сборке, заслу-шался. А меня сразу за дубок, а мне под нос кусок сала, колбасу — всем поровну! У меня душа оттаяла. Ну, ду-маю, не так страшно, и в тюрьме люди... А вернулся сю-да — три семьи за дубком, глядят в чужие шленки, друг от друга прячут куски, двое хлебают по углам... Так не пойдет! Давайте вместе — что есть, то есть.

— Так и положено в хате, — поддержал Арий. — У ме-ня, правда, ничего нет, но будет, будет...

Впятером мы сидели за дубком, хлебали жидкую кашу, когда открылась дверь и явился Петр Петрович: костюм, белая рубашка, губы плотно сжаты, холодные глаза под очками. Глянул на нас и полез к себе на шконку.

— К столу, Петрович, — говорю, — у нас революция, все теперь общее. Что есть, то есть.

— Ты у меня, падла, дождешься, — сказал Петр Пет-

рович,— будет тебе общее. Вздумал со мной шутки шутить?

— Как понять, Петрович? Ты меня спрашиваешь?

— У нас с тобой будет разговор. Завтра. Уйдут гулять, мы с тобой останемся. Поговорим. И если ты, падла...

— Чего ты лаешься? — добродушно осведомился Арий.— Тебя человеком понимают, к столу, а ты...

Арий сидел согнувшись над дубком, не разберешь кто такой.

— Этот еще откуда?! — вскинулся Петр Петрович.— По-русски не научили падлу недорезанную? Мне ука- зывать?..

Арий выпрямился и медленно начал подниматься. Зрелище было устрашающим: он как бы выростал и вы- растал над дубком.

— Фильтруй слова, сука! — сказал Арий.— Кыш!..

Петр Петрович замер на шконке, отвалил челюсть. Да, сила силу ломит, ничего не скажешь.

— Вот что, Петрович,— сказал Саня,— чтоб не бы- ло неясностей. Ты только пришел, считай, не возвра- щался. Собирай мешок и двигай отсюда.

— Чего?.. — спросил Петр Петрович.

— Непонятно?.. — сказал Саня.— Ты хотел образцо- вую хату? Потрудился. Вот мы и решили, доведем до конца. Чтоб кумовской мрази тут не было. Ясно?

8

— Как живете, Георгий Владимирович? Опять мы вам не потрафили?

— Я... не смог, гражданин майор.

— Что ж ты, Тихомиров, не смог? Или на принцип пошло?

— Он... он...

— Что за «он» — кто такой?

— Я не знаю, гражданин майор, они меня... вынуди- ли уйти.

— То «они», то «он» — можешь по-русски?

— Бедарев, гражданин майор. Наверно, он заметил, что я за ним... Он хитрый человек, умный.

— Умный? Ну да... На всякую хитрую жопу есть... Или не знал?.. Умный?

— Я хотел, как лучше, гражданин майор.

— Как же мне с тобой поступить, Тихомиров? Человек вы интеллигентный, мы таких ценим, условия создаем. Мы ценим людей, которые нам... нужны. А вы нам не нужны. Придется отказаться от вашей помощи. Не сработались. Что поделаешь, Тихомиров. Переживем.

— Я... буду стараться, гражданин майор. Если вы еще раз меня.. в другом месте...

— Опять другое место! Сколько же у нас для тебя мест, Тихомиров? Это тюрьма, не мягкий вагон в скором поезде, и там не напасешься. И все хорошие места, плохого не хочешь?

— Как вы решите, гражданин майор.

— Вон как! Это и ежу понятно... Бедарев тебе, стало быть, не по зубам — умник, нет на него управы?

— Я... У меня записано, когда он уходил к врачу, когда...

— Давай сюда... Так, так... Ну держись, Бедарев!

Что он к нему привязался, к этому Бедареву, думает он, зачем он ему нужен? Он же осужденный, даже мне понятно, срок у него... Чего же он от него хочет?..

— К врачу... А ты откуда знаешь, что он к врачу?

— Разговор в камере... Они считают, он... тоже работает на... вас.

— Тоже! А почему они... считают? Или он сам сказал?

— Он письмо показывал Кострову, фотографию...

— Какое письмо? Фотографию?

— У них был один... до меня. Я не застал.

— Так, так...

— Бедарев на себя получил, а письмо для другого. И фотография для него. А Пахом... то есть, Костров не верит. Не ему, говорит, врешь. Фотография... ребенок, не похож. То есть, не тому, мол, письмо. Бедарев и для Кострова передал письмо, то есть, взялся передать, а Костров говорит, оно у следователя. Из-за того у них драка.

— Ну и рассказчик из тебя, Тихомиров. Неужели доцент?.. А что он к врачу ходил, откуда тебе известно?

— Я не... знаю, но вертухай... То есть, дежурный каждый раз кричит: «Бедарев, к врачу!» Но когда к врачу вызывают, минут десять-пятнадцать, а он...

— Что «он»?

— А он, другой раз, час, полтора отсутствует. А то и больше. У нас нет часов, гражданин майор.

— Вон как! Час-полтора?

— Не меньше. Приходит веселый, довольный, от него... вином попахивает, в камере очень чувствуется.

— Ну сука, ну блядина!

— Он видно, заметил, не знаю, правда, как, но... Хитрый, гражданин майор, опытный человек! Заметил, что я... Ну и... дружить с ним у меня не получилось.

— Дру-ужить? Да ты у нас гимназист, Тихомиров! Да, с интеллигентами и в цирк ходить не надо.

— Вы же сказали, сблизиться...

— Вот что, Георгий Владимирович, давайте еще разик попробуем, дадим тебе шанс. Пойдешь...

— Куда скажете, гражданин майор.

— Так-то оно так, само собой... Но дело, учти, ювелирное. Проврешься, пеняй на себя. Пойдешь на спец.

— Спасибо, гражданин майор.

— Спа-а-сибо? Ну даешь! Погоди, мы потом сосчитаемся. Камера будет на троих, не возражаешь?.. Ну и ладно, очень тебе благодарен за согласие. Может, четвертого кинем для... Чтоб не так скучно. Работа, повторяю, ювелирная. Сначала вы будете... вдвоем. Есть у нас еще один интеллигент, писатель. Тот самый, которому письмо с фотографией. Соскучился по интеллигентским разговорам? Книги, кино, театр, советская власть — очень она вам интеллигентам не угодила, культ личности, евреи, коллективизация, демократия, законность, кого расстреляли, кого не расстреляли... Что еще? Сам знаешь. И он соскучился, и ему того надо. Вот вы и поговорите. Пусть наматает! Малый он смиренный, не то что Бедарев. Интеллигент, как и ты. Но... позубастей, побойчей. С ним сможешь и... подружиться...

— Какая у него статья?

— Статья у него самая, можно сказать, серьезная, а по нашим... гуманным временам, самая плевая — до трех лет. Дешево хотят отделаться господа интеллигенты. Никуда он не денется, так и будет добирать — к трем да к трем. Никогда не уйдет. Антисоветчик, сука. Крест на брюхе. Верующего косит. С ним будешь неразлей-вода. Понял?

— Понял, гражданин майор.

— Но это не все. Через неделю, когда... сдружишься, к вам придет Бедарев.

— Кто?

— Да не пугайся, мужик ты или баба? Насчет тебя я с ним отрегулирую, поставлю условие, ему деваться некуда. Если он тебя тронет хоть пальцем... Я его, вро-

де, под тебя посажу, он за тебя головой ответит, а ты... У него у самого рыльце в пушку, у Бедарева, успокойся! Умный-умный, а с писателя ничего не поимел. Усек или еще объяснять?

— Понял, гражданин майор.

— Тут в том будет... ювелирная, что Бедарев сам захочет посчитаться с писателем, он на него тянет, как же — тот его размотал, выкупил! И через это вся тюрьма будет знать, кто такой Бедарев — усек? Не спрячется. И на зону потянется. Я ему устрою зону, он мне заплатит за... выпивку с закуской. По стене размажу умника. И заодно писаку дотянем. Гляди на него, вот он... Погоди, ты когда пришел на тюрьму?

— В конце января, гражданин майор.

— Числа какого?

— Тридцать первого января.

— Так ты его должен знать? Ну-ка погляди!..

— Н-не... помню. Там много было, на сборке...

— Не помнишь?.. А теперь не забудешь, разберешься?

— Разберусь. Теперь я... кажется, во всем... Я и в себе разберусь, гражданин майор.

— Вон как! Ну-ну. Значит, наши беседы на пользу? Мы не только наказываем, Тихомиров, мы воспитываем. Первая, как говорится, задача нашего гуманного общества... Первая. Но запомни, Тихомиров — не... последняя. Если что, если хотя одна живая душа узнает о нашем с тобой разговоре...

— Я и это запомню, гражданин майор.

— Тогда у меня все. Удачи тебе... гимназист.

9

Сломался сон. Главная моя защита и крепость не выдержала. Рухнула. Пала. Расхвастался. Вот уже неделю засыпаю под утро. Сны липкие, неотвязные, перед глазами кружится, в голове стучит... Не умолкают. Говорят, говорят... Разве на самом деле они так говорят? Так... думают?

Целый день потом я квелый, сонный и не понять — сплю или... Как происходит с человеком такой... перелом? Да не перелом сна, тут медицина. Что человека ломает, что способно... переломить, дать ему силу, возможность опомниться, осознать себя?.. Раскаяние? Конечно! Понимание своей вины, своей беды, неперемной

погибели, если не сможет, не решится — если не погубит себя!

Кружится и кружится перед глазами, стучат слова... Растерялся человек, испугался, доплыл, на все способен, все может себе позволить, он и всегда был готов, всю жизнь так жил, но... вдруг. Как происходит это — вдруг? Есть предел, думаю, у каждого свой, но если человек еще жив, если способен вспомнить о том, почему и за что это с ним, понять — сам виноват, заслужил, а потому единственноый выход — остановиться, сейчас, в эту самую минуту, еще одна — и будет поздно, уже не остановишься, ничто и никто не остановит... И тогда он говорит себе: все, дальше я не пойду, по вашей дорожке — не пойду, потому знаю — куда. И тогда поднимается, все преодолеет, ото всего откажется — готов погубить душу, идет хоть на смерть, что-то говорит в нем, он не знает что, но понимает: вот его спасение — в гибели...

Я никак не вынырну из своего сна, из этого... грязного, липкого кошмара. Когда пишешь — легче, написал — и с плеч долой, ушло, оставило, а теперь, когда нет у меня — и не будет! — даже тетради, нельзя, не положена такая роскошь, затухнуть, уйти на дно, не на рыцарском турнире; когда только и остается бормотать, путая сон с явью, забывая где я, где «он», где... Как же он все-таки... поднимется, решится, где с ним должно произойти, может произойти, произошло...

Арий трясет меня за плечо, давно уже, а я не пойму — снится мне или на самом деле...

— Вставай, вставай, Вадим, — на вызов тебя!

На сей раз другой кабинет, просторней. И окно открыто, и ресничек нет, и солнце валит прямо в глаза — жмурюсь! И воздух, зелень — лето! И она... Другая? Лицо не постное — свежее, губы не поджаты, мягкие, распустила, платье... Надо ж, — сменила! Летнее, открытое... Да она... привлекательная, моя барышня! Загорела, отпуск у нее, думаю, не до меня, потому и забыла, не вызывала... Река, озеро или они в Сочи, где у них отпуск?.. С мужем ездит или такие без мужа? Муж горит на работе, а она горит... Где ж она горит, моя барышня, какое у нее горение?.. Платье легкое, свободное, и она в нем... «Они теперь голые ходят, под платьем у них...» Кто это сказал, не помню, кого-то недавно возили у нас в суд...

— Как вы себя чувствуете, Вадим Петрович?

Смотрит на меня с удивлением, очень уж я на нее загляделся, правильно поняла, женщины понимают, когда на них так смотрят... А глаза те же, откуда ей взять другие, это платье можно сменить для... соблазна — рыбки, болотные, пустые... И я опоминаюсь от шока: после шести месяцев уголовной тюрьмы увидеть рядом женщину в открытом летнем платье!

— Вашими молитвами, Людмила Павловна. Что-то вы обо мне позабыли, я, было, подумал, тут мне и оставаться до Судного Дня. Но... пришли — сдвинулось, перемена в моей судьбе?

— Судьба ваша, Вадим Петрович, в ваших руках, вам хорошо известно. Я сразу сказала. Неужели не помните?

— Такое не забыть. Но я и без вас знал. Так что у нас полное взаимопонимание с первой встречи.

— У вас ничего не изменилось? — спрашивает.

Нет, не на юге, думаю, другой загар, не сочинская пошлость, наш, среднерусский — река, поле, васильки-ромашки, малина-земляника...

— Как вам сказать, набрался мудрости, не без того.

— В таком случае, начнем разговаривать, как разумные люди. Намолчались?

— Как бы я намолчался? Разве вы меня, Людмила Павловна, хоть на часок оставляли наедине с собой, без общества? Не позаботились, чтоб я не скучал? Очень вами благодарен.

— Шутки в сторону, Вадим Петрович, вы прекрасно знаете, не новичок в тюрьме, я к этому отношения не имею. Если вам есть что сообщить, ваша ситуация может коренным образом измениться.

— Что-то произошло?

— Я же вам сказала: ваша судьба в ваших руках.

— Это как понять?

— Вы сами сказали, поняли меня с первой встречи.

— Понял. Особенно, когда оказался здесь.

— Но... отсюда можно уйти.

— И это в ваших возможностях?

— В наших с вами. Общих.

— То есть, если у нас с вами будут... хорошие отношения, вы мне, как говорится, по благу — откроете дверь?

— Зачем же «по благу»? Исходя из взаимного понимания и... договоренности.

— Как же мне добиться вашего... расположения, Людмила Павловна — ухаживать, что ль, за вами? Прямо тут, в кабинете? Или предложить руку и сердце?

— Об этом мы в другом месте. Сначала...

— Другими словами, у меня есть шанс рассчитывать на вашу благосклонность?

— У вас есть шанс выйти из тюрьмы. Я бы не вела с вами такой разговор, вы переходите границы дозволенного. Учтите, сегодня этот шанс более реален, чем вчера.

— Что-то, действительно, изменилось? Сегодня? В атмосфере? В погоде или — в климате?

Она смотрит на часы. Ого — внимание!

— Вадим Петрович, вы, я вижу, на самом деле, намолчались, не будем терять времени. Если вы признаете себя виновным и ответите на ряд вопросов — очень простых, вас они никак не скомпрометируют, вы — я даю вам слово, в самое ближайшее время отсюда уйдете. К сестре, к племяннику. Куда хотите. Можете... выехать за рубеж.

— И всего лишь... «ряд вопросов»?

— Если напишете, что больше не будете нарушать закон...

— Я и не нарушал закон, — мне становится нестерпимо стыдно за мою говорливость, кокетство, возбуждение, за то, что заметил ее платье, загар...

— Хорошо, не нарушали. Так считаете. Но если бы вы его, на самом деле, не нарушили, мы бы с вами разговаривали не здесь, а...

— В Сочи, скажем, — говорю я с горечью: поделом, заслужил, все она про меня поняла.

— В Сочи?... — в глазах что-то блеснуло — живая! — Зачем в Сочи, и в Москве можно встретиться, чтоб... договориться. Я говорю с вами не по собственной инициативе, я бы с вами и в другом месте не... Речь не о прошлом, о будущем. Понимаете? Если вы напишете такое заявление...

— Кому?

— В Президиум Верховного Совета, в прокуратуру. В ЦК... Повторяю — о будущем, не о прошлом! Можете не ставить вопрос — виновны или нет. Но в будущем... Давайте серьезно, Вадим Петрович. Оказавшись на свободе, вы же не намерены нарушать закон?

— Я его никогда не нарушал.

— Отлично. Пишите заявление.

— А... в КГБ — можно?

Мгновение она смотрит на меня.

— Причем тут КГБ? Ваше дело ведет прокуратура.

— И вы говорите от имени прокуратуры?..

Страшные глаза... Нет, своей охотой в болото не полезешь, никто не ползет. А затянуть может, не выберешься.

— Так как? Будете писать?

— Как странно, Людмила Павловна, я убежден, что закона не нарушал, а потому, находясь в тюрьме, не хочу участвовать в следствии, ибо, на самом деле, закон нарушили вы. Вы утверждаете, что я закон нарушил и продолжаете держать меня в уголовной тюрьме... Почему, кстати, в уголовной?

— Ваша статья — уголовная.

— Конечно, у вас все... Но вы убеждены, что я преступник, полгода держите, хотя я с самого начала заявил, что вы заблуждаетесь? Я вину не признаю, а вы меня держите. Но как только я свою вину признаю: да, я нарушил закон, пусть косвенно — не буду нарушать, значит, когда-то нарушил? Скажу: я преступник — и вы меня отпустите? Как это понять, Людмила Павловна — в чем тут логика?

— Сколько в вас злости... — она откидывается на стуле. — Из-за своей злости вы и собственную жизнь губите. Советское правосудие воспитательное, по преимуществу. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти человека, остановить его. Почему бы вас не освободить? Не давать срока, не отправлять на зону? Если вы осознали свою вину, раскаялись в содеянном, разоружились, если твердо обещаете больше закон не нарушать? Обществу вы уже не угрожаете — живите себе, воспитывайте детей, занимайтесь общественно полезным трудом. И все будет нормально.

— Все будет нормально... Я, благодаря вам, Людмила Павловна, увидел за эти месяцы сотни людей. Каждый из них готов написать любую бумагу и пообещать все, что угодно. Но разве вы хоть одного отпустите, хоть когда отпускали? Чистосердечное признание, говорят в тюрьме, облегчает совесть и увеличивает срок. Или вам это не известно?

— Разумеется. Если это убийцы, воры, насильники.

— Разве у меня не уголовная статья?

— Если вы напишете заявление, что впредь не будете нарушать закон — пойдете на свободу.

— И я вам должен поверить? Полвека назад ваши коллеги превращали человека в кровавую котлету и добивались признания в шпионаже в пользу японской разведки. Чего не подпишешь, когда тебя такая милая дама... попросит. Но хоть одного такого «шпиона» выпустили на свободу?

— Вы говорите о временах нарушения законности. Они осуждены. Или я вас пытала? Выйдете и начнете рассказывать небылицы?

— Я буду рассказывать, что было на самом деле. Что видел. И что слышал. Меня вы не пытали. У нас с вами очень... увлекательная беседа. Я только никак не пойму ее смысла.

— Разве вы не знаете случаев — напомнить, привести примеры? В наше с вами время, не при царе Горохе? Человек признает свою вину, раскаивается, громко об этом заявляет — и выходит из тюрьмы, из зоны, начинает нормальную жизнь. Времена изменились, Вадим Петрович, они и дальше будут меняться. Знаю, что говорю.

— Зачем тогда торопиться?.. Подожду, может, следующий раз вызовете, чтоб передо мной извиниться? Полгода продержали... Вы будете извиняться, не я, вы будете давать обещания впредь не нарушать... Ну, коль предстоят изменения?

Она придвигает стул, берет ручку. На меня она уже не смотрит. Наклоняется над бумагами.

— Да, Полухин, жалко, мы с вами не встретились пятьдесят лет назад.

— Так вот какие изменения! Или о желаемом проговариваетесь? Как бы мы с вами здесь встретились в ту распрекрасную пору?.. Напишешь заявление — выходи! Пятьдесят лет назад, если у кого голова срабатывала, догадался — все равно убьют! Да подпишу, подавитесь, лишь бы скорей, отмучиться — и в распыл. А тут — торжество справедливости, законности, с прошлым покончено! Не зря «слово» дали — знаю, уйду на свободу, и примеры известны. Солги на себя, на свое дело, на близких, на друзей-приятелей — и на волю. Гуляй! Пятьдесят лет назад тебя бы убили — ни за что, а теперь, ни за что посадив, выпустят. Есть разница или нет?

— А вы как считаете — есть или нет?

— Большие изменения, Людмила Павловна, а вы еще большие обещаете. Торжество законности. Гуманности. И все аплодируют... Пятьдесят лет назад тоже

аплодировали. Может, от страху, а теперь от чистого сердца: не убиваем — выпускаем! Сломай себя, растопчи, вывози в дерьме — живи, годен для строительства социализма. А человек ни в чем неповинный, убежденный в своей правоте, в праве жить по совести — сиди, срок небольшой, добавим! Не виновен? Как, то есть, невиновен, хотел жить по совести и не виновен? Мне бы с тобой пятьдесят лет назад встретиться... Так я говорю, гражданин следовательно?

— Ну что ж, Полухин, поговорили. Будем считать, с неофициальной частью покончили. Срок вы получите. Обещаю. Приступим к статье 201-й. Дело закрыто. Через час придет ваш адвокат.

Честно сказать, я не сразу в состоянии преодолеть шок: главное, чтоб она не заметила. Вот так номер, думаю, дело закрыто! Конец?.. Какой конец, начало. Тюрьме конец — суд, а там... Срок она мне обещает, тут без обмана, но зачем этот дикий разговор, в котором я сорвался, открылся? А не все ли равно!.. А если бы согласился, написал — она бы не сказала, что дело закрыто?..

Мысль кружится, а я стараюсь делать вид, что мне нипочем — возьми меня за рупь-за двадцать! Передо мной две толстущие папки, дело. Листаю, листаю...

Первая бумага, пожалуй, самая замечательная: документ, подписанный генерал-лейтенантом ГБ о начале производства, об обысках, о... Наводка! Наколка! И не прячутся, вылезли уши. Почему ж не их статья — не семидесятая, почему уголовная тюрьма — не Лефортово? Все равно — открылись! Они! С восемнадцатого года они всем крутят-вертят — ангелы-хранители, лапушки! Они и строят социализм по своему образу и подобию...

Господи, думаю, да я, оказывается, писатель! Я никогда не видел всего, что написал — вместе, под одной обложкой! Своей книги целиком не видел — только частями, отдельными главами, разве я мог позволить себе такую роскошь: оставить целую книгу на столе? Статьи, повести, рассказы, пьесы, романы... Писали-не гуляли!.. Экспертиза почерка, экспертиза стилистическая — кандидаты наук, институт такой-то... Запомнить фамилии, не забыть... Зачем?

Успеть пролистать до прихода адвоката, а потом с начала, страницу за страницей... Надо ж, думаю, на са-

мом деле, писатель, а я позабыл, переходя из камеры в камеру, от одной истории к другой, еще более мерзкой, не вспоминал, но, может, в том и хитрость, замысел: сунуть мордой в уголовную кашу, чтоб себя забыл, понял — я такой же... А разве не такой?

Гонорар, думаю, настоящий гонорар, полновесный: за русское сочинительство — тюрьма. Скромно, думаю, всего полгода, больше не наработал, чином не вышел. Но ведь начало, не конец, пока — полгода, поглядим чего стобю... А мог бы и выйти, думаю, не соврала, на этот раз правда. Что бы тогда стояли статьи, повести, романы? Смог бы я листать эти страницы, оказавшись на воле, сидя за столом с этой ли, другой барышней, зная — могу встать и открыть дверь, заменить одну барышню другой, если мне ее... платье не покажется? Нет, сам бы смог листать?.. А через сто лет, думаю, когда все уйдет, пройдет, затрется, когда меня уже давно не будет сидеть на этом месте и никто не вспомнит, не будет знать какой ценой я когда-то, сто лет назад купил свободу, решил свою судьбу, спас шкуру?.. Те же страницы, статьи, повести, романы? И цена им та же? Что же я спас — себя, шкуру или бессмертную душу? Но зато сколько бы я еще написал, кабы вышел — вон сколько теперь знаю, увидел, понял!..

Странная мысль, пустая, тщеславная. Она — и так, и эдак, всего лишь тщеславна — что будет через сто лет? Пройдут как дуновенье. Но какая-то удивительная связь существует между написанным тобой словом, фразой, понятой и сформулированной мыслью — и тобой самим, твоей судьбой, выбором... Поймут это через сто лет?

На что я трачу время, думаю. И придвигаю вторую папку. Протоколы, протоколы, протоколы! Обыски, допросы... Что они ищут — бездельники, сколько их! И это только по моему пустяшному делу, а по Москве, а по стране! В тридцатые годы каждого третьего — на распыл, в наше время — каждого на просвет: перевернуть всю жизнь, душу, чтоб ничего не осталось, чтоб не было своего, ими не захвачанного, не изгаженного... А знают об этом те, кого не коснулось — кто сами себя светят?

Вот они — «материалы», вещественные доказательства: Библия, История Церкви, Платонов, Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Солженицын... Ну еще бы — Солженицын! Все, что было в доме — что ж я забыл о своем обыске? И так у всех, к кому в то утро при-

шли — во втором, третьем, четвертом доме... Мой последний роман... Нашли! Добрались... А еще один экземпляр?.. И еще один нашли. Сколько ж их было? Будто не помню, не знаю. Не знаю! И думать не разрешал — не было его, не писал. И третий нашли... Нет четвертого? Не нашли! Что ж вы, Людмила Павловна, обсчитались? Значит, и этот роман существует, цел. Рукописи не горят, вспомнил вчера Саня. Горят они, на самом деле, но только, если Богу угодно, а не угодно — не найдут. Сохранятся.

Допросы... Ага, сестренка не пошла. Что ж вы, Людмила Павловна, и это не получилось? Не напугали?.. Митя... Ага, Митя! «Вадим Петрович из самых прекрасных людей, которых я удостоился в жизни встретить. Я счастлив, что...» Ну, Людмила Павловна, как же так, Людмила Павловна — опять не вышло? Что-то не клеится в вашем королевстве, машина дает сбой, а казалось, все в ваших руках, семьдесят лет катали, всех под корень, а вырастают детки... Не получается с вашим социализмом, по вашему образу и подобию...

Дальше, дальше! Тридцать допросов... Еще. Тридцать третий, тридцать четвертый — ничего. Где же криминал, Людмила Павловна? Или вам криминал не нужен — зачем, когда в первой бумаге, подписанной генерал-лейтенантом ГБ все заранее сказано...

«Знакомы? — Знакомы. — Читали? — Нет. — Совсем ничего? — Ничего. — Кого видали в доме? — Сестру. Мужа сестры...» Ага, еще покойника видели, кто уехал на запад — видели... «О чем разговаривали? — О погоде, о природе, о климате...» «Читали? — Я не читаю книг своих знакомых, не хочу портить отношения...» Научили за почти семьдесят лет: промолчать не значит солгать. Может быть, так и надо? Но... корябает душу: ты сидишь в тюрьме за свои книги, а твой близкий товарищ... Но он сказал всего лишь правду: ты пишешь плохо и он предпочитает смолчать, в этой ситуации считает невозможным сказать правду. Наверно, это благородно... А что такое плохо? Когда дают срок за книгу — она плохая или хорошая? Или когда «сумма прописью» — хорошая, а когда срок... Коробит, корябает душу, но разве за себя? Мне все равно, мне не надо — за того, кто «не хотел портить отношения...», кто говорит свою правду и совесть его чиста. Ну, коли совесть... Да разве в том дело! Где же криминал, Людмила Павловна? — Ничего.

«Щапова...» — вижу я. «Протокол допроса Щаповой Нины Александровны...»

Я поднимаю голову. Она сидит у стола, ящик выдвинут, там, видимо, клубок, тянется нитка, мелькает крючок... Вяжет! Шапочка, чепчик... Да у нее... ребенок!

— У вас... девочка? — спрашиваю.

Поднимает глаза. Мы рядом: я у маленького столика на привинченном табурете, солнце валит в окно напротив, шелест листьев, звон трамваев; она — за большим столом, сиреневая ниточка ползет из открытого ящика, мелькает крючок...

— Доченька, — губы мягкие, распустила, лицо спокойное, задумчивое, — полтора годика. Нет времени, когда еще сегодня выберусь отсюда...

— Вы ей — сказки, или... рассказы из собственной практики?

— Читайте, Вадим Петрович, у вас мало времени, вот-вот подойдет адвокат. Мы должны кончить сегодня.

— Как... сегодня?

— А так. У меня нет больше времени.

— Зато у меня много. Нет, Людмила Павловна, топиться я не намерен. Придет адвокат, объяснит...

— Ну погодите... — шипит она и дергает нитку, клубок выпрыгивает на стол, — вы меня запомните!..

— Запомню, запомню...

«Щапова Нина Александровна...» Я нарочно тяну время, не... Нет, не могу читать!..

«Протокол допроса... Щапова...»

«Вопрос: вы знакомы с Полухиным?»

«Ответ: знакома.»

«Вопрос: когда и где вы с ним познакомились?»

«Ответ: Вадима Петровича Полухина я люблю как прекрасного человека и замечательного писателя. А потому, исходя из нравственных, моральных, этических соображений, отвечать на ваши вопросы не буду. Он был арестован с такой жестокостью и бесчеловечностью, в тот день и час, когда его сестра, а у нее нет ни отца, ни матери, была в родильном доме, рожала, что я и по человеческим соображениям ни о чем с вами разговаривать не стану.»

«Вопрос: вам известно, свидетель, что за отказ от дачи показаний вы несете уголовную ответственность и будете привлечены по статье...»

«Ответ: известно.»

«Распишитесь...»

Подпись...

Строки плывут перед глазами, расплываются. Жарко, а мороз по коже. «Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного...»

— Людмила Павловна, вы ее... видели?.. Нину Александровну Щапову?

Откусывает нитку, зубы белые, редкие; чепчик почти готов: на полуторагодовалую головку с кудерьками.

— А как же. Видела.

— Расскажите... Какая она...

Ну зачем, к кому я лезу, спрашиваю — вот она моя душевная расслабленность!

— Обыкновенная фанатичка. Допрыгается.

Ощущение, что я его где-то встречал, знаю... Мог бы встретить. Скромный, строгий костюм, галстук. Приветливый, благожелательный... Это же адвокат! Профессиональная благожелательность... Может быть, но это первый человек за полгода тюрьмы. Он пришел ко мне, ради меня, он виделся с сестрой, с Митей, я могу ему... доверять!

— Что у меня дома, Иосиф Наумович?

— Все здоровы. Просили кланяться. Очень беспокоятся о вас. Они не одни. Ребенок здоров. Назвали Вадимом...

— Спасибо. А...

— Чуть не забыл: и... Федор Всеволодович выздоровел. Он был болен, вы знаете, но... Все хорошо.

Федор Всеволодович?.. Герой моего последнего романа, его нашли там и там, а там не... «Все хорошо»!

— Просили вам передать... Вы не возражаете, Людмила Павловна? Фотография и... шоколад. Сигареты.

— Здесь. В моем присутствии. В камеру — нельзя.

— Та же фотография. Но на той сестры не было. Только рука. На этой — сестра и ребенок на руке.

— К сожалению, относительно старая, последнюю не успели, завтра поднесут...

— Сегодня мы должны кончить 201-ю,—говорит она.

— Сегодня? — спрашивает адвокат.

— Вы опоздали, я потратила битый час, вас дожидаячи. Больше у меня нет времени.

— Видите, Иосиф Наумович,—чувствую, как спаси-

тельное бешенство заливает глаза, я не могу ее видеть, слышать! — Моему следователю плевать на УПК, у нее нет времени ждать! Когда меня катали в тюрьме — каждый месяц в другой камере, два месяца на общаке, хотя с моей статьей...

— Я прекращу свидание,— говорит она.

— Что? — говорит адвокат.— Свидание?

— Сегодня мы закроем дело,— говорит она.

— Вы закроете, а я его не закрою. В обвинительном заключении... Вы прочтите, Иосиф Наумович! Мало что ни одного слова правды, оно безграмотно до идиотизма, до пародийности, да хотя бы из приличия убрали глупости — над вами смеяться будут, над вами...

— Там не будет изменено ни одного слова,— говорит она.

— Да пес с ним, с обвинительным! Неужто вы сочинили? Конечно, начальство, потому и одного слова нельзя исправить!.. Я должен и у меня право прочитать все материалы. Вот они на столе. Все рукописи, бумаги...

— И эту... макулатуру я буду сюда таскать?! — она покраснела, в болотных глазах прыгают искры.

— Слышите, Иосиф Наумович?.. Неужто не расскажете в суде, как говорит со мной следователь?

— Успокойтесь, успокойтесь... — адвокат разводит руками. — Людмила Павловна, вы, действительно...

Она выскакивает из-за стола:

— Я вернусь через пять минут.

Дверь грохнула.

— Ну что вы раскипятились? — говорит адвокат. — Никуда она не денется. Завтра я приду и мы спокойненько...

— Куда она побежала?

— К хозяевам,— он тычет пальцем в потолок.

— К кому?

— ГБ,— говорит адвокат,— кто ж у нее хозяева?

— Вон как?.. Иосиф Наумович, я никак не пойму, почему они сунули меня сюда, а не в Лефортово?

— Вам досадно?

— Хочу понять.

— Право у них есть, статья прокуратуры. Вас они, видно, хорошо знают. Думают, что знают. В Лефортово вам было бы легче, хотя... Очень уж вы вскидчивый. Тяжело?

— Да хорошо мне! Разве я о том? Я людей увидел, себя узнал... Конечно, тяжело, когда шестьдесят человек в камере.

— Ну а... с уголовниками? Какие с ними отношения?

— Нормальные, такие же люди...

Дверь с треском раскрывается. Она подходит к столу, открывает, закрывает ящики... Ставит на стол сумочку — к самому краю, ближе к столу, за которым мы сидим...

— Времени у меня нет, а дел много. Вернусь через сорок минут. Учтите — завтра последний день!

— Видите, Людмила Павловна, — говорит адвокат, — зачем столько нервов?

Она уходит, на сей раз осторожно прикрыв дверь.

— Ничего не пойму, — говорю я.

— Не обращайтесь внимания, их проблемы. Давайте решим наши, коль уж нам подарили сорок минут.

— Здесь слушают? — спрашиваю я.

— Я редко здесь бываю, в Бутырках я знаю кабинеты, в которых... записывают. Впрочем...

Он глядит мне в глаза и тихо улыбается: глаза у него усталые, печальные. Указывает пальцем на сумочку передо мной. Дамская сумочка явно стоит не на месте.

— Да вы что?! — изумляюсь я.

Он пожимает плечами:

— Все вполне примитивно. У них всегда примитивно. Вы еще не поняли?.. Зачем вам адвокат?

— Хотя бы поговорить, передать домой...

— Вот мы и поговорим. Сегодня и завтра. Вы понимаете — от меня ничего не зависит. Все заранее пред-
решено.

— Что же предрешено?

— Загадка. Загадочно уже, что они закрыли ваше дело практически без допросов. Только свидетели. Вы не давали показания?

— Не давал.

— Очень странное время, я не удивлюсь, если вас выпустят. Не удивлюсь и если статью переквалифицируют. Кстати, она не обещала вам семидесятью?

— Мы с ней не виделись три месяца, а до того дважды. Но... сокамерник пообещал мне шестьдесят четвертую.

— Похоже, почерк тот же. Шестьдесят четвертой у вас не будет. Сегодня им не нужно. Я думаю, и семидесятой не будет. Пришлось бы везти вас в Лефортово и начинать с начала. Но три года вы можете получить. Они всегда дают максимум, если вы не признаете себя

виновным.

— Только что она предложила мне выйти на свободу в обмен на обещание больше не нарушать закон.

— И что же вы?

— Я закона не нарушал.

— Вадим Петрович, вы... не выдержите зону.

— Почему?

— Это очень трудно, с каждым годом тяжелее, а вы... человек несдержанный. Вам будут добавлять и добавлять.

— Какой же выход?

— Быть может, согласиться на то, что она... предлагает? Она не сама сочинила. Для них это тоже выход.

— Вы говорите от себя?

— Я говорю для вас.

— Наверно, вы правы, мне не нужен адвокат.

— У вас будет время подумать. Я не верю, что они станут торопиться. Очень странное время, Вадим Петрович...

— Предстоят изменения?

— Они, думается мне, растеряны, нет былой наглости, самоуверенности. Сегодняшний... срыв вашей попечительницы от дурного характера. Ни о чем не говорит. Но в глубине души она убеждена и ее хозяева убеждены — никаких радикальных перемен не будет. Для них. А косметику они переживут.

— Как клопы, мы выжигаем камеру, не косметически, радикально, а через неделю подушка красная.

— Неужели так много? Какой ужас...

Молчу, что-то мне становится... скучно.

— Вегетарианские времена, — говорит адвокат, — но я статист в этом спектакле. Кушать подано.

— И вас это устраивает?

— C'est la vie. А я не Дон-Кихот. Я вам не нужен.

— И права нет?

Он пожимает плечами.

— Это циклы, каждое, скажем, десятилетие новый. Везет тем, кто оказался... в верхней части витка. Но это ничего не значит. Когда придет пора, нижняя часть витка вас снова захватит. Но вы, Вадим Петрович, сами выбрали — или вы сожалеете?

— Три года не трудно, но если станут добавлять...

— Вот видите... Я настоятельно советую подумать.

— Если бы Бога не было. Тогда бы стоило выгадывать, кроить, а так... Это Его забота.

— В этой области я профан, мое дело помочь вам отсюда выбраться. Как видите, я бессилён. В лучшем случае, могу предупредить.

— А в худшем?

— Если они вам...

— Они, они, они!..

Я хватаю сумочку на столе... Мягкая рука адвоката ложится мне на руку.

— Успокойтесь, Вадим Петрович. Вы получите карцер...

— Значит, правосудия нет, власть у них, а мы...

— L'Etat c'est moi,— говорит мой адвокат.

— Надеюсь, завтра вы закроете дело безо всяких... истерик? — говорит она.

Мы снова вдвоем, адвокат ушел, завтра он придет после обеда, к тому времени я все прочту, он еще раз передаст мне приветы, а сегодня вечером увидит...

Сейчас она отправит меня в камеру. Для нее день был заурядным. Служба. Рутинка. Попробовала один вариант — не получилось. В запасе второй, третий. Срабатывают. Теперь она пойдет домой. Пить чай. Или водку... Кто ее ждет?.. Или я ошибаюсь, все сложнее?.. А зачем мне ее сложности?

— Свалял дурака,— говорю,— надо бы закрыть дело сегодня. Чтоб больше не видеть вас.

— Откровенность за откровенность! Насколько приятней иметь дело с убийцей, насильником... вором. Да я лучше б десять таких дел оформила, чем с вами... Человек совершил преступление, одумается. А от вас всего можно ждать. Я бы никогда не выпускала таких, как вы.

— Старый разговор, о классово чуждых и социально близких.

— Ошибаетесь, писатель...— она кривит тонкие губы.— Я говорю о человеческой стороне. Там все наглядно, как у людей. Обозлился — схватился за нож, хочется выпить, а денег нет. Все понятно. Преступил закон и мы его накажем. Пожесточе — задумается. А вас и понять нельзя, да я и не хочу. Что вам надо? Советская власть не угодила? Почему бы не уехать, я предлагала...

— А почему бы вам не уехать?

— Я дома и мне в моем доме все нравится. А вы чужой, никому не нужны. Думаете, если издать вашу... макулатуру — вы на ней заработаете? Бабы сказки,

давно позабыто, а вы тянете — апостолы, попы, Христос-Воскресе... Кому вы мозги... пудрите?

— А вы издайте, тогда поглядим.

— Сколько вас таких осталось? Понимаю в тридцатые годы, когда еще тыщи недобитых. Может, и лишних постреляли. Но вас-то сколько?

Что ей надо, думаю, зачем этот пустой разговор?

— Вы... один. Во всей тюрьме таких нет. Знаете сколько здесь сидит?

— Сколько? Интересно бы узнать.

— Вы один, а нас двести пятьдесят миллионов. Какой смысл в вашей... героической жизни?

— Что вам от меня надо? Я не отвечаю на вопросы.

— Я вам предложила уйти на свободу, хотя сама я бы вас... Можете уйти. А вы из себя... Зачем?

— Хотя бы... чтоб вы задумались. Я написал мешок макулатуры... Вернусь в камеру, пойду на зону, а отказаться от того, что написал, не хочу. Для вас загадка. Вы ее и решайте.

— Подумаешь, камера! Вы еще тюрьмы не знаете! Дали бы мне волю, я бы вас... устроила.

— Понятно, не зря вас учили. Но как было бы полезно для нежно любимой вами советской власти, когда бы на втором, скажем, курсе юридического, вместо пустой болтовни, которой вас пичкают, отправили бы весь курс в тюрьму, на год. А потом еще на год — на зону. Не вместе, не студенческим отрядом со своей кашей, а поврозь, распихали бы по камерам. Как было бы полезно и поучительно для вас, Людмила Павловна, провести год на общаке, в ежедневном общении с социально вам близкими. Вы бы поняли кто чего стоит и что на самом деле происходит в доме, который так вам нравится.

— Что ж, вы у меня один? Я их каждый день вижу.

— В следственном кабинете. Кнопка под рукой. Нажмете — уведут. А вы бы на шконке. Под шконкой. Послушали бы. И они бы вас — послушали. И на вертухаев бы поглядели. Да не отсюда — из камеры. На майоров. О себе бы подумали, о своей жизни. Вы же нормальный человек, женщина... А потом, в зависимости от успешности прохождения практикума, вас бы допустили до госэкзаменов. Или не допустили. А то ведь вы учились по Вышинскому? Чистосердечное признание для вас царица доказательств? А там пусть решает начальство, ему видней. В зависимости от современного

состояния гуманизма. Или социализма. Зрелый он или всего лишь развитой. Или выпустить, или расстрелять. Разве таких, как вы, хоть когда-то интересовал закон или истина?

— Сейчас я нажму кнопку и вас отведут в камеру. Наговорились. Сами захотели. Пожалеете. Я предлагала другой вариант. А я уйду. Поглядите в окно, писатель! Солнце садится, жара спадает. Пройдусь по переулкам, люблю пешком. Выйду к метро. Полчаса — и дома. А могу... Куда бы сегодня закатиться?.. Надоело. Честно сказать, все мне надоело. Пойду домой. Приму ванну, посмотрю что там в холодильнике. У меня и коньяк есть. Включу телевизор... Позвоню кому-нибудь, чего-то такого захотелось, эдакого... А уже вечер, в каждом доме каждое окно зажглось, за каждым окном... Неужели эти миллионы и миллионы людей о вас когда-то вспомнят — кому вы нужны, Полухин?

— Вы о дочери забыли, коньяк, телевизор — это, наверно, для меня, а чепчик для кого?

— Это вы ни о ком думать не хотите. На весь белый свет озлели.

— Как мне вас жалко, Людмила Павловна... — говорю я. — Нет, соврал. Нету у меня силы... пожалеть вас. Слаб. А потому у меня к вам огромная просьба... Мы уже полгода как встретились, такая у нас с вами не-разлей-вода — все вам обо мне известно! А я вас еще ни о чем не просил. Ни разу. Так вот, не откажите в нижней просьбе: нажмите кнопку...

10

— Вышла из мрака младая с перстами пурпурными Эос!..

— Ты что это, Серый — не по-нашему? — говорит Гера.

— Не по-вашему! Все, Гера, я теперь другой. Вылетел.

— Куда? — спрашивает Гера.

— За судом, Гера. За судом!

И верно, другой: проснулся — весело! Та же камера — моя, родная, два шесть ноль. Те же люди — пятеро нас, уже десять дней никого к нам не бросают, никого не берут. Забыли про нас. Та же камера: решка, реснички, железная дверь с болтами... А я другой. Что ж, бытие определяет сознание или сознание бытие?

Как же я, видать, боялся ее, барышню из утреннего кошмара в потном джерси с рыбьими, болотными глазами! Хвастался перед собой — плевать мне, молчу, ничего ей не скажу, а все ждал: подвоха, хитрости, неведомого, собственной слабости — не таких, как я, ломали. Задавил в себе страх, а он шевелился, напоминал — обязательно что-то придумает! А выходит, не мне на нее, ей на меня — плевать. Не ее забота — заставили, поручили, а известно как выполняют в советском учреждении чужое поручение, нагрузку! О ф о р м и л а — и с плеч долой. Задавитесь! Вот преимущество социалистической системы, потому и живы до сих пор — всем на все наплевать! Что ж, ей хорошо, а мне и того лучше — гуляй, Вася! Теперь на суд, проштампелюют заранее предрешенное — и пошел. Ветер пересылок, дальних лагерей, — написал классик. Обдует, проветрит! Страшно?.. Тут уже не страшно, страшно когда тобой занимаются, когда один на один — ты и она, ты — и страна победившего социализма... Ты еще живой, сука? — щурится она на тебя. — Попробуем вариант номер такой-то.... Очень они любят индивидуальную работу, воспитательную по преимуществу. А когда я смешаюсь с серым миллионным племенем, когда буду неразличим в толпе, в стаде... Сколько нас? Не сказала, остереглась. Да знаю я — десять тысяч только в нашей тюрьме... А по Москве? А по федерации, а по стране, а по пересылкам, зонам? А еще «химики», поселенцы, ссыльные... Они и сосчитать нас не могут! Жить одной общей жизнью с миллионами людей, моих братьев — страшно?

Лишь бы уйти отсюда, думаю, не верю я ей, никому теперь не верю. И тишине камеры не верю, самая опасность в такой тишине. И каждому из нас пятерых — не верю, сколько раз прокалывался, учили, учили... Скорей бы, скорей!

Все еще может быть, думаю, все что угодно. Но сегодня — я не следственный, я за судом. Пусть такие же, из того же теста их выпекли, на одной скамейке с моей барышней изучали ихнюю гуманную премудрость. Но если ей было на меня плевать, лишь бы отделаться от поручения, им и подавно. Вмажут срок — по максимуму! — и поехал. Небо, звезды, ветер, макушки елок в окне столыпина, а на зоне — письма, чаек...

И еще одного Бог послал для промывки мозгов, чтоб не тратил время на пустые переживания, набирался ума-разума, чтоб понять — не кончилась жизнь, дру-

гая катит, она и есть настоящая, давно стучалась, а я отмахивался, сам бы ни за что не выбрал. А тут подарили. Ощупью понимал, а теперь вникаю... В таком случае не будем терять времени.

— Чем же ты промышляешь, Арик?

— Деньги, мусор, ребята. Я их никогда не считал. Но... как бы тебе объяснить... Мне надо много, мало не получается! А когда легко достаются, они и уходят просто. Хочешь меня понять?.. Раньше пойми себя, свою ошибку. В чем твое расхождение с советской властью — принцип или ее... недостатки? Ты считаешь, советская власть законы не соблюдает, ты на нее кидаешься, она тебя курочит. Почистит ее новый начальник, поменяет рыжего на брюхатого — и будет хорошая? У тебя никаких претензий.

— Не может она... соблюдать.

— Все она может. Не хочет! Если заставить, она из-под палки все сможет, куда ей деваться, подгонят под себя закон и... Законность, порядок. Но разве в том ее беда, я эту власть имею в виду?

— А в чем тогда?

— Меня ее законы не устраивают. Они вообще человека устроить не могут. Она не для человека. В принципе.

— Это как понять?

— Мне, скажем, надо много денег. Что тут худого? Тебе, к примеру, много не надо. Ты — писатель, что тебе надо?

— Комнату, чтоб дверь закрыть. И открыть, когда захочу. Стол нужен. Койка. Бумага, чернила. Машинка пишущая... Все, пожалуй. Чтоб напечатали. Хотя... Не обязательно.

— И верно, не много. А мне... Мне машина нужна, не машинка. Баба нужна. Не одна. И не две. Квартира в Москве, дом за городом. Еще один — в Риге. И в Крыму не помешает. Ночью я в ресторане, днем отсыпаясь, до обеда...

— А зачем?

— Надо и весь разговор. Потребность у меня. Разве такое, как бы сказать, «надо» — преступление?

— Если у тебя, скажем, наследство...

— Я и говорю — ты такой же! Откуда, докажи на что живешь, как получил... Какое вам дело! Есть у меня. Вот чего советская власть не понимает, никогда не

поймет. Ты и то не понимаешь. Все люди разные... Как у вас говорят?

— Один любит пряники, а другой соленые огурцы.

— А я о чем? О том, что советский закон запрещает жить, как хочу, как считаю нужным. Ты в Бога веруешь, а забыл, с нами Бог разберется — надо нам или нет. Бог дал мне свободу выбирать, а советская власть свободу, которую мне Бог дал, прибрала к рукам. Правильно?

— Пожалуй.

— В том и дело. Ты считаешь, я преступник. Почему? Да, я разбогател, но разве я нарушил закон, который мне Бог дал? Я никого не убивал, не воровал. Но делать деньги, чем весь мир занимается — белые, желтые, красные, черные! — разве Он запретил?

— По христианскому вероучению, человек должен соблюдать закон государства, в котором живет.

— Что ж ты не соблюдал?

— Я не нарушал закон.

— А почему ты в тюрьме?

— Они нарушили, не я. Толкуют закон, как хотят.

— Законник! Что ж это за закон, если он, как дышло, куда поворотишь, туда и вышло! Если я не могу жить где хочу, как хочу, не могу не работать — обязан, не могу продать, что мне не надо и что у меня с руками оторвут, другим позарез, а мне лишнее? Мое — я и цену назначаю. Почему мне запрещают менять шило на мыло: у тебя шило, а у меня мыло — наше дело, если договорились! Если книгу не могу написать, не спрося разрешения у... вертухая, а он ее и прочесть не сможет! А без его позволения разве ее хоть кто напечатает? По-твоему, законно?

— Да, тут ты, пожалуй, прав.

— Вот что такое советская власть, — говорит Арий, — она уничтожает человека не тем, что может его посадить ни за что, может и убить ни за что — законы они толкуют! Она его тем унижает, что не дает жить как он хочет. Бог разрешил, а она — не дает.

— Не разрешил, — говорю, — а попустил.

— Да?.. Ну, я русский язык, наверно, плохо знаю.

— Хорошо знаешь, здесь дело не в языке.

— Еще бы не знать, тридцать лет по лагерям. Русские лагеря, не немецкие... Ты пойми, она человеку не только не дает жить по-человечески, она его ломает, коржит, с детства уродует. Вырос мужик, а не понима-

ет — человек си или поганая овца, только и сгодится на шашлык, если се кормить, само собой, а где у нас кормят? И чтоб ему доказать, что он может остаться человеком, если захочет, что эта власть не для людей — знаешь, что нужно?

— Теперь знаю,— говорю.— Показали.

— Дсехало. В тюрьму его надо посадить, вот он где поймет — кто он и кто она. Ты мне скажи: таких, как в тюрьме, много ли ты видал на воле?

— Не много.

— Вот я о чем. Решето. Кто просеется, а кто останется. А решето встряхивают, трясут. Десять лет трясут. Еще десять. А потом еще червонец. А он остался, не просеялся. Кто ж Богу угоден — он или власть — сна так и не смогла его уничтожить? За кем правда? Или я опять не верно по-русски?

— Все верно, что тут скажешь.

— Чем я промышляю! — говорит Арий.— Я деньги не считаю. Разве в том мой бизнес, за что они меня судят? Мелочевка. Ну заработал, купил-продал, валюта, то, другое... А я, ребята, миллионер. Когда выйду...

— Спрятал, что ли,— говорит Гера,— закопал?

— Закопал. Никто не возьмет. Мои.

— А если реформа,— говорит Гера,— будем прикуривать от твоих червонцев?

— Ты, малый, червонцы сшибаешь, тебя и трясет,— говорит Арий.— Завмаг лапу тебе в карман, народный контроль с тебя тянет. А у меня никто не возьмет.

— В чем же твой бизнес, Арий, в какой валюте?

— Еще не понял? Хреновый ты писатель. Тысяча долларов за любую русскую судьбу, с руками оторвут, не так? Ты за полгода сколько узнал русских судеб? Сотню, не меньше? Помножь тысячу долларов на сотню... А за тридцать лет, как я? Возьми у Мурата карандашик, посчитай?

— Да,— смотрю на него во все глаза,— коммерция...

Здоровенный, руки, как у меня ноги, движения неторопливые, точные. Камеру он на второй день знал наизусть, навидался... Неужто тридцать лет?

Чемпион Латвии по боксу среди юношей... Спортивная карьера на том, впрочем, и кончилась... А сколько правды в его рассказах — да и во всех рассказах, за которые будут нам платить по тысяче долларов! Заплатят-не заплатят, а сейчас он передо мной, рядом на шконке.

Первый раз посадили Ария через год после войны. Мальчишкой. Тем самым юношей-чемпионом. Перешел в десятый класс, жрать в Риге нечего, отца нет, у матери их трое. Нанялся на лето в колхоз. А первого сентября собрал тетради-книжки — и в школу. Через неделю за ним пришли. Три года за самовольный уход с работы... Врет или правда? Но ведь могло быть, бывало — все тот же указ от седьмого-восьмого! На том и кончилось его образование и началась борьба за выживание — кто кого, он или она?

— Через два месяца выйду,— говорит Арий, лежим рядом, только мне говорит.— Срок кончится.

— Ты ж на особняке?

— Я всегда на особняке. Суд уже был, дали два года. Ну... как дали. У меня баба, позавидуешь — все может. Как танк. Бутырку в первый месяц купила, каждую неделю передача. И сигареты с фильтром, и ветчина, и икра... Администратор в «Национале». Она и здесь успела. Прижала... Петерса. Видал его?

— Где мне его увидеть?

— Она к нему в кабинет, а он от нее. С первого дня не оставляет в покое. Он во двор, в машину, а у нее машина возле ворот. Догнала в переулке, прижала к тротуару. Он вылез. Ты что, говорит, моего мужика убить хочешь? Он больной, ему то и то надо... Пошли передачи! Увидишь, чем такие бабы кормят... И следовательно у нее трепыхается. Свидания у него в кабинете. В Бутырке. Закроет кабинет и гуляет час, полтора. Все в ажуре. Два года выбила. Но... переборщили. Не она, сейчас всю Бутырку трясут, все руководство. Кого посадили, кого поснимали, кого посадят. А мне надо? Пускай их псов, понюхают... Что знаю, скрывать не стану — верно? Нагляделся, почти два года там. Говоришь — они по-своему закон толкуют? Пусть толкуют, а я про них расскажу. Меня следовательно перевел сюда, чтоб на Бутырке не пришли. Сечешь?

— Не так чтоб, но...

— Они ко мне сюда ездят. Не по моему делу, по Бутырке. Мое не трогают; суд был, срока осталось два месяца, я им нужен, как свидетель по Бутырке.

— Ты им веришь? — спрашиваю.

— Как тебе сказать... Верю-не верю, а у меня чистенько, следак мужик ловкий, больше меня повязан. Если хоть что, я пасть открою — где она?

— Неужели выйдешь?

— А куда они денутся? Не первый раз... И мы с тобой не будем зря время давить. Два месяца надо прожить. Для начала... конкурс. Я рассказ и ты рассказ. На пачку сигарет?

Вон оно как, думаю, много совпадений, а все ли случайные? Чудес в тюрьме не бывает. Каждый за себя.

— Я не в той весовой категории,— говорю,— по заказу не пишу.

— Не по заказу — о чем хочешь?

— Я свое отписал.

— Хорошо. Давай мне тему,— не отстает Арий,— а потом скажешь, чего я стою?

— Напиши про... решку. Чем не тема?

Он поднимает голову и глядит в окно. Глаза у него светлые, прозрачные... Нет, ничего я не понимаю в людях.

— Решка... Попробую. Хотя...— он пожимает плечами.— Классика...

Утром он дал мне два листа, исписанных с обеих сторон крупными, почти печатными буквами. Грамотно и... вполне исчерпывающе. Не рассказ — эссе об истории «решки». Хорошо. Скучновато. Я ему сказал, что думал.

— Я и сам вижу — не мое. Не зажегся. Я другой напишу. Давно хотел.

«Кружка кипятку» назывался рассказ. О карцере. Он и его написал ночью, а утром отдал мне.

Да, он писатель, думаю. Настоящий писатель! Что ж я оплошал, отказался от карцера, сколько раз предлагали, недавно была возможность, адвокат помешал... Можно писать о карцере, если в нем не был? Есть право?.. Один скажет, можно, другой — нет, но разве дело в том, кто что скажет? Напиши, попробуй! В чем же здесь сила, думаю, в истинности переживаний или в точности фиксации пережитого? Сколько я слышал рассказов о карцере — но разве я был в карцере?..

Глядит на меня, не хочет, чтоб заметил, что ему важно.

— Замечательно, Арик, тебе надо писать.

— Не врешь?

— Зачем мне? На этом ты не разбогатеешь, но... Ты должен сохранить, спасти в себе. Никто не знает, а ты узнал. Только ты.

— А почему не разбогатеем? На Западе напечатают?

— Напечатают. Но это работа, Арик, и... тяжелая. Этому ты научишься, можешь. Превосходный рассказ, но... Писатель — это не просто ремесло, жизнь другая, существование — другое. Напишешь, напечатают... Этого мало, Арик. Ради чего? За ради денег не получится. И машины не будет, она не нужна, только пишущая. Тебе предлагают выбор — машина или машинка?

— А то и то — не выйдет? Мне того и того надо?

— Тут не торгуются. Ты торговался за... «кружку»?

Кружка кипятку в залитом водой карцере. День пролетный, день залетный... Так мне не написать, чтоб так написать, надо чтоб тебя... одарили карцером, спасли кружкой кипятка, чтоб ты узнал ее истинную цену и свою истинную цену.

Тридцать лет, думаю. Надо бы начать раньше. Не успеть.

Матвея привели под вечер, к ужину.

— Начнут набивать хату,— сказал Гера,— побарствова-
вали.

Мы и верно, разбаловались. Недели две живем впятером. У троих постоянные передачи — у меня, у Геры, у Ария. Ларьки у нас троих и у Мурата. Только у Сани пусто. Не велик труд прокормить одного, когда у четверых есть. И на прогулку всей камерой — весело, вольготно. Арий рассказывает, рассказывает, а вечерами со мной, доверительно. Только с Саней у него напруг: не верю ему, сказал Арий, прочитав Санину жалобу, много накрутил... Учти, сказал Арий, я с каждым по-другому разговариваю, иначе не поймут. У нас с тобой свое. Мне не машинка нужна — машина. Что ж я буду одним пальцем, вон они у меня какие, не для того... У тебя есть машинистка? Там поглядим, говорю, будет воля, будет и машинистка. Но тебе же машина нужна, рестораны? Мне много чего надо, говорит, а как отправим на запад, у тебя есть кто? Неужели... в «Национале» не найдешь? А они годятся? — спрашивает. Нет, говорю, для этого, пожалуй, не годятся. Как же, мол, тогда? Сначала напиши, говорю, а там посмотрим... Очень поучительные разговоры.

И вот является новый «пассажир». Под пятьдесят, худощавый, легкий, в седой бородке. Глаза печальные,

а с насмешкой. Уживается в нем и то и это. С больнички приходит.

— Чем же ты, сирота, хвораешь? — спрашиваю его.

— Давление поджимает.

— А статья какая?

— Самая тяжелая, — говорит, — чердак.

Тихий человек, встретишь — интеллигент. Сельский учитель. А разделся — мать моя, мамочка! Нет живого места, весь разрисован. И живопись незаурядная, талантливо.

— Где это тебя, сирота?

Нет, и таких я еще не видел. Профессиональный бродяга. БОМЖИ — их теперь называют. Русская классика. Не может жить на одном месте. Верно, сирота. Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. А ему под пятьдесят, с мальчишек идет той улицей. Длинная оказалась — от Рижского залива, считай, из Европы до Находки. Да и конец не там. И до Магадана добирался. Нескончаемая улица. А в Москве мать-старушка, на пенсии, получила однокомнатную квартиру на Речном вокзале. А улица петляет, никак к той квартире не выведет. Статья за статьей, заказана ему московская прописка, не светит бомжу в столице в эпоху зрелого социализма.

— Неужто за сорок лет не захотелось отдохнуть, ноги вытянуть? — это я его спрашиваю.

— Бывало, есть у меня местечко недалеко от Москвы. Писатели живут. У одного из них. Однажды заглянул, а потом разочков пять приземлялся. Месяца три поживу и...

— В Переделкине?

— Ну. Знаменитый писатель. Старый. Живет один. Жена померла, дочка в Москве на квартире. А он круглый год. Воздух ему нужен, природа. Зимой котел топлю, летом сад обихаживаю. Цветочки. Месяца два-три выдерживаю. А потом... заскучаю.

— Ты ему, наверно, рассказываешь, а он — записывает?

— Кто его поймет. Хотя книг много, цельный шкаф. И денег сколько надо.

— Тебе-то хорошо платит?

— Денег не дает. Кормить — кормит. И ночевать оставляет. Не попадайся, мол. А попался — твое дело.

— Хороший человек, — подытоживает Арий.

— Жадный. Хотя был случай... Утром встанет, вый-

дет на крылечко, продышится — и обратно. Откроет шкафчик, рюмочка серебряная, нальет, выпьет и заперет в шкаф.

— Пишет, что ли?

— Может, и пишет, не видал. Спит, наверно. Раз в месяц приезжает дочка. Машина, шофер. Все про деньги. Ругаются. Он не дает. Она — в машину и обратно.

— Кто ж такой? — спрашиваю.

— Зачем тебе? Не надо. Скучная у него жизнь, я бы ни за что не променял. Передохнуть другой раз. А потом дождусь, когда уйдет погулять, у него вечером обязательная прогулка, открою шкаф, налью серебряную рюмочку... Сколько есть опорожню, рюмочку в шкаф — и пошел. Через год снова к нему. Не обижается, знает, мне пора было.

— Где же ты ходишь, Матвей?

— Везде. Я вам скажу, мужики, в Сибири — тыщи живут по лесам. Раз поймали, увели в тайгу. Как на грех, деньги в кармане. Пускай, говорят, еще шлют, а не пришлют — съедим.

— Ладно врать, Матвей.

— Тебя бы к ним.

— Ну и что дальше?

— Написал своему писателю в Переделкино... Так, мол, и так, выкупай. Они прочитали, поверили, что пришлет. Ждем.

— А ты-то верил?

— Время потянуть. Кому писать? У матери пенсия тридцать семь рублей.

— А чем кормятся?

— Как волки. Ночью придут в деревню, пошарят — и в тайгу: яйца, свиненка, картошку. Что найдут. Летом полегче.

— Как же ты ушел от них?

— Случай, можно сказать. Пошли как-то в район-центр. Одного не отпускали, с провожатым. А у него там баба с самогоном. Он к ней. Я говорю: на почту слетаю, может, перевод подошел, для понту. А ему зачем, чтоб я с ним к бабе?.. Что думаешь — лежит перевод. Стольник! Все ж таки, писатель. Взял деньги и рванул. Ушел.

— А в этот раз как залетел?

— На вокзале взяли. На Киевском. От него и ехал, из Переделкина. Я ее давно приметил — па-аскудная баба. В электричке с ней раз, другой. Тоже там жи-

вет. И она на меня, видать, глаз положила. Только вышли в Москве — она за свисток. Может, и отпустила бы, попугала или подписку взяла. А когда привели, она сидит за столом — следовательно в вокзальном отделении, я на нее поглядел... Жалко, говорю, я тебя не спихнул, суку, в электричке, ничего, мол, еще встретимся. Короче, напросился. Оформила. Чего от них ждать...

Что же у нас за камера, думаю, кого они сюда пихают? Один с особняка и другой всю жизнь по тюрьмам... В чем на сей раз кумовский замысел?

И Матвей подлил масла в огонь. Мне.

— Чудная камера. Смотри, писатель, не промахнись...

Ночью я проснулся от хохота. Пятеро через дубок от меня, на шконке у Мурата. Он у окна, рядом с ним лежит Саня. Арий, Гера, Матвей... Уселись подальше, чтоб меня не будить. Разговор о бабах. Арий и Матвей — в очередь, рассказ за рассказом. Пытаюсь заснуть. Наслушался... Саня вступает. Вроде бы, не его стихия?..

— От бабы,— говорит Саня,— можно чего хочешь ждать. Она, если что не по ней... К примеру, напьешься, не соображаешь, пожалела б, а ей надо... Она такое учудит...

Не уснуть, бьет в уши. Теперь исторический сюжет. В тюрьме о чем бы ни травили, все скушают... Наверно, притча, в подтверждение версии: «баба такое учудит».

— У царя Ирода,— начинает Саня,— жена Иродиада, а дочь Иродиадина. Одна другой старше на тринадцать лет. Одной тринадцать, а другой двадцать шесть...

— Рано начинали,— вставляет Гера.

— На юге всегда так,— говорит Мурат,— у нас...

— Молчи, Самарканд,— говорит Саня,— не про вас сказ. Живут они, царь Ирод и его бабы, во дворце, все чего надо, одного снегу нету, а так все. Но ведь всегда мало, особенно бабам, им того надо, что у другого есть.

— А чего у нее нету? — спрашивает Мурат.

— У нее то есть, чего у тебя нету... Живут они во дворце, а в пустыне поселился отшельник святой жизни. Царь к нему за советом: начинать, к примеру, войну или не начинать? И другое разное. Нужный человек для государства. Выкопал отшельник нору, вроде как Матвей в Сибири, жует кузнечиков, запивает водичкой

из родника — хорошо, ничего же надо!.. Как не надо? Спроси у Матвея, надо ему или он так обходится?..

— Давай лучше про отшельника, — говорит Матвей.

— Я и рассказываю, а потом ты про себя — было похожее или нет?.. Мать с дочерью повадились к нему — у него то в наличности, чего во дворце, хоть и пища не на тридцать семь копеек, а не сыщешь. Мать утром, а дочка по ночам. Или наоборот, не в том история. Кто из них засветился — мать или дочка, или время спутали, столкнулись, история умалчивает. Короче, друг про дружку узнали. Матери куда деваться — старуха, у них к тридцати годам, считай, бабушка, а дочка бесится — старуху предпочел! Не понять, дурехе, отшельнику без разницы, налопался кузнечиков, кто ни залезет в нору, в темноте не видно. Ну, дочка думает, держись, Ваня! А тут пир во дворце у Ирода, гостей полна хата. Поели, выпили, закурили. Спляши, говорит царь дочке, если угодишь мне и гостям, что ни попросишь — твое. Сплясала. Они тогда не так плясали, не наши курочки, не шейк-брейк. Тринадцать лет стерве, а у нее все, что положено в натуре. Гляди, рванина, завидуй! Гости по потолку ходят. Всех зажгла. Царь сопли утирает, хоть и дочка, а ногами сучит. Что хочешь, говорит, все исполню! И гости кричат: «Заслужила!» Ну, говорит царь, надумала? А она и не думает стерва: дай, говорит, мне голову Ивана-Крестителя на блюде...

Я не выдерживаю, больше не могу — зарежьте меня!

— Что же ты несешь, сволочь! — кричу я, как во сне. — Художник, Сезан-Лентулов! Что у тебя в душе?.. И я уши развесил, поверил тебе! Если ты на такое способен, готов изгадить, чем только и спастись можешь, ты на все...

— Вадим, Вадим, — говорит Арий, — держи-ка язык...

— Не могу с вами! — кричу, — все равно куда...

— Ты что, Вадим? — Саня вылез к дубку. — Может, я чего спутал, но читал и... Картина есть, живопись...

— Что ты читал?! Что ты мелешь? Какая живопись? Скоты! Что с вами будет, если вы готовы...

— А с тобой? — у Матвея лицо строгое, глаза колючие. — С тобой что будет? Ты за себя думай. На кого кричишь?.. Каждый по себе судит и называет. Не о себе ли раскричался? Неужель ничего за жизнь не изгадил? Никого не обездолил?.. Тюрьма учит — никого нельзя судить. Он сделал. А ты?.. Из-за бабы, парень... Один за бабу другому глотку вырвет, а другой себя по-

губит. Когда на воле, ладно, с жиру бесятся, начудили. А когда в тюрьме?..

Я сбит с толку. Всегда виноват, когда не сдержисься.

— Да вот вам история, вчера, можно сказать,—говорит Матвей,—на больничке. Я десять дней косанул, давление у меня, очень мне в камеру не светило. Жрать нечего, подкормлюсь перед дорогой. А тут приходит... Да не приходит, приносят. Не фраер, три ли четыре ходки. Бывалый. Морячок. Инфаркт у него. За месяц до сего. Поташили с осужденки на этап, а его прихватило. В реанимацию—куда еще? Есть такая больница, я знаю, лежал. Отгородили пол коридора решеткой, поставили вертухая, врачи вольные и сестры—вольные. Не тюремные, короче. Кормят с больничного котла, вроде как санаторий. Само собой, от смены зависит: один власть показывает, другому—хоть водку трескай, с сестрами в жмурки. Можно лежать... Отвалился морячок в реанимации день-другой, поднимают наверх. Конвой гавкает: раздевайся догола, халат... А халаты без пуговиц, без завязок, до колена. Чтоб не ушел. А куда уйдешь—решетка, как в тюрьме, вертухай. Но—положено. А морячок уперся, не дам трусы снимать, издеваться над человеком нет у вас права. Когда начинаешь качать права, известно, с конвоем разговор короткий: хочешь трусы, наденем наручники. Надевайте! А у него инфаркт. Приходит врач с обходом, зав отделением, тюрьмы не нюхал, ему в новинку: крик, шум. Сняли наручники, с вертухаями провели беседу, чтоб помнили—не тюрьма, больница. Короче—послабление. Подфартило, сестрички спирт таскают—житуха! Наш морячок выбрал ночьку потемней, шлепнул с вертухаем банку спирта, а когда тот закемарил, трусы ему в пасть, связал, снял сапоги, штаны, гимнастерку, натянул на себя, ключ вытащил, дверь открыл—и ушел... Но это ладно. Ушел и ушел. Я бы не стал рассказывать. Невидаль. А он куда ушел—в тюрьму! Баба у него на больничке, вот я к чему. Старшая сестра: Зверюга, говорят, кумовская блядь, морячок с ней давно, у них из-за того с кумом война—кто кого, вся тюрьма знает... Пришел морячок ночью на вахту, открыли ему, а он повалился...

— Когда? — спрашиваю.

— Чего когда?.. Притащили к нам в камеру, глаза открыл: где, мол, я. Объяснили. Попросил покурить, рассказал откуда-чего—и опять поплыл. Меня утром

сюда вытащили, он еще не оклемался. Вот тебе баба, а вот...

— А фамилию не знаешь? — спрашиваю.

— Морячка? Как же, там был мужик, знает. Он и на больничке лежал сколько-то месяцев назад, там они со старшей сестрой и снюхались. Бедарев фамилия.

11

Мы гуляем вшестером во дворике на крыше. Вывели перед обедом. Своя хитрость: положено час прогулки, а через пятнадцать минут откроют: «Обедать будете? Тогда пошли...»

Сегодня нам повезло — лучший дворик на крыше, за семь месяцев только два раза сподобился побывать. Дворики — узкие, мрачные, клетушки, а этот — просторный, квадратный, но главное, со скамейкой: сядешь, закуришь, небо над тобой... Два раза счастливилось, кто-то сказал, сюда инвалида заводят, без ноги, его камера каждый день здесь гуляет.

Солнце над трубой, ни облачка, август — жара; мужики поскидали рубахи. Мы с Арием и Герой на скамейке, Матвей у стены, на корточках, Мурат посреди дворика, глядит в небо; Саня, как лошадь по кругу, а потом разбежится — и ногами в стену.

— За что ты ее, Саня, пожалел бы? Не ноги, так стену... — говорит Арий.

— Не-на-вижу! Если каждый день в одно место, развалится.

— Силен черт, да воли нет, — комментирует Матвей.

Скоро месяц, как я закрыл дело, адвокат говорил, через неделю-десять дней принесут обвинительное заключение, а там и суд. Не торопятся — или что изменилось? Подождем, срок идет, умные люди говорят, летом тяжело на этапе, сентябрь-октябрь самая пора — не жарко и к зиме успею осмотреться на зоне. Все, вроде бы, удачно.

И я прикидываю: так же хорошо и на зоне будет. Нет скамейки — завалинка, бревно, пень; солнца-неба не отнимут, и не двадцать минут, как здесь, все время, когда не на работе и не сплю — мое. Сиди себе, гляди в небо... Или не знаю, разве все расскажут — вон как сказано: «В лагере будет хуже». Хуже-не хуже, вышел же тот, кто сказал, кабы не вышел, не написал бы и мы не узнали. Так и я выйду. Как Бог решит.

— А у нас сейчас... звенит,— Мурат все еще стоит топольком посреди дворика.— Небо звенит, ручей звенит, дыня наливаается, звенит...

— Ишаки у вас звенят,— говорит Гера,— известно чего дожидаются.

— А ты добирался до Самарканда? — спрашиваю Матвея.

— Бывал. Но... Я на север подамся. Меня, как ты говоришь... сиротство лучше греет.

— Приезжайте ко мне! — говорит Мурат,— всех приму! Барана зарежем, вина — сколько выпьем! Чего хочешь...

— Отца обрадуем,— говорю,— увидит, кого пригласил...

— Моим друзьям отец всегда рад, у нас не спрашивают — кто, откуда.

— А кто мы — откуда? — говорит Саня.

— Увидишь отца, успокой,— говорит Арий,— никогда мы к нему не свалимся. Один пойдет на север, другого повезут на восток, третий тут останется, собственное говно хлебать, а мы с писателем... У нас в другой стороне дело.

— Это где ж? — спрашиваю.

— А разве мы не договорились?

— Встретимся...— Матвей сидит на корточках, привалился к стене, подставил лицо солнцу, улыбается чему-то, что один он видит.— Человек с человеком обязательно встречаются.

Ничего я о них не знаю, не понял. Но кем бы я был, что бы знал о жизни, когда б пронесла она меня мимо? Мимо каждого из них и всех их вместе. Мимо камеры — одной, другой, пятой, мимо дворика — того и этого?

— Слышь, Вадим,— говорит Мурат,— что такое... плюсквам... перфектум?

— Давно прошедшее,— говорит Арий,— кто ж тебя учил или баранами платили за твой немецкий?

— Смотри, что тут написано...— говорит Мурат.

Он и Саня стоят у черной двери, читают надписи.

Я подхожу к ним. Вся дверь густо исписана — шариками, изрезана ложками, стеклом. Раньше я не пропускал ни одной двери, читал. Потом надоело.

«Подгони табачку пухнем! Молчун». «Кто здесь из Андижана?» «Гвоздя кинули на общак.» «Прокурор запросил семерик! Буду ждать на осужденке. Голован»...

сюда вытащили, он еще не оклемался. Вот тебе баба, а вот...

— А фамилию не знаешь? — спрашиваю.

— Морячка? Как же, там был мужик, знает. Он и на больничке лежал сколько-то месяцев назад, там они со старшей сестрой и снюхались. Бедарев фамилия.

11

Мы гуляем вшестером во дворике на крыше. Вывели перед обедом. Своя хитрость: положено час прогулки, а через пятнадцать минут откроют: «Обедать будете? Тогда пошли...»

Сегодня нам повезло — лучший дворик на крыше, за семь месяцев только два раза сподобился побывать. Дворики — узкие, мрачные, клетушки, а этот — просторный, квадратный, но главное, со скамейкой: сядешь, закуришь, небо над тобой... Два раза счастливилось, кто-то сказал, сюда инвалида заводят, без ноги, его камера каждый день здесь гуляет.

Солнце над трубой, ни облачка, август — жара; мужики поскидали рубахи. Мы с Арием и Герой на скамейке, Матвей у стены, на корточках, Мурат посреди дворика, глядит в небо; Саня, как лошадь по кругу, а потом разбежится — и ногами в стену.

— За что ты ее, Саня, пожалел бы? Не ноги, так стену... — говорит Арий.

— Не-на-вижу! Если каждый день в одно место, развалится.

— Силен черт, да воли нет, — комментирует Матвей.

Скоро месяц, как я закрыл дело, адвокат говорил, через неделю-десять дней принесут обвинительное заключение, а там и суд. Не торопятся — или что изменилось? Подождем, срок идет, умные люди говорят, летом тяжело на этапе, сентябрь-октябрь самая пора — не жарко и к зиме успею осмотреться на зоне. Все, вроде бы, удачно.

И я прикидываю: так же хорошо и на зоне будет. Нет скамейки — завалинка, бревно, пень; солнца-неба не отнимут, и не двадцать минут, как здесь, все время, когда не на работе и не сплю — мое. Сиди себе, гляди в небо... Или не знаю, разве все расскажут — вон как сказано: «В лагере будет хуже». Хуже-не хуже, вышел же тот, кто сказал, кабы не вышел, не написал бы и мы не узнали. Так и я выйду. Как Бог решит.

— А у нас сейчас... звенит,— Мурат все еще стоит топольком посреди дворика.— Небо звенит, ручей звенит, дыня наливается, звенит...

— Ишаки у вас звенят,— говорит Гера,— известно чего дожидаются.

— А ты добирался до Самарканда? — спрашиваю Матвея.

— Бывал. Но... Я на север подамся. Меня, как ты говоришь... сиротство лучше греет.

— Приезжайте ко мне! — говорит Мурат,— всех приму! Барана зарежем, вина — сколько выпьем! Чего хочешь...

— Отца обрадуем,— говорю,— увидит, кого пригласил...

— Моим друзьям отец всегда рад, у нас не спрашивают — кто, откуда.

— А кто мы — откуда? — говорит Саня.

— Увидишь отца, успокой,— говорит Арий,— никогда мы к нему не свалимся. Один пойдет на север, другого повезут на восток, третий тут останется, собственное говно хлебать, а мы с писателем... У нас в другой стороне дело.

— Это где ж? — спрашиваю.

— А разве мы не договорились?

— Встретимся...— Матвей сидит на корточках, привалился к стене, подставил лицо солнцу, улыбается чему-то, что один он видит.— Человек с человеком обязательно встречаются.

Ничего я о них не знаю, не понял. Но кем бы я был, что бы знал о жизни, когда б пронесла она меня мимо? Мимо каждого из них и всех их вместе. Мимо камеры — одной, другой, пятой, мимо дворика — того и этого?

— Слышь, Вадим,— говорит Мурат,— что такое... плюсквам... перфектум?

— Давно прошедшее,— говорит Арий,— кто ж тебя учил или баранами платили за твой немецкий?

— Смотри, что тут написано...— говорит Мурат.

Он и Саня стоят у черной двери, читают надписи.

Я подхожу к ним. Вся дверь густо исписана — шариками, изрезана ложками, стеклом. Раньше я не пропускал ни одной двери, читал. Потом надоело.

«Подгони табачку пухнем! Молчун». «Кто здесь из Андижана?» «Гвоздя кинули на общак.» «Прокурор запросил семерик! Буду ждать на осужденке. Голован»...

Эта надпись на самом верху. Коричневым фломастером. Почерк быстрый, так и передается отчаянная нервность: «Плюсквамперфектум!..» — кричит фломастер и меня охватывает странное чувство, будто слышу голос...

Я оборачиваюсь на дворик. Арий сидит на скамейке, не двинулся. Матвей поднялся, с трудом разгибается, засиделся, медленно идет к нам. Гера уже у двери.

«Плюсквамперфектум! — читаю я кричащий коричневый фломастер. — Б. Б. — кум, сука! Под тебя сидит, под тебя! Берегись его. Прости за все и помни обо мне. Вспоминай!»...

— Кто такой Б. Б.? — говорит Гера.

— Написано, — говорит Саня. — Не видишь? Кум, сука.

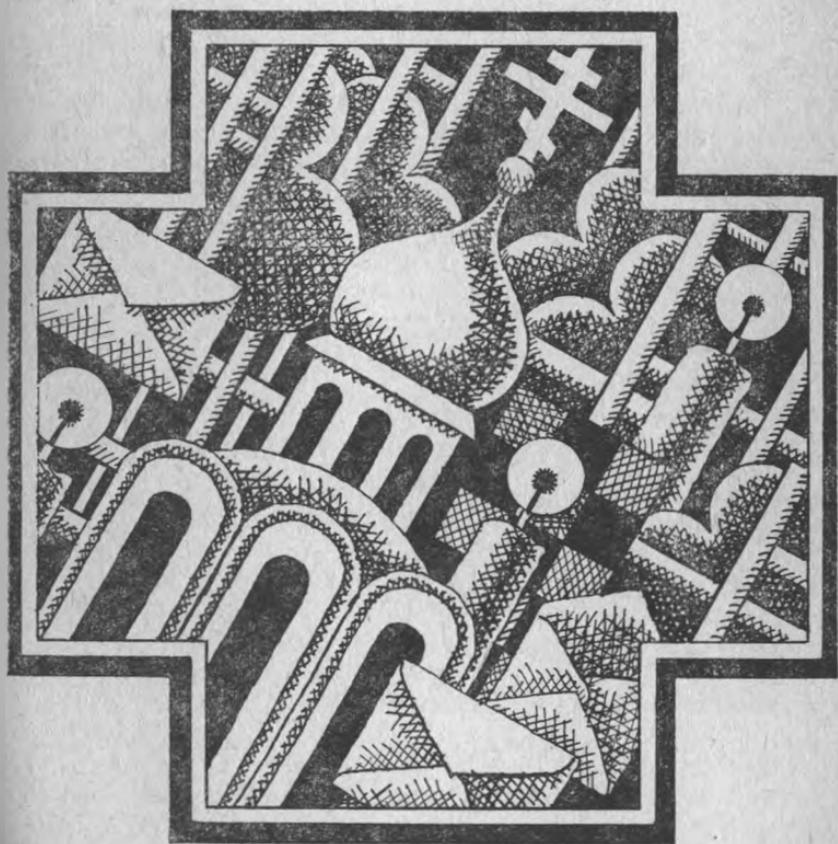
— А Плюсквамперфектум? — говорит Мурат.

— Широко человек, сказал один великий писатель, — говорю я.

— Как «широко» — не понял? — слышу я Ария.

Он сидит на скамейке, глядит на меня. И у Матвея глаза внимательные, острые.

— Так и понимаете, — говорю я, — в прямом смысле. Человек широко, а ворота узкие. Не пролезть.



Те же коридоры, туннели, повороты, черные глухие двери... Неужто явь, реальность? А духота, сырость, смрад — не реальность? Пора бы привыкнуть. Что изменилось на сей раз — сознание, бытие? Не в том дело, смешная подробность, разве эски о том думают, а я заклинился — куда мне! И все о чем бы сейчас надо, чтоб собраться, не проколоться в первую минуту, не попасть впросак... Я не о том думаю, что меня ждет, даже не о том, что мне приготовили, уготовано — на себе заторчал, на кого я похож, вот что меня заботит! На мне серый халат, без пуговиц, без завязок, до колен, один карман оборван, в другой я засунул руку, придерживаю расходящиеся полы; под халатом застиранные, обесцветившиеся трусы без резинки, на веревочке, выношенная, продранная майка, на голых ногах сапоги. Единственная моя вещь! Вид, мягко скажем, потешный, надо думать, диковатый. Вот я о чем, а коридоры, туннели, повороты... В таком виде только в психушку, думаю... Нету в тюрьме психушки. В больничку меня, в ту самую, о которой столько наслышан, недавно ляпнул, не подумав, везде, мол, побывал, а там меня не было. Вот тебе, пожалуйста, захотел — получил.

— Послушай, Федя, а почему на больничку, я не просился?

— Мозгом пошевели, сообразишь. Учат тебя, учат...

— Ежели для прохождения курса...

— Кончилась твоя наука.

— Жалко, вызвала бы следачка, я бы к ней в халате.

— Она повидала, будь спокоен.

— Так и ходят?

— А что такого?

— Ты б на нее поглядел.

— Еще не такую увидишь, — Федя не оборачивается, — успеешь.

Стало быть, и это у меня будет. Сколько я наслушался, сколько возвращали меня к «сюжету» больнички, так и эдак поворачивался, раскручивался, а сейчас аукнулось, станет реальностью. Случайность, совпадение? Нет в тюрьме случайностей — вот в чем наука.

Быть не может. А что есть?

Федя вперевалочку впереди, гремит ключами о железные двери. Он-то зачем, который уже раз, в самые узловые моменты... Шутка? Понять бы, чья? Все случайности — шутки, думаю, одни добрые, другие — злые, но — шутки, ухмылки. Герман, тройка-семерка-туз — разве не шутка, какой тут глубокий смысл? *Dame de pique*, — сказал бы мой ученый адвокат. Неужели они теперь все такие? Вымирающая профессия, думаю, сушь племя, ретро, кушать подано...

— Заходи, — Федя открывает дверь с лестницы.

Линолеум. Похоже на районную поликлинику. Почтище. Не в грязных калошах заводят пациентов, в тапочках или, как меня, в сапогах из собственного мешка... Открытые, закрытые белые двери — свобода!.. Ага, вон и черные, с глазком, с кормушкой — камеры!

— Постой-ка пока здесь, — говорит мой давнишний Вергилий и скрывается за белой дверью.

Почему мне... радостно? — думаю. Или я излечился, наконец, от старой моей беды — страха перед всем новым, неожиданным, так или иначе, но ломающим жизнь? Всегда любил хронику, какая бы ни была жизнь — хорошая, плохая, а моя, привычная. Так и здесь: пусть тяжело в камере, сил больше нету, а знаю — новая будет хуже... Чем хуже? Да ничем, одно и то же, а начинать сначала, пока еще свыкнешься. Почему же теперь радуюсь? Или хитрю с собой, на больничке полегче, наслышался: белый хлеб, молоко-мясо, простыни... Больничка — не тюрьма, что-то другое, человеческое... Человеческое ли? Поглядим, не я выбирал, за меня решили, своей волей ни за что б не шагнул из камеры — повели.

И когда из камеры выводили, будто кто сказал мне — куда, ни тени сожаления. А ведь привык, сжился: Арий, Саня, Мурат-Гера, да и Матвей — персонаж, не забудешь. А уходил легко. Или верно, излечился от старой хвори?

«Куда ты меня на сей раз, а, Федя?»

«Куда-куда, не скумекаешь?.. На больничку.»

«Да ты что! На больничку попасть, носом землю роют?»

«За тебя вырыли.»

«Как понять, Федя?»...

Спустил вниз, на сборку — и в отстойник.

«На пять минут, — говорит, — перетопчешься.»

Пяти минут мне хватило, нагляделся.

Пожилые мужики, усталые — выработанные. Как лошади, их только на бойню, да и дойдут ли своими ногами? Я не сразу врубился — кто такие? Гляжу, на одром зимняя шапка с полосой, на другом телогрейка тигровая... Полосатые!

«На особняк, мужики?» — спрашиваю.

«Ну. А ты куда?»

«Сам не знаю. Вроде, на больничку.»

«Что за статья?»

Объясняю.

«Что ж тебя к нам? Такого не бывает.»

«На пять минут, сказано.»

«Эвона, пять минут! Мыло у тебя есть?»

«Есть.»

«Давай ребятам, нам все сгодится, посылок не будет.»

Полез в мешок, достал мыло.

«А теплое есть что?»

«А что тебе?»

«Да нам все надо! Лишним не будет...»

Вытащил теплые подштанники, рубаху...

«Вы не из двести восемнадцатой?» — спрашиваю.

«Месяц назад оттуда.»

«Ария знали?»

«А ты его видал?»

«Сейчас от него. На спелу, на пятом этаже...»

«Слышь, ребята, живой Арий! Как он там?..»

Рассказал.

«Отдайте рубаху, — говорит один, — самому сгодится.»

«Не надо, подгонят. Еще суда не было, пока уйду...»

И тут Федя открыл дверь...

«Держитесь, мужики!..»

Эх, как их перекрутила ржавая мясорубка!..

Мимо по больничному коридору шествуют чучела-не чучела, смех да и только — да ведь и я такой же! Халаты без завязок-пуговиц, голые ноги; веселые, горластые...

Федя уже рядом со мной.

— Ты вот что... Тут тебе не гоже стоять. Пока определяют, посиди-ка ты...

Открыл черную дверь.

— Заходи.

— А в чем проблема, Федя?

— Хату подбирают. Посолидней, посмирней — сечешь?

— С самого утра, как тебя увидел, ничего не пойму.

— Подкормить тебя надо, дура! Шевели мозгом...

— Кто ж подбирает?

Он закрыл дверь, а я стою, двинуться боюсь.

Камера небольшая... Палата! Свет потушен, а светло! Нет «ресничек» — решетка, намордник не доходит до краев, солнце брызжет в зазоры; одноэтажные шконки — кровати! Против чистенького сортира непонятное сооружение: высокий столик, а над ним...

И тут я понимаю куда он меня запихнул. Над столиком кукла — целулоидная, ярко оранжевая, раскорячила пухлые ножки, растопырила ручки, покачивается на веревочке... «Мамочки»!... Вон я у кого в гостях!..

Дверь открывается. Федя.

— Курить нету? — спрашивает.

— Откуда? Мало меня учили, как завел к фельдшернице, все отобрала, голым пустила...

— Держи, — протягивает мятую пачку «дымка», четыре-пять сигареток. — И спичек нет?.. Покури у окна. Жди...

У фельдшерницы я оказался полным лохом, а сколько наслушался, учили, предупреждали... Все, говорит, снимай, вот тебе трусы, майка, чтоб своего — ничего. Тапочки оставь. У меня нету. Тогда в сапогах. Мыло возьми. А штаны — как же я пойду? Так и пойдешь, молча. И чтоб табаку — ни крошки. Найдут сигарету — в карцер... И снова я упустил карцер.

В такой бы камере, думаю, оттянуть три года. Годи́к, пусть месяц — да хоть бы три дня!

Подхожу к окну. В зазоре между стеной и намордником — двор... Дерево! Зеленое, разлапистое, шумит — воздух, ветер, запахло травой, листьями! После смрада, потного отстойника, в котором сейчас ждут этапа мои полосатые братья...

Ветер швырнул раму, зазвенели стекла враз потемнело, загремело — и хлынуло потоком. Гроза, дождь! Стучит в намордник, заливает подоконник, высунулся к самой решке, ловлю губами, открытой под халатом грудью... Господи — за что?.. Благодарю Тебя, Господи!

— Дождался! Поговорить с человеком!.. Погово-

рить! Наговорился с ворьем, хапугами, бандитами... Ты не подумай, парень, я и сам такой — вор, хапуга, но я — человек. Ты, вижу, можешь понять.

— За что ж ты Осю-то Морозова, Андрей Николаич? Или он не человек?

— Человек. И ты, Зураб, мы с тобой оба люди. А за что мы сидим, ответь? За дело! А теперь об этом парне сообрази? Человек о Боге заговорил, о нас сирых-убогих вспомнил, о нашем житье-бытье. А его куда? За решетку! Кто виноват? Не мы с тобой, не Ося-добрая душа-два уха и оба глухие? Спишут с нас, забудут? Нет, малый, нам и его повесят, не отмажешься. Мы за него виноваты, наша власть, народная. Голосуем — поддерживаем, не голосуем, тоже поддерживаем. Или ты против голосовал? Мало того, мы эту поганую власть и тем поддерживаем, что обворовываем! Считаем законной! Кабы не законная, разве я б у нее воровал?

— Экий вы парадоксалист, Андрей Николаич,— говорю я.

— А что — не верно? Или думаешь, у меня — да у кого ни возьми, последним надо быть! — поднялась бы рука на того, кто вне ихнего жлобского закона? Да не в жизнь! Сам бы придавил, если б кто, скажем, в церковь залез или в твоих, к примеру, рукописях стал копать. А из ихнего кармана, который они законно народным добром набивают — чего не взять? Свое?..

Тоже персонаж, думаю. Лицо бледное, отечное. Ноги, как бревна, он их руками со шконки на пол, с полу — на шконку, а внутри клокочет..

— Давай, Андрей Николаич, открой свою программу переустройства нашего свободного общества в еще более лучшее,— подзуживает Зураб.

Зураб — здоровенный татарин, страховидный, бритая голова, лопухий с приплюснутым носом, веселые глазки посверкивают.

— Могу и программу... Но разве они хоть кого послушают? Если б и рай пообещал, им не надо. Себе соорудили. Семьдесят лет погуляли, еще семьдесят на нашей шее продержатся.

— Кто из них семьдесят лет продержался? — урезонивает его Зураб,— их что ни год шлепали, едва ли в рай, им другая зона...

— Пожалел! — кричит Андрей Николаевич.— Не зря тебе в детстве кричали: «свиное ухо!» Нет для них на земле места! Разве в том дело, что хапают, пусть бы,

я сам своего не упущу. Но что они с нами сделали, ты подумай! Слышь... Вадим тебя?.. Я никак в толк не возьму — шестьдесят лет прожил, вроде, соображаю, а ихнюю логику не пойму. Ни логики, ни здравого смысла! Все себе во вред. Да черта мне в том, что им — стране во вред! Кто они такие?

— А кто мы такие? — говорю. — Это не я, мой сокамерник спросил. Убийца, родную мать зарезал.

— Вот! — кричит Андрей Николаевич. — Я о том самом — кто мы все такие? Россия... Двести пятьдесят миллионов, пусть не одни русские, кого только нету — кто мы?

— Мудаки, — говорит Зураб. — Мы и дома мудаки, и на работе, и... Кому не лень, все помыкают. Мы с тобой, Николаич, и своровать не смогли, сели. Да разве мы воры? Зря лезешь в чужую компанию, не твоя масть. Сто семьдесят третья — не воровство.

— Ладно, Зураб, мы не в суде, не у следователя, я не про уголовный кодекс.

— Нет, погоди, — и Зураб завелся, — я тоже не хочу перед новым человеком дураком оказаться...

— Дураком, не хочешь, а мудаком согласен?

— Я тут пересекся в одной камере с начальником управления торговли, продуктовый главк, — говорит Зураб. — Ба-альшая фигура! Жалко, говорит, не успел наладить дело, посадили... А какое, мол, дело, если не секрет? Перевести, говорит, торговлю на автоматы, договорились с фирмачами на западе, завезем автоматы — и воровать не будут. Будто сам он сел за то, что обвешивал! Дурак ты, говорю ему, хоть и начальник главка, твои автоматы в любом магазине в первый же день так подтянут, не расплатишься, вот когда тебе будет срок — шлепнут! Разве тут автоматами выправишь?

— А чем? — спрашиваю я.

— Вот я о чем! — Андрей Николаевич сбрасывает ноги со шконки. — Они теперь... Слушаешь радио, читаешь газеты?.. Кроят и кроят, залатывают. Гласность у них начинается, счета сводят. Что из того выйдет, кроме тришкиного кафтана?.. Ты правда в Бога веришь?

— Верую, — говорю.

— Вот тебе, Ося, и разговор! — кричит Андрей Николаевич. — Вот в чем сила!

— Что за сила? — Ося небольшого росточка, седоватый, добрые глаза, аккуратненький... — Я четыре года

оттопал, до Волги добежал, потом до Праги прополз, проехал, а Бога не видел. Чертей встречал, а Бога?.. Нет, не пришлось.

— Видал?! — кричит Андрей Николаевич, говорить спокойно не может. — Еврей и Бога не знает? Ветеран недорезанный! Ветхий завет кто нам оставил? Кто псалмы написал? Мать Божия из каких будет? А он, кроме чертей, никого знать не знает!

— Понесло, — говорит Зураб, — теперь его не оставишь.

— Ты послушай, Вадим! — кричит Андрей Николаевич. — Каково мне в этой камере? Полгода тут! Ну была б синагога-мечеть, я бы весь срок оттянул, ума бы набрался, о Боге поговорить — хоть с мусульманином, хоть с евреем? О Боге! А с этими советскими недоумками — о чем? Какая разница, что один ловчила, с ним на узкой дорожке не встречайся, а другой — мухи не обидит? Зачем они мне?.. Слава Тебе, Господи, православного кинули.

— А наш говорун тебе не подходит, — говорит Ося, — из русских-перерусский?

— Его мне в первый день хватило, — говорит Андрей Николаевич, — только и передыхаю, когда выдергивают, спасибо, часто. Поговорить, пока нету...

— Кто такой? — спрашиваю.

— Увидишь. Темная вода. Не зря кинули. Что-то у него стряслось за корпусе, отмокает... Погоди, не про то разговор, мне успеть, помешает... Кто мы такие, спрашиваешь? Что с нами сделали?.. Я тебе вот что скажу...

Что ж они мне за хату подобрали, думаю, а ведь долго подбирали, часа два проторчал у залитого звонким дождем подоконника, в «мамочкиной» камере с целулоидной куклой... Выдали одеяло, две простыни, подушку с наволочкой... Тоже белые стены, светло, чисто, одноэтажные шконки, два окна с намордником без ресничек. Три человека, я четвертый, пятый на вызове... Подбирают, чтоб посолидней, сказал Федя, посмирней... Да кто бы они ни были! Отлежусь, отмокну, еще кормить будут! Хотя бы ужин... А этот говорит, говорит...

— ...ни логики, ни здравого смысла! А откуда ей встаться, ты подумай, Ося, покрути еврейской башкой? Чертей он видел! А кого ты еще мог увидеть?.. Умом не поймешь, требуется другой инструмент. На брюхе он прополз до Волги... Разве поймешь — брюхом? Не-ет!

Метет, свистит, воет, в глазах песок — и это от Невы до Камчатки, и это семьдесят лет! Разве тут логика? Ты подумай, Вадим, я тут полгода и ты полгода — живут люди! Видал их, живые?

— В каждой камере видел.

— Вот! А здесь гуще, свирелей, не будешь держаться за шконку — сорвет. Но и здесь — люди. Больные, покарженные, себя предали, душу, совесть, все продали... Кто они, спрашиваешь? Кто — мы? Воры, убийцы... Но если и они, если и мы — люди, если и тут — живые, что ж их и там нет? На воле? Есть! От Невы до Камчатки — посчитай!.. Им надо шаг сделать.. Трудно, что говорить, но... последний шаг — понимаешь? Не сделаем — пропадем. Остановиться надо, куда мы все зашли подумать, не туда шагнем — пропали, никто, ничто не вытянет. Голову поднять и... Ты понимаешь меня, Вадим?

— Понимаю, я тебе рад, Андрей Николаич! Спасибо.

— Неужели только чертей, а Бога не услышим? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится — что ж, не гремит — мало?.. Вот Он рядом, протяни...

Он задыхается, хрипит, Зураб бросается к нему, поднимает, укладывает ноги-бревна на шконку, Андрей Николаевич валится на подушку, на губах пена...

Дверь открывается...

Шмаков?.. Коля?!

— Вадим?! Ну, чертяка! Встретились! Я знал, не может быть, чтоб не повидались!.. Отощал... Подкормим! Верно, братва?.. Везут ужин. Рисовая каша с молоком, компота у меня две шленки. Давно не хлебал?.. Ты что, Вадим?..

2

Мне хорошо и радостно. Я не просто счастлив — смущен. За что мне? А ни за что, никто не стбит такого. Разве такое заслужишь, разве хоть что-то равно-велико обрушившейся на меня сокрушающей полноте счастья?

Я сижу за широким столом, накрытым скатертью, на нем только подсвечник с тремя горящими свечами, но я понимаю, это трапеза. Нас двое. В торце — священник. Я не видел его прежде! Но я его знаю. Не старый, бородатый, спокойное, доброе лицо. Молчит. Но у

меня четкое ощущение разговора, беседы — спокойной, полной и я ею счастлив. И мы оба счастливы...

Перед священником чаша... Потир! Накрыт покровом.

Почему мы сидим? — думаю я. Что означает эта радость?.. Наверно, оттого, что знаем чем завершится наша беседа: он снимет плат с чаши... Оттого я счастлив, но и оттого смущен.

Мы вместе. Вот оно что! Полнота совместного, ни с чем несравнимого ожидания предстоящей трапезы. Потому мы молчим и оттого ощущение нескончаемой беседы.

Тень возникает за спиной священника. Сначала она — некое уплотнение воздуха, покачивается, потом медленно сдвинулась и ее очертание становится более отчетливым. Она выплывает из-за спины священника, колеблется, будто ничем и никак не прикреплена...

Туман, а в нем... Тень приближается или туман рассеивается. Она все четче, яснее. И такое странное ощущение крепнущей связи между возникшей тенью и тем, что происходит за столом. Тем, что теперь уже... не может произойти: тень разрушила предстоящую полноту, прервала беседу и то, что могло состояться, уже происходило, чем оба мы были счастливы, ждали его приближения в радостной молчаливой беседе...

Я узнаю ее. Колеблясь, не касаясь пола, она приближается, садится напротив. Нина. Подперла рукой щеку, глядит на меня... А я — на нее.

Чаша начинает медленно двигаться по столу, отплывает. Она уже у торца. Священник берет ее руками в нарукавницах, еще мгновение и они — священник и чаша, растворяются, их нет. И туман рассеивается. Стол пуст, только подсвечник с горящими свечами.

В отчаянии я поворачиваюсь к Нине. Теперь мы вдвоем. Я хочу что-то сказать и не могу открыть рта. Она глядит на меня, я вижу слезы в темных глазах... Темных?.. Через стол она протягивает руку и накрывает мою, лежащую на столе. Меня пронзает горькая до слез, щемящая нежность. Почему такая горькая? — успеваю подумать я. И успеваю ответить себе: потому что ушла полнота ни с чем несравнимого счастья и радости.

Я просыпаюсь в слезах и тихо лежу под простыней. Открывать глаз я не хочу. Сон стоит передо мной: в

дрожащем пламени свечей — стол, чайна, священник, Нина... Мне прощено? Нет. Ею, может быть, и прощено. Но это ее проблема.

Отсюда мне не уйти, внезапно понимаю я. 201-я статья, адвокат, предстоящий суд, этап, звезды над зоной... Миражи. Вязкая тина, путаница камер, разговоров, духота, смрад, глоток воздуха — и опять, и снова... Еще мало. Что я отдал, разве я хоть что-то заслужил?..

Сон открывает мне меня, вот в чем его смысл... Она улыбнулась, еще не проснувшись, нижняя припухшая губа по-детски чмокнула, блеснули зубы, дрогнули ресницы, она открыла глаза... Заплаканный младенец с яркими, с каждым мгновением проясняющимися глазами, вспоминаю я, душа, открытая Богу в прощении и любви к тому, кто виноват перед ней... «Не отчаивайся, Вадинька, я не сержусь на тебя — ничего не было...»

Не было? И я вспоминаю, о чем запрещал себе думать все эти месяцы — не так я о том вспоминал!.. Горбатую, со вздыбленной бурой шерстью крысу на заваленной влажной листвой дорожке перед пустой дачей, скрип ступеней под ногами, тень на стене над ее головой — темное пушистое облако, треск горящих поленьев, запах дымка и внезапную ярость к другому, низкое чувство ненависти, облеченное в благородное негодование. Его звали Жора, доцент из их института; она любила его, или ей казалось, что любит: красивый, веселый, умный, постарше; а она ничего не понимала. И у нее тогда ничего не было. И церкви еще не было. Только больная мать, не отпускавшая ни на шаг. Они приехали на дачу. Тоже была осень, также трещали дрова, пахло дымком. Она не могла остаться, ее ждала мать. А он ее не выпустил. А потом... Потом он оказался.. И когда б не церковь, если б она не нашла себя и в себе...

Дрова догорели, в доме было тепло, душновато, бутылку мы допили, рассказ она кончила. «Будь великодушным, Вадинька, ты знаешь, я не смогу тебе...»

Я был пьян и ничего не помнил. Не хотел помнить... Не помню? Я и сегодня тем счастлив!

К утру выстудило, забыли закрыть трубу. И мне так ясно вспоминается моя холодная ярость к тому, кто...

«Это был не я...» — сказал Гриша. Конечно, не я, а тот, кем я стал, позволив себе, впустив в себя ярость, зависть, злобу, а потому и оказавшись здесь, переходя из камеры в камеру, продолжал распалать себя, отда-

вая ему, другому собственный страх, ужас, и, всего лишь представив себе следующий логический шаг,— уже готовность спасти шкуру любой ценой, предать и продать; сводил счеты, представляя его в каждой из камер, и, находя его в себе в каждой своей ситуации, из себя извлекая, выстраивая сюжет жалкой писательской мести... Кому? Что было бы со мной, когда б Господь не помог мне?..

«Жора — это я», — говорю я себе и мне становится жарко под простыней. Пока я не выблюю его из себя, пока не спасу в себе, не покаюсь и перед ним за свою злобу и ненависть, пока не найду в себе силы его... полюбить.

3

Спать я уже не могу. Возникшее во сне ощущение, что я здесь надолго, становится все более прочным. Оно ни на чем не основано, логика отсутствует, но я уже привык доверять таким внезапным тюремным прозрениям. Они не обманывают.

Отсюда так легко не уйти, думаю я... Да не из больницы — из тюрьмы! Не будет суда, этапа, писем, звезд на черном небе над зоной... А что будет?

Хорошо бы задержаться в больничке, думаю я. Белые стены, чисто, ветерок в открытые окна... Коля Шмаков? В каждой камере свой Коля Шмаков, пора бы и на этот счет не дергаться. Почему я вчера не сказал ему всего, что о нем думал? Трусость или опыт? Но он что-то понял, замолчал. И я замолчал.

Чужая камера, слишком мало знаю, чтоб открываться.

Пожалуй, самый симпатичный здесь — Ося. Похрапывает рядом. Зубной техник, протезист... «Сапером был всю войну, — сказал мне Ося. — Думаешь, опасная профессия? Бывают переживания, не без того. Вот я и нашел потише, самую мирную — зубы вставлять. Покой, тишина, а я еще глухой. Но жить с каждым годом легче, веселей, кому нужны железные зубы, они хотят, чтоб открыл рот — солнце играло!.. Я и играю восьмой месяц из одной камеры в другую...» Такого только ленивый не обидит, сказал бы Пахом. Она подороже — беззащитность, уже в который раз думаю я, некий раритет по нашей волчьей жизни, но может быть, в ней и сила, которой следует учиться? Едва ли научишься. Такая сила или есть, или ее нет...

— Не спишь, Вадим?

Коля. И он не спит. Мы с 'ним через' проход.

— Проснулся,— говорю.

— Сколько ж ты ждешь суда?

— Второй месяц, тянут. И обвинительного до сего нет.

— Как бы тебе не присохнуть. Как 'мне. Я уже полтора года. И год жду суда.

— А право у них есть? — спрашиваю, как жогда-то, давным-давно, на сборке.

— За судом можно быть бесконечно. Пока не опухнешь. Я больше не могу, Вадим. Объявляю голодовку. До 'смерти.

— Не валяй дурака, Коля. Выкинут с больнички...

— Хрен с ними. Больше не могу! Это ГБ. И тебя они тормознули. Кум с ними заодно. Они его крутят, а он...

— Ты где был, Коля, сюда — откуда?

— С особняка.

— Из двести восемнадцатой?

— А как ты знаешь?

— К нам пришел Арий. Месяц назад. Рассказывал.

— Вон как. Понятно, почему ты со мной так. Никому не верь, Вадим, здесь нельзя никому...

— Мне не надо,— говорю,— я 'себе пытаюсь поверить.

Я стоял у окна, глядел на двор сквозь зазоры между намордником и стенами. Все лежали, ждали прогулку... Дверь широко распахнулась и в камеру вломилась... толпа... Иначе не скажешь... Впереди — коренастый, плотный, с круглым рожом лицом, полковник. За ним не по летам толстый, рыхлый, хлыщеватый, в кожаном пальто. А следом белые халаты, халаты...

Никто из моих сокамерников не поднялся!

Полковник прошелся вокруг дубка, стуча каблуками и круто остановился.

— У кого какие жалобы?.. Разберемся!.. Есть симулянты? На общак...— он махнул рукой.

Никто из лежавших не двинулся.

— Я начальник следственного изолятора,— сказал полковник.— Прокурор города по надзору,— он ткнул пальцем, за спину, где стоял кожаное пальто.— Какая у кого беда?

Андрей Николаевич сбросил ноги-бревна со шконки,

сел. Коля поднял голову. Зураб перевернулся на живот. Ося безмятежно читал книгу — ничего не слышит.

— А! Зашевелились?.. — сказал полковник. — Живые! Он хохотнул.

— Какая статья? — обратился он к Андрею Николаевичу.

— Сто семьдесят третья, — сказал Андрей Николаевич. — У меня к гражданину прокурору... Я уже полгода, болен, ходить не могу. Я ни в чем не виноват. Писал жалобы. Не отвечают, следовательно не приезжает. Видите ноги? Зачем меня держать? Отпустите под подписку, я докажу, оклеветали...

Прокурор чиркнул в блокноте. От окна я хорошо вижу: поставил закорючку.

— А вы? — спросил полковник Колю.

— Объявляю голодовку, — сказал Коля, — смертную.

— Напугал, — сказал полковник. — Псих, что ли?

— Год за судом, — сказал Коля, — буду жаловаться в ООН.

— Главный врач! — крикнул полковник. — Чем он болен?

Серая мышка в белом, не по росту жеванном халате шагнула вперед.

— Высокое давление. Пытаемся сбить, но...

— Разберемся. Сколько он лежит?

— Месяц.

— Что? Как... месяц?

— Видите ли... — начала мышка.

— Что у вас? — это вопрос Зурабу.

Лица Зураба я не вижу, только спину. Передо мной глаза полковника, они вздрагивают. Зураб готовится к психушке и уже демонстрировал мне свои ухмылки: толстые губы безобразно растягиваются, глаза рассредотачиваются, и без того страховидная рожа производит ужасающее впечатление.

— Ты... что? — сказал полковник.

— Голова...

— Вижу. Дальше что?

— Летит, отходит от тулова, поймай-ка.

— Была пятиминутка? — полковник повернулся к мышке.

— В следующий четверг, — сказала мышка.

— Наведем порядок... А этот... читатель?

Я дернул Осю за ногу, он бросил книгу, оглянул-

ся, вскочил со шконки, на голове прыгает седой хохолок.

— Статья, от чего лечат?

— Сто пятьдесят четвертая. Еще восемьдесят восьмая. Я ни в чем не... Желудок у меня...

— Же-е-лудок? Баржома не хватает?..— полковник махнул рукой.— На общак. Там враз вылечат. У нас не санаторий.

— Я хочу сказать, что мне...— начал Ося.

Полковник от него уже отвернулся.

— Ваша статья? — он смотрел на меня.

— Сто девяностая прим.

Полковник бегло глянул на прокурора.

— Как она... формулируется? — за все время прокурор первый раз открыл рот.

— Как?..— мне стало весело.— Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и...

— Да-да,— сказал прокурор,— конечно.

— Фамилия? — полковник шагнул, было, к двери.

— Полухин.

— Полухин?..— он круто повернулся.— Как же, как же!.. У вас вполне... приличный вид, Полухин, а ваша сестра... Была у меня, говорит, что вы...

— Как она? — перебил я.

— Кто?

— Сестра.

— Вам бы так, Полухин. С ней — все нормально.

— Благодарю,— сказал я.

Толпа вывалилась в коридор, дверь грохнула.

— Ну, шельма! — сказал Андрей Николаевич.— Видали заходы? «Кто жалуется — на общак!..» Н-да, разберутся...

— Это и есть Петерс? — спросил я.

— Собственной персоной. Редко кому такое счастье, чтоб самого... С тобой у него дружба, родственников знает?

— Зачем он приходил?

— Галочку поставить,— говорит Зураб.— Чтоб я на нем порепетировал. Осю — на общак. Большое дело сделал.

— Почему меня? — говорит Ося.— Только начали лечение?.. Первый раз я тут месяц отлежал, прошел курс, полегчало. А теперь пятый день, они и не начинали...

— Он тебе объяснил,— говорит Зураб,— не санаторий.

— А тебя, Шмаков? — говорит Андрей Николаевич. — Пожалуют? Голодовка! Будут наблюдать, как ты молоко-мясо станешь нам отдавать или ночью набивать брюхо?

— Мне чем хуже, тем лучше,— говорит Коля,— я этих сук навидался, они у меня покрутятся...

— Утихни,— говорит Андрей Николаевич,— давай побьемся на пачку сигарет? Сейчас тебя вызовут, голодовку ты не откроешь и здесь присохнешь, пока...

— Пока что? — говорит Коля.

— Пока писатель будет. Не так?

— Может, так, хоть поговорить с человеком.

— Ладно. Не моя печаль. Я зарекся лезть в чужие дела... Они не за тем приходили. Не поняли, умники?

— Да ни за чем они приходили,— говорит Зураб,— мимо шли. Или им на больничке спирту пообещали. Банку.

— Не-ет, Зураб, не сечешь. Тут другое. Жмурик. Вот они за чем пожаловали. За жмурика надо отвечать.

— Они причем? — говорит Зураб.— Его в больнице лечили. В вольной. Да никто ни за кого не...

Андрей Николаевич качает головой:

— Лечили там, а крикнул здесь. На них повесят.

— На ни-их?.. — говорит Зураб.— Ничего им не будет. Видал прокурора? Он и статью писателя не знал, в больничную палату вперся... Да хотя бы в камеру на больничке — в пальто! Его только в бане держать. Мойщиком. Будь спокоен, они не таких жмуриков списывали.

— А Ольгу Васильевну кто спишет? — говорит Андрей Николаевич.— Видал, как она сюда прибежала, как тут... Или думаешь, она простит куму такого жмурика?

— А почему я за нее должен думать? — говорит Зураб.— И Петерсу она зачем? Скажу тебе правду, Андрей Николаич, я накушался больнички. Сыт. И молока-мяса не надо. И... психушки не хочу. Поиграл — хватит. В камере чище. Хоть и на общаке. А здесь... Угробили человека.

— Чтоб из-за такой суки,— говорит Коля,— из-за такого жмурика такие заходы?.. И кум не станет руки пачкать — отработанное дерьмо.

— Эх,— говорит Зураб,— пошли, Ося, вместе, нам и

без ваших переживаний... Конечно, жалко мужика, по-мер, а всего сорок лет. Судьба такая. А кто из них кому... Нет, не хочу в больничке, посадили в тюрьму, и надо сидеть в тюрьме, не в богадельне. Хотя с тобой Андрей Николаич, я бы еще поговорил, и с Вадимом... Да и: Ося человек...

— Погодите,— говорю,— какой номер у этой хаты?

— Четыреста восьмой,— говорит Зураб,— не разглядел, как заводили? Самая-самая тут...

— Так вы... Борю Бедарева знаете?.. Коля! Помнишь Борю Бедарева?

— Я тебя предупреждал, Вадим,— говорит Коля,— или я не успел?.. Кумовская мразь...

Грохнула кормушка. Откинулась.

— Полухин! — женский голос.

Подхожу. Высунулся в коридор. Пухленькая мордашка. Накрашенные глазки. В форме. В руках раскрытый журнал. Листает.

— Полухин? Распишись, продление тебе.

— Какое продление?

— Генеральный продлил. На следствие, до... двадцать третьего декабря.

— Как... декабря — август на дворе?

— А так. Два месяца за судом и три за генеральным.. Расписывайся.

— Дай почитаю.

— Нечего читать... В журнале распишись.

— Пока не прочту — не будут расписываться.

— Да читай! Грамотный! Если каждый станет...

Бланк... Ничего не могу понять... Верно: «23 декабря...» Подпись: «Генеральный прокурор...»

Кормушка брякнула.

— Что такое, Вадим? — Коля Шмаков.

— До конца декабря. Продлили. Следствие.

— Я сказал тебе — тормознут! Ну, суки...

— Погоди...— говорю, а сам думаю: хорошо, я не один, на миру и смерть красна, не показать бы виду, такая тоска и сердце шлепнулось в желудок, стучит в неподходящем месте...— Продлили и продлили. Притормозимся... Это вы о Боре Бедареве говорили? Он... умер?

4

Первая моя процедура. За молоко-мясо здесь расплачиваются собственной шкурой. Курс уколов. Зачем

они мне? А, жалко, что ли! Хотя, мужики говорят, если месяц колют, сидеть не будешь, задница синяя. Тут не церемонятся.

Высокая, стройная, сверкающий халат, как натянутая перчатка, голубые глаза, длинные намазанные ресницы, лицо холодное, без улыбки. С такой не пошутить.

— Что ж вам, давление не мерили?

— Нет,— говорю.

— Садитесь.

Она без намордников, так светло, что и на решетку не обращаешь внимания, будто нету. Сколько оказывается света, воздуха, когда окна не загорожены!

— Отойдите от окна, сказано — садитесь!

— Лето,— говорю,— а я и забыл, что...

— Кто вам назначил?.. Ничего не пойму!.. Полухин?.. Вадим Полухин?..

Сажусь у столика со сверкающими инструментами. Она глядит на меня: широко раскрытые глаза наполняются слезами, она сморгнула, ресницы потекли, схватилась за грудь...

— Что с вами? — говорю.

Она стремительно поднимается, обходит меня, идет к двери. Щелкнул замок. Возвращается. Садится.

— Он умер, Полухин. Вы знаете... он... умер!

— Мне сказали. Вчера. В камере.

— Как же это, Полухин? Вы с ним... он мне говорил, говорил... Он...

— Это инфаркт, да?

— Зачем он ушел из больницы?! Еще бы неделю, десять дней!.. Он убил себя, когда встал и...

— Он пришел к вам, Ольга Васильевна, он хотел вас видеть, он верил только вам...

— Из-за меня! Все из-за меня!..

По лицу ползут синие полосы, она не вытирает глаз, губы опухли...

— Он вас очень любил, Ольга Васильевна, он рассказывал мне о... Уходите отсюда. Он не хотел, чтобы вы...

— Какие он писал письма, Полухин!

— Да,— говорю,— я знаю.

Лицо залито слезами, она по-бабьи всхлипывает:

— Радость моя,— шепчет она,— пишу тебе последний раз, нету у меня больше сил. Если мы не можем быть вместе, вдвоем, только вдвоем, я не могу жить. И не хочу жить... Он не хотел жить, Полухин!.. С са-

мого начала, когда я тебя увидел, когда я нашел тебя, а ты меня,— шепчет и шепчет она, глотая слезы,— я живу только тобой, я помню каждую встречу, твои губы, твои руки, я не могу... делить тебя, понимаешь? Не могу, не хочу и не буду. И жить больше не могу. Прости меня и не забывай обо мне. Тебе последнее дыхание и... и мысль последнюю мою... Что это, а, Полухин?

— Да,— говорю,— он вас очень...

— Я думала, он будет жить, я бы все смогла! Он был... Был! Такой сильный, такой...

— Уходите, Ольга Васильевна, это все, что вам теперь остается.

Смотрит на меня. Мне кажется, она только теперь меня увидела. Глаза высыхают... Да, можно поверить тому, что о ней рассказывали: если в руке у нее будет скальпель, она способна...

— Вы много знаете, Полухин, а я пока здесь.

Все это бред и литература, думаю. Но срок у меня катит и в том великое преимущество перед теми, для кого время ничего не значит. Мне каждый лишний час — подарок. Открытые окна, воздух, светлая комната, несчастная женщина с синими потеками на холодном красивом лице...

— Такое бывает не часто, Ольга Васильевна,— говорю,— то, что случилось с вами, большая редкость, не каждому посчастливится. Не забывайте о нем.

Еще какое-то мгновение она смотрит на меня. Потом встает и отпирает дверь.

— Я вас вызову...

5

Мы только вернулись с прогулки. Вдвоем гуляли, с Зурабом. Кипит в мужике кровь, все ему интересно, любопытно, веселый, остроумный, живой... Да и психушку сочинил себе, скорей, для развлечения, поиграть охота, силы попробовать — кто кого оставит в дураках... Неужели совсем не гонит? Откуда мне знать, думаю, разве поймешь человека за два-три дня?

Осю вытащили утром, с вещами. Коля вообще не гуляет. Может, болтают с Андреем Николаевичем?.. Едва ли, верней всего, так и лежат молча, пока мы не вернемся, откровенная вражда, антипатия. И не скрывают.

И прогулка сегодня меня смутила: дворик внизу,

уже не жарко, свежо, за стеной шумит на ветру вы-
соченный вольный клен, а назад оглянулся — спец-
корпус, безобразные слепые окна в ржавых ресничках.
Смотрел-смотрел, искал на пятом этаже мою камеру,
высчитывал, сбивался и вдруг дошло: она же не сюда
выходит, в другую сторону, в колодезь двора против об-
щача...

Коля вскочил со шконки, как только мы вошли:

— Мясом потянуло, слышать. Не видали, не везут?..

Дверь открылась. Федя. Рыжий.

— Полухин, — говорит, — давай на коридор.

Я стоял возле двери и подумать не успел, шагнул к
нему. Смотрит на меня внимательно.

— Отмок?

— Заберешь, что ли?

Он отпер соседнюю дверь — камеру «мамочек».

— Посиди-ка, тебе, вроде, понравилось.

Камеру так и не заселяли. Чисто, светло, прохлад-
но...

— Почитай пока, — говорит Федя, — а я зайду. До-
ждешься?.. Ну-ну.

Протянул исписанный листок. И закрыл дверь.
Ушел..

«Дорогой Вадим!.. — читаю я, где-то видел почерк,
не могу сразу вспомнить. — Не договорили, не успел!..»

Что это, — думаю, — зачем он мне дал?..

«...А ведь надо, надо! Написать всего не могу, не
умею я писать, нам бы с тобой на воле! Я все думаю,
думаю, не может быть, чтоб не выскочил, я всегда вы-
скакивал, всякое было, я тебе рассказывал. Ты пом-
нишь, Серый, как мы с тобой, когда ты пришел, когда
ты мне верил...»

Переворачиваю листок: с той стороны исписано до
половины, а подписи нет, на пол фразе оборвано... Да
это Боря! — понимаю я. Письмо от Бори Бедарева!

«...Ты помнишь, Серый, как мы с тобой, когда ты
пришел, когда ты мне верил, а потом замолчал. Я тебя
сам научил — никому нельзя верить, вот ты и мне не
стал. Правильно! Но разве я тебе чего сделал? Тебе не
сделал, перед тобой чист. И перед женой чист, все оста-
вил. И перед отцом и матерью. Неужели за меня никто
не скажет? Ты написал: отпусти нам, Господи, наши
оскорбления, кого я обидел, кто на меня тянет. А если
они на меня будут? Они меня простят? Сердце болит,
Серый, мне и писать больно, и косить нельзя, сразу об-

ратно на вольную больницу, зачем мне, а не косить, тогда на этап, а надо бы зацепиться, хотя бы день-другой, а неделю бы тормознуть, она меня вытащит, ты представь, Серый, вчера залетела, здесь еще четыре ханурика, я пятый, бросилась ко мне, а я глаза закрыл, так бы и лежал, ничего больше не надо. Как понять, Серый, баба нужна, чтоб, ну сам понимаешь зачем, жена нужна, чтоб дом был, а я лежу, она встала перед шконкой на колени, положила голову, у меня и так сердце болит, кричать охота, а мне, поверишь, ничего другого не надо, всегда бы так, и дышать не могу, больно, ее волосы у меня во рту, забились, пахнут они, Серый, цветами, полем. Ты говоришь, не простят, за все ответим, я бы заплатил. И знаешь, Вадим, даже сказать трудно, не поверишь, а я эту мразь пожалел, кума. Как это понять, Серый, он ее измучил, она в его власти, он гуляет над ней, если что не по нему, он со мной посчитается, а мне его жалко. Даже чудно стало. Понимаешь какое дело, она с ним не своей охотой, силком, ради меня, а так бы что он от нее имел, а ко мне бросилась, все забыла и себя позабыла, на колени встала, целует. Ты прости меня, Вадим, и за Пахома прости. Я тебе вот что хочу сказать, самое трудное, что никому не скажешь, только тебе, пусть мне и тут не светит, не выскочу, но если простят, если там...»

Дальше ничего не было. Я перевернул листок и начал сначала: «Дорогой Вадим! Не договорили, не успел! А ведь надо, надо! Писать не могу, не умею я писать...»

Я подошел к окну. Дерево, а перед ним залитый, асфальтом двор. Баландеры потащили тележку с баками, выплескиваются щи. Обеденный перерыв. Офицеры двинулись в столовую. Еще кто-то... Я гляжу и не вижу — чужое кино. Не для меня.

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго, представльшагося раба Твоего, брата нашего Бориса... — шепчу я, глядя на разлапистое дерево, шумящее листьями прямо против окна камеры.

— Благодарю Тебя, Господи, — шепчу я, — что через раба Твоего и брата нашего Сергия, Тобой ко мне в камеру всаженого, научил Ты меня недостойного молиться Тебе, что был бы я без помощи Твоей, постоянной и неусыпной...

— Помяни, Господи Боже наш, — шепчу я, — в вере и надежди живота вечнаго, представльшагося раба

Твоего, брата нашего Бориса, и яко благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, от всякия узы разреши и от всякия клятвы свободы, остави прегрешения ему, яже от юности, ведомая и неведомая, в деле и слове, и чисто исповеданная, или забвением или стыдом утаенная, избави его вечныя муки и огня геенскаго и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящим Тя, повели, да отпустится от уз плотских и греховных, и прими в мир душу раба Твоего сего Бориса, и покой ю в вечных обителях, со святыми Твоими...

Я не слышал, как открылась дверь, обернулся, когда Федя встал за моей спиной.

— Кимаришь? Покури,—он вытащил все тот же «дымок».

— Что ты со мной... Я понять не могу, Федя, почему ты возникаешь, когда...

— У меня работа такая,—сказал Федя.

— Что ж тогда прокололся, или обманул?.. «Кончилась наука», «подберут камеру», «подкормят»; «шевели мозгом»... А меня еще на полгода, а там... Что там?

— А то Бог не знает, что там с тобой будет. Что быть должно. Мало тебя еще катали, если спрашиваешь...

Мне от окна хорошо видно: глаза у него странные, помню первый раз поразили, бешеные были, зрачки вздрагивали, а сейчас спокойные, твердые — что-то знают, а что — не видно.

— Давай письмо,—говорит Федя.—Прочел?

— У меня нету.

— Съел, что ли?

— Ну.

— Я так и думал. Научили. У нас один говорил: если зайца долго бить, его можно научить зажигать спички. Научили!.. Держи спички, покури. Еще тебе десять минут.

Ушел! Закрыв дверь.

Я выглянул в окно. Гляжу и гляжу на дерево напротив. Шумит, уже листья желтеют. Во-он полетели... Осень.

— Укрепи мою веру, Господи,—шепчу я,—не оставь меня надеждой, подари мне любовь...

Что же это такое, думаю я — было все это или не было... Было. Конечно, было!.. Пахом, Ольга, Арий,

Гриша, Саня, Серега, Боря, Матвей... Нина... А еще Андрей Николаич, Зураб, Ося, Коля Шмаков... А Федя? А моя вина, моя беда, а все эти месяцы... А сколько их еще будет?

Не знаю. Я уже ничего не знаю. Тюрьма была. Это я знаю твердо. Была? А куда же она делась? Где я?

Более того, внезапно понимаю я, только она одна и была. Тюрьма.

*Усть-Кокса — Москва
1987—89.*

Я никак не мог начать эту книгу, хотя осознавал отчетливо, что это самая важная работа за всю мою чуть ли не сорокалетнюю профессиональную жизнь. Все, что мне удавалось написать прежде, так или иначе, подготавливали этот, по всей вероятности, мой последний роман. Впрочем, ощущение последней бывало у меня не однажды. Последней казалась мне самая первая моя свободная книга, начатая двадцать пять лет назад, через два-три года завершенная, прочитанная моими тогдашними друзьями, спрятанная еще на десять лет, потом выпущенная из рук и неожиданно опубликованная в Париже, когда сам я был в тюрьме («Опыт биографии»). Помнится, я даже формулировал в ней мысль о том, что это моя последняя литературная работа. Последней считал я и книгу, написанную перед самым арестом, оставалось ее еще раз перепечатать, но не успел, в таком первом черновом варианте она попала в чужие руки и вошла в мой приговор, как и была, без названия (не было его на арестованной копии). Следовател, когда мы в тюрьме закрывали дело, спросила меня с деланным протодушием: «А скажите, как все-таки называется этот ваш роман, что ж вам теперь, дело закончено?» Я удержался, не сказал, едва ли стоило изменять однажды взятому правилу — не отвечать на вопросы, да и не поверил я ее «наивному протодушию», были на то основания. Роман назывался «Последний день», а я про себя называл его «Последний роман», потому как долгое время, уже в тюрьме считал, что больше ни одной строки не напишу — хватит, мол, да и все сказано, а потому он и есть — последний. Но потом случилось нечто, и это решение во мне изменилось...

Внутренняя история «Последнего дня» для меня была на самом деле важной. Всю жизнь, с первых моих литературных опытов, я пытался написать сочинение, действие которого происходило бы в один день. Мне это было интересно, зачем-то нужно, хотя сейчас я понимаю, что едва ли четко отдавал себе отчет — зачем? Я пробовал в разных жанрах — в рассказах, пьесах, в одном, другом романе. Пьесы не удавались, действие первого романа уложилось, помнится, в семнадцать дней, второго — в три дня, следующего — в пять. В один день не выходило. А мне было важно, хотелось вместить в один день целую человеческую жизнь, второго не надо. Слова о том, что у Господа один день как тысяча лет, а тысяча лет, как один день, представлялись мне, когда я о них узнал, неким ключом к разгадке мучавшей меня тайны... А тут вышло: герой романа ранним утром просыпался, а вечером умирал. Более того, он был готов к тому, что этот день станет для него последним, или может стать последним: он подводил итоги, пытался выполнить какие-то обязательства, отдать долги, что-то доделать, решить в последний день, что не удавалось за всю жизнь — у него ничего не получалось. А поздним вечером он умер. Я написал эту книгу перед самым арестом — и мне было легко: я успел выполнить, что хотел. Наверно, достаточно, думал я.

Но потом случилось нечто и... Однажды новая книга — роман о тюрьме, мне открылся, да так язвительно, будто я и не сочинил его — да ведь и на самом деле не сочинял! — а просто мне его подарили, и я даже не толчок в сердце услышал, а кто-то на ухо прошептал: «Вот сн!» И я его увидел весь, с первой главы до последней. Было это в тюремной больничке, куда меня привели месяца через два после нашего «последнего» разговора со следовательшей, оставались мне в тюрьме еще долгие месяцы, и я, изумившись, понял, что для того, быть может, я и прожил всю мою жизнь, и кинулся книгу про себя даже не писать, а перечитывать, главу за главой, в несколько дней всю прочитал, а потом на прогулках, в тюремных двориках, когда счастливилось бывать одному, от стены к стене эти главы отчитывал снова и снова, чтобы не забыть.

Все было готово, оставалось записать. Но тут-то и начались сложности. Ссылка, в которой я оказался затем (после года уголовной тюрьмы, суда, длиннющего этапа через семь пересыльных тюрем, через всю страну, с «заездом» на север, а там на Урал и в Сибирь), со всей ее радостной, хотя и урезанной свободой, ссылка оказалась неожиданно, нежданно трудной. Я не только не подозревал об этом, но и долго не мог понять. Мне не хочется сейчас говорить подробно, очень я далеко и надолго отвлекусь, прошу поверить на слово — трудно. Дело все в том, что трудности и тяготы, они не во внешних утеснениях, а в нас самих, и когда утеснения внешне слабеют, тяготы не то чтоб отступают, напротив, обозначаются, вылезают углами, а при резком переходе к свободе могут и вовсе задавить человека. Ну, это я быстро понял (через несколько месяцев): Господь и здесь был ко мне особенно милостив, не вывел меня сразу, пожалел, зная мою слабость. Это как голодному, коли не удержится, кинется на богатую и жирную пищу — тут ему и конец. В ссылке переход постепенный и уродство урезанной свободы от многих несчастий удерживает. Но само уродство, постоянство урезанной свободы, постоянное ощущение (быть может, несколько преувеличенное, но ведь есть, есть!) постоянных за тобой глаз — мешает, сдерживает, начинает пугать. Это одна сторона, так сказать, техническая. Каждую написанную страницу ты должен прятать, а пряча, свою вину несомненно усугубляешь, но и оставить на столе невозможно! А дальше что? Как вывезти написанное на волю, можешь ли ты, есть ли у тебя право вешать на кого-то, другого, разумеется, близкого — а на близкого, значит, можно?.. То есть, все эти «технические» проблемы, десятилетия перед тобой, так или иначе, стоявшие, после тюрьмы воспринимаются более ответственно, а порой становятся непреодолимыми. А ведь рукописи горят, ты уже знаешь об этом, теперь не теоретически, не литературно, спалили ж несчастный черновой вариант «Последнего дня», так без названия и спалили! (То уж другое дело, что я, такую возможность предвидя, о том, заране озаботился.)

Но есть и проблемы внутренние, они более сложные. Ссылная жизнь расслабляет — воля, да такая, о которой ты прежде, в городской сутолоке не знал и слыхом не слышал:

горы, горные реки, оглушающая тишина, воздух, как пузырьки в стакане с нарзаном, да хоть целый день, всю ночь просиди на берегу реки, на горе — да где ты такое видел? — и это после смрадных камер, столыпинских клеток, собак и наручников! Да и пища не последнее дело: завари чаек, жарь мясо, пей молоко... И вот проходит месяц, другой, третий — и тебя уже не видать на берегу реки, на горе, ты лежишь на своей койке, перед окном торчит гора — летом зеленая, зимой в снегу, ночью жарит луна, днем полыхает голубое небо, туча зацепилась за макушку горы, а тебе ничего того не надо — ни воздуха, как стакан нарзана, ни обжигающей воды в горной реке, да и мясо, коли, чтоб его нажарить, достаточно протянуть руку — нужно ли оно? Даже твоя книга, твой роман, подаренный тебе чудом, а он гудит, говорит в тебе — да нужно ли его записывать, — кому, зачем? Писать, прятать, потом на чьи-то плечи, а там... Надо ли? А что надо?

Страшная пора. А день летит за днем, месяц за месяцем, только отгуляли Рождество, а там пост пролетел (без мяса!) и уже разговелись на Пасху. Летят дни, быстрее, чем в тюрьме... И вдруг опомнишься: что ж ты, и Бога не боишься, Он же тебя за чем-то вывел, одарил, а Он ревнив, пропустишь день, Ему надоест ждать. Страшно.

И еще один момент, тоже, так сказать, технический: форма — такая мука нашего брата профессионала. И хоть знаешь ты, долгий опыт научил, что не следует выбирать ее, вымучивать, что редкие твои удачи бывали когда ничего ты не выбирал, а сама мысль находила себе форму, но не любишь ты свои удачи, а дороги тебе именно поражения, вымученная вещь, придуманная форма, с которой так и не удалось тебе совладать. А вот ведь она и любя, дорога, как несчастный, больной ребенок. Лежишь на койке, накурился, дым в хате, как в той самой смрадной камере, и не глядел бы никогда в окно на опостылевшую волю, и все думаешь — так или эдак? А время летит, мелькают недели: может, досидеть сначала срок? Да можно б досидеть, лучше, разумней, проще. Можно б, когда б Бога не было, когда бы не знал ты, что у Него Свои сроки, что Он ревнив, есть Огонь поядающий: «Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас», — говорит Псалмопевец. Страшно власть в руки Бога Живаго.

Мне было страшно, я эту книгу написал (начал в ссылке, а закончил в Москве) и до сих пор не понять — нашел ли, так мучавшую меня форму, или она в романе сама себя нашла. Но это тот самый роман: однажды он мне открылся, мне его подарили и я просто не мог его не написать.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЮРЬМА. Роман	3
Глава первая. СБОРКА	9
Глава вторая. НА СПЕЦУ	43
Глава третья. ОБЩАК	145
Глава четвертая. БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК	271
Глава пятая. ЭПИЛОГ	403
ПОСЛЕСЛОВИЕ	427

Феликс Светов

«Т Ю Р Ь М А»

Роман

Сдано в набор 7.04.92. Подписано в печать 24.09.92.
Формат 84×108¹/₃₂. Объем 13,5 п. л. Тираж 50 000.
Гарнитура «Литературная». Заказ № 83.

Литературно-художественное агентство «ТОЗА»
Литературно-издательская фирма «Остров»

ПП «Чертановская типография» Мосгорпечать
113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО «ТОЗА»

предлагает организациям и частным лицам следующие книги по оптовым ценам:

1. Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки», признанное во всем мире гениальной поэмой в прозе второй половины XX века. Оформил книгу знаменитый русский художник Илья Кабаков. Объем — 8 п. л. Цена 10 рублей.

2. Православные сборники «НЕВИДИМАЯ БРАНЬ», «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА», «ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК».

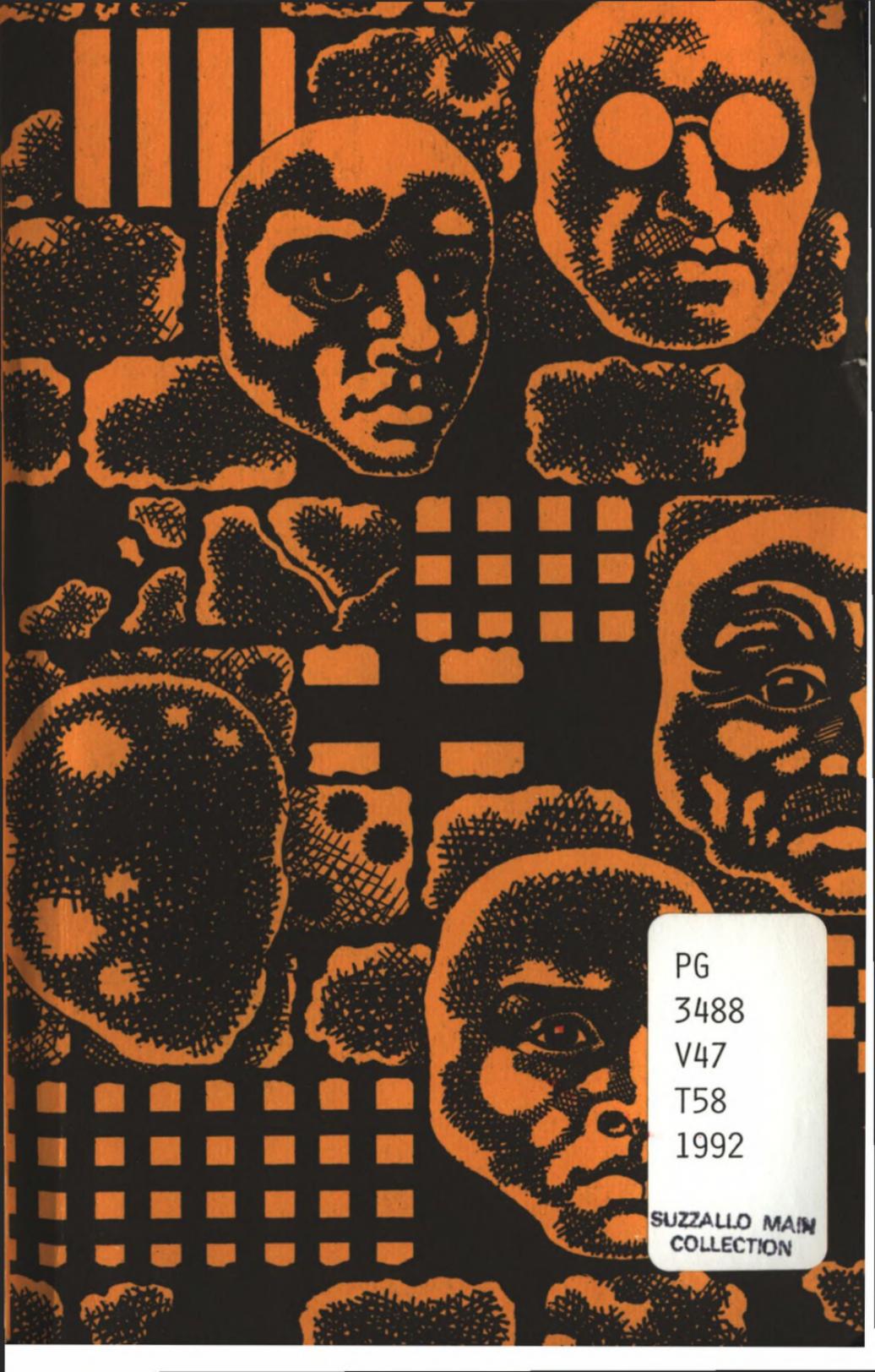
Первый сборник посвящен христианскому Таинству Покаяния. Он включает отрывки из богословских трудов святителей Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, преподобного Иоанна Кассиана Римлянина и праведного Иоанна Крондштадского. Впервые на русском языке публикуется сочинение архимандрита Иоанника Галытовского «Рассуждение краткое о грехах».

Два других сборника посвящены двум главным православным праздникам — Рождеству Христову и Пасхе. Они включают в себя описание Праздников, проповеди преподобного Феодосия, святых Иоанна Златоуста и Григория Нисского, Антония, митрополита Суражского, и многих других отцов и святителей православной Церкви.

Объем сборников — 4 п. л. Цена 5 руб.

3. Сборники поэзии из серии «Русский бронзовый век». Серия включает в себя около тридцати поэтических сборников, начиная от памятника литературы XVIII века «Еротоиди» Николая Струйского до сборников мэтров поэтического авангарда Игоря Холина «Жители барака» и Генриха Сапгира «Сонеты на рубашках» и традиционных «классических» поэтов Владимира Алейникова, Юрия Карабчиевского и Марины Глазовой.

Заказы и справки по адресу: Москва, 113149, Нахимовский пр., 15, корп. 2 кв. 42. Телефоны 110-61-24, 152-83-40.



PG
3488
V47
T58
1992

SUZZALLO MAIN
COLLECTION

